

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)

Г. Андреев, Л. Ржевский

1976 – 1981 редактор Роман Гуль

1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Е. Магеровский

1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Ю. Кашкарров, Е. Магеровский

1986 – 1990 Редакционная коллегия

1990 – 1994 редактор Юрий Кашкарров

1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят девятый год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov;
V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine;
L.Vulfina, Y.Vulfın, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 305, декабрь 2021

© 2021 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Сергей Захаров</i> – Через две недели мы будем счастливы	5
<i>Андрей Иванов</i> – Сказка о фарфоровом мальчике и гуттаперчевой девочке	84
<i>Владимир Гандельсман</i> – Смерть языка. Поэма	96
<i>Игорь Метельский</i> – Стихи	110
<i>Анастасия Андреева</i> – Стихи	115
<i>Каринэ Арутюнова</i> – Аптека Габбе	119
<i>Александр Бараиш</i> – Из «Новых Кумранских рукописей». Стихи	132
<i>Марина Эскина</i> – Обыграем тьму. Стихи	136
<i>Григорий Марк</i> – Стихи	140
<i>Игорь Гельбах</i> – Человек из ресторана	144
<i>Вадим Жук</i> – Стихи	171
<i>Александр Немировский</i> – Стихи	175
<i>Александр Амчиславский</i> – Стихи	182
<i>Михаил Айзенберг</i> – Стихи	187
<i>Евгений Сливкин</i> – Стихи	189
<i>Виталий Амурский</i> – Стихи	192
<i>Михаил Моргулис</i> – Пролетая над гнездом времени	194
К моим читателям. Посмертное	198

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА

<i>Юлия Гаухман</i> – Неразгаданный талант. О жизни и творчестве А. Прегель	202
<i>Ренэ Герра</i> – Галина Кузнецова. Последняя любовь Ивана Бунина	216
<i>Л. Оболенская-Флам</i> – О перемещенных и переместившихся	224
<i>П. Базанов</i> – Русские историки-эмигранты. Н. Е. Андреев и Н. И. Ульянов	256
<i>А. де Ля Фортель</i> – О «безусловных рагу» из «условных зайцев». К вопросу о философско-эстетических полемиках	272
<i>Н. Браун</i> – «Голову срезал палач и мне...» К 100-летию расстрела Николая Гумилева. Интервью	280
<i>Мари Стравинская</i> – «Изобретать себя заново». Интервью	298
<i>Уильям Брумфилд</i> – Очарованный странник. Интервью	306
<i>Н. Колодзей</i> – Анатолий Зверев. Неординарный художник-самородок	317

КНИГА И СУДЬБА

<i>М. Адамович</i> – О пророке и пророчествах. По поводу публикаций к юбилею Ф. М. Достоевского	325
---	-----

ЭССЕ. ЗАМЕТКИ

<i>Р. В. Полчанинов</i> – «Нас десять, вы слышите – десять!»	348
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Барри Шерр</i> – М. Л. Уральский, Г. Мондри. Достоевский и евреи; <i>М. Адамович</i> – Ольга Андреева-Карлайл. Остров на всю жизнь. Воспоминания детства; Андрей Соммер, протоиерей. Затопляевы – наши предки за Байкалом; <i>Виктор Леонидов</i> – Русская эмиграция и движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. Сборник статей; Ежегодник Дома Русского Зарубежья им. А. Солженицына. 2020; Эфрон Ариадна Сергеевна. Вторая жизнь Марины Цветаевой: письма к Анне Саакянц 1961–1975 годов	352
---	-----

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Александра Петрова (1938–2021)	375
---	-----

ОБ АВТОРАХ	376
------------------	-----

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Сергей Захаров

Через две недели мы будем счастливы

ОПОЗДАНИЕ

Бывают в жизни моменты, которых не избежать – хочешь ты того или нет. В этом смысле я уподобил бы наше замысловатое бытие пакету услуг «Всё включено», который каждому торжественно вручают при рождении – только возможности выбрать эти самые услуги или, тем более, от них отказаться, никому не дают.

Вот один из моих «рабочих моментов»: день истекает, машина мчит по скоростной трассе в направлении каталонской столицы. Мы возвращаемся из Театра-музея Дали, ставшего художнику заодно и могилой. Сегодня я был в ударе, экскурсия удалась на славу. Со стороны, собственно, всё всегда «на славу» – но я-то не со стороны! У меня свои критерии, позволяющие отличить высший пилотаж от стандартного качества. Сегодня был именно «пилотаж»: слушая мои проникновенные речи у склепа художника, пожалуй, даже мумия Дали одобрительно шевелила усами.

А сейчас мы в автобусе, на обратном пути в Барселону. Со своего штурманского места я рассказываю туристам о печальном финале Дали, пытаюсь объяснить, почему семь последних лет жизни художника обратились в вялотекущий ад. Я азартно вещаю, побрызгивая священной рабочей слюной. Невозмутимый водитель, привычно оглохший на правое ухо, чуть треножит норовящую разогнаться под горку машину – соблюдает скоростной режим.

Я же, напротив, через «двойную сплошную» иду на обгон самого себя: говорю всё быстрее, всё громче, всё неостановимее – как будто опасаясь, что даже в малую паузу тут же втиснется нежелательный для меня звук. Впрочем, почему «как будто»? Я действительно боюсь этого звука – и он действительно «втискивается», не дожидаясь никаких пауз, ему, похоже, на все мои страхи совершенно плевать. Два одинаковых звука – два сообщения, присланные мне по Viber.

Не прерывая рассказ, я извлекаю смартфон и смотрю, от кого они. «Отец сейчас...» – так я и предполагал. Я прячу смартфон обратно,

даже не прочитав: мгновенным внутренним зрением я увидел это и так. В первом сообщении короткий текст, во втором – фотография. Я продолжаю говорить, как будто ничего не случилось.

Нет, парой-тройкой предложений я, помнится, всё-таки тогда подавился, но быстро с собой справился. Я же старый спортсмен и знаю, что настоящий спорт – не там, где ты с противником на равных. Настоящий спорт – когда противник гораздо сильнее тебя; когда противник бьет, и ты ожидаемо падаешь, но, вопреки всем прогнозам и здравому смыслу, встаешь снова и снова.

В жизни мне почти всегда попадались противники гораздо сильнее меня – поэтому что-то, а падать и вставать я научился знатно! Так и тогда: я рухнул и тут же вскочил, отпружинив от злого бетона, – никто и не заметил падения. Да, мне хотелось остаться лежать на полу. Мне хотелось немедленно остаться одному – да так, что я взвыл тоненьким волком в самой серёдке себя. Но спорт есть спорт, и я всё-таки выдержал еще целый час, показавшийся мне бесконечным. Я выдержал и, лишь закончив работу, отулыбавшись во все тридцать два, спрятав лицо, – открыл, мрачней, присланные мне сообщения. Первое и второе. Открыл, уже зная, что увижу.

Первое сообщение состояло из одного коротенького предложения: «Здравствуй, сынок. Папа умер.». Во втором была фотография, сделанная, похоже, за пару часов до его смерти. Посмотрев на нее, я ощутил сильное облегчение от того, что отец уже мертв, – так страшно, так измучена была его предсмертная оболочка.

Умер. Из мира вокруг меня, как из пробитого шарика, выходил с тоскливым свистом воздух. Я запустил в смартфоне песню, которую отец очень любил – «Across the Universe» одного британского парня, – вставил наушник в ухо и закурил, присев на первой подвернувшейся скамье.

Я думал о том, что все эти восемь месяцев, пока отец умирал от слишком поздно обнаруженного рака, я каждый день просыпался и засыпал с мыслью о том, что не могу и не смогу застать его живым, – мы жили в разных странах, и я был наглухо невыездным. Из-за мирового кризиса и дурацких иммиграционных законов мне не удавалось легализоваться. То есть выехать я, конечно, мог бы, но с «депортом» в паспорте и невозможностью вернуться обратно в ближайшие десять лет. А здесь оставались бесконечно дорогие мне люди, напрямую и сильно зависевшие от моей не совсем в то время законной, зато оплачиваемой реальными деньгами работы. Это была ответственность, отказаться от которой я никак не мог, – да и не хотел.

Собственно, никто от меня ничего не требовал, за отцом было кому присмотреть. И всё же речь шла о моем отце, и я изрядно мучился этой невозможностью попрощаться с ним. В одном из телефонных разговоров (в то время, когда отец еще мог почти сносно говорить), я предпочел сказать ему об этом напрямую. Не дав мне даже толком закончить, он, перебивая и торопясь, виновато зачастил в ответ:

– Что ты, что ты, Витенька! Какое «приехать»! Что ты, дорогой сын, я всё понимаю! Даже не говори и думать не смей! Я же помню – ты всегда очень здорово помогал мне, когда в том была необходимость. Но сейчас такие обстоятельства... Даже не думай! Наша мама рядом – а с тобой мы чудесно можем общаться по Скайпу, WhatsApp и этим прочим замечательным штучкам: всё-таки в двадцать первом веке живем! И вообще, знаешь, – мне сейчас значительно лучше. Не поверишь, но я чувствую себя прямо-таки «огурцом»! Одно время, было, приуныл, а сейчас – вполне надеюсь выкарабкаться! Да! Полагаю, через две-три недели я смогу сообщить тебе еще более обнадеживающие новости относительно моего самочувствия. Так что обязательно увидимся – и не раз!

Как, помимо желудка, грыз еще и челюстную кость – из-за этого многие звуки у него выходили плохо, и я чувствовал, как он негодует и бессильно злится на себя за это вынужденное косноязычие.

В то время он действительно на что-то надеялся. Так мы и говорили с ним тогда: чувствуя вину друг перед другом за прошлые и настоящие грехи, и я, помню, коротенько тогда помечтал: эх, если бы две наших вины, его и моя, могли взаимно уничтожить друг друга! Вот славно было бы – и отцу, и мне! Да только не бывает такого, я знаю, и свой крест со спины на одерешь: он намертво к ней приколотен.

Да, невеселый выходил разговор... Было, помню, пусто, устало и пасмурно на душе, как никогда. И всё казалось, что там, с обратной стороны разговора, – запертый взрослыми в темной комнате мальчик лет пяти, испуганный, растерянный и одинокий, – и ощущение это было, пожалуй, хуже всего. Позже я понял, откуда оно: до седых волос отец носил в себе чувство собственного бессмертия, собственное только детям, и потому воспринял горькую рачью правду именно как ребенок.

– Отец, ты, главное, помни: я тебя люблю! Я очень тебя люблю, папа, – сказал я ему тогда, впервые за всю жизнь. И папой вслух назвал в первый раз за всю жизнь – за последние лет тридцать пять уж точно. А он меня назвал «Витенькой» – тоже впервые. Да, такие у нас в семье были приняты «нежности»... После мы еще несколько раз

с ним поговорили и поглядели друг на друга через экран, потом ему стало не до разговоров, – и вот теперь он умер.

Умер. Умер. Я звонил матери, говорил с ней и радовался ее нетрезвому, но почти спокойному голосу; я поднялся на лифте на свой девятый этаж, и любимая женщина, увидав лицо мое, молча подошла, обняла и не стала ничего спрашивать. Такой был день: я знал, не открывая; она понимала, не спрашивая. Тот самый «момент», которого не избежать.

Я помнил о нем ежесекундно, ждал его и к нему готовился; я представлял в деталях, как это будет; я прожил и пережил его заранее – и всё напрасно. В прошлой жизни один знакомый опер рассказывал мне об очень действенном приеме, который в свое время активно применяли и они, и их подопечные-бандиты: помещаешь голову «клиента» в полиэтиленовый пакет и туда же – кусок тряпки с нашатырем. Человеку и дышать нечем, и отключиться он не может – нашатырь не дает. «Венецианская пытка» – так это называется. Вот и мне пришлось о Венеции вспомнить – совсем не с маскарадной стороны.

Помню, чуть отдышавшись, я всё повторял обреченной мантрой: – А я даже приехать к нему не смог! Не смог даже приехать! И не могу сейчас! – и это были самые неуместные слова из всех возможных. Я действительно не мог, а если даже и мог бы и приехал, и сидел рядом с ним, наблюдая его вживую, а не по видеозвонку, – он всё равно не встал бы со смертного одра. И если бы, приехав, стоял рядом с гробом его, на том сельском кладбище, где половина родни и где отец просил и его похоронить, – воскресения тоже не случилось бы.

Когда внутри стало потише, и я обрёл возможность соображать, я понял, что на деле меня беспокоит другое: не то, что я не смог его похоронить, а то, что, так уж вышло, я прозевал его при жизни. Или он меня прозевал. Или оба мы друг друга самым непростительным образом прошилипили и упустили.

Я, например, долгое время вообще считал, что отца у меня нет, – я не о биологическом авторстве, а о том, что к своим родительским функциям отец мой относился, мягко говоря, своеобразно. Частенько он намеренно дистанцировался от них. Случалось, он и вовсе вел себя как анти-папа. А когда я в очередной раз окончательно вычеркивал его из отцов, он самым неожиданным образом, внезапно и вдруг, восставал из постыдного пепла и делал что-то беспримерно, вопиюще и умопомрачительно отцовское, да! Но только успевал я порадоваться новообретенному родителю – тут же с явным облегчением он слагал с себя вериги отцовства обратно.

Справедливости ради отмечу: сам я, как только подрос, начал отвечать ему полной взаимностью – чем сильно повысил степень и без того давно зашкалившей в наших отношениях энтропии.

Энтропия эта усиливалась из года в год. Пока отец был жив, я так и не нашел времени как следует поразмыслить о наших с ним отношениях, сделать какие-то выводы и что-то попытаться исправить. Я знал, что это необходимо, но всё откладывал и откладывал ревизию на потом – пока не вмешался этот чертов рак, намертво ухвативший отца своей корявой клешней и быстро утащивший туда, где никаких «потом» не существует. Не успел я, что говорить. Не успел. Да и смог бы?

Ведь сложно, невысказанно сложно это – пытаться препарировать живого человека: слишком изменчив он, ускользающе эфемерен – иными словами, слишком жив для любого обстоятельного анализа. А уж та степень «живости» и непредсказуемости, которой мог похвастать при жизни отец, и вообще делала всякое понимание невозможным. Невысказанные виражи, которые закладывал он, перемещаясь по жизни, не давали никакой возможности не то что поймать – даже ухватиться за самый краешек его вёрткой, как ртуть, сути.

Смерть же, будь она неладна, – явление совсем другого, статичного порядка, что сильно упрощает задачу. Если жизнь – процесс, то смерть – результат, пугающий своей неподвижностью, но дающий хорошие возможности для анализа. Знаю, что всё это отговорки, и вины с себя ничуть не снимаю, – но доля истины в этих запоздалых оправданиях всё же есть.

Знаю: если я действительно хочу разобраться в чем-то, мне придется быть предельно честным. Знаю: если я буду предельно честен, то нарушу все литературные каноны и создастся впечатление, что я описываю мрачные будни настоящей «семейки Адамс», а человека, выведенного в этой ущербной фамилии в роли отца, и вовсе ненавижу – как, впрочем, и себя самого.

Спешу уверить: это не так. Это не так – хотя для того, чтобы я смог понять что-то, потребовалось, чтобы отец умер.

ССЫЛКА

Начну с того, что он даже не явился в роддом, когда я выключился на свет, хотя был законным супругом моей мамы и, стало быть, официальным отцом мне – да и по факту являлся таковым. Но речь не о фактах и законах – речь об отношениях, а с ними не всё было ладно. В год, когда я родился, отец учился на третьем курсе иняза в столичном Минске – и, похоже, вовсе не собирался в разгар сессии пропус-

кать занятия по всяким пустякам. При выписке из роддома маму с новорожденным забирал не отец, а дядя Вова, младший мамин брат, похожий на крепенького белорусского негра. На машине деда дядя Вова привез нас к маминым родителям, а утром следующего дня сел на первую же электричку и уехал за 100 км в Минск, чтобы поскорее обрадовать отца фактом моего рождения.

Дядя Вова тоже был студентом, тоже учился в столице и находился в разгаре сессии, — однако время забрать из роддома племянника с сестрой у него нашлось. Вернувшись в Минск, он прямо с вокзала отправился на улицу Захарова, где располагался иняз, однако отца на занятиях не обнаружил. Он нашел его в комнате общаги, в компании друзей и вина. Студенты настолько были поглощены обсуждением предстоящей вечеринки в компании девочек-однокурсниц, что приход дяди Вовы остался поначалу незамеченным.

Он постоял какое-то время молча, поблескивая в полутьме коридора кипенными белками, после вежливым кашлем обозначил свое присутствие, поздоровался, попросил папу выйти на минутку в коридор — и, размахнувшись, врзал с правой в самую середину красивой отцовской морды. Дядя Вова был много моложе отца, ниже его и не занимался боксом, как папа, но удар получился смачным, от души: нос отца, до того ни разу не пострадавший на ринге, мгновенно распух, а синяки симметрично и быстро обозначились в обоих подглазьях.

К чести его, от удара отец не уклонялся и отвечать на него тоже не стал — хотя мог бы, и еще как! Он снёс его молча, как должное, — возможно поэтому впоследствии у них с дядей Вовой возникла самая настоящая дружба. Об этой их встрече я спустя много лет узнал от матери, к которой, мучимый внезапным раскаянием, отец тотчас же тогда и помчался — разумеется, «на моторе», — так папа, смолоду любивший шик, называл такси.

Он спешил замолить вину и лицезреть первенца. И замолил, и лицезрел, и неправоту свою переживал страдальчески и бурно, — но разве что-то это впоследствии изменило? Разве исчезли бабы и загулы, которыми, словно верстовыми столбами, была аккуратно размечена вся его яркая и беспокойная молодость? Да, отец всегда искренне и охотно признавал свои слабости, но не готов был от них избавиться. Полагаю, где-то в уютном закоулке души он считал их простительными и даже естественными для всякого мужчины — да и один ли он?..

Сейчас, имея возможность спокойно размышлять, я понимаю: к тому времени, когда отец мой стал отцом — да простится мне эта тавтология, — он попросту не был готов к этому. Он не успел выучить эту роль, и, кроме него самого, в том повинны были и обстоятельства.

Судите сами: прежде чем попасть в иняз, он отучился четыре года в дорожно-строительном техникуме и отслужил срочную в армии. Поэтому мама, будучи тремя годами моложе, уже обзавелась своим красным дипломом, а отцу оставалось еще два студенческих года. Будучи студентом единственного на всю республику иняза, он имел хорошо подвешенный язык, был умен, красив, обаятелен, спортивен, самовлюблен и пользовался славой на редкость прожорливого и всегда голодного сердцееда. Насчет самовлюбленности я упомянул неспроста – о ней просто кричат многочисленные фотографии студенческой поры, сделанные на отличную пленку папиным «Зенитом» и проявленные на превосходной бумаге. Студенчество отца нельзя было назвать голодным – его мать, моя бабушка Аня, уже тогда занимала крупную должность на Ленинградском судостроительном заводе и старалась, чтобы единственный сын ни в чем не нуждался.

На этих почти не пожелтевших от времени снимках отец одет дорого, стильно и выглядит настоящим Д'Артаньяном на фоне двух заштатных мушкетеров – друзей-сокурсников, составлявших его привычную компанию. Впоследствии один из них станет крупным дипломатом, а другой и вовсе доберется до министерской должности, – отец же разбросает себя да так и останется порожним мечтателем.

Но всё это будет потом, а тогда отец, «отдартаньянив» два последних курса, получил диплом, – однако, вопреки собственным ожиданиям, сведениям из кулуаров и всеобщим прогнозам, не был оставлен при институте, хотя справедливо считался самым талантливым студентом потока. Как стало известно позже, именно богемно-разгульный стиль жизни отца, о котором ходили легенды, – стиль, совсем не соответствовавший его семейному положению, повлиял на решение сменившегося незадолго перед тем ректора, советского партийца старой закалки.

Несомненно, то был жестокий удар по раздутому сверх всякой меры самолюбию папы. Знаю, что в случившемся он винил свой преждевременный брак. Да, именно так: мама была виновата в том, что, одурманив отца своей красотой, загнала его под венец, я же обвинялся в том, что посмел родиться. Хотя на деле всё было несколько иначе. Никого и куда мама не «загоняла». Просто она слыла совершенной недотрогой, считалась самой красивой студенткой потока, к тому же, шла двумя курсами старше, – и папа, первый парень на инязовской деревне, из принципа решил овладеть этой «крепостью в юбке». В процессе осады он увлекся, втянулся, потерял голову, влюбился, перестал спать, извелся, измаялся, исхудал, предложил руку и сердце, женился, завел ребенка – и глубоко раскаялся во всем содеянном.

Так или иначе, в инязе отца не оставили. По распределению его направили в Полесскую болотную глушь, в рабочий поселок торфозавода «Большевик», рядовым учителем английского. Естественно, в ту же школу и в том же качестве поехала и вышедшая из декретного отпуска мама с карапузом-мной. В диком краю, куда нас забросила судьба, школа эта была единственной на десяток километров вокруг. В ней мне впоследствии пришлось учиться, и я замечательно помню этот «храм знаний»: парадное крыльцо обрамляли гипсовые пионеры с отбитыми носами, из рваной штукатурки торчал кирпич, как срам из лохмотьев бомжа, и все десять лет учебы мне казалось, что это огромное здание в дырявой желтой шкуре вот-вот судорожно вздрогнет, повалится навзничь и издохнет от старости, задавив своей дряблой тушей меня.

За полным отсутствием иного жилья, нашей семье выделили квартиру на Первом, самом древнем и страшном участке поселка: холодную большую конуру в доме из черных бревен. Самостоятельная жизнь молодой семьи началась.

Как раз к той поре относятся мои первые воспоминания об отце. Воспоминания эти обрывочны, отмечены слабым пониманием происходящего с моей стороны – и неуловимо печальны. В них почти всегда кто-то плачет.

Самая ранняя из этих картинок настолько смутна, что я даже не уверен, было ли всё на самом деле. По ворсистой поверхности я ползу вдоль длинного, как поезд, отца, лежащего на паласе навзничь, – ползу от ног его в направлении головы, из которой раздастся баритонально-обреченное:

– О Боже, это тупик. О Боже, это тупик...

Смысл слов пока непонятен мне. Я крайне мал и совсем не огромен жизненным опытом. Мною движет собственное всякому познающему мир любопытство: обычно голова отца живет гораздо выше, а сейчас она рядом, на моем уровне, и я намереваюсь воспользоваться моментом, чтобы исследовать ее основательно.

Наконец, я дополз. Можно приступить. Короткий еж подбородка, ухо, волосы, нос. Мокрые глазницы, одна и вторая, и на щеках соленая, если лизнуть ее, влага – из чего я делаю вывод, что папа тоже умеет плакать. Уже что-то! Я продолжаю. Рот, из которого, вместе с резким и странным запахом, несется, набирая полную силу отчаяния: «О Боже, это тупик!» Я еще не знаю слова «патетика», но чувствую: это она. Осмотр окончен. Отползая, я веселюсь и грущу одновременно: мне радостно, что голову отца я все-таки потрогал, – и грустно оттого, что голова эта плакала.

Или вот еще воспоминание. Я чуть постарше, но разве что самую чуть. Мой мир пока не обрел цельность, я воспринимаю его дискретно: в виде отдельных цветов, запахов и звуков. За окном непроглядная чернь, в комнате светится оранжевый абажур, – значит, вечер. Я ползаю по зеленому, как молодая елка, паласу, гужу и катаю по нему игрушечный автомобиль. Вопиющей желтизной своей машинка напоминает мне цыпленка. Похоже, я все-таки еще очень мал, поскольку вижу мир с уровня пола, как щенок или же котенок. Мир мой населен не зверями – зверенышами, с которыми, в силу возраста, я ощущаю глубокое внутреннее родство. Всё, что старше, больше и выше кажется мне за пределами далеким, непонятным и чаще всего чужим. Запомнились запахи – клубники, алкоголя и табака. Все три очень нравятся мне, в особенности, клубника – ее я не раз пробовал на вкус и успел по достоинству оценить. Запомнились звуки: чудесная музыка, извлекаемая иглой из черного, с бороздками, диска. На уровне стола, в запредельной для меня высоте звенят хрустально стеклом, наливают, пьют, говорят, смеются... Что наливают, зачем пьют, почему смеются – совершенно непонятно мне. Я знаю только, что это мои мама и папа. Я знаю, что в мире покойно, тепло и хорошо – и продолжаю катить свой цыплячий автомобильчик.

А потом – дыра, разрыв в том же воспоминании, после которого всё до неузнаваемости изменилось. Повсюду на елке-паласе ягоды раздавленной клубники, как окровавленные трупки с вывернутым наружу нутром. Я уже видел мертвую лягушку на асфальте и знаю, как некрасива смерть. Мама, до того музыкально смеявшаяся где-то под потолком, теперь вся на моем уровне – на уровне пола. Она лежит молча, закрыв руками голову, а ноги отца бьют и бьют в ее мягкое, явно не предназначенное для этого тело. Но мама молчит – молчит и не плачет, хотя это явно неправильная игра. Да, игра – пока еще в моем мире только играют.

Мама не плачет – и потому не плачу я. Но всё равно, игра эта не нравится мне. Ноги отца будто танцуют, а сверху, издалека, голова его еще и поддакивает в такт. Нет, нет, это плохая игра! От нее пахнет потом и кошачьей мочой, а я уже хорошо знаю этот запах – так пахнет страх. Все чувства имеют запах, и дети способны ощущать его во сто крат острее, чем взрослые. Запах страха – самый сильный. Он неприятен, и я, не забывая исправно гудеть, мчусь на автоцыпленке по направлению к пляшущим ударно ногам отца и, добравшись, тяну его за штанину.

– Стой, стой! Эй, ты больше не делай так, ладно? – прошу я его ноги, и ноги, неохотно послушавшись, перестают танцевать. После сверху спускаются жесткие руки и уносят меня в пугающую высь.

Лицо отца рядом. На бледный лоб налипла черная прядь. Глаза мутны и прикрыты сизоватой пленкой. Отец долго глядит на меня, не узнавая. Похоже, он удивлен, что я есть и, тем более, что умею говорить и даже вмешиваться в дела взрослых.

– Ладно, таракан, – говорит он, наконец. – Ладно!

Руки-краны возвращают меня на уровень пола. Ноги отца уходят к высокому, как половина самого папы, столу. Там звякает, льется, плотается, а я пробую отнять мамины руки от ее лица. Пахнет от нее так же: алкоголем, клубникой, табаком, но сильнее всего прочего – страхом. Щеки ее мокры, и я, лизнув, ощущаю на языке соль. Значит, плакала, – и, чтобы меня обмануть, плакала молча. Взрослые непонятны и хитры. Я раздумываю над тем, стоит ли заплакать мне, но, учитывая общую запутанность ситуации, решаю воздержаться.

Зато в следующем воспоминании мы с мамой дружно ревом на два голоса. Я уже постарше и понимаю: когда папа бьет маму – это не игра. Совсем не игра. После очередного раза мама решила уйти от него – навсегда. Так и кричала через отчаянную слезу: «Навсегда, навсегда, навсегда», – словно швыряла в отца остроугольными злыми камнями. Закинула в спортивную сумку пару-тройку попавших первыми под руку вещей, схватила в охапку самое неотрывное – меня, – и вот мы идем с ней зимней тропой через лес и самозабвенно плачем.

Наш Первый – самый удаленный от цивилизации участок. Чтобы добраться до Третьего, откуда в областной центр ходит автобус, нужно прошагать четыре километра. Вот мы и хрустим мерзлым снегом среди хрустальных сосен – и рыдаем, взхлеб и вразнобой, на два голоса.

Пахнет холодом и тоской, мерзнет нос. Мерзнут руки – варежки на резинках не спасают. Мерзнет даже наш плач – он обгоняет нас всего на десяток метров и, заледеневший, валится замертво в снег. Деревья ухают и трещат сердитыми монстрами, осыпая нас облаками снежной пыли. Я мерзну, тоскую и боюсь. Мне кажется, мы будем идти так вечно: идти, мерзнуть и плакать всю бесконечную – и бесконечно мучительную – жизнь. Затем мы долго куда-то едем на автобусе, затем на попутке, – и, наконец, оказываемся в аэропорту. Это мое первое знакомство с авиацией. Я решительно отказываюсь путешествовать самолетом на основании того, что он «такой башой и беий», но мы все-таки летим. После – электричка, и снова попутка... всё это я запомнил очень смутно, в кратких разрывах между сморившим меня сном.

И вот мы в доме бабушки, маминого отца. Дед молчит, слушая мамин рассказ, прерываемый слезами. Как только мама начинает плакать, тут же подключаюсь синхронно и я. Мои первые годы – без-условное время матери. Маленькой старательной обезьянкой я копи-

рую все ее поступки и жесты – я еще помню вкус ее молока. Дядя Вова, примчавшийся на семейный совет из столицы, кипит. Он не может усидеть, вскакивает то и дело со стула и принимается кружить по комнате, сверкая негритянскими белками и морщась, как от сильнейшей боли в зубах.

– Эх, Лидка! Ох, Лидка! Ух, Лидка! – вскрикивает то и дело он. – Но почему!? Почему ты молчала, сестричка? Почему ты ничего не сказала нам раньше?! О-о-о... А-а-а... Вот гад! Гад! А я-то думал... Ну, ладно. Ничего! Мы поедем к нему прямо сейчас!

Дед недвижим и молчит. Молчание его не предвещает ничего хорошего – для отца. Молчание деда пахнет сталью и порохом. В руке у деда – ключи от гаража. В гараже – очень надежная машина «Победа», на которой дед легко может доехать куда угодно и победить любого врага. И если папа записан в дедовы враги – ему не позавидуешь. А папа записан, сомнений нет. Мне становится жаль непутевого папу – дед у меня очень серьезный.

Ехать, впрочем, никуда не пришлось. Отец, опередив деда и дядю Вову, примчался сам, привезя на покаянном блюде свою красивую несчастную голову. Память моя хорошо сохранила эту сцену, напоминавшую заседание суда. Мама рассказывает: гневно, горячо и с обидой. Отцу нечем крыть, да он и не собирается. У него предрасстрельно отчаянный вид. Он молча страдает и готов к любому исходу.

– Значит так, доченька, – резюмирует, выслушав и скрипнув тяжело стулом, дед. – Решать тебе. Если ты скажешь, прямо здесь и сейчас, что не хочешь больше никогда видеть рядом с собой эту рожу, – так и будет. Да... Не о таком муже для своей дочки я мечтал. Ну и ладно. Без помощи не останетесь – ни ты, ни внучок. Я для вас только и живу. Так что, если хочешь, дочка, уйти от этого зверя – тебе есть куда. И так бы я тебе и посоветовал!

Дед гневно взглядывает на отца. Тот сидит преувеличенно прямо, неподвижный профиль его высечен из мертвого мрамора.

– Да подожди, пап, – вмешивается неожиданно дядя Вова. – Подожди! Пусть сама решает. И вообще: я считаю, нужно дать человеку шанс.

Дядя Вове страдает: он любому готов голову отшибить за сестру, но и с отцом у них взаимная симпатия. Кроме того, дядя Вова рос и вырос с мамой в одной семье, и не понаслышке знает, что характерец у его сестрички далеко не сахар. Но сахар или не сахар – это совсем не повод заниматься рукоприкладством, как поступает отец. И как тут быть? Непонятно! И дядя Вова, любимый мой дядя Вова, стирает в пыль жемчужины зубов и рвется надвое.

Но последнее слово за мамой. Она молчит – долго-долго; в комнате звенит и искрится тишина, возрастая с каждой секундой и грозя разнести всё атомным взрывом... Наконец, подняв медленно голову, мама в упор принимается глядеть на отца: долгим, светлым и, что бы вы думали, исполненным любви взглядом!

– Решила! – с вызовом говорит она. – Решила! Будем учиться жить дальше – вместе! Вместе – мой муж и я.

Отец вскакивает, повалив от волнения стул, и бросается к ней. Уверяю, в тот момент прослезились все – пусть и с разной степенью интенсивности. Даже дед мой утер крепким кулаком левый глаз – а как еще? Он-то на всё был готов, только бы «дочушка» была счастлива.

ПЕРВЫЙ

Понятно, что семейные потасовки после этого знаменательного примирения не прекратились – но хотя бы на время сделались реже. И вообще, стало посуше – поубавилось слез. Был даже период, когда в нашем доме чаще смеялись, чем плакали.

Один из таких бурных приступов веселья напрямую был связан с первым в моей жизни опьянением. Если не ошибаюсь, было мне в ту пору четыре; напился я вдрызг и не по своей детской воле, – отцу с друзьями отчего-то вздумалось угостить меня пивом. Эксперимент удался. Незнакомый прежде напиток чертовски понравился мне, и я затребовал добавки. Будучи ребенком упитанным и крепким, я не спешил пьянеть, и мне исправно подливали еще. Кончилось тем, что, спрыгнув со стула, я обнаружил, что пол странным образом сделался коварен и неустойчив, – и, недолго с ним поборовшись, свалился навзничь.

Не понимая, что происходит, я пытался утвердиться на пьяных своих ножонках снова и снова – и каждая безуспешная попытка вызывала новый взрыв раскатистого мужского смеха. Так и запомнилось мне: много солнца, жарко снаружи и жарко внутри, я пытаюсь поймать коварно убегающие половицы – и, падая, счастливо смеюсь вместе со всеми. После, уже лежа, я, помнится, пел хиты Ротару, безбоянно перевирая слова, – пока алкоголь не одолел меня окончательно. Вернувшись с работы мама, найдя меня мирно сопящим на полу, быстро докопалась до истины и едва не порешила всю шайку-лейку во главе с папой. Как мать, она всегда была львицей, не знающей компромисса. Однако я не припомню, чтобы, проснувшись, чувствовал себя плохо – хотя, возможно, избирательная память просто не сохранила этого.

Два слова о «шайке-лейке», которая образовалась вокруг отца в

том средоточии зла и порока, где мы жили. Напомню: первыми насельниками «Большевика» были заключенные, его и построившие. Они же окончательно осушили болота, соорудили торфозавод и принялись добывать торф. Освободившись, многие оставались здесь же, брали в жены толстозадых и грудастых девок из окрестных деревень, заводили семьи, и однажды наступил тот знаменительный миг, когда торфяную пустошь огласил крик первого коренного младенца. Процесс, что называется, пошел.

Позже, когда поселок подрос, размножился, заматерел и потребовал инфраструктуры, извне сюда поехали работать и жить и менее маргинальные элементы, однако уголовные корни всегда давали о себе знать – в особенности на Первом участке, с которого, собственно, и началась славная история этого места. В плане криминогенности Первый был уникален настолько, что даже хулиганский Второй по сравнению с ним казался оазисом благопристойности, безопасности и высокой культуры.

До сих пор не до конца понимаю: как мой папа, который мог целыми страницами цитировать Шекспира в оригинале; папа, всегда имевший замашки аристократа и нисколько не считавший нужным их скрывать; папа, брезгливо относившийся ко всякой уголовщине и не переносивший на дух «блатную романтику»; папа, принадлежавший к интеллигенции, на которую, чего греха таить, простой народ всегда взирал с подозрением... – одним словом, как именно такой мой папа смог запросто влиться в самые низы этого «простого» народа и, что еще поразительней, – не только безоговорочно был принят этими низами, но сделался центром образовавшейся вокруг него кампании, той самой «шайки-лейки».

Это важно. Я ведь пишу не апологию и не составляю обвинительный приговор. Раз уж я не понял и не узнал отца, как следует, при жизни, то должен попытаться сделать это хотя бы сейчас. Должен понять, что в нем было такого, из-за чего «первенцы», невзирая и несмотря на всё, сходу взяли его в свой круг. А ведь добиться этого, поверьте, было очень непросто! Первый участок жил по законам собственной гравитации. Люди здесь были легкими, не отягощенными кандалами морали, материальной собственностью или смертным грехом образования – а вот слова весили куда тяжелей свинца. Ими не принято было разбрасываться, а если кто-то по дурости всё же позволял себе такое, то жаловаться к участковому никто не бежал. В ответ на оскорбление здесь сразу били, а если не помогало, то резали или стреляли – с редкой искренностью и обескураживающей прямо-той. Обывательским условностям или сомнительным посредникам в виде Закона на Первом участке традиционно не доверяли. Суть вся-

кого человека определяли быстро и сразу – а по сути и место выделяли. И если отец, оставаясь собой, пользовался авторитетом у хорошо вооруженных, классово и эстетически чуждых ему «первенцев» – значит, для того имелись веские основания.

Конечно же, имелись! Много лет спустя мама рассказывала, что уже на второй или третий день им устроили своеобразную проверку на выходе из единственного на весь участок магазина. Когда папа с мамой, пара молодых интеллигентов, сошли с бетонных ступеней и подались было к бараку номер восемь, кто-то из приклатенной толпы, вечно дежурившей у торговой точки, отпустил маме вслед по сути одобрительное, по форме – совсем не корректное замечание на предмет ее волнующей внешности. Предполагалось, что модный хлыщ, сопровождавший ее, проглотит грязный комплимент. Как бы не так – иначе он не был бы собой! Аккуратно утвердив авоську на асфальте, ободряюще улыбнувшись маме и сохраняя улыбку на лице, отец направился к вражьей своре... Так и вижу его в эти мгновения: подтянутый, атлетичный, он встает напротив кодлы, левой рукой картинно снимает темные очки с зеркальным отливом (невероятно модная и редкая по тем временам вещь!) и аккуратно кладет их в карман рубашки... Да-да, папа всегда любил работать на публику – даже если публика состояла сплошь из его врагов.

– Кто из вас, ничтожества и ублюдки, посмел оскорбить мою жену? – притворно-ласково спрашивает он, не переставая улыбаться. Отец прекрасен. Отец похож на Делона, Бельмондо и Боярского одновременно. Взглядом он вычленяет из толпы главного. Безошибочно: в прошлом папа – бывалый уличный боец. Занятия боксом и юность в суровом Выборге не прошли даром. – Насколько я понимаю, это ты... – говорит он презрительно, тыча в избранного. – Это ты, тварь, кретин и последний ублюдок, посмел оскорбить мою прекрасную супругу! Ну, что же – сейчас я буду учить тебя хорошим манерам.

Вскипевшая, сукающая в нетерпении и злобе копытами, «тварь» носорогом прет на отца, горя желанием стереть его с лица земли, – и... о, как она ошибается! Изящный уход в сторону, хук правой, прямой левой, еще разок правой, «на добивание», – и сбитый с ног целует гулким затылком землю. Нокаут. Крах. Пристяжь подавлена. Все, оробев, переминаются с ноги на ногу и прячут глаза. Но отцу этого мало: он жестко хлещет уничтоженного хама по щекам, приводя его в чувство, и, ухватив за шкуру, волочет к матери, заставляя просить прощения. После чего извлекает из кармана очки, картинно водружает их обратно на свой почти римский нос, берет маму под руку, другой подхватывает изящно авоську – и они неспешно удаляются.

Слух об отце мигом разлетелся по округе. Таких на Первом уважали. Дерзкий норов, крепкая рука и железные яйца стояли здесь дорого. Интересно, что первым, предложившим отцу дружбу, оказался тот самый «ублюдок и тварь»: в следующий выход родителей «в свет» он подошел позвать отцу руку – оказавшись вполне симпатичным «отсидевшим» Васей по прозвищу «Жук».

И никаких обид – сплошное уважение. Отец, кстати, и руку, и дружбу Жука принял, не чинясь. Какое-то время к папе еще присматривались, пока не выяснили: парень он, несмотря на образование, компанейский, интересы священного мужского братства ставящий превыше всего, и, к тому же, не дурак выпить и в хмельном угаре покуролесить, – после чего отец окончательно был зачислен в «свои».

Почему он принял это общество? Здесь, думается, тоже особой загадки нет. Отец был таким же идеалистом и мечтателем, как и первенские отщепенцы, – был и оставался им всю жизнь. И точно так же, как декласированный Первый, он всю свою жизнь находился в жесткой оппозиции к добропорядочным и заурядным обывателям. Вообще, заурядность, посредственность и пошлая обывательщина были, пожалуй, самыми ругательными словами в его лексиконе. «Первенцы» потому, думаю, и пришлись отцу по нутру. Ему была глубоко созвучна их воинствующая оппозиция отрегулированному социуму; их непосредственность в глазах отца с лихвой искупала все прочие грехи. Словом, папа и «первенцы» легко поняли друг друга.

Кстати, боевой эпизод у магазина мама, особенно будучи в состоянии подпития, пересказывала мне впоследствии много раз – и всегда с гордостью за отца. Невзирая на все их семейные склоки, на рукоприкладство и многочисленные измены с его стороны. Да-да, отец умел при желании быть кавалером и рыцарем. А что до артистичности... знаю наверняка: в глубине души отец всегда мечтал о карьере актера. Сужу по тому, с каким неподдельным восторгом он тысячу раз рассказывал, как однажды ему довелось провести несколько часов в одном купе поезда с Андреем Мироновым, актером, которого он боготворил.

ФОНАРИК

Всё это, разумеется, чудесно, однако факт остается фактом: в мои начальные годы отец не замечал меня вовсе. А я ведь подрастал, увеличивался в размерах; я уже смотрел на мир с высоты довольно крупной собаки – скажем, овчарки или добермана, но в поле зрения отца по-прежнему не попадал. Папин взор нацелен был значительно выше. Обнюхивая чувства отца своим безошибочным детским носом,

я способен был уловить лишь один запах: пустого холодильника. А кому не известно, что так пахнет равнодушие?

Да, никакой естественной животной радости при виде своего звереныша отец не испытывал. Впрочем, насчет «животной» я, возможно, несколько погорячился... У зверей, оказывается, тоже не всё так однозначно: будучи уже взрослым, я узнал, что самцы белых медведей, например, при определенных обстоятельствах поедают своих же отпрысков, – и, помню, угрюмо порадовался, что отец хотя бы не съел меня.

Порой кажется, я скорее предпочел бы быть сожранным, чем *не существовать* для него вовсе. Даже относись он ко мне, как к домашнему питомцу, – я и то был бы счастлив. Человеку нужно немного, а человечку – и всего-то чуть-чуть! Отец, однако, воспринимал меня именно как неодушевленный предмет, который за ненадобностью когда-то оставили в дальней кладовке большого дома. Иногда, случайно и мимоходом, отец открывал дверь этого домашнего склада ненужных вещей, в котором пылился маленький я, шурился и моргал, привыкая к темноте, убеждался, что вещь на месте, – и дверь тут же захлопывалась. Да, временами меня извлекали на свет Божий – главным образом, чтобы поразвлечься (как, например, в случае с пивом), но делалось это крайне редко.

Я не голословен – у меня была возможность сравнить. Пусть родной отец меня игнорировал, было два других – как у Сальвадора Дали! – дедушка и дядя Вова. Значительную часть своей начальной жизни я проводил у маминых родителей, где недополученную отцовскую любовь мне компенсировали сполна. Там не нужно было приноживаться к запаху направленных в мою сторону чувств – за версту пахло мандаринами, шоколадом и вечным Новым годом, – обожанием, доходящим до иступления. Дед, который с мамой и дядей Вовой был строг и даже, случалось, жесток, мне, первому его внуку, он потакал буквально во всём. Он взял меня на полное свое попечение, не подпускал даже бабушку, тетю и прочую женскую родню, – опасаясь, чтобы я не пострадал от «бабского» воспитания.

Дед сам купал меня, кормил, одевал, будил по утрам и укладывал спать вечером. Дни напролет я проводил с ним на работе. Дед был персональным водителем директора завода – еще одного торфобрикетного предприятия, которыми славна была наша болотная республика. В ведении дедушки находились два железных коня: «Волга-24» и синий «график», которые он содержал в идеальном порядке. Дед и вообще считался неммыслимым педантом, перфекционистом и занудой – никто, кроме малютки меня, и не знал, каким заботливым и нежным может быть этот сдержанный, будто выкованный из цельного

куска железа человек с высоким глянцевым лбом! Деда я безмерно обожал и мечтал, когда вырасту, стать водителем.

Если поездок по директорским делам не предвиделось, дед ковырялся в гараже или забивал «козла» с пожарными, служба которых была расположена рядом. Пожарные рвзговаривали мощными басами и мастерски матерились. Они смеялись так громко, что детские мои перепонки грозили лопнуть. Их огромные, головокружительно благоухающие бензином машины блестели упитанными лаковыми боками и вызывали во мне благоговейный трепет. Я быстро проникся суровой романтикой их героических будней. Мечта моя терзалась на распутье: конечно же, я хотел быть водителем – но и пожарным тоже!

Случалось, телефонный аппарат тревожного красного цвета звонил оглушительной трелью, и, бросив костяшки, веселые матершинники мигом превращались в отважных огнеборцев и мчались на пожар. Иногда и мы с дедушкой прыгали в «двадцать-четверку» и гнали вослед за ними: дед хотел, чтобы я познавал жизнь с разных сторон. Вдобавок ко всем вышеперечисленным благам, мне разрешалось беспрепятственно объедать все фруктовые деревья и кусты в садице на заднем дворе пожарной охраны – то есть я жил в Эдеме.

В командировки дедушка, будучи в хороших отношениях с директором, старался прихватить с собой и меня. Благодаря ему я еще в дошкольном возрасте сильно раздвинул границы своей персональной географии, объехав половину Белоруссии, часть Украины и все миниатюрные страны Прибалтики.

Иногда дедушка будил меня раньше обычного, и утренней прохладцей мы, одинаково ёжась и кашляя (я во всём старался подражать деду), шли браконьерить ондатру. Ловушки деда, как и всё, к чему он прикладывал руку, работали идеально – поэтому весь наш семейный клан, включая папу, ходил в отличных ондатровых шапках. Дед имел даже не золотые – инкрустированные крупными бриллиантами руки. Руками этими он по праву гордился и хотел, чтобы такие же со временем выросли у меня, и если этого всё же не случилось, то уж точно не по вине дедушки.

Каждый вечер он читал мне сказку или рассказывал страшную историю, дожидаясь, пока я усну, – многие из этих простых и выразительных шедевров белорусского фольклора я помню до сих пор. Я полюбил старика всем своим маленьким сердцем и даже придумал ему уникальное имя: «Дедик», которым он гордился до слез и, забывая о привычной сдержанности, норовил похвастаться всякому встречному.

По выходным приезжал дядя Вова; если Дедик был моим пер-

вым «отцом», то «вторым первым» я с полным основанием могу назвать дядю Вову. И неспроста: я до сих пор затрудняюсь сказать, кто из них любил и баловал меня больше. Дядя Вова воспринимал меня не как племянника, но как сына, щедро растрачивая на меня свой мощный отцовский инстинкт. Как только учеба отпускала его из Минска, он, ведомый этим инстинктом, сходу мчался ко мне и вез самые баснословные подарки. Классический статус бедного студента нисколько его не останавливал.

Никогда не забуду, как однажды он явился с изумительной железной дорогой, которая обошлась ему ровно в сто десять процентов стипендии – не осталось денег даже на электричку, и добираться до родительского дома ему пришлось автостопом. Да и позже, когда он закончил учебу, женился и завел пару собственных детей, прежнее его отношение ко мне не изменилось: дозировать степень своей любви, да и прочих чувств, дядя Вова не умел. Жил дядя Вова широко, жадно, вкусно и нараспашку; был шумен, как Ниагара, и надежен, как Форт Нокс.

Закончив институт, он делал стремительную блестящую карьеру, но, едва перешагнув за тридцать искрометных лет, нелепо разбился в аварии. Дедик смерти его пережить так и не смог: за два года из железного характером и телом крепыша он обратился в дряхлого старика и с облегчением лег, в конце концов, в соседнюю с сыном могилу. Но всё это – несправедливое, черное и злое – случилось позже, а в самые детские мои годы у меня были эти два исключительных отца, лучше которых не сыщешь в целом свете!

И всё же, всё же... Я-то тянулся к своему родному отцу! К этому загадочному и утонченному красавцу с профилем римского императора, с олимпийским сложением и холеными белыми руками, за которыми он тщательно следил, отказываясь нагружать их даже малой физической работой. В особенности это касалось ногтей, уход за которыми отец превратил в своеобразный культ, совершенно непонятный мне, но оттого еще более притягательный. Да-да... Инстинкт настойчиво твердил мне, что отец и я – одно существо, или, точнее, что я – маленькая обособленная частица нашего общего существа. Однако «частицу» эту отец упорно не желал замечать. Я продолжал оставаться для него неодушевленным предметом, который извлекали из чулана забвения исключительно редко, да и то лишь с целью позабавиться.

Помню одно из таких «извлечений». Мне четыре с половиной года. Лето, как обычно, я провел с Дедиком, и он, сам не ожидая, в считанные недели выучил меня читать – примечательно, что не по

букварю, а по «Последней колонке» газеты «Труд». Спонтанно затеянное обучение это пошло «на ура», и вскоре я уже бойко читал вслух, заставляя пожарных одобрительно материться. Половины слов я еще не знал, смысла большей части прочитанного не понимал вовсе, но это нисколько меня не смущало – я упивался самим процессом. Волшебный мир книг, открытый мне Дедиком, мгновенно завладел мною, как тяжелый наркотик. Вернувшись по осени домой, я был уже глубоко болен чтением и не мог заснуть, предварительно не посвятив хотя бы полчаса этому упоительному занятию. В один из таких сеансов и случилось очередное «извлечение».

Стоял вечер. На окраине визжали сцепившиеся в драке собаки; где-то в центре нестройно и пьяно пели. На прошлой неделе на танцах зарезали парня из города; два дня назад из сельпо похитили четыре ящика водки, а вчера вечером наш сосед слева, «афганец» Вадик, очень похожий на индейца Гойко Митича, стрелял из обреза в участкового, но не попал, – и теперь скрывался в болотных пустошах. Однако тот день Первый прожил, в целом, без происшествий, и никакие внешние катаклизмы не мешали мне предаться любимому занятию. Я был поглощен чтением. От Дедика я привез целую сумку книг и сейчас наслаждался историей о Малыше и Карлсоне, остро ощущая, что и мне – и мне – катастрофически его не хватает – маленького толстого шведа с безотказным пропеллером.

– Гм, – раздалось вдруг надо мной.

Отец неслышно вошел и встал рядом.

– Ты хочешь сказать, что на самом деле умеешь читать?

– Да! – меня распирало радостное предвкушение: сейчас я что-нибудь прочту отцу вслух, и он убедится, что я говорю чистую правду, а убедившись, удивится, восхитится и перестанет, наконец, считать меня вещью!

– А ну-ка, почитай! – и я старательно, сбивчиво и пугающе громко начал читать. Я был взволнован, торопился, запинаясь, но в целом выходило неплохо.

– Гм, – к удивлению отца добавилось теперь и одобрение. – Действительно, умеешь. Смотри-ка! А знаешь, твоя бабушка Аня, когда я был маленьким, запрещала мне читать в постели.

– Мама тоже мне запрещает, – пожаловался я.

– ...Да, запрещала... Но я раздобыл фонарик и читал под одеялом. Хочешь, я подарю тебе фонарик?

Он подмигнул мне, в голосе его были слышны заговорщицкие нотки.

– Да! Да! Да! – закричал я. – Я хочу фонарик! Я очень хочу фонарик, папа!

Еще раз подмигнув, он приложил палец к губам, кивнул и вышел. Я был переполнен оранжевым теплым счастьем. Такого длинного разговора с папой у меня еще не было. Теперь он знает, что я умею читать. Понятно, сначала он не поверил, но потом обрадовался: какой же у него умный сын! Теперь у нас с ним общая тайна: он обещал мне фонарик. Да и вообще, теперь он просто обязан признать меня живым существом – раз уж я умею читать! Теперь всё, всё будет по-другому!

Стоит ли говорить, что фонарика я так и не получил. Полагаю, отец забыл об обещании сразу же, как вышел из комнаты. Меня вновь поместили в чулан – до следующего извлечения.

УДАВ

Опять же, всему, если подумать, можно найти объяснение. В ту пору отец слишком поглощен был проблемами собственной нереализованности. Да, да, он и занимаемое им в жизни место самым вопиющим образом не соответствовали друг другу. Блестящий студент, интеллектуал, красавец и эстет, которому все прочили великое будущее, он вынужден был прозябать в какой-то дыре, влача постыдную лямку сельского учителя. Забыл сказать: в ругательном лексиконе отца, принципиально отвергавшего традиционную матерщину, самым оскорбительным было именно это выражение – «сельский учитель».

Тогдашнее его представление об устройстве подлунного мира я могу описать следующим образом: срединная, самая большая часть – это обыватели, потребители и посредственности, из которых, собственно, на 99% и состоит человечество. Сам папа – в неоглядной выси над ними, поэтому его можно обозначить «маргиналом сверху». «Первенцы», в развеселом обществе которых он принужден был искать забвения от унылой реальности, – это «маргиналы снизу». А в центре, в самом яблочке серой обывательской массы, как раз и расположилась наиболее ненавистная отцу каста: сельская интеллигенция. В их сословии он видел средоточие всех наиболее отвратительных ему пороков – и ненавидел его представителей во всю мощь присущего ему максимализма. Не возьму в толк, чем они так провинились перед отцом. Впоследствии эти люди учили и меня, но запаха серы, копыт, хвоста, рогов и прочих знаков дьявола я ни у одного из них так и не обнаружил. Да, почти все они давали затрещины своим ученикам – но тогда это вообще было нормой, да и дети в нашем криминальном краю были еще те! Да, сельские учителя были куда больше заняты мыслями о подсобном хозяйстве, нежели об учебном процессе, – но

и в этом, если разобраться, особого преступления не было: платили им весьма скромно, а позднее и вообще перестали платить. Одним словом, сельские учителя были просто людьми, а некоторые еще и обладали настоящим педагогическим талантом.

Полагаю, главное их преступление перед отцом заключалось в том, что он был зачислен в их ряды. И как же ярка и безоговорочна была эта ненависть! Учительскую комнату отец именовал «гадюшником», директора – «главным гадом». Отец умудрялся смотреть свысока даже на физика и физрука, превосходивших его в росте как минимум на полголовы. Белой руки своей отец никому не подавал, а разговаривал с коллегами исключительно сквозь зубы, – да еще фыркал сердитым котом, хищно подергивая шейю.

Об этом впоследствии очень живо рассказывала мне мама, работавшая в той же школе. Сама она, напротив, только переступив порог желтого школьного дома, сразу ощутила себя в родной стихии. Мама была старательна, трудолюбива и жаждала нести свет знаний в сомнительные ряды местных учеников, зачатых в непотребном хмельном угаре. С первого дня к ней благоволил «главный гад», по совместительству – учитель истории Иван Гаврилович, матерый человечище, в годы Великой Отечественной руководивший районным подпольем. Школьником я еще застал этот обломок ушедшей эпохи. Иван Гаврилович кашлял нутряным басом, курил трубку и боготворил Сталина. Трубка на уроках часто служила ему учебным пособием, когда он в лицах и на разные голоса изображал некоторые ключевые моменты войны, протагонистом которых всегда выступал Иосиф Виссарионович. В большеглазую и стройную в те времена маму Иван Гаврилович внезапно влюбился – абсолютно платонически и навсегда; называл ее «деточкой», взял под свое покровительство и принялся усиленно продвигать по внутришкольной карьерной лестнице.

Мама прилежно постигала премудрости и схватывала всё на лету. Очень скоро она стала завучем, и весь «гадюшник» резонно подозревал, что Иван Гаврилович усадит ее в свое директорское кресло, когда все-таки надумает уйти на покой. Школа была для мамы вторым – а то и первым – домом, столько времени она проводила там. Частенько ей приходилось давать уроки и за отца, который не в силах был явиться на работу из-за чересчур обильных возлияний с «первенцами». За систематические прогулы его, не сомневаюсь, давно бы уволили по статье – если бы не симпатия Ивана Гавриловича к маме.

Я помню это время. Мама, приготовив для меня завтрак, раненько убегала в школу, а когда я просыпался – на всю квартиру громыхал выдающийся храп отца. Иногда я подходил к облупленной двери

спальни и приноживался: оттуда пахло перегаром, запах которого я хорошо к тому времени научился различать, и еще – мышами и ржавым железом, а всякому ведь известно, что это запах тоски.

Просыпался отец к полудню, долго ходил, бурча, по квартире, заваривал крепкий чай, рылся в карманах и бумажнике, шуршал и звенел, подсчитывая оставшийся капитал, – и выбирался, наконец, на свет Божий в поисках такого же страдающего с похмелью «первенца». Часто в отсутствие мамы к нам заглядывала грудастая, веселая и безмужняя тетя Марина, за солью или спичками. В этом случае отец отчего-то хмурился и велел мне пойти погулять.

Помню, однажды я из непонятных побуждений отказался – папа угостил меня легким подзатыльником, молча сунул меня в сапожонки и пальтишко, вынес за дверь и легонько подтолкнул с крыльца в сторону калитки. За спиной моей взвизгнул задвинутый резко засов. Кратенько всплакнув для приличия, я прилежно гулял, любуясь торфяными пустошами и недоумевая: куда озорная тетя Марина девает соль и спички, так часто испытывая в них нехватку? «Жрет она их, что ли?» – задумчиво вопрошал я не своими, а явно подслушанными у кого-то из взрослых словами. Тетя Марина была приветлива, шумна, румяна и матерна. Каждый раз, приходя, она одаривала меня карамельками «Дюшес» – однако, приняв их, я четко улавливал исходивший от нее запах мороза и жженого сахара – а кому не известно, что так пахнет обман?

После за спичками и солью к нам ходила и тетя Наташа, рыжая и без «Дюшеса»; затем ее сменила брюнетка Гюзель, – но пахло от каждой всё тем же сладким до горечи холодом.

Маме, которая прознала, в конце концов, о «соли и спичках», происходящее категорически не понравилось. Был шум, крик и даже попытка избиения отца. Папа имел вид большого шелудивого кота (даже усы кошачьи, казалось мне, вымахнули мгновенно из-под ноздрей) и лишь отмахивался от наседавшей на него мамы. В нем, как я уже сказал, всегда жила внутренняя честность, не позволявшая ему отказываться от уже содеянного греха. Правда, честность эта не работала в упреждающем режиме, но так уж отец был устроен. Если бы обвинения мамы оказались беспочвенными – ей, конечно, досталось бы на орехи. А так... папа лишь фыркал и шипел, ловкими боксерскими нырками уклоняясь от летевшего в него хрусталя. Хрусталя, подаренного гостями на свадьбу, имелось в достатке – его хватило на несколько лет скандалов.

А в тот, первый, раз – отгремело, отзвенело, откричалось, отмастерилось, отплакалось – и наступил мир. Разбитый хрусталь замели, из целого пили мировую. Крутился черный, с бороздками, диск, из

динамика звучала чудесная музыка. Позже, научившись читать, я выяснил, что музыка эта называется «Битлз». «Вечер трудного дня» значилось на конверте. Что же, всё совпадало, тютелька в тютельку. Эта музыка всегда звучала в нашем доме вечером. Эта музыка всегда означала мир после тяжелой ссоры. Эта музыка всегда заставляла меня радоваться и грустить одновременно: радоваться оттого, что наступил мир, а грустить потому, что я уже знал – мир не будет долгим.

В целом, для папы тот период жизни был безусловным прозябанием. Я так и представляю себе тогдашнее отцовское время: медлительным полупьяным удавом, бесконечно перемещающим чешуйчатое тело вдоль стен круглой, как колодец, обездверенной комнаты – и остающимся на том же месте.

ДВЕРЬ

И все-таки дверь нашлась.

Спасение пришло неожиданно и извне: в гости к нам, благоухая редким парфюмом, нагрянул один из институтских друзей-«мушкетеров» отца – тот, что впоследствии стал дипломатом. Но и на момент визита в нашу болотную глушь он, как выяснилось, успел уже сделать завидную карьеру. Да... Да. Роль «Д'Артаньяна» явно перешла к нему, а отец, увы, не тянул даже на гвардейца кардинала. Ему, как помню я, было до зуда неловко за свое тогдашнее положение: я чувал исходящий от него сырный запах стыда. Папа суетился, разбил две рюмки, преувеличенно бурно и оттого совсем уж фальшиво восхищался привезенным другом армянским коньяком, сервелатом и банкой красной икры – однако после первых же тостов прежняя неприужденность была восстановлена.

Друг – звали его Игорек – был вальяжен, самоуверен, чудесно одет и говорил с изысканной картавостью. Маме он подарил финские дефицитные сапоги – мечту любой порядочной модницы.

– Не подойдут, Лидка, продашь кому-нибудь: оторвут с руками, – легко прокомментировал он. Но сапоги подошли, и мама зарумянилась и воссияла. Отцу достались настоящие американские джинсы, а я, довольный белообрый толстячок, откатился от стола, имея в качестве подарка выполненную с соблюдением мельчайших деталей модель автомобиля «Чайка» в масштабе 1:43.

Друг радовался, что угадал с подарками; он отпускал маме тонкие, как талия француженки, комплименты, признавшись, между прочим, что студентом тоже был по уши влюблен в нее – да и кто не был? Мама таяла и старалась сесть покрасивее – такого столичного персонажа в ее периферийной жизни не случалось уже давно. Друг

улыбался и цирил. Он и вправду казался настолько идеальным, что я специально подобрался ближе и обнюхал его на предмет внутренней сути – однако, как ни странно, ни одного сомнительного запаха не обнаружил.

Было много разговоров, музыки, смеха; а после, когда мама уже отправилась спать, предварительно загнав в постель и меня, – долгий мужской разговор по душам на кухне, вплоть до дерзких, с блатной хрипотцою, первенских петухов.

– Да что же ты раньше на меня не вышел, Валера! – периодически просыпаясь от шума, слышал я возгласы друга. – Прямо завтра позвоню и решим твой вопрос моментально. Мо-мен-таль-но, Валера! Имеются у меня кое-кое связи в ваших краях. Эх, Вал-л-лерка! Друг! Ну, что же ты? У тебя же есть друзья, черт побери, – почему ты не обратился ко мне?

Игорек, изрядно смятый встречей и несколько подутративший лоск, уехал к вечеру следующего дня, однако слово свое сдержал: он позвонил «кому нужно», и папу тут же взяли преподавателем в университет нашего областного центра – то есть в главное учебное заведение целой области! Всё устроилось для отца с почти оскорбительной легкостью, однако пострадавший папа даже не думал оскорбляться. Волшебная рука спустилась с небес, извлекла отца из болотной жижи, в которой он задыхался, пуская предсмертные пузыри, и поместила в академическую среду – для какой, собственно, он и был создан. Расправив истомившиеся в ожидании крылья, отец приготовился к высокому полету. Перед ним замаячила карьера большого ученого, о которой он частенько упоминал и ранее, – особенно находясь в подпитии.

Тогда же случился и еще ряд значимых перемен. Я отправился в первый класс начальной школы. Нам дали, наконец, почти приличную квартиру в настоящем кирпичном доме на Третьем участке – и первенская дикая вольница отступила на время в тень. Маму сделали завучем, то есть вторым, после директора, человеком в педколлективе. Это означало, что под ее началом теперь с десяток сельских учителей, большая часть из которых тут же тайно и явно возроптала, что эта «выскачка» и «без году неделя» вдруг обскакала всех «старожилов», многие из которых годились ей в матери и отцы, а кое-кто и в деды... Но роптать было поздно и бессмысленно: под руководством Ивана Гавриловича, который безоговорочно верил в свою молодую преемницу, мама успела пройти краткий по времени, но емкий «курс молодого бойца», после которого легко смогла держать педколлектив в железной узде. Ложных иллюзий насчет подчиненных она не питала, именуя их «стадом», – однако смысл, который она вкладывала в

это, принципиально отличался от того, что папа понимал под словом «гадюшник». Мама считала «стадо» своим – это было ее любимое стадо, и ей нравилось им управлять. Маме нравилось, что она, стройная миловидная шатенка романтической наружности, не достигшая еще тридцати, подчиняет своей воле большую людскую массу и способна вызывать одинаковый страх и трепет в сердцах как бестолковых учеников, так и нерадивых их учителей.

Интересно, что, сделавшись завучем, она и с папой стала вести себя по-другому. Избиений больше не было, на смену им пришли бойцовские поединки. Понятно, что в схватках этих доставалось маме – но она пыталась давать отпор. Справедливости ради, после того, как папа стал преподавать в университете, всякие семейные ристалища и вообще на время сошли на нет. Для них не было ни повода, ни желания. Этот светлый период папиной (и нашей общей) жизни я определил бы, как «время побед». Отец уезжал в университет рано утром и возвращался уже в сумерках. Трястись в рейсовых автобусах ему, к счастью, было не нужно: бабушка Аня сделала отцу, да и всем нам, роскошный подарок: новенький автомобиль «москвич».

Помню ее приезд к нам: красивая, ухоженная и большая, как завод, которым ей доверили управлять, – настоящей царицей явилась она в нашу глушь, сама восседая за рулем сияющего хромом «москвича», – и привезла с собою всегда окружавшие ее мудрость и мир. Уже на следующий после ее приезда день мы все вчетвером сидели у кухонного стола и лепили пельмени. Эта тоже была традиция бабушки: неспешная, медитативная, под долгие семейные разговоры – напоминавшая ритуал. Удивительно, но пельменями этими она не раз умудрялась примирить отца и мать в совершенно, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Бабушку Аню я любил, хотя и несколько побаивался за ее очевидное совершенство. В моем детском восприятии она в большей степени принадлежала к разряду верховных существ, нежели обычных людей. Каждый из наших нечастых визитов в славный город Ленина становился для меня событием. Да и как еще, если в Ленинграде имелся Гостиный двор с огромным, как отдельная страна, магазином игрушек, а в квартире бабушки – два высоченных книжных шкафа, набитых тщательно подобранной литературой – той самой, на которой возрастал мой папа.

С момента, как я научился читать, шкаф этот обрел для меня свойства сильнейшего магнита – куда более мощного, чем игрушки. Ленинградский шкаф сделался героем моих детских снов, и я ждал и не мог дожидаться, когда мы снова окажемся в городе на Неве. Мне нравилось там всё, и более всего – бабушка, владевшая чудесным

ленинградским миром. Эх, если бы она жила хотя бы чуть-чуть поближе к нам! Детским чутьем я безошибочно понимал, что радиуса регулярного действия ее мудрости достало бы тогда на всех нас, включая папу, – и вся наша семейная жизнь могла бы сложиться по-другому.

В тот раз, когда бабушка Аня привезла нам «москвич», я стал случайным свидетелем ее разговора с отцом. Бабушка как и всегда говорила негромко, взвешенно и спокойно, однако на папу слова ее оказывали странное воздействие: он нервничал и даже шипел, как будто его аккуратно прижигали каленым железом. Разговор был именно «взрослым»; смысл его ускользнул от меня, лишь одна фраза бабушки Ани, с мягким упреком обращенная к папе, запомнилась мне:

– Под лежащий камень и вода не течет, Валерик!

«Лежачим камнем», по определению бабушки, был отец. Однако сделавшись преподавателем университета, папа во всех смыслах воспрял. Он чаще улыбался и шутил, да и с мамой они зажили душа в душу. Воистину, над семейством нашим в ту пору кружили целые сонмы тихих полесских ангелов. В доме зазвучали малопонятные, но оттого особенно значительные слова: «восстановиться в аспирантуре» и «защитить диссертацию».

В коробке с семейными фотографиями я нашел документальные подтверждения тогдашней идиллии: фотографии, запечатлевшие наши совместные, троим, выезды на природу. На фотографиях этих много улыбок – а разве станет улыбаться человек, когда ему плохо? На фотографиях много папы: папа с надувной лодкой, папа с сигаретой, папа с удочкой и вытасненным только что карасем, папа с мамой. Последний снимок сделан кривой детской ручонкой – фотографировал я. На каждом фото обязательно присутствует новенький, блестящий хромом деталей, «москвич» – как символ новой жизни. На фотографиях есть и я – упитанный карапуз в нелепых колготках. Я с удочкой. Я с мамой. Я с «москвичом». Есть даже одна фотография, где я запечатлен с отцом, но только одна: из этого я заключаю, что папа в ту пору всё еще не склонен был меня замечать. И все-таки я выгляжу счастливым ребенком. Да я и был, наверняка, счастлив – отраженным счастьем родителей.

К тому времени моя детская бесполость стала стремительно иссякать. Я ощущал себя всё более и более мальчиком. Собственно, началось это еще раньше, с совсем уж давних визитов с прабабушкой в женскую баню, а с прадедом – в мужскую. Именно тогда зародились во мне первые подозрения в том, что мужчины и женщины – довольно разные существа. Сделавшись чуть постарше и обретя способность соображать, я окончательно определил, в чем именно

заключается разница между ними, и понял, что принадлежу к классу мужчин. Когда-то, в неизвестном, но неизбежном будущем, предвидел я, мне и самому придется жить взрослым мужчиной – и задумываясь, каким же именно мужчиной я хочу стать, я видел четко: таким, как папа!

Что скрывать, в то время я был настоящим сыновним образом влюблен в него: тайно и безответно. Он казался мне самым красивым, сильным, умным и благороднейшим среди всех мужчин планеты Земля. Если лет до пяти-шести текло «время мамы», перемежаемое «временем Дедика» и «дяди Вовы», то после однозначно началось «время отца». Я копировал его голос, жесты, походку; оставаясь дома один, я, случалось, подолгу тренировался у зеркала, пытаюсь достичь максимального сходства с отцом и повторяя десятки раз фразу, которую он после ужина иногда адресовал маме:

– Дорогая, а не предаться ли нам сегодня пороку?

Смысла ее я тогда не понимал – тем более, что и мама реагировала на предложение его непонятным мне образом: как-то по-особенному улыбаясь, она поводила хитро глазами и шутиливо шлепала отца по затылку. Но сам изысканно-утонченный тон, каким отец произносил эти слова, и улыбка его, и общее ощущение недосказанности и какой-то недоступной мне, но хорошо понятной родителям тайны, очень нравились мне. Я так и видел себя взрослым, большим и красивым, как папа, вопрошающим свою собственную жену:

– Дорогая, а не предаться ли нам сегодня пороку?

А она в ответ тоже напускает вечернего тумана в глаза и стучит меня, притворно сердясь, по шее – такой же мускулистой и красивой, как у моего отца.

В то время к нам часто приезжал дядя Вова – а можно ли представить себе больший праздник? В такие дни я был счастлив вдвойне.

Дядя Вова уверенно шел по жизни быстрым размашистым шагом. Человеком он был стержневым и умнейшим. Из инженеров его вскоре перевели в начальники убыточного цеха, и, выкуривая по две с половиной пачки «Космоса» в день, задерживаясь на заводе до полуночи, он за полгода добился того, что цех вышел в передовики. Он умел думать, умел командовать и умел заботиться о подчиненных. При этом он ни к кому не подлаживался; если того требовала ситуация, он бывал резок, настойчив и непреклонен – без оглядки на должности, имена и лица, но в свои двадцать пять пользовался уважением и начальства, и людей. Скоро его приняли в партию – и тут же забрали в райком, такие люди были нужны.

– Ребята, как же я рад вас видеть! – радостно гремел дядя Вова за накрытым по случаю его приезда столом. – А не выбратся ли нам

с вами завтра на рыбалку, с пивом и шашлычками? Лидка, давай-ка еще мне грибочков – ты по ним спец экстра-класса! Валерка, наливай! Витька, притащи сумку – у меня там есть для тебя кое-что.

Дядя Вова буквально генерировал оптимизм, заряжая воздух вокруг себя бодростью и весельем. Даже отец, обычно скупой на улыбки, хохотал при нем во весь свой красивый рот. Интересно, что дядю Вову, который был на девять лет младше его, он всегда уважительно называл «Михалычем», что при папином раздутым самомнении уже говорило о многом. Им было хорошо вдвоем, и я, наблюдая за ними украдкой, восхищался обоими: напористым, шумным, как катер, дядей Вовой, и отцом – более сдержанным и утонченным, напоминавшим, скорее, парусник с элегантными обводами корпуса. Я боготворил обоих, но невольно сравнивая их, все-таки отдавал предпочтение папе. Поводя ноздрями и принюхиваясь, я неизменно обнаруживал витавший вокруг отца запах сытого молодого льва.

Сам факт, что кроме своей влюбленности в отца и старательного ему подражания, я запомнил о тех временах немного, безошибочно свидетельствует о том, что в эти два года мы были именно счастливы. Счастье – ровная, без выбоин и ухабов, дорога, а такая всегда усыпляет. Так уж повелось: боль, кровь и набитые шишки запоминаешь куда сильнее.

КОТ

Да, воистину – в уголке каждого счастья есть притаившаяся слеза, которая рано или поздно прольется.

Однажды, возвращаясь из школы, я увидел во дворе дома наш желтый «москвич» – и удивился: был всего час дня, а папа традиционно приезжал с работы не раньше вечерних девяти. Недоумевая, я взбежал на второй этаж и увидел знакомую по прежней жизни картину: отец лежал на ковре, мертвенно бледный и мертвецки пьяный, глаза были полузакрыты, а белые, как у рыбы, губы повторяли одну фразу:

– Боже, это тупик. Боже, это тупик!

Я сходу понял смысл этого заклинания, попутно подивившись его идейно чуждой сути. Да-да: я рос сознательным октябренком и знал, что веровать можно и нужно только в Него: человека с огромным лбом, мудрым прищуром калмыцких глаз и теплым именем «Ильич», а не в какого-то там баптистского «Боже». Упоминание неправильного бога буквально кричало о том, что у папы стряслась беда.

Кроме того, я знал, что такое алкоголь, прекрасно разбирал его запах и видел, ежедневно и повсеместно, как воздействует он на людей: в нашем поселке не пил разве что мертвый.

Отец был именно пьян вусмерть. Оставалось только удивляться, как он вообще смог вести в таком состоянии машину. Заслышав шум, он кое-как утвердился на локтях, сфокусировал на мне мутный и несчастный свой взгляд и неожиданно трезвым голосом горько произнес:

– Сволочи, подонки и бездари! Зарубили! И кого – гения! Я – гений! Я на десять голов выше любого из них, и они, эти тупицы, посмели меня зарубить! Эти лизоблюды, подхалимы, лакеи и тупицы, эти бездари зарубили гения... Боже – это тупик!

При слове «зарубить» я было испугался, однако отец был явно и очевидно жив, и крови ни на белой рубашке, ни на сером, с искрой, костюме – папином любимом, парадно-выходном, ни на ковре я не обнаружил. Я понял, что «зарубили» его по-другому. Скорее всего, это как-то связано с «защитой диссертации» – словами, звучавшими в последнее время в доме всё чаще.

Недружи «зарубили» его на защите кандидатской диссертации. Папа, живущий в своем идеальном мире, имеющем крайне слабое отношение к действительности, наверняка и помыслить не мог, что существуют люди, настроенные к нему враждебно. Тем более, не мог он даже предполагать, что в высококультурной академической среде, к которой он сам имел честь принадлежать, возможны обман, низость и закулисные интриги. Среду эту он в мыслях своих вознес так высоко, что, неожиданно рухнув с вершин, отбил себе всё нутро.

Была ли диссертация плоха? Уверен, что нет. Возможно, слегка сыrovата и недоработана – при всей своей энергии, при уме и таланте отец быстро остывал и не умел заниматься рутинными делами. Скорее всего, далекие от жизни теоретические построения, бывшие темой его «диссера», в определенный момент показались ему совсем не тем, к чему он стремился, и он так и не смог придать своему труду законченный вид. Полагаю так потому, что впоследствии отец засиял бы во всю мощь именно как прирожденный и талантливейший преподаватель-практик – однако до этого было далеко. Живи отец реальностью, умей он заводить связи, плести интриги, «подмазывать» нужных людей, лстить там, где это необходимо, или бить ножом в спину, где без этого никак нельзя, – и диссертация его в любом виде прошла бы на ура. Но нет, папа был не из таких. Так или иначе, но от жесточайшего удара о твердую землю с его породистого лица слетели розовые очки, и он хотя бы на время стал видеть вещи в истинном свете – и, как понимаю я, глубоко разочаровался в академической среде. Он понял, что это ничто иное, как тот же презираемый им «гадюшник», лишь в изысканных декорациях.

Разумеется, отец не бросил работу в университете. Он по-прежнему читал лекции, проводил семинары, принимал зачеты и экзамены, но без прежнего огня. Он как-то потух, полинял и выдохся. Он снова стал выпивать и часто являлся домой навеселе. Желтый его «москвич» регулярно стали замечать на Первом – униженный и оскорбленный, отец снова потянулся к первенским маргиналам.

В семье возобновились скандалы. По старой памяти отец пытался было «гонять» мать – однако времена изменились. Мама уже не спешила, тоненько крича, спастись бегством, нет! Вооружившись ремнем с тяжелой пряжкой, она пыталась давать отцу отпор и, если он был слишком уж пьян и еле держался на ногах, победа, случалось, даже оставалась за ней. Другое дело, когда отец выпивал ровно в меру и приходил домой взвинченным, резким и злым, имея конкретные намерения напомнить маме, кто в доме хозяин, – тут уж ремень ее был бессилён. Станным и неожиданным для себя самого образом патриархально-домостроевские планы отца нарушил я.

Однажды, когда он явился на «боевом взводе» и, без долгих разговоров, ударил мать, под ноги ему с яростью и отчаянием бросился я – и тут же, получив пинка, отлетел и покатился кубарем. Мать, тем временем, успела закрыться в спальне. Отец долбанул в дверь костистым кулаком, но снова я был рядом и умудрился даже укусить его за мякоть другой руки. Взрыкнув, он коротко матернулся и отшвырнул меня.

– Не лезь, щенок, – бросил он, но меня уже было не остановить.

– Сам щенок! – глупо заорал я, кидаясь на него снова. – Сам щенок! Уходи! Не трогай ее, понял!? Никогда!

Чертыхнувшись еще раз, он ушел на кухню, и я слышал, как льется вода из крана. После хлопнула входная дверь, и быстро застучали шаги по лестнице. Я тяжело дышал. Всё случилось мгновенно, я не успел толком ничего понять. В ту пору, как я уже сказал, отец был моим кумиром, пусть и слегка потускневшим, – с мамой же, напротив, отношения становились всё более сложными. Но случилось то, что случилось, и я знал: в следующий раз я сделаю то же самое.

Впоследствии мне еще не раз приходилось вставать на пьяном его пути, однако со временем всё прекратилось. Отец как-то... повзрослел. Подустал. Он всё реже затевал скандалы. Уверен, была в том и моя маленькая заслуга, но, как оказалось, имелись и другие причины.

Обида, нанесенная ему в тот провальный для диссертации день, никуда не ушла. Вначале она плескалась в нем свободным ядовитым морем, в котором он, терзаясь, не прочь был и утонуть. После, подустав от обжигающей ядом влаги, он перелил обиду в хрупкий сосуд

страдания. С той поры он стал жить осторожнее, стараясь не совершать резких движений.

Мама же никаких внутренних страданий не понимала и не принимала. Если отец всё глубже закрывался в себе, в самом темном подполе своего ущемленного «я», то мать, напротив, жила наружу и вверх. Она обрастала авторитетом, набирала тело, матерела и расцветала в пышную императрицу, укрепляясь в роли всеобщего лидера.

Мама, как выяснилось, обладала несгибаемой волей, мужской решимостью и железной рукой. Все заговоры, зрелище в «стаде» против неё, она вовремя раскрывала, пресекала на корню, беспощадно карала виновных и быстро восстанавливала в коллективе прежний порядок. Привыкнув успешно орудовать кнутом на работе, она начала делать то же самое и в семье, и оба мы – отец и я – внезапно оказались по одну сторону баррикады, в стане потерпевших. Отцу доставалось за пьянство, лень и безынициативность, чреватую малыми заработками (мама зарабатывала вдвое больше отца, чем регулярно его и попрекала), а мне – потому что, по мнению мамы, наступило время заняться моим воспитанием вплотную.

Да, когда я отправился в третий класс, отношение ко мне переменялось. Не знаю, учили ли маму этому на институтских занятиях по педагогике, или то была разработанная ей самолично система воспитания, но, похоже, она свято верила в то, что лучший, самый действенный, да и вообще, единственно возможный метод воспитания – это тотальный контроль с самым широким применением физических наказаний. К девяти годам, по ее мнению, я уже вполне созрел для воспитательного процесса.

Эта перемена в наших отношениях случилась внезапно. До того мама поколачивала меня без особой страсти, и даже кричала на меня довольно редко, – и вдруг, словно по сигналу стартового пистолета, начались крики, муштра, ремень, затрешины, стояние в углу на коленях и прочие варианты силового воздействия. Именно резкая перемена позволяет мне предположить, что мама сознательно реализовывала на мне свои педагогические идеи.

Собственно, детей в нашей глуши лупили все, но уверен: никто не делал этого с такой пугающей методичностью и частотой, как мама. Она как будто задалась целью сотворить из меня идеально послушного маленького робота, начисто лишенного свойственных всякому живому ребенку недостатков. Опоздал на пятнадцать минут с улицы – серия затрецин и полчаса на коленях в углу. Опоздал на полчаса – час на коленях в углу, на горохе. Не идеально пропылесосил к ее приходу квартиру – град оплеух и ремень. Малое пятнышко на одной из вымытых мною тарелок – и снова голова моя гудела от

щедрых маминых ударов. Получил четверку вместо пятерки – уже ставшие привычными затрещины и оплеухи. «Я тебя вымуштрую так, что ты у меня по струнке ходить будешь», – приговаривала с азартом прирожденного педагога мама – и муштровала. В конце концов это вошло у нее в привычку: она стала бить меня не только за совершенные мной провинности, но и «авансом». Это казалось мне особенно бессмысленным и жестоким – да по сути и было таковым. Когда она лупила меня за дело, никаких вопросов, претензий и обид у меня не возникало. Натворил – получи. В этом была железная логика и безусловная справедливость. Ну, а если просто так, без всякого повода? Это отсутствие причинно-следственной связи между преступлением и наказанием сводило весь эффект наказания на нет и превращало его в акт ничем не мотивированного насилия. Желала ли мама добра мне? Безусловно. Хотела ли она воспитать из меня идеального человека? Нисколько не сомневаюсь. Считала ли она, что поступает правильно и всё, что она делает, пойдет мне исключительно на пользу? Абсолютно в этом уверен! Добилась ли она своей цели – нет, нет и ещё раз нет!

– Ты просто злая и не любишь меня! Когда я вырасту, я никогда не буду бить своих детей! – как-то в сердцах выкрикнул сквозь слезы я, на что мама, отвесив мне еще пару оплеух, спокойно заметила:

– Будешь. Будешь, как миленький. Вырастешь – сам же мне спасибо скажешь. Для тебя же, дурака, стараюсь! Запомни: я тебя или убью – или человеком сделаю.

Глотая слезы, я учился «ходить по струнке» и «быть человеком». Я, разумеется, не перестал любить маму – но перестал ее понимать.

Отец морщился, но в «воспитательный процесс» предпочитал не вмешиваться. Он по-прежнему таился в себе, занятый собственными проблемами, заслонившими от него весь мир. Мать к тому времени забрала практически полную власть в семье, и отец, как мне кажется, просто не желал с ней конфликтовать по несущественным поводам. Он нежно, как хрупкого птенца, оберегал свое внутреннее равновесие.

Однажды, правда, он не выдержал. Мать вовсю лупцевала меня ремнем с тяжелой металлической пряжкой, ребром которой неудачно угодила прямо по кости руки, которой я зыкрывался. От боли я вскрикнул, и отец, выйдя вдруг из комнаты, сказал дрожащим от зажатой ненависти голосом, обращаясь ко мне:

– Какого черта ты терпишь? Она же молотобоец! Армейский сержант! Я тебе вот что скажу, Виктор: отвечай ей тем же! Лупи ее, как она лупит тебя! Лупи что есть силы!

Не слушая взлетевших злою стаей криков мамы, он быстро оделся и громыхнул дверью, оставляя поле боя за ней.

И все-таки большую часть времени отец оставался в тени.

Хорошо запомнился один случай. Было мне в ту пору лет десять – возраст, когда мир познается через двор и друзей. В нашей малолетней дворовой компании верховодил тогда Серега Пархом – рыжий, щекастый, наглый и, к тому же, на два года старше меня и моего друга-одноклассника Валика. В силу этого огромного превосходства, мы подчинялись Пархому безоговорочно. И не просто безоговорочно – даже охотно! Все те удивительные, волнующие, а зачастую и запретные вещи, которые нам только предстояло познать, ему уже были ведомы, и он на правах старшего «вводил нас в курс дела», наслаждаясь зрелищем восторженных физиономий. Одной из таких «запретных вещей» стало повешение кота Гоши – жирного кастрата, принадлежавшего Нинке-Страховщице. Нинку ненавидел весь двор. Жила она одиноко и замкнуто, развела в квартире зверинец, и пахло из-за двери ее, как из хлева. Мужчин у Нинки не было и не предвиделось, злые языки поговаривали, что Нинка сношается со своим догом. Ее ненавидели. Ответ этой ненависти падал и на жирного Гошу – и потому дни его были сочтены. Серега Пархом, выступивший инициатором повешения, хвастал, что порешил уже девятнадцать котов, – нам же с Валиком предстояло участвовать в экзекуции впервые.

Гошу, продажную душу, приманили колбасой и увели за гаражи, где всё уже было подготовлено Пархомом для казни. Никогда не забуду, как хрипел и бился в последнем усилии кот, и пена пузырилась и закипала на игольчатых снежных клыках. Пархом, дав коту подергаться в конвульсиях, ослаблял петлю; Гоша обмякал, обвисал и шипел, глаза его были молящи и безумны. Пархом глядел пристально в кошачьи зрачки, смеялся – и снова затягивал петлю. Смеялись послушно и мы – хотя от близкой смерти кошачьего существа бежала отчаянным кругом голова, подташнивало и хотелось, чтобы поскорее закончилось всё.

– Класс? – спрашивал Пархом, передразнивая дерганье кошачьей тушки, и мы с Валиком сплевывали и дружно кивали: «класс»!

Когда Гоша перестал, наконец, подавать признаки жизни, Пархом зашвырнул его ставшую сразу какой-то пустой тушку в угол, привалил мусором, – на этом всё и завершилось, если не считать жалобных воплей полубезумной Нинки, которыми та несколько вечеров кряду вызывала Гошу домой.

А неделю спустя, на пустыре, во время игры в «Квадрат» между Пархомом и мной возникла пустяковая совершенно ссора. Пархом настаивал на своем, и, конечно, привычно настоял бы – если б не камень, которым я запустил ему в голову. Спонтанно, внезапно, сам от себя не ожидая, не целясь и не желая попасть, – и, как всегда бывает в таких случаях, конечно же, попал. Пархом сел удивленно на землю – и

сидел, улыбаясь, щупал круглую, как полная луна, голову, и подносил к самым глазам красные пальцы, не понимая еще, что произошло.

Вечером домой к нам заявила Серегина мать: хромая, с вывернутыми губами медсестра. Отпираться я не стал. При ней же меня отлупила мать, и даже отец, извлеченный из раковины, впервые в жизни выдрал меня за уши – неумело, но больно. После того, как медсестра, отшумев и налюбовавшись на экзекуцию, гроыхнула прощально дверью, мама лупцевала меня еще с полчаса; после исхлестала оскоблениями, застращала карами, удручила прогнозами, поставила на колени и удалилась в опочивальню.

А ночью в мою угловую спальню-пенал пришел отец, которому я, сдерживая рыдания, и рассказал обо всем, в чем не мог разобраться сам. Потому что ничегошеньки не понимал я, хоть убей: откуда камень? Ведь не ссора пустяковая тому виной. Что-то, случившееся раньше, – кот. Жирный кастрат Гоша – но кота ведь было не жаль? Его, разьевшуюся капризную тварь, я не любил так же азартно, как и все в нашем дворе. Получается, из-за кота, глубоко мне не симпатичного, я разбил камнем голову другу, которому смотрел восторженно в рот? Глупость это, и звучит глупо. Так в чем же все-таки причина? Откуда этот чертов камень в моей злой руке?

Всё это – горячечно, сбивчиво, непонятно, через судороги плача – я и прошептал отцу. Выслушав, с минуту помолчав, он тихонько сказал мне, подбирая слова:

– Знаешь, есть в жизни вещи, которые человек не должен терпеть – если хочет остаться собой. Главное, решить для себя крепко-накрепко, с чем ты не станешь мириться никогда и ни при каких обстоятельствах. Это и вообще один из самых важных вопросов в жизни. Решить – и хорошо запомнить. И если уж пришел тот момент, когда мириться нельзя, – не сомневайся! И если нужно – бей первым! Вот только камень, сын – не лучшее решение. Хочешь, я научу тебя боксу? И никакие камни тогда не понадобятся! Хочешь?

Я согласно и счастливо кивнул. Слезы иссушило в секунду – отец сиял рядом со мной жарким золотом! Отец был прекрасен, и был – мой, и я знал, что слова, сказанные им очень серьезно, я буду помнить всегда.

А с Сергеем Пархомом мы помирились – и продолжали дружить еще долго. Вот только котов он больше не вешал, а если и вешал – то не в моем присутствии.

ПЕНТАКТА

Конечно же, про бокс отец наврал. Причем, ни секунды не

сомневаюсь: обещая мне этот так и не состоявшийся мастер-класс по искусству кулачного боя, он был совершенно искренен. Сколько я его помню, в отце жила эта обезоруживающая черта: обещая что-либо, он даже тени сомнения не допускал, что обещание может остаться невыполненным. А если оно и не выполнялось, то по вполне объективным двум причинам: изменились обстоятельства или изменился сам отец. И каждая из причин была уважительной.

Несколько раз я напоминал ему о планах сделать из меня Мохаммеда Али, но у отца всегда находились отговорки, и я, в конце концов, обиделся и планы эти молчаливо похоронил. Так уж получалось: каждый раз, когда, волей обстоятельств, мы оказывались на расстоянии вытянутой руки друг от друга, отец, словно пугаясь этой близости, норовил отскочить, на всякий случай, подальше. Впоследствии подобные «отскоки» мастерски совершал уже я, — но ведь я и был его сыном!

В ту пору, впрочем, отговорки его были вполне обоснованы. Доведенный упреками мамы в малом заработке — деньги в университете были смехотворными — отец решил параллельно подзаработать техническими переводами. Он, кажется, начинал оживать. В глубинах глаз его зажглись маяки, горевшие одинаково ровным и сильным светом. Я тайно ликовал — таким отец нравился мне куда больше. Вскоре в доме появились исключительные, невиданные доселе аппараты: портативная печатная машинка производства Югославии и громоздкий, нескладный, как жираф, проектор для чтения микрофильмов под звучным названием «Пентакта». Вооруженный этими новейшими достижениями прогресса, отец готовился дать бой нищете.

Теперь, вернувшись из университета, отец основательно ужинал (я всегда поражался, как и куда его поджарое по-спортивному брюхо может вместить такое количество еды), «варганил», по его собственному выражению, крепкий чай в личной литровой кружке, которую он почему-то именовал «дусей», закрывался в своем микрокабинете и приступал к священнодействию — именно так я воспринимал его новое занятие.

С «первенцами» и водкой снова было покончено, и мама тут же стала относиться к отцу куда более уважительно — настолько, что, поколачивая меня за очередную мнимую или настоящую провинность, старалась делать это с минимальным шумом. Помню, как она жестко драла меня за уши правой рукой, а левой прикладывала палец к губам: дескать, не вздумай кричать или реветь в голос — не мешай папе работать! Справедливости ради отмечу, что я и не думал реветь. Я вообще отучился делать это, как только понял, что слезам не верят не только в Москве, но и в нашем доме.

Мама в ту пору несколько утратила присущий ей мужской стиль жизни – она временно перекочевала в стан женщин. Так уж она была устроена: когда папа отказывался быть главным в семье, она безропотно взваливала эту ношу на себя и пёрла в гору с завидной прытью, не забывая пнуть между дел копытцем непутевого мужа, но как только в отце снова возрождался «глава», она с готовностью возвращалась к роли послушной жены. Подозреваю, что роль женщины и жены нравилась ей все-таки больше, и многие мужские черты ее характера проявились во всю мощь лишь потому, что в семейном тандеме ей частенько приходилось быть именно мужиком.

Но тогда безусловным главой дома снова сделался отец. В его комнату мне, на всякий случай, входить было запрещено – дабы я не путался под ногами и не мешал отцу работать, а главное, не дай Бог, не сверзил бы со стола крайне неустойчивую «Пентакту».

Однако когда отца не было дома, я пробирался в этот храм высокого знания, чтобы извлечь из книжного шкафа очередное сокровище. Читал я, как никогда много. Странно, что мама, наказывая меня, не пускала гулять на улицу, но ей никогда не приходило в голову карать меня отлучением от книг, а это ударило бы меня куда больнее. Но она, похоже, просто не догадывалась о том – что и к лучшему. Спустя десятилетия я понимаю, что все-таки активно общался тогда с отцом – через книги. Главным книгочеем в семье был именно он, и в шкафу поселялись прежде всего те книги, что сам отец считал стоящими. Поедая содержимое этой сокровищницы снизу вверх (вначале я брал те книги, до которых мог дотянуться без табуретки), я невольно начинал видеть мир глазами отца.

И это был замечательный мир, доложу я вам! Здесь нельзя было спрашивать, по ком звонит колокол, а оружию говорили «прощай!» И снега Килиманджаро сверкали на солнце так, что от блеска их слепило глаза. Здесь на Западном фронте давно не случалось перемен, а после возвращения сразу наступало время жить и время умирать. Здесь гнев вызревал и собирался в тяжелые гроздья, а самые веселые люди жили в квартале Тортилья-Флэт. Здесь в лавке продавались древности, а на ярмарке всюю торговали тщеславием. А над пропастью колосилась рожь, и худшим грехом считалось убить пересмешника. И в лодке всегда было трое, не считая, конечно, собаки, – но как же ее не считать?

Возможно, не все из книг подходили мне по возрасту, но это ничего не меняло: я воспринимал их интуитивно – как, например, музыку «Битлз» на черных дисках, где пели и вовсе на другом языке, но это ничуть не мешало понять: она прекрасна! Кстати, главным меломаном в семье тоже был отец, и любовь к «Ливерпульской чет-

верке», которая жива во мне и поныне, я, выходит, унаследовал тоже от него.

С «Битлз», кстати, связано воспоминание о едва ли не самых последних моих детских слезах – странное, необычное и очень яркое, – как и обо всём, что случается в жизни впервые. Как-то в отсутствие родителей я извлек из коробки с грампластинками одну, до того не попадавшуюся мне: маленькую, исцарапанную вдрызг, с выцветшим желтым яблоком посередке. У нее даже конверта не было, и я сразу представил, какой губительный для ушей треск услышу вместо чистого звука. Но на блеклой желтизне значилось: «Битлз», и название одной из трех имевшихся на пластинке песен – «Across the Universe», – чем-то очень заинтересовало меня.

Я установил диск, запустил проигрыватель – и вдруг сквозь губительные для ушей шумы услышал музыку, удивительнее которой не слышал ни до, ни после того. Только к концу песни я понял, что лицо мое в горячих слезах, и я беззвучно плачу – сам не зная отчего. Я запустил пластинку заново, после еще и еще – каждый раз испытывая всё тот же холод и восторг и заливаясь слезами. Магия, мистика, волшебство... Музыка, сочиненная едким британским парнем, которого уж и на свете-то не было по вине Марка Чапмена, четверть века спустя заставляла плакать советского мальчика в середине Полесских болот. Как такое возможно? Интересно, что другие песни Битлов, при всех их достоинствах, никогда подобного воздействия на меня не оказывали. Магия, что и говорить!

В конце концов я прекратил этот марафон: из школы вскоре должна была вернуться мама, а я не хотел, чтобы она догадалась о моих недавних слезах. Прошло четыре десятка лет, но пережитые тогда мной удивительные мгновения по-прежнему свежи, как будто случились только что. И это чудо, выходит, тоже было подарено мне отцом – пусть и без его прямого участия...

Да, активно познаваемые мной миры манили и затягивали неудержимо. Подобно маленькому, но невероятно прозорливому кроху, я быстро проглотил всё содержимое книжных полок снизу, и теперь, чтобы добраться до еще не читанных мною сокровищ, должен был пользоваться табуреткой. Однажды случилась катастрофа. Маленький глупый я, не удержав равновесие, рухнул на рабочий стол отца, как раз на ту его часть, куда панически боялся упасть даже в мыслях – на алтарь, где установлена была «Пентакта». Как и следовало ожидать, поверженный моей упитанной тушкой злополучный прибор свалился вместе со мной со стола – с не меньшим грохотом и трагизмом, чем тренога марсиан из «Войны миров».

Порезав ногу куском разбитого стекла, я истекал кровью, но

лежал смирно и не чувствовал боли – ужас заморозил все мои чувства. Рядом остывал труп «Пentakты». Я гадал, что произойдет, когда отец вернется с работы и увидит, что я натворил. «Пentakта» была его главной святыней – и эту святыню я только что изничтожил! Должно быть, отец сразу задушит меня – или, на худой конец, выбросит в окно. Или изгонит навсегда из дома, как это однажды случилось с Айвенго. Я ощупывал края раны, машинально слизывая теплую кровь, и молча тосковал. В таком положении меня и застала вернувшаяся с работы мама. Она быстро и ловко обработала рану, обещая при этом «исполосовать» меня ремнем вусмерть, как только нога заживет. Мимоходом она все-таки угостила меня парой средних подзатыльников.

С ужасом ожидал я возвращения отца, и, когда скрежетнул в замочной скважине ключ, я предпочел бы, кажется, умереть, чем видеть то горе, в которое вот-вот повергнет его мое страшное преступление! Но папа способен был удивлять: после осмотра места происшествия, войдя ко мне спальню, он присел на кровать – и улыбнулся! Улыбнулся – можно ли такое представить?!

– Как нога – болит? – спросил он. – Но ничего, ничего. Главное, что с тобой ничего серьезного. А порезы заживут. Привыкай: крови и шрамов в жизни еще много будет.

Я не верил своим ушам. Бесконечно малая точка, до размеров которой сжался от страха я, вострепелась, ожила и снова начала расширяться.

Отец потрепал меня по волосам. Рука у него была прохладная и сухая. И родная.

– Запомни, Виктор, – сказал он. – Это всего лишь бездушная железка. Всего лишь вещь. Завтра я отвезу ее своим знакомым-физикам, и они мигом всё починят. Помни: для меня нет ничего важнее, чем здоровье моего ребенка. По сравнению с этим всё остальное – полная ерунда. Ты смотри-ка! Я и не думал, что ты такой книголюб! Хочешь, я посоветую тебе отличные, интересные и подходящие тебе по возрасту книги?

Я хотел. Я снова был счастлив.

«Пentakту» починили. Стол, на всякий случай, отец передвинул в другое место, подальше от книжного шкафа. Книги, кстати, он мне так и не посоветовал, но я и не настаивал. Я продолжал постигать книжные миры самостоятельно – и они были чудесны. И уж куда лучше, чем неприглядная и непредсказуемая реальность!

А реальность таки была – непредсказуемой и неприглядной.

Откорпев за «Пentakтой», отстучав на машинке (и то, и другое было куплено на деньги матери), потратив на всё это три или четыре месяца упорных трудов, отец сдал работу, получил внушительный

переводческий гонорар – и не вернулся домой. Утром не спавшая всю ночь мама собралась уже обзванивать больницы и морги, когда к нам заглянула соседка снизу – всегда, всё и обо всех знавшая баба Таня. По своим каналам ушлая старушка получила информацию о том, что желтый наш «москвич» причален к дому Васи Жука на Первом участке, и там всю гуляют и пьют: при непосредственном участии папы и, похоже, на его деньги.

Похолодевшая мать помчалась на Первый – и вернулась оттуда в ярости и с синяком.

– Когда этот пес нагуляется и приползет, я разобью эту гребаную «Пентакту» на его безмозглой башке. Пусть лучше не возвращается! Хоть бы уж он упился и сдох там, подлая тварь! – мрачно пожелала она, маскируя синяк тональным кремом.

Инсайдерская информация, раздобытая бабой Таней, оказалась чистой правдой: со всей широтой своей аристократичной души отец гулял, легкими утицами отпуская из рук заработанные тяжелым трудом деньги, – а вместе с ним гуляла успевшая уже истоскаться по Валерке-интеллигенту «шайка-лейка». За неделю свирепого запоя с первенскими отщепенцами отец спустил гонорар подчистую, но возвращаться домой не спешил. Подрядив учителя физкультуры с машиной, мама отправилась на Первый снова и на этот раз привезла отца домой – с недельной щетиной на белом опухшем лице, исхудавшего, бессловесного и больного.

Пьянствовал он, разумеется, и раньше, но это был первый настоящий запой, и дался он папе нелегко. Наш мощный борец-физкультурник буквально на себе заволок его в квартиру, и, увидев трясущегося бомжеватого старика, в которого превратился отец, и принюхавшись, я едва не заплакал: от него пахло мышами и склепом, а всякому должно быть известно – это запах близкой беды.

Отца уложили в постель, накрыли верблюжьим одеялом. Он лежал молча, устремив немигающий и неподвижный взгляд в потолок. В глазах его можно было разглядеть всю тоску и боль этого мира. Иногда едва слышным, шелестящим и ломким, как ноябрьская листва, голосом он просил меня принести воды. Вечером ему сделалось совсем плохо. Отказывало всё, что могло отказать, и прежде всего – сердце. Вызывать скорую в нашей болотной глуши было бесполезно – и потому мы с мамой пытались спасти его самостоятельно. Суется и дрожа, я выполнял мамины приказания. Пахло густо и резко лекарствами; окна, невзирая на злую зиму, мы распахнули настежь – ничего не помогало. Отец задыхался; на лоб его – бледный, почти стеклянный – набежала крупная испарина, и был момент, когда мы с мамой, оба и разом, почувствовали, как смерть прошагнула за

нашими спинами, оставив по себе особенный – ни с чем его не спутаешь – запах: водорослей и сырой глины.

У мамы опустились руки. Она даже застонала от бессилия, а я, в отчаянии, не зная сам, зачем это делаю, подбежал к проигрывателю и запустил маленький, затертый вконец диск: зазвучала «Across the Universe», и, хотите верьте, хотите – нет, но после сам отец рассказывал, что именно эти звуки выдернули его из небытия.

Боль и страх пахнут резче и запоминаются сильнее. Вот он и запомнился мне, этот момент: отец открыл глаза, в них птенцом-подлётышем бьется заново рожденная жизнь; он плачет, и я плачу, и плачет мама – плачем мы все и, обнявшись, снова любим друг друга и на крохотном звездолете под названием «Семья» летим через просторы Вселенной.

УХОД

А потом он ушел.

Не то чтобы это случилось сразу. Отец продолжал ездить в университет; он, как и прежде, сидел за переводами – «Пентакту» на его голове мама разбивать всё же не стала – и временами даже доносил переводческий заработок до наших пенатов... По установившейся с определенной поры традиции раз в три месяца он уходил в запой с последствиями различной тяжести... И точно так же, как прежде, он не особенно дарил меня своим вниманием... Иными словами, всё шло тропой опостылевшей рутины, если не считать того, что он зачастил на какие-то «курсы повышения квалификации» и, случалось, отсутствовал дома по две недели кряду.

А потом случился тот самый звонок. Да-да, самый настоящий телефонный: к тому времени в квартире нашей появился телефон, раздвигая границы доступного мира. Стояло бабье лето; на огородах сжигали ботву, и в вкусно пахнущем дымком воздухе повсеместно плавала веселая паутина. Отец как раз «повышал квалификацию»; я только что был наказан за то, что не успел почистить картошку к маминому приходу – и, ощущая легкий шум в голове от ее затрещин, исправлял оплошность, привычно негодую внутри. Мама курила у себя в спальне: боролась с лишним весом.

Как раз в это время и позвонили.

Звонившей оказалась любовница отца – машинистка из бюро переводов, на квартирке которой, как выяснилось, отец и проходил «повышение квалификации». Голосом вкрадчивым и весьма интеллигентным любовница-машинистка за один лишь час умудрилась рассказать маме бездну интересного. Выяснилось, что отец маму

совсем не любит и давно тяготится браком – лишь врожденная порядочность и некоторая мягкотелость не позволяют ему открыться и расставить все точки в нужном месте. На деле настоящая семья, где Валерию комфортно, покойно и хорошо, – это она, машинистка, и ее четырнадцатилетняя дочь, с которой, кстати, «Валерий чудесно ладал», и девочка «уже зовет его папой». Машинистка, по ее же словам, решила «не тянуть кота за хвост» и форсировать события.

– Мы с вами взрослые, цивилизованные люди, – философски заметила она. – И я абсолютно уверена, мы найдем возможность разрешить нашу общую проблему мирным путем. Вы дадите Валерию развод. Он женится на мне. Я совсем не против, если время от времени он будет видеться со своим сыном – Колей, кажется, или Витей, – если, разумеется, пожелает.

Мама, ошарашенная услышанным, позволила себе усомниться в правдивости слов машинистки, но та, не чинясь, назвала адрес, чтобы мать могла убедиться во всем самолично – «да хоть сегодня или прямо сейчас, если угодно».

Маме было «удобно». Машинистка плохо знала мою мать, по-настоящему бойцовским характером которой я всегда восхищался – как восхищаюсь и сейчас. Мигом подрядив учителя физкультуры с машиной, мама выехала по адресу и убедилась, что всё – горькая правда. Машинистка, самолично открывшая маме дверь, охотно провела ее в спальню и не без гордости предъявила храпевшего похмельно отца – после чего мама закусил губу и без лишних слов устроила там бойню. Крепко досталось взятому с поличным отцу, перепало и разлучнице: у нее мама умудрилась выдрать целый клочок бесцветных волос, которые зачем-то привезла потом домой: в качестве своеобразного трофея, что ли. Не пострадала только девочка, да и то потому лишь, что отсутствовала.

И все-таки удар был слишком жесток. В тот вечер мама впервые напилась – в сплошную и горькую одиночку, и это было только начало ежевечернего, долгого, приправленного алкоголем и пустотой, женского одиночества. Помню, как жалел я ее, слушая проклятия в адрес «тощей лахудры». Да, удар пришелся и на маму, и на меня. Лишь позднее я осознал в полной мере, что в был тогда зеркальным отражением отца – крохотным, потому что зеркало находилось слишком далеко. Я читал его книги, слушал его музыку и смотрел его фильмы. Я восторгался актерами, которые нравились ему, – а другим, которых он недолюбливал, готов был перекусить глотку своими маленькими, слегка подпорченными шоколадом зубами. А всё почему? Потому что он был моим отцом – то есть самым сильным, умным, смелым и красивым мужчиной на Земле и в ее ближайших окрестностях. Он был моим,

исключительно моим и только моим – так наивно полагал я. А в то самое время другая девочка называла его «папой» – и он, похоже, ничуть не возражал! И ему, скорее всего, даже нравилось это!

Поступок отца я считал настоящим – и самым подлым – предательством. Уже тогда уши отца начинали недвусмысленным образом вытарчивать из моего детского естества: я вырос таким же завзятым максималистом, каким вырос и жил он. В конце концов, отец сам сказал мне когда-то: «В жизни есть вещи, с которыми ты не должен мириться никогда». С его чертовой машинисткой и ее дьявольской девочкой я мириться не собирался – никогда и ни при каких обстоятельствах.

Когда отец приехал забрать вещи, мама была на работе, а я не стал с ним даже здороваться. В ответ на приветствие я просто промолчал. Он ходил по квартире, открывал шкафы, выдвигал ящики, сваливал одежду в раззявленное нутро зеленого, как аллигатор, чемодана, с которым ездил на «курсы повышения квалификации»... Он решил сменить майку и я, бросавший на него вороватые взгляды, не мог не отметить, как красив его атлетический торс, – но это лишь вызвало во мне дополнительный всплеск угрюмой ненависти.

– Витя, я ухожу. С твоей мамой мы не можем больше жить вместе. Это мучение и для меня, и для нее. Сейчас ты не понимаешь, но после обязательно поймешь. Да, между взрослыми людьми такое случается. Если захочешь, и если мама не будет возражать, мы будем встречаться с тобой, хотя бы раз в неделю, – сказал перед самым уходом он. – Ты не против, если мы будем видеться с тобой?

Снова я вспомнил девочку, которая звала его «папой».

– Против, – сказал я. – Против. Я не хочу с тобой встречаться! Никогда.

Отец вздохнул и ухватился за ручку чемодана. Вспученная зеленая туша его теперь напоминала аллигатора, только что проглотившего что-то непомерно большое – явно большее, чем он в состоянии был переварить. Я знал, что слова, сказанные мною отцу, жестоки, но мне нравилось быть жестоким. Мне хотелось, чтобы и ему стало больно.

КАТАСТРОФА

Мы не виделись с отцом целых два года: я обижался, он, честно сказать, на наших встречах не настаивал. Был, правда, единственный раз, когда мы собрались втроем: папа, мама, я – на кладбище, где хоронили разбившегося дядю Вову. Никогда до того отец не был таким омертвевшим – впрочем, как и мы с мамой. И чувство у нас

тогда было общее, одно на всех, – когда мы, обнявшись, плакали у могилы дяди Вовы, – ощущение холодной и глупой несправедливости неба, допустившего то, что случилось. Тогда, под проливным дождем, который, кажется, задумал смыть всю землю, нас сплავила воедино общая беда, и каждый из нас понимал: мир без Вовки, дяди Вовы, Михалыча никогда уже не будет прежним.

Отец, прощаясь, впервые пожал мне руку как взрослому, – и ушел за сплошную завесу воды.

После он иногда звонил, и мы беседовали, но в воздухе носилась недосказанность. Так бывает, когда собеседники дружно и по умолчанию стараются избегать болезненных тем. Это будто отправиться за хлебом после дождя и прыгать через сплошные лужи на асфальте, чтобы не замочить ботинки: прыгать-то можно, а если исхитриться – и ботинки останутся сухими, вот только попадешь ли в хлебный? Мы с отцом не попадали.

– Как мама? – неизменно спрашивал в конце разговора он.

– Нормально, – коротко, не вдаваясь в подробности, отвечал я.

Однако на деле всё было как раз «ненормально».

С той поры, как отец поменял семью, мама взяла привычку попивать в одиночку по вечерам. Понимаю, что таким образом она пыталась заглушить одиночество, но во хмелю она делалась особенно агрессивной, а единственным подходящим объектом, на который агрессию эту можно было излить, был, разумеется, я. Она уже не жаловалась мне на подлого папу, но запиралась после работы у себя в спальне, звенела стеклом и накачивалась спиртным до упора. Интересно, что долгое время об этом никто даже не подозревал – у мамы было удивительное умение восстанавливаться уже к утру следующего дня и выходить на работу в идеальной форме.

Да, утром она неизменна восседала на коне, но вечера были ужасны. Достигнув определенного градуса опьянения, она выходила из спальни и, если я был дома, начинала по давно сложившейся традиции шпынять меня почем зря, до рукоприкладства. Именно так: ровно до четырнадцати лет мама продолжала делать из меня «человека», по тому же лекалу и теми же методами, что и на заре «воспитательного процесса». Она не замечала или не считала нужным замечать, что я расту и меняюсь. «Рукоприкладную» свою привычку она перетаскала в школу, где запросто, по-семейному, могла треснуть меня по башке перед одноклассниками – но я-то, вот беда, уже не был девятилетним ребенком!

Алкоголь изменял ее до неузнаваемости. Когда по вечерам она, напившись, принималась лупить меня, я видел перед собой совершенно чужую, вздорную и злую пьяную бабу, не вызывавшую во мне

ничего, кроме отвращения. Я ее и трезвую-то давно перестал понимать, а уж пьяную и подавно.

В голливудских фильмах из детей, прошедших такую школу семейного воспитания, получаются серийные убийцы, канныбалы и сексуальные маньяки. В жизни из таких затурканных и забитых детей тоже нередко получаются сексуальные маньяки, канныбалы и серийные убийцы. Когда я вырос, я не стал ни серийным убийцей, ни сексуальным маньяком. Я никого не съел. И я выполнил данное маме обещание: обзаведясь семьей, я не тронул пальцем своих детей.

Лет в четырнадцать, когда мама в очередной раз стала избивать меня, я ей ответил – и случилась катастрофа: я сломал ей два ребра. Помнил ли я о сказанных однажды отцом словах: «бей в ответ, чтобы она отучилась распускать свои поганые руки»? Не знаю. Не думаю. Да и вряд ли это что-то меняет. Этот поступок был самым ужасным из всех, что я совершал в жизни, а грешил я, поверьте, немало.

Да, да... Всё произошло неожиданно, кратко, мгновенно; она замахнулась в очередной раз, а я, не успев осознать, что делаю, ударил ее в ответ, а после – еще и еще... Увидав что-то нехорошее в глазах моих, она побежала к своей комнате, заперлась там и затихла... Потом куда-то звонила, говорила что-то, мешая речь со слезами... Я слышал голос ее сквозь стену, но слов разобрать не мог.

Я не знал еще, что с ней, но помнил, как она испугалась, и помнил, что несколько раз ударил ее очень крепко. Я почти уверен был, что там, внутри, за мягкой оболочкой ее тела, что-то хрустнуло и поддалось под моим злым кулаком. А еще я помнил, что в этот, почти неуловимый по краткости, миг, когда ненависть и ярость прожгли мое нутро и выплеснулись наружу, я был почти счастлив – и это было непонятней, ненормальней и страшнее всего.

Забившись в свою комнату, забравшись в самую глубь дрожащего себя, я пытался понять, что произошло. Когда и как я утратил контроль, и что со всем этим делать дальше? И как вообще может быть это «дальше», если я сотворил такое? И почему я не умер там и сразу же? Если бы тогда в комнату ко мне явился взвод автоматчиков и расстрелял бы меня прямо на месте – я кажется, был бы им благодарен, настолько странно, невозможно и страшно чувствовал я себя тогда. Но автоматчиков не было – а как бы кстати они пришились!

Потом хлопнула входная дверь, кто-то прошел в ее комнату, и снова глухо заговорили – теперь уже двое. Стучали дверцы гардероба, затем щелкнул замок входной двери, и я почувствовал, что остался в квартире один.

Я прыгнул к окну и увидел, что отец (я сразу узнал его со спины) аккуратно ведет маму под руку в направлении желтого «москвича»,

который не появлялся в нашем дворе уже два года. Мама шла неуверенно, с постоянным наклоном вправо, и сердце мое оторвалось и упало. Вдруг я повредил что-то важное ей, и она умрет? Или останется на всю жизнь калекой – по моей вине? Ад заслуженно обрушился на меня, и более страшных трех или четырех часов в своей жизни я точно не припомню.

Вернулись они уже вечером. Мимо воли я ловил каждый звук, и по очень медленным, с остановками, шагам на лестнице сходу понял – они. Щелкнуло сталью замка, я слышал, как они прошли в спальню, а потом, минут десять спустя, в мою дверь тихонько постучали.

– Витя, открой, надо поговорить! – услышал я голос отца, и пошел обреченно открывать, готовый ко всему.

– Что с ней? – выпалил сходу я, и отец, присев на кровать и чуть помолчав, ответил:

– Два ребра сломаны. Придется ей на больничном побыть какое-то время. Да-а-а. Да-а-а. Что же мы все делаем?

Еще до его ухода, говоря о маме, мы взяли привычку называть ее «она» – если миром и не пахло, или «наша мама» – в периоды относительного затишья.

Я видел, что отец обескуражен, растерян, удручен, и, как показалось мне, ощущает себя виноватым. Он – себя! Я готов был принять любое наказание, потому что сам себе никакого оправдания не находил, как не нахожу и сейчас. Если бы он вошел и сразу, с порога, врезал мне от души и повторил бы это раз двадцать – я даже не пикнул бы. Я заслужил любое наказание. Но виноватым явно чувствовал себя он, вот в чем штука! К такому я, честно сказать, готов не был – и стало мне оттого еще горше. И в то же время кусающее и грызущее одиночество, в которое поступком своим я загнал себя сам, вдруг ослабло и отступило. Несмело, неверяще, но ощутилось: я – не один. Даже сейчас, при невозможных этих обстоятельствах – я не один. Я не один – у меня есть отец. Все обиды мои разом свалились в Ниагару. Мне хотелось обнять его и заплакать – жаль, уже давно я не умел ни того, ни другого.

Отец помолчал еще, а после продолжил – осторожно, как будто щупая ногою холодную воду в реке:

– И ты должен все-таки помнить, Витя: она – твоя мать. Конечно, терпеть побои невозможно, я давно, много лет назад, просил ее прекратить это варварство. И потом – от нее ведь перегаром пахнет, или мне показалось? И давно она так? И часто? Вижу-вижу – часто и давно. Ох, дела... Но я говорил с ней сейчас о том, что случилось. Надеюсь, теперь всё изменится.

В голосе его я слышал, однако, сомнение.

– А если нет, если опять она будет пытаться продолжать в том же духе – ты просто уходи из дому, и всё! Я прошу тебя, Виктор: уходи, дай ей перебеситься – а потом возвращайся. Контролируй себя. А то это черт знает к чему привести может. Вы просто убьете друг друга когда-нибудь! Я забрал бы тебя к себе прямо сейчас, но нет пока такой возможности. У самого сложные обстоятельства...

– Да, – сказал я. – Да. Я понимаю. Понимаю. Обстоятельства. Ладно, я буду уходить, в случае чего. Сам не знаю, как такое случилось сегодня. Я не мог больше терпеть. Не смог. Но она же не прекратит!

– Прекратит, – сказал он. – Думаю, что скоро смогу забрать тебя к себе. Вот улажу тут кое-что – и заберу обязательно. Всего ничего подождать осталось, месяц-другой. Сниму хорошую квартиру, и будем жить с тобой вдвоем. А там и купим по квартире – тебе и мне. У меня сейчас дела очень хорошо идут в финансовом плане. Скоро, совсем скоро я начну зарабатывать кучу денег, и мы мгновенно все вопросы решим.

Про свою новую семью он не сказал ни слова, а спросить я не решился.

Мы немного помолчали вдвоем, после он уехал. Из окна я смотрел вслед желтому «москвичу», пока тот не скрылся за углом, – и не верил, что в этом мире кто-то может смеяться и быть счастливым. За стеной лежала в постели мама. Ощущение было таким, что кто-то умер сегодня, оставив всех в тяжком недоумении: что делать и как жить дальше?

Дальше, дальше... Три месяца мать просто не замечала меня. А потом... мало-помалу мы с ней все-таки помирились. Наступил день, когда она заговорила со мной, – впервые после случившегося. Наступил другой – когда она впервые мне улыбнулась. Мы будто встретились с ней после долгой разлуки – и осторожно привыкали друг к дружке вновь, настороженные и готовые ко всему. Снова, теперь уже с ней, «прыгали через лужи». Так или иначе, но после случившегося к «воспитанию» мама больше не возвращалась. Что-то в ее отношении ко мне необратимо переменялось. Но уже тогда я понимал, что есть вещи, исправить которые нельзя, и то, я что сделал, останется со мной навсегда. В непроглядном мраке случился лишь один светлый момент: вернулся отец.

ПРИБЛИЖЕНИЕ

Говоря «вернулся», я не совсем точен. Речь, разумеется, идет не о его возвращении в семью и, уж конечно, он не забрал меня к себе

через месяц, как обещал. Но я снова знал, что отец у меня есть, – пусть и где-то там, за пределами ежедневной видимости. Он по-настоящему поддержал меня в тот невозможный момент, вот что важно. А что до обещаний... Мама рассказывала, что еще в студенческую пору у отца было прозвище «Обещалкин»: как раз за эту щедрую привычку обещать – и тут же забывать об обещанном. Так и здесь: он сказал «месяц-другой», но мне понадобилось закончить школу и поступить в университет, из которого отец к тому времени успел уже уволиться, чтобы, наконец, произошли кое-какие подвижки в этом направлении.

Наступил славный 1992-й. Союз только что развалился. Мы, не сдвинувшись с места, поменяли страну и жили теперь в Республике Беларусь, в которой странным образом ничего не было: ни денег, ни товаров, ни производства. Школу я закончил с медалью, причем, самой золотистой из всех, а это означало, что в университет я фактически уже принят. Тем не менее, отец, обожавший подчеркнуть собственную значимость, зашел к ректору перекинуться парой слов на мой счет и закрепить факт моего поступления окончательно. Ректора в разговоре со мной он называл по имени-отчеству, как близкого знакомого.

– Андрей Андреич-то? Да ты знаешь, сколько мы с ним спирта перепили, когда он еще деканом физфака был! – многозначительно подмигнул он и ушел, велел мне дожидаться в скверике на скамье.

Я ждал, радуясь и тоскуя. Я хотел в университет – и боялся его одновременно. Накануне, когда мы договаривались с отцом по телефону о встрече, он снова пообещал, что с начала моего студенчества я буду жить с ним. Вот я и гадал: выполнит обещание или опять соврет? Имелась и еще одна загвоздка: мне боязно было оставлять маму одну. Дело в том, что в светлое время суток она, конечно, была могущественным директором большой школы, державшим всех по-прежнему в железной узде, однако домашнее ее пьянство по вечерам делалось всё непотребнее и опасней. Ее странная жизнь, разбедненная на две не соприкасающиеся стороны, необратимо поворачивалась к худшей. Мама стала гораздо быстрее – и гораздо сильнее – напиваться, а напившись, намертво засыпала в постели с сигаретой, и несколько раз я едва успевал потушить пламя.

Наутро она с трудом вспоминала случившееся, была мрачна и ворчлива, и я видел, что ей тяжело, что она страдает, однако вечером всё неизменно повторялось вновь. Пусть бы она нашла себе какого-нибудь мужичка, думалось мне иногда. Мне было почти семнадцать, и я уже допускал мысль о том, что взрослые люди расстаются и сходятся.

Но мама никого искать не желала, хотя была еще молода и по-прежнему хороша собой. Да, она располнела, я бы сказал, «заматроне-ла», но в наших краях это всегда считалось скорее достоинством, чем недостатком. Мне почему-то казалось, что когда этот гипотетический «мужичок», новый избранник ее сердца, появится, мама сразу бросит пить. Но никто так и не появился, и потому оставлять ее одну я побаивался.

– Вот и всё! – углубившись в мысли, я и не заметил, что отец вернулся. – Дело в шляпе! Достаточно было того, что Андрей Андреич увидел меня. «Вале-е-ера! Какие разговоры!» – одна минута, и дело в шляпе! Так что, Виктор, цени – отец у тебя со связями!

Я улыбался, глядя, как он изображает декана. Пожалуй, из него и вправду мог бы получиться хороший актер.

Он присел рядом, и мы закурили.

– А вот что я вам скажу, ваше-величество-без-пяти-минут-студент, – начал он вдруг шутливым тоном.

Я украдкой поглядывал на него. Отец был в прекрасном расположении духа, энергичен, по-прежнему очень спортивен, хорошо одет, явно доволен собой и окружающим миром. На него заглядывались пробегавшие мимо студентки. На меня никто не заглядывался. Мне снова хотелось быть таким, как отец.

– Вот что я сейчас подумал. Раз уж ты теперь вступаешь в самую счастливую пору жизни – а студенчество и есть самая счастливая пора, не пожить ли тебе со мной? Не надо будет каждый день мотаться туда-сюда, да и поинтереснее всё же в городе, особенно молодому человеку. Культурная жизнь, опять же – театры, музеи, выставки, концерты... Да и вообще... Ты как относишься к моему предложению?

– А как твоя семья? Ты имеешь в виду, пожить вместе с тобой и с ними? – спросил я, наконец, о том, о чем мы предпочитали с ним не говорить.

– Какая семья? – искренне удивился он. – А, это... Всё давно уже в прошлом. Не получилось там никакой семьи, да, собственно, и не планировалось. Одна дура что-то себе там нафантазировала, а другая, уж прости, что я так о нашей маме, – ей взяла и поверила. Не-е-ет, этот эпизод давно в прошлом. Да и тебя я не стал бы звать к каким-то незнакомым тебе людям! Пожить со мной вдвоем – вот о чем речь. Ты и я. Я сейчас на съемной квартире живу, но с перспективой вот-вот купить ее у нынешнего хозяина. Дела идут так замечательно, что я вправе предполагать: это случится совсем скоро. Квартира хорошая, большая – там и для тебя комната найдется. Хозяин – человек интеллигентный и тихий. Выпивает немного, но кто без греха? Так как, согласен?

– Я-то согласен, вот только не знаю, можно ли маму оставить одну, – сказал я.

– Что, продолжает квасить? – спросил отец, как будто сам не знал, как дело обстоит. Я знал, что мама часто звонила ему в последнее время, и именно по вечерам. – А хахаля себе никакого не завела? – быстро и как будто невзначай поинтересовался он.

– Нет, – вздохнул я. – Нет у нее никакого хахаля. А лучше уж был бы, что ли!

Мне показалось, что мои слова о «хахале» его несколько поколебали. Он нахмурился и даже дернул характерно шеей.

– Ладно, ладно... Ты на этот счет не переживай! – подытожил он. – Свожу ее к знахарке одной. Есть тут потрясающая женщина, в глуши, в деревне дикой живет. А помогает так, что официальной медицине и не снилось! Со всего Союза к ней едут. Мне один хороший знакомый посоветовал. Ну, у меня-то, ты знаешь, никогда проблем с алкоголем не было (я усомнился, но, соглашаясь, кивнул). Мне, в отличие от слабаков, достаточно собственной силы воли, чтобы «завязать» раз и навсегда. Так вот, ездил я к этой колдунье спину подлечить – и решил заодно и тему спиртного закрыть – так сказать, в профилактическом режиме. Ну, что... Пошептала она, травки дала – и я эту поганую отраву просто возненавидел! От вида одного воротит. Нашу маму к знахарке и свезем, та мигом ее от зависимости избавит! Всё, одним словом, будет замечательно. Таким образом, решено, Виктор: с осени живешь со мной!

– Здорово, договорились! – сказал я, сдержанно улыбаясь. Предаться восторгу заранее, зная отца, было, по меньшей мере, глупо.

Но пришла осень, а вместе с нею и чудо: отец сдержал обещание, и мы стали жить вместе.

БИЗНЕС

В то время отец переживал свою золотую, без преувеличения, пору. Эту эпоху папиного бытия можно озаглавить «Время обретения себя». Он действительно нашел себя; вылупился, наконец, из яйца ожидания, оперился и встал на крыло – прежде всего в работе. Ведь что было раньше? Университет давно обратился в постыльную рутину и давил отца всё сильнее; карьеру делать он не умел, а сама работа... Иныза в те времена при нашем университете не было, а велико ли счастье преподавать английский на непрофильных факультетах, где студенты мало интересовались тем, что от них и не требовалось. Преподавание велось по советским программам, советским учебни-

кам да по советской методике – к чему папа, как истый интеллигент, большой поклонник Солженицына и Шаламова, всегда испытывал подсознательное отвращение. Ни о каком творчестве речи не шло, а ведь отец считал себя прежде всего человеком творческим, склонным к постоянному фонтанированию и импровизации... Потому и томился в университетских застенках, потому и покинул их без малого сожаления, тем более, что платили в ту пору преподавателям деньги даже не смешные, а попросту оскорбительные...

Сбежал отец, однако, не в пустоту, – он имел вполне определенные планы и цели. Как раз в начале девяностых в Москве открылась Авторская школа Шехтера, где преподавателей иностранных языков с классическим инязовским образованием переучивали и готовили для преподавания по разработанному профессором Шехтером эмоционально-смысловому методу.

Не вдаваясь в подробности самой методики (она жива до сих пор, и всякий желающий легко найдет гору разноречивой информации по ней в том же Святом Гугле), должен отметить: в свое время она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Это была методическая революция! Это был прорыв! Никакой грамматики. Никаких чертовых правил – ребенок, осваивая родной язык, сразу учится говорить, а потом уже узнает о каких-то правилах. Никаких домашних заданий и зубрежки, этой опостылевшей еще в школе скукотищи. Вся работа только в аудитории – четыре академических часа интенсивных ежедневных занятий в группе, в атмосфере творческой, непринужденной и веселой, – и через месяц первый цикл в 100 академических часов освоен.

К концу курса человек, за школьные годы с трудом освоивший «My name is...», вдруг начинал, выражаясь на ученом жаргоне, «заниматься речепорождением» на чужом языке, причем делал это с удовольствием! Да, всё еще с невероятными ошибками, да, вкривь и вкось, – но он, черт побери, упрямо рождал эту самую иностранную речь, – что и требовалось доказать! Второй сточасовой цикл должен был эти навыки закрепить и развить, а третий – выпустить в свет людей, владеющих иностранным языком едва ли не в совершенстве. Так, во всяком случае, всё это выглядело в теории и обещалось в рекламных проспектах.

Впоследствии появились десятки подобных методик, созданных учеными, околоучеными, псевдоучеными, а то и вовсе откровенными жуликами, однако метод Шехтера был одним из первых, и отец мой сделался самым горячим его адептом.

Прознав о революционной Авторской школе, папа занял немалые деньги у бабушки Ани, отправился в город трех сестер и прошел у Шехтера полный курс стажировки, после чего закупил все необхо-

димые учебные материалы и истинным посланником лингвистического света и методической истины вернулся на родину укоренять эмоционально-смысловой метод на белорусской земле.

Скажу без всякого преувеличения: время то было самым «окрыленным» в жизни отца. Работа «по Шехтеру» давала ему всё, что он так любил: свободу, возможность импровизации и хорошего заработка, – и была избавлена всего, что он так ненавидел: от контроля, скуки, рутины и нищеты. Да, отец не любил нищету. Ее и вообще сложно любить. А ведь в те времена, как я уже сказал, зарплата рядового преподавателя вуза в Беларуси составляла полсотни долларов в месяц – можно ли представить что-то более унижительное?

Поднапрягшись, отец развил бурную деятельность. К тому времени, когда я стал студентом и поселился с ним на съемной квартире, он арендовал большую аудиторию в Школе машинистов, вел две группы, был известен, успешен и весьма доволен собой. В прессе и на местном телевидении постоянно крутилась реклама его лингвистического бизнеса, и желающих приобщиться к английскому языку становилось всё больше.

Железный занавес проржавел, и сквозь дыры в металле можно было разглядеть чудесный, недоступный ранее мир – и даже в него поехать. И, возможно, даже остаться там. Но для того, чтобы комфортно чувствовать себя в новом, пугающем и манящем одновременно мире, требовалось владение языком. Язык перестал быть абстракцией и обрел статус оружия, орудия и инструмента. Люди записывались к папе в очередь на месяцы вперед, и он радушно принимал всех.

Как я сказал уже, в ту пору мы с отцом кочевали по съемным квартирам, арендуя их преимущественно у высокоинтеллигентных, но как-то не нашедших своего места в новой постперестроечной реальности, людей. Все они, без единого исключения, были тихими, но упрямыми алкоголиками, и каждого папе советовал кто-нибудь из «хороших знакомых», намекая на то, что деньги за аренду просто спасут этого достойнейшего человека от голодной смерти.

Отец, при всей своей тогдашней нелюбви к алкоголикам, не мог, разумеется, отказать; поставленный таким образом вопрос лишил его всякой возможности это сделать. К квартире естественным образом прилагался и сам хозяин, которому просто некуда было идти и который обещал вести себя в высшей степени тихо, трезво и незаметно. Папа морщился, но соглашался. Он не мог допустить, чтобы «достойный человек» умер от голода по вине его, отца, чрезмерной разборчивости. Хозяева (как правило, спившиеся физики и химики, в прошлом – преподаватели вузов и сотрудники НИИ) поначалу действительно вели себя тихо и «достойно». Однако очень скоро квартплата, кото-

рую папа, любивший размах, вносил щедрой рукою и на несколько месяцев вперед, начинала самым развратным образом воздействовать на их неустойчивые умы. Интеллигентность оставляла их, а прежнее созерцательно-умеренное пьянство в одиночку, обусловленное лишь отсутствием денег, уступало место шумным и веселым попойкам в компании окрестных маргиналов обоего пола.

Поскольку это являлось вопиющим нарушением устного джентльменского договора об аренде (никаких компаний, пьянок и оргий), отец искреннее и бурно негодовал, отчитывая седых и безмозглых научных сотрудников, как малых детей, грозя им немедленным уходом. Хозяева каялись, плакались, глядели на отца полными страха, преданности и обожания глазами, напоминая похмельных псов; хозяева обещали немедленно исправиться, и папа давал им «последний шанс». Но, увы, исправить ничего было нельзя; слабых духом деньги низводят в ад. Хозяева пили всё больше – и всё больше утрачивали чувство реальности. В ответ на очередные упреки папы хозяева даже позволяли себе несмело с ним пререкаться, – правда, каясь с утроенной силой и списывая вину на пьяный угар. Они, сколько я их помню, были на редкость одинаковы, как однойцевые близнецы. Отец мрачнел и суровел, начиная созревать для жесткого, но единственно верного решения. В конце концов в спальне очередного хозяина поселялась какая-нибудь тощая девица преклонного возраста и начинала затевать еженощные пьяные скандалы, пугая нас с отцом поутру своим присутствием на той же кухне или в ванной, – что окончательно выводило папу из себя. Он орал на хозяина и объявлял в финале о нашем немедленном отъезде. Под неразборчивозлобное бормотание оскорбленного в лучших чувствах хозяина мы собирали вещи, сносили их в наш верный, но уже наводящий на мысли об автокладбище «москвич» и перебирались на квартиру к очередному бедолаге, тем спасая его от голодной смерти.

Может возникнуть закономерный вопрос: чем терпеть все эти мытарства, не разумнее ли было отцу купить собственное жилье? Всего-то три-четыре месяца работы по методу Шехтера – и уже можно было звать гостей на новоселье. Тем более, что и сам отец постоянно выказывал такое намерение. Покупка эта всегда должна была случиться «вот-вот, в ближайшие две недели», но так и не состоялась. Почему? Ответ парадоксален и прост: у отца никогда не было денег. Но как же!? – воскликнете вы. Как же эти толпы жаждущих учиться по методу Шехтера? Как же эти наполеоновские позы довольного отца, когда он, расхаживая по кухне очередной съемной дыры с неизменной «дусей», внезапно останавливался и восклицал:

– Виктор! Людей, которые зарабатывают в Беларуси столько же, сколько я, можно пересчитать по пальцам! Чтобы ты знал, Виктор, зарплата у меня ровно в сто пятьдесят раз больше, чем у какого-нибудь ничтожного учителяшки из средней школы! Или у не менее ничтожного преподавателяшки вуза. Разумеется, все мои бывшие коллеги уже наслышаны о курсах, и каждый просто мечтал бы работать со мной – но для этого нужен кое-какой талант, понимаешь ли, а он дается не всякому!..

Неужто всё это было неправдой? Неужто не было никакой зарплаты, при одном только упоминании о которой «рядовой учителяшка» должен был немедленно пасть ниц и умереть от горькой зависти? Было – всё было. В том-то и дело, что отец говорил чистую правду: в начале девяностых он зарабатывал очень и очень неплохо – в особенности по меркам нашей маленькой картофельной страны. И всё-таки денег у него не имелось. Две сущности – отец и деньги – были словно созданы для того, чтобы, соприкоснувшись на краткий миг в пространстве и времени, тут же умчаться прочь по упоительно разным орбитам. Зарабатывая деньги действительно тяжелым преподавательским трудом, отец расставался с ними с пугающей легкостью и после сам искренне недоумевал, куда они испарились.

Куда... Куда? Конечно же, отец любил определенный шик. Начав славную эпопею с методом Шехтера, он, например, едва ли не сразу же завел себе персонального водителя – да, именно так, черт побери! Персонального водителя – хотя автомобиль был выдавший виды и истасканный жизнью шедевр АЗЛК, подаренный в незапамятные времена бабушкой Аней. Со стороны это гляделось забавно и до боли напоминало мне песню «Битлз» «Baby, You Can Drive My Car»: «У меня нет машины, и это разбивает мне сердце, – зато есть водитель, и для начала это неплохо!» Это один в один напоминала папину ситуацию, ибо отнести наш дряхленький мотор к классу машин можно было с огромной долей условности.

Разумеется, отец постоянно собирался «вот-вот, в ближайшие две недели, приобрести какой-нибудь приличный ‘БМВ’ или, на худой конец, ‘Форд’», но так и не приобрел – по той же причине, почему не купил и квартиру. Зато водитель у отца действительно был – услужливый и ловкий молодой человек по прозвищу «Чиж», устроенный к папе на работу одним из хороших знакомых. Зарплату Чижу отец положил полуцарскую – он был щедрым работодателем.

Завел отец также и бухгалтера Викторию, набожную женщину усталого вида, трудившуюся до того уборщицей в поликлинике № 8. Викторию отцу тоже присоветовали «хорошие знакомые». Подозреваю, что бухгалтерские ее таланты были довольно скромны,

если не сказать, мизерны – но зарплатой, опять же, обделена она ни в коем случае не была.

Затем штат сотрудников отца пополнила высокая, как баскетболист, и страшная, как конец света, женщина – телефонный оператор по имени Ольга. Голова ее, украшенная прической «взрыв на макаронной фабрике», размерами и формой походила на голову лошади. В противовес устрашающей внешности, Ольга обладала крайне сексуальным контральто, имела ловко подвешенный язык и обрабатывала поступающие по рекламе звонки с высочайшей эффективностью. Наличие ее действительно оправдывало себя, если не считать баснословно высокого жалованья.

Сейчас, спустя время, я понимаю, что все эти щедроты были проявлением не столько свойственной ему непрактичности, сколько душевной широты: отец не любил наслаждаться жизнью в одиночку и хотел, как видится мне, чтобы счастливы были и все, кто находился рядом. Безусловно, персонал требовал расходов. Расходов требовали аренда помещения в Школе машинистов и съемные халупы с «достойными людьми». Да еще и налоги, которые поначалу отец старался худо-бедно платить. Расходов требовали мимолетные дамы его мушкетерского сердца, регулярно возникавшие на отцовском горизонте. О дамах, разумеется, он предпочитал не распространяться – однако периодические его ночевки на стороне красноречиво свидетельствовали об их наличии.

И всё же, всё же... даже с учетом регулярных трат преподавательское дело отца оставалось прибыльным и приносило солидные дивиденды. Но деньгам никак не удавалось осесть в папиных карманах дольше, чем на два часа. Из месяца в месяц на протяжении многих лет он обрастал всё более неподъемными долгами. Причиной которых была, в числе прочего, и глубокая убежденность отца в том, что он прирожденный бизнесмен, умеющий делать деньги буквально из воздуха. «Всё, к чему прикасается божественный Дали, тут же превращается в золото!» – говаривал один каталонский художник. Примерно такого же мнения о себе придерживался и мой папа.

Однако он был преподавателем от Бога, и курсы его – вне зависимости от эффективности самой методики, в которой лично я сомневаюсь, – пользовались заслуженной популярностью. Все изьяны программы он вытягивал своим исключительным педагогическим талантом. Я видел, как он ведет занятия, и свидетельствую: аудитория послушной собакой всегда лежала у его ног. Однако успех быстро перестал его радовать; он возмечтал о лаврах бизнесмена.

Все его «бизнес-проекты» были отмечены спонтанностью и буйным разгулом фантазии, граничащим с безумием. Каждый проект

был уникален и не связан с предыдущим. Папа, так уж повелось, начинал сочинять любой проект с конца: с момента, когда всё уже удалось и наступило самое приятное – он «гребет деньги лопатой». Распиливая шкуру очередного непойманного медведя, отец бывал неизменно щедр и охотно делился с отальными. В мечтах его все проекты заканчивались одинаково чудесно: мы становились миллионерами и «ходили, поплеывая, и руки в карманы», по одному из любимых выражений папы.

Прихлебывая из литровой «дуси» крепкий английский чай – напиток трезвенника и эстета – он упивался мечтами, вовлекая в них и меня. Отец, надо отдать ему должное, умел убеждать: вскоре и я начинал представлять славный шелест купюр и улыбался отцу.

Приведу всего лишь один из тысячи примеров отцовской «маниловщины». От кого-то из знакомых он в случайном разговоре узнал, что в Краснодарском крае килограмм молодой картошки стоит впрятеро дороже, чем в нашей стране «бульбашей». Отец потер в раздумье лоб, схватил калькулятор и через пару минут бизнес-план был готов: немедленно загрузить молодой картошкой целый грузовик и мчать в Краснодар, где нашу картошку оторвут с руками. Реализовав картофель, на вырученные деньги закупить на местном мясном рынке три тонны свежего сала (еще один «хороший знакомый» рассказывал, что стоит оно там баснословно дешево), в ударном порядке засолить его, закоптить, – и продать в Беларуси с огромным наваром.

Отец делал дополнительные выкладки, что-то записывал на бумаге и, наконец, торжествующе показал результаты мне.

– Вот так, Витя! – воскликнул он. – Провернем это дело – и сразу заработаем на квартиру! Провернем дважды – заработаем на две. Тебе и мне. Ну, перспектива? Вот так делаются деньги, Виктор, нужно просто подключать голову!

Всякие технические мелочи – как, например, отсутствие грузовика, молодой картошки, навыков соления и копчения сала и т. п. – отца не смущали нисколько. Энергия его не знала границ. Он развил кипучую деятельность, подкрепленную только что собранными с двух групп слушателей деньгами, – и дело пошло-побежало. По совету очередного «хорошего знакомого» отец вышел на водителя с грузовиком, загнущего за свои услуги несусветную цену за дальность перегона и срочность заказа – и папа, помявшись лишь мгновение, заплатил. Одной рукой он выдавал гонорар обалдевшему от внезапного счастья шоферу, а другой уже крутил диск телефона, собирая отряд для предстоящей миссии. В отряд этот был, к великой радости моей, включен и я, – папа к тому времени готов был признать, что я тоже могу на что-то сгодиться.

Далее последовал молниеносный набег на окрестные деревни, где селяне, смущенные и даже озадаченные нашим напором, заподозрили какой-то подвох и тоже заломили за свой находившийся в земле товар цену, вдвое выше обычной. Отец извлек из кармана свой верный калькулятор, быстро сделал какие-то расчеты, убедился, что бизнес всё еще очень прибылен – и начался картофельный аврал. Наша бригада из четырех человек вгрызалась в землю не хуже экскаваторов. Папа, выполнявший руководящую роль, гулял вдоль межи и вовсю подкармливал нас радужными перспективами. Как и всегда в начале нового дела, он находился в прекрасном настроении, смеялся и блистал остроумием, заражая нас флюидами оптимизма. Работа неслась стахановскими темпами. Обобрава один участок, мы тут же перемещались на другой. Кузов грузовика скоро заполнялся молодым картофелем. В конце, срочно и задорого подрядив еще одного водителя с легковым авто – внезапно и вовремя сообразил, что наш семейный «москвич» для сопровождения вряд ли подойдет, – отец вывел картофельную экспедицию в путь.

Проблемы начались ровно через час. Проклятый грузовик, который, похоже, давно не выбирался в рейсы протяженностью более двадцати километров, упорно отказывался ехать. Все срочные ремонты (а их за поездку набралось не менее десятка) оплачивал, разумеется, отец, с каждым разом всё более мрачней лицом. Любая починка означала непредвиденный простой, и наш деликатный картофель, заключенный в нежнейшую, толщиной в микрон, кожу, в условиях августовской жары начал неминуемо подгнивать.

К моменту, когда мы кое-как добрались до благословенного Краснодарского края, половина груза пропала, а вторая потеряла всякий товарный вид. Реализовать частично уцелевшие остатки удалось лишь за счет сильного снижения розничной цены и персональной харизмы продавцов – я, например, внезапно открыл в себе дар рыночного торговца, о котором даже не подозревал ранее. Вырученных от продажи картошки денег на закупку свежей свинины, естественно, не хватало. Их не хватало даже на покрытие связанных с нашим рейдом расходов, но отец уже закусил удила. В бизнесе он был так же неустойчив, как Тайсон в ринге. Препятствия только подстегивали его деловой азарт. Из благоразумно припасенной заначки он извлек дополнительные средства – и в четыре часа утра следующего дня, в тусклом свете запитанных от аккумуляторов лампочек мы уже бродили с огромными мешками по рынку, волей отца превращенные в экспертов по закупке свежего сала. Краснодарские фермеры, видя наши аппетиты, в спешном порядке удваивали цены, но остановить нас было уже нельзя.

Затем последовали ровно тридцать часов бессонного марафона по засолке свинопродукта. Стояла ужасающая жара (которую отец изначально как-то не принял в расчет), наш грузовик, увы, не был рефрижератором, и нужно было солить, солить и солить, в слабой надежде, что удастся предотвратить неизбежное и сало не протухнет. Закончив засолку, мы тут же загрузились в машины и помчали в обратный путь – хотя «помчали», пожалуй, будет неверным словом. Грузовик, мстя хозяину за дерзость, ломался снова и снова, и когда мы всё-таки вернулись на родину, большая часть сала имела характерный запах, который не смогло скрыть даже последующее копчение. В конечном счете сало в ночи было тайно вывезено на свалку и оставлено там на потеху крысам – вместе с нашими надеждами на быстрое обогащение.

Забавно, что на нелепейшей этой аванюре заработали все, кроме отца: ведь каждому он выплатил гонорар заранее. Разумеется, кроме меня. По-родственному мне ничего не досталось, но я, честно сказать, не был в обиде: поездка, если не брать в расчет ее полный финансовый крах, очень понравилась мне, и сама по себе стала наградой.

К чести папы скажу: к тому времени он уже замечательно держал удар, и крах сало-картофельного предприятия обесточил его не более, чем на одну ночь. Утром следующего дня, как следует выпавшись и напившись из «дуси» свежезаваренного чая, он заключил, что во всем виноваты обстоятельства, – и был готов к новым подвигам.

Месяц он вкалывал на убой, пропадая на курсах с утра до ночи. Проведя выпускные (торт, шампанское, аплодисменты, улыбки и общий восторг), он на следующий день «зарядил» два новых состава. Бухгалтер Виктория собрала с экскурсантов деньги, и я понял, что новый «бизнес» не за горами. Так и вышло.

– Ты знаешь, Витя, чего нам с тобой не хватает?.. – торжественно спросил он на следующий день утром.

Нам не хватало многого. Целый месяц мы жили, перебиваясь с хлеба на квас. Все средства сожрала красnodарская авантюра. Но, зная отца, я понимал, что речь сейчас не о сложностях быта.

– Нет, – сказал я смиренно. – Не знаю!

– Вот-вот – не знаешь. А я тебе скажу! Дела у нас идут просто чудесно, Ольга говорит – телефон просто разрывается от звонков. Так что работа есть, и будут, разумеется, деньги. Но чтобы начать зарабатывать по-настоящему, Виктор, нам не хватает грузовика! Рабочего грузовика! У моего хорошего знакомого есть, кажется, один очень неплохой на примете. Завтра съездим, посмотрим – и, если всё устроит, будем брать! Скоро, Виктор, нас ожидают большие события! Каких-то две недели – и мы выйдем на принципиально иной уровень!

Так двигалась его неумная бизнес-мысль: заключив, что именно проблемы с грузовиком стали основной причиной неудачи, он решил обзавестись собственным тяжеловозом. Поглощая из «дуси» чай, резко и пружинисто шагая в малом пространстве хрущевской кухни, широкими яркими мазками отец рисовал мне радужные перспективы обладания списанным военным автомобилем ГАЗ-66, который ему, благодаря протекции «хорошего знакомого», предлагают по баснословно низкой цене! Не подпасть под ауру отца было невозможно. Через десять минут я уже согласился, что всю нашу жизнь можно разделить на два периода: до ГАЗа-66 и после, и та, что «после», обещает стать поистине райской!

Свою роль в этот раз отец решил свести к сугубо руководящей, поручив всё остальное «помощникам», – так он называл людей, которые должны были претворять его дерзкие проекты в жизнь.

– В конце концов, кто-то же должен зарабатывать деньги на текущие расходы, пока бизнес не наладится и не начнет приносить дивиденды, – справедливо заметил он. – А кто здесь умеет зарабатывать деньги, кроме меня? Кругом одни бездельники, лоботрясы и бездари. Сами не в состоянии заработать даже рубля. Без Валеры и шага ступить не могут, только и знают, что кланчить: «Валера, помоги, Валера, поддержи, Валера, дай денег...» Как будто у меня печатный станок! Но заметь: помочь я не отказываюсь. Хотят денег – пусть заработают! Пусть трудятся под моим чутким руководством – и деньги у них сразу появятся. Не надо ходить с протянутой рукой, нужно шевелить мозгами и шевелиться самому! Пусть шевелятся! А при мне, глядишь, и сами чему-нибудь научатся!

Поразительно, что в эпопее с грузовиком, который должен был доставить нас в финансовый рай, роль тех, кому предстояло «зарабатывать» и «учиться», он неожиданно решил поручить своим давним товарищам из первенской «шайки-лейки». Как люди, «первенцы» были не так уж плохи, однако как участники бизнес-проекта, с неискоренимым своим пристрастием к алкоголю, свободе и противоправным действиям, никуда не годились. Если учесть, что работа, которой им, по воле отца, предстояло заниматься, заключалась в контрабанде спирта и водки из соседней Украины – не нужно обладать талантами Нострадамуса, чтобы предвидеть последствия. Но указывать отцу на это было бесполезно, он слушал только себя.

Первый контрабандный рейс в соседнюю державу прошел на удивление гладко. Выслушав триумфальный доклад от «первенцев», победителями прибывших к отцу прямо в Школу машинистов, папа воссиял. Он осыпал их комплиментами и дал три дня заслуженного отпуска. «Первенцы» вернулись домой, где, как и следовало ожидать,

ударились в страшный запой. Их тоже можно понять: от такого количества алкоголя, оказавшегося в их распоряжении, не ошалеть было нельзя! А ошалев, они принялись, в лучших традициях папы, щедрой рукою угощать друзей и соседей. Вскоре весь Первый участок пил с невиданным доселе единодушием. Быстро убывающий груз никто не охранял. В конце концов «первенцы», от мала до велика, повадились ходить к машине, как ходят звери на водопой.

«Рассвирепевший» (он очень любил это слово) отец, примчавшись на Первый и застав вакханалию в самом разгаре, тут же «уволил» всех к чертовой бабушке, но половина товара к тому времени безвозвратно пропала. Чертыхаясь и раздавая злые тумачи непутевым помощникам, отец самолично сел за руль грузовика с остатками спиртного и повел его прочь от гиблого места. Следом на желтом, как цвет позора, «москвиче» ехал отцовский водитель Чиж. Стоит ли говорить, что на следующий день «шайка-лейка» во главе с Васей-Жуком приползла к отцу на коленях вымаливать прощение – и он, разумеется, простил их и «принял на работу».

Закончилось всё печально и скоро. Выехав в новый рейс трезвыми, на обратном пути «помощники» разговелись, заплутали в ночном лесу, навалились на заставу и после непродолжительной погони со стрельбой в воздух были задержаны пограничниками. ГАЗ-66, который так и не доставил нас на вершину финансового могущества, был конфискован вместе с товаром, отцу же пришлось заплатить огромный штраф, для чего он вынужден был залезть в очередной кредит.

Что до отцовских угроз «рассвирепеть», должен, истины ради, отметить: своей бумажной свирепостью он мог напугать только себя. Если я, взрослев, становился всё более угрюмым и жестким, папа, напротив, с годами делался мягче и терпимее – и мягкостью этой пользовались все, кому не лень. Да, это был еще один его бич. Как только в карманах отца стали позвякивать деньги, к нему потянулись все оказавшиеся на обочине новой жизни люди, с которыми он когда-то был знаком, – плотно, умеренно или даже шапочно. И уверяю: если им удавалось заставить папу в момент, когда он еще не успел «распорядиться» деньгами, никто не уходил от него с пустыми руками. Отец не умел отказывать.

Многие из таких знакомцев «паслись» вокруг него годами. Его использовали, его цинично обирали неудачники и лентяи – и наблюдать эту картину было обидно и больно. Единственным человеком, который не замечал или не желал замечать всего, был сам папа. Однако говорить ему об этом было бесполезно. Оставалось только ждать, когда истина проявит себя сама, – что, к счастью, иногда всё же случалось.

Но если в отношениях с прежними знакомыми отец хотя бы изредка проявлял дальновзоркость, жулики, впервые возникшие на его жизненном горизонте, могли вить из него веревки. Отца губила его безграничная доверчивость, часто принимавшая характер слепоты. Он так и не научился понимать, что в этом мире могут жить люди, не желающие ему добра или способные его обмануть. Достаточно было любому новоявленному интригану наплести с три короба о баснословных барышах от какого-нибудь фантастического «бизнеса» и позвать папу в компаньоны, он тут же бросался на лихорадочный поиск денег для осуществления очередной неосуществимой идеи. Именно так работала схема: папа добывал средства для мнимого бизнес-плана, автор забирал деньги и исчезал с ними навсегда. Когда же я указывал отцу на это, он негодовал:

– Виктор, не смей! Не смей так отзываться об этом золотом человеке! Это умница, золотой человек, каких поискать! Через полгода, я в этом не сомневаюсь, он станет миллионером! И не рублевым – долларovým! А с ним, надеюсь, и мы тоже! Да будет тебе известно: он берет меня в долю, а там о таких доходах речь идет! А ты его – «жуликом»!..

Между тем «умница» и «золотой человек», обобрав отца подчистую, растворялся в эфире. Отец замыкался в себе и молча страдал. Если имя обманувшего его всплывало в разговоре, он «свирипел»:

– Виктор, не смей произносить при мне имя этого подонка! Этого негодяя, которому я набью морду сразу же, как только его встречу!

Слыша это, я понимал, что отец «переболел» изменой и снова открыт для свежих деловых предложений.

ВМЕСТЕ

Невзирая на явную абсурдность деловой активности папы, несмотря на бытовую неустроенность нашего тогдашнего существования, то время запомнилось мне едва ли не самым счастливым в жизни. Отец, мой отец был рядом со мной – разве не к этому я так долго стремился? Впервые я наблюдал отца с расстояния вытянутой руки – пусть не осмысливая, но запоминая. Сейчас, мысленно возвращаясь в то время, я вижу, что память моя сохранила гораздо больше, чем могло самому мне казаться.

В ту пору у отца уже появилась благородная седина, только добавившая ему элегантности. Он несколько подсох, сохраняя при том прежнюю спортивность, а толстые, в палец, вены на его белых мускулистых руках сделались еще заметнее. Со спины он и вовсе походил на молоденького юношу-атлета – явно знал об этом и гордился.

– Вы, наверное, мастер спорта по боксу? – часто при мне кокетливо спрашивали мгновенно влюблявшиеся в него молоденькие слушательницы курсов, и отец, непроизвольно делая охотничью стойку, кашемировым своим баритоном отвечал:

– Кандидат! – и в устах его это звучало куда солиднее, чем «мастер». Я отчетливо видел, что девица – вся его, с потрохами, и в который уже раз поражался талантом отца.

В таких случаях он звонил мне и предупреждал, что сегодня будет ночевать в другом месте. Голос его при этом был слегка извиняющимся – и явно довольным. Я, кстати, никогда его не просил предупреждать меня, – напротив, эти звонки казались мне довольно нелепыми. Постоянной подружки я не имел, со случайными предпочитал встречаться на их территории. Так что с этой точки зрения звонки отца не имели никакого практического смысла. Но раз уж ему так хотелось, я не возражал. Хочет – пусть звонит!

В то же время – и это стало неожиданностью для меня – изменилось его отношение к матери. Мы стали ездить к ней раз в неделю, и, невзирая на то, что мама традиционно бывала навеселе, отец прекрасно с ней ладил, а после даже мягко упрекал за мою привычную ворчливость в отношении ее пьянства.

– Но она же врет, – отбивался я. – До нашего приезда уже бутылку, как минимум, выпила а клянется, что ни в одном глазу!

– У женщин с алкоголем сложно! Намного сложнее, чем у мужчин, – мягко оправдывал он. – Осуждать, Виктор, всегда легко. Наша мама – человек, конечно, своеобразный, и что на пробку любит наступить – это да, и что в зависимость попала – тоже верно. Но это еще, черт побери, не повод сбрасывать человека со счетов!

Слышать такие речи от отца было в высшей степени странно. Я недоверчиво хмыкал.

– А как насчет колдуньи, у которой ты спину лечил? Может, к ней нашу маму попробовать? – предложил как-то я.

На секунду задумавшись, он нахмурился, но тут же просиял и даже хлопнул меня в избытке чувств по плечу.

– Молоток! – сказал он. – Как это я забыл! Так и сделаем! Свозим ее к колдунье и закроем проблему раз и навсегда!

И ведь действительно, на этот раз – свозил! В противовес привычке давать обещания и не исполнять их, он сначала неделю уговаривал маму, а после, уломав, увез ее в леса, за сотню километров от нашего областного центра, – и отдал в опытные руки потомственной ведуньи. Самым же удивительным было то, что после сеанса у знахарки мама и в самом деле бросила на время пить.

Но самым поразительным стал для меня один из вечерних звон-

ков отца. Как обычно, он предупредил меня о том, что будет ночевать в другом месте, — уже четвертый вечер подряд, и я, помню, даже подивился его молодой прыти, гадая, кого и где успел он в очередной раз очаровать, — и вдруг на заднем плане я услышал мамин голос! Я опешил. Вот это номер! Оказывается, втихую от меня родители снова сошлись, как будто и не было долгих лет развода, — и, похоже, чувствовали себя вместе вполне комфортно! Когда шок миновал, я подумал, что это очень здорово. Оба они теперь повзрослели — человек ведь вырастет всю свою жизнь, оба сделались мудрее и терпимее, и если им хорошо вдвоем — что может быть лучше?

Тот год нашей совместной с отцом жизни и вообще был самым наполненным. Я всё более убеждался в том, что папа, наконец, созрел для того, чтобы сделаться для меня полноценным отцом. Положительно, я переставал его узнавать! При всей своей занятости в аудитории и «бизнесе» он, как ни странно, находил время интересоваться моей учебой; узнав, что у меня проблемы с зубами, он тут же записал меня к своему дантисту; он исхитрился регулярно подкидывать мне кое-какие карманные деньги, хотя и сам, в силу уже упомянутых мною обстоятельств, вечно сидел без гроша... За тот год мы трижды или четырежды выбирались в короткие путешествия — вдвоем — в город на Неве, где жила бабушка Аня. Бабушка была единственным человеком, кто пусть и со скрипом, но давал отцу деньги для очередного «бизнес-проекта». Будучи женщиной прозорливой, она не могла не подозревать изначальную ущербность папиной деловой активности; впрочем, как только она окончательно убедилась, что доверять деньги папе — всё равно, что смывать их в унитаз, субсидии эти прекратились.

Однако в то время он мог рассчитывать на ее помощь — и, отпустив Чижа в отпуск, оседлав верный «москвич», прихватив меня, отец мчал через города и веси, выжимая из нашего дряхлого автостаричка всё, на что тот уже не был способен. Путешествия эти были лихорадочны и даже экстремальны; каждую минуту мне казалось, что «москвич» рассыплется от неимоверного напряжения. Однажды у нас действительно отвалилось колесо; в другой раз отец заснул за рулем... — смерть гуляла на расстоянии тончайшего волоска. Однако Бог был на нашей стороне, и мы всегда добивались до города на Неве и возвращались обратно невредимыми.

И еще — мы много, как никогда много, разговаривали. За всю предыдущую жизнь мы не сказали друг другу и половины того, что в тот совместный наш год умудрялись сказать лишь за одну ночь!

У нас вошло в привычку вести доверительные беседы далеко за полночь — не замечая, как убегают часы. Говорил, понятно, главным

образом отец, но я сделался для него полноценным слушателем — и не мог не чувствовать этого. А когда все-таки говорил я, он, и это было очевидно, ловил внимательно каждое мое слово. Это, не скрою, было невообразимо приятно и переполняло меня гордостью. Еще бы — такой выдающийся человек, как мой отец, беседовал со мною на равных! Нам удавалось незаметно проболтать ночь напролет, уничтожив при том килограмм печенья «Привет» со сливочным маслом и ведро, никак не меньше, крепкого чая, — и лишь заметив серовато-розовый рассвет, сочившийся из окон, мы понимали, что уже утро.

О чем беседовали мы? О Толстом и Чехове, о Высоцком и Джоне Ленноне, о Сталине и Хрущеве, о Рахманинове и Хачатуряне, о Дали и Пикассо, о Евстигнееве и Смоктуновском, о Бродском и Евтушенко, о Перестройке и Новом капиталистическом порядке, о Фолкнере, Стейнбеке, Диккенсе и Теккере, а еще об Ивлине Во, которого обожали оба; о маме и дяде Вове, о молодых-молодеческих подвигах отца, которыми он всегда был горазд прихвастнуть, и о нашем общем лучезарном будущем, в котором ни один из нас не сомневался... Мы беседовали буквально обо всем — и во всем, что не касалось его странных «бизнесов», отец поражал меня эрудицией и глубиной суждений. Так и запомнилось мне: с неизменной литровой «дусей» в одной руке, с сигаретой — в другой, отец расхаживает по комнате и беспрерывно, вдохновляясь собственным красноречием, вещает. Он был прирожденным актером, и наличие публики, даже такой, как один-единственный я, всегда заставляло его выкладываться на все сто.

В одной из таких полночных бесед он открыл мне и главную свою тайну — об отце, моем деде Аскольде, которого я видел лишь на единственной, очень старой фотографии в семейном архиве: молодой бравый капитан с красавицей-женой (моей бабушкой Аней) и глазастым улыбчивым карапузом (моим папой) белозубо и дерзко улыбался объективу в лицо. Бабушка Аня развелась с ним, когда папе было всего три года, — вот и всё, что мне было известно. На теме этой долгое время стоял штамп «совершенно секретно» и то, что отец сам заговорил об этом, красноречиво свидетельствовало, что наши с ним отношения перешли на новый уровень доверия.

Из рассказа его я узнал, что капитанская форма Аскольда, орден Красного Знамени и выправка кадрового военного были всего лишь прикрытием. На деле Аскольд был матерым вором, промышлявшим на вокзалах и в поездах. Не переносившая ложь на дух, бабушка Аня ушла от него сразу же, как только обман раскрылся. Ушла, как выяснилось, правильно: Аскольд женился во второй раз и вскоре после женитьбы в припадке ярости зарубил новую жену топором.

Получив восемнадцать лет тюрьмы, он уже на втором году умудрился бежать из лагеря и даже покинуть пределы Союза. След его впоследствии обнаруживался в Польше, в Германии и, наконец, в США.

Каким образом обнаруживался этот след вообще? Аскольд, оказывается, не переставал любить бабушку Аню и умудрялся через четвертые руки слать ей тайные весточки из очередных своих палестин. И в письмах этих он обязательно справлялся о сыне, которого знал так недолго. Бабушка выходить повторно замуж не спешила, так что папа мой рос безотцовщиной.

Тем не менее, с какого-то момента он был буквально одержим желанием когда-нибудь отыскать Аскольда и даже увидиться с ним, хотя, принимая во внимание все обстоятельства, вероятность встречи была равна нулю. Аскольд умер раньше, чем это стало хотя бы теоретически возможным.

Рассказывая об Аскольде, папа был непривычно сдержан и скуп на слова, но за скупостью этой я сразу уловил долгую, как июньский день, тоску и ту самую «жажду отца», которую знал и я не понаслышке.

Его история многое прояснила. Возможно, отец не умел дать мне себя лишь потому, что и сам был безотцовщиной? Никто не показал ему, что это такое — быть настоящим отцом. Да, для этого потребовалась уйма времени; ему уже стукнуло без малого пятьдесят, когда он осилил эту науку; рассказ об Аскольде, как я понимаю теперь, подводил черту: отец, наконец, готов был дать мне всё то, чего я безуспешно желал от него с малых лет, и счастье наше, кажется, было совсем рядом...

ИДИОТ

Но я отказался от отцовского дара — самым глупым и непостижимым образом.

Как только я окончательно убедился в том, что у меня есть любящий отец, я принялся отрещиваться от этой любви двумя руками. Почему? Какие тайные химические процессы свершились во вреднейших глубинах моего мозга? Была ли это месть за долгие годы ожидания? Или свойственная раньше ему, но, похоже, перебравшаяся в меня боязнь проявления нормальных человеческих чувств? Или дурацкий восемнадцатилетний возраст, сам по себе являющийся болезнью? Не знаю. Теряюсь. Не могу взять в толк. Загадка. Парадокс, которому я до сих пор не могу найти ни объяснения, ни оправдания.

Вряд ли действия мои были осознанными, но я внезапно и вдруг как будто задался целью всеми возможным способами продемон-

стрировать отцу, что любить меня – нелегко и непросто. Я пустился во все тяжкие – и преуспел.

«Хорошего сына любить всякий может – а ты полюби меня плохим», – как будто заявлял я всеми своими гадостями, на которые был настоящий мастер. И чем больше я ранил его, тем большее получал удовольствие.

Эх, если бы мог я вернуться в то время и дать себе хорошего пинка! Если бы мог я вымарать с холста жизни мрачного юношу, предающегося всем возможным порокам, и вписать вместо него улыбчивого оптимиста-добряка! Это внезапное, головокружительное падение мое стало для отца полной неожиданностью и крестом, всю тяжесть которого ему предстояло познать. Должен сказать, он нес этот крест с честью. Он бесконечное множество раз вытаскивал меня из отделений милиции и вытрезвителей, возил к наркологам и колдунам, терпел мои пьяные скандалы и откровения, извлекал меня из грязных наркопритонов и навещал в больничной реанимации... Собственно, они боролись за меня вдвоем – мать и отец. Они даже поженились во второй раз, будто сплавивая ряды в предстоящей борьбе, но это светлое событие, как ни странно, только подстегнуло мою саморазрушительную месть.

Три последующих года прошли в абсолютном угаре. Мне нечего даже вспомнить о них, кроме того, что жил я в вагоне сошедшего с рельс поезда, который швыряло, трясло, переворачивало, коржило и неотвратно влекло к отвесному краю, за которым – сплошное ничто. Со временем я стал осознавать, что влекусь не туда; я даже начал испытывать сильные угрызения совести, но остановить движение уже не мог. Врачи и целители разводили бессильно руками; сам я, осознав, что пора подумать о спасении многострадальной своей skóry, пытался заняться самолечением. Я лечил наркоманию алкоголизмом и наоборот, с предсказуемым печальным результатом.

Я пережил несколько клинических смертей. Они следовали одна за другой, однако природа, наряду с мощным инстинктом саморазрушения, наделила меня еще и поразительной живучестью. Жизнь и смерть – два равных по силе противника; они схватились биться за меня до последнего, сдавили друг друга в костедробильных объятиях да так и застыли в напряженном, взрывоопасном равновесии. Я не жил и не умирал, я тряско существовал где-то между, каждый миг ожидая финала. Ожидание это утомляло меня, и я не мог не видеть, как устали отец и мать. Да, они еще продолжали воевать с моими демонами, но веры в благополучный исход у них почти не осталось. И лишь счастливая случайность спасла меня: я угодил в тюрьму.

К счастью, я не совершил чего-то непоправимого – иначе мне

было бы не так просто вспоминать об этом. Знаю, это неудобное место – тюрьма – уродует и окончательно развращает попавших туда, но для меня, как ни странно, она стала спасением. Именно там, ограниченный наглядно и повсеместно решетками и замками, я понял, что свобода – непозволительная для меня роскошь, от которой лучше держаться подальше, пока я не научусь пользоваться ей подобающим образом. Именно в тюрьме я понял ценность свободы и дал себе слово, что с гиблой моделью жизни, которая привела меня туда, покончено раз и навсегда, – и до сих пор держу это слово нерушимо. Скованный ограничениями и запретами, я успокоился, поздоровел и окреп. Временное помутнение, овладевшее мной в начале губительного марафона, оставило меня окончательно. Я больше не хотел мстить, противостоять и что-то кому-то доказывать. Я определенно повзрослел. А главное, я снова любил их обоих, отца и мать, а они, наблюдая происходившие во мне перемены, тоже несмело радовались им.

Поначалу оба они навещали меня попеременно, потом ко мне ездила только мать. Иногда отец присылал с ней краткую записку, где своим каллиграфическим почерком рассказывал, что дела идут на редкость хорошо, и «вот-вот, буквально через две недели» мы, наконец, разбогатеем и заживем в полное удовольствие. Читая эти знакомые до боли слова, я слышал его голос и улыбался. Записки эти со временем сделались реже, а потом иссякли вовсе – отец, похоже, был опять очень занят. Мама же, как стал я замечать, делалась всё более невеселой. Она снова начала выпивать и безуспешно пыталась скрыть это. В конце концов я стал подозревать, что дела у них с отцом снова разладились. Так и оказалось: папа, как выяснилось, ушел к «какой-то крашеной, сто двадцать первой по счету, шалаве», кроме того, он окончательно запутался со своим «бизнесом», кредитами и долгами. Слышать это было печально – и еще печальней осознавать, что снова мама осталась одна. Я с болью и стыдом, который со временем стал все-таки во мне проявляться, отмечал, как резко она постарела за последние год-два, – не без моего горячего участия.

В «санаторий» мне часто писала бабушка Аня. «Витя, ты умный мальчик и, я уверена, окончательно переболел всеми болезнями возраста, – сообщала в последнем своем письме она. – Безусловно, жаль, что столько бесценных дней жизни потрачено не так, как хотелось бы, но это, я думаю, было необходимо, чтобы ты смог получше разобраться в себе, в своих ошибках и никогда не повторять их больше. Так, я уверена, и будет. Хочу известить тебя заранее: свою квартиру в Санкт-Петербурге я завещаю тебе. Твоему папе я достаточно уже помогала в его деловых начинаниях, хотя не уверена, что из этого вышел какой-то прок. Тем не менее, никаких оснований оби-

жаться на меня у него быть не должно. Что же, к тому времени, когда ты освободишься, тебе не придется начинать жизнь с нуля. Я уверена, ты распорядишься этим маленьким подарком правильно. Люблю тебя. Твоя бабушка Аня.» Спустя пару месяцев после этого письма на свидание ко мне неожиданно явился отец с вестью печальной: бабушка Аня умерла. Рак.

Я начинал уже привыкать, что жизнь, по сути, и состоит из потерь, которых будет всё больше и больше. Дядя Вова, потом не переживший смерти сына Дедик, теперь вот бабушка Аня...

– Да, и еще момент... – сказал, словно спохватившись, перед самым прощанием отец. – Свою квартиру, оказывается, бабушка завещала тебе. Так что ты у нас теперь богатый наследник! Поздравляю! Обстоятельства, при которых это случилось, несомненно, печальны, но такова жизнь. И вот какое дело, Виктор: есть сейчас покупатель, сосед бабушки сверху: он вознамерился делать дуплекс и потому дает за хоромы бабушки двойную цену. Должен сказать, это редкий шанс и безусловная удача. Что я предлагаю сделать: квартиру продать, а деньги тут же положить на сберегательный счет – откроем тебе персональный, на твое имя. А уж как ты ими потом распорядишься – исключительно твое личное дело. А сейчас нужно решать всё быстро. Поскольку ты скован сейчас в передвижениях, я всё устрою сам. Единственное, что мне нужно, чтобы ты подписал доверенность на мое имя. Все бумаги я подготовил. Ты, надеюсь, не против?

Увидев, что я слегка замешкался с ответом, он убедительно и с искренним чувством добавил:

– Виктор! Я твой отец, и для меня в этой жизни нет ничего важнее, чем счастье моего сына! Это, разумеется, лишнее, но я торжественно клянусь тебе именем бабушки Ани: никто и пальцем не прикоснется к этим квартирным деньгам, и распоряжаться ими будешь только ты. Мне они, например, ни к чему вовсе – я сейчас такими суммами ворочаю, что голова порой кругом идет. Так что для меня эти квартирные деньги – мелочь! Конечно, можно было бы их прокрутить и быстро удвоить, но это уж тебе решать, поскольку деньги – твои. Эх, Виктор! Замечательно идут дела! Тут через две недели должен решиться один вопрос... Не хочу предвосхищать события, но... Одним словом, я вот-вот на такой уровень должен выйти, что за одну сделку смогу на пять, а то и на десять квартир зарабатывать!

Отец умел убеждать – да и как, собственно, я мог бы сказать ему «нет»? Я и не собирался ни от чего отказываться. Просто его излишняя многословность показалась мне не совсем естественной, только и всего. Разумеется, я согласился. Я любил своего отца, я чувствовал огромную неизбежную вину перед ним за боль и проблемы, которые

ему причинил, – какое моральное право имел я сомневаться в правдивости его слов?

ЛОЖЬ

Об этой секунде сомнения я вспомнил несколько позже.

Наступил день, когда ворота спецучреждения закрылись за моей спиной. Выйдя на свободу, я решил слегка осмотреться, привыкнуть к новой действительности, а потом уже что-то предпринимать. Какое-то время я жил у матери, потом отец снова позвал меня к себе.

На первый взгляд, за три года моего отсутствия ничего не изменилось, если не считать, что родители снова были не вместе. Расходиться и сходиться, похоже, вошло у них у привычку. Мама по-прежнему железной рукой управляла педколлективом, а вечером, как и подозревал я, предавалась тяжелому пьянству. Заговор колдуньи, похоже, давно утратил волшебное действие.

Отца я обнаружил в аудитории, в Школе машинистов, и, взяв у него ключи, отправился устраиваться на очередную съемную квартиру. Я уверен был, что она ничем не отличается от всех предыдущих, включая своего хозяина, очередного «достойного человека», – так и оказалось. Это, впрочем, смущало меня мало: теперь, благодаря бабушке Ане, у меня имелось свое персональное жилье – точнее, вырученные от продажи деньги, положенные отцом на счет и «обраставшие», как выразился он, основательными процентами. Как я ими распоряжусь, я пока не думал, но осознавать себя собственником было приятно.

Среди прочих благих дел, я, переведясь на заочное, закончил остававшийся курс «альма матер», получил диплом и потому уже через неделю свободы легко устроился в частную турфирму гидом-переводчиком. На особенности моей краткой, но разнообразной, биографии «частникам» было плевать, а работу я быстро научился делать хорошо. Отец, правда, звал работать с ним, но я решил отказаться: это наверняка означало бы сидеть месяцами без зарплаты. Отец не стал бы мне платить по двум веским основаниям: во-первых, потому что я родственник, а во-вторых и в-главных, по причине отсутствия денег. Его бесконечные «бизнес-проекты» по-прежнему съедали больше того, что он зарабатывал преподаванием.

Денег, как я убедился, перестало хватать даже на зарплату Чижу, бухгалтеру Виктории и телефонному оператору Ольге. К моменту моего возвращения в свободный мир Чиж и Виктория уже успели покинуть корабль отца, сплошь состоявший из финансовых пробоин и готовый вот-вот уйти на дно – и только Ольга, взявшая на себя дополнительно еще и бухгалтерские функции, кое-как держалась.

Подозреваю, главная причина ее стойкости заключалась в тайной и безответной любви к обаятельному папе.

Наш желтый «москвич» умер. Отец водил теперь весьма бывалый «форд», пригнанный из Германии, – чем ужасно гордился. Чтобы купить этот без пяти минут антиквариат, он снова занял деньги. Обзавелся отец и еще одним новым гаджетом – мобильным телефоном «Nokia», чем произвел на меня неизгладимое впечатление. Да и не только на меня; тогда сотовая связь только начинала свой блицкриг по планете, и «мобила» была показателем определенного статуса. Папа, как я уже говорил, любил некоторый шик.

Понаходившись какое-то время рядом с отцом, я с прискорбием обнаружил, что дела его гораздо плачевнее, чем три года назад. Число окружающих его жуликов, аферистов, попрошаек и прихлебателей всех мастей возросло на порядок. Чтобы насытить это алчное стадо, отец, как с ужасом убедился я, начал делать то, чего не позволял себе ранее: занимать деньги у своих же состоятельных слушателей.

Естественно, он обещал «вернуть всё через две недели и с очень хорошими процентами» – и, разумеется, ни о каком возвращении речи не шло: взятые под честное слово отца деньги тут же попадали в руки очередному обаявшему отца аферисту, который мгновенно и бесследно с ними исчезал. Папа же оставался лицом к лицу с обманутым им человеком, с подмоченной до самой макушки репутацией, с новым долгом и, как следствие всего этого, с большими проблемами. Я мог только жалеть его, мрачно негодуя. Впервые я по-настоящему осознал, что отец болен – и болен серьезно.

Своей одержимостью бредовыми проектами быстрого обогащения он напоминал окончательно утратившего над собой контроль азартного игрока. Сейчас я понимаю, что ему нужны были даже не деньги, но бесконечное броуновское движение, кипевшее вокруг него. Десятки самых разных людей обязательно должны были куда-то бежать, идти, ехать, посещать приемные городских бюрократов, выправляя нужные для нового дела бумаги, закупать товар, оформлять документы, давать взятки, продавать, менять, вывозить и ввозить... И в центре этого мельтешащего мира обязательно должен был находиться именно он – мой папа. Ему зачем-то до разреза нужен был этот порожденный им мир, в котором всё зависело от его таланта, воли, ума и кармана. Содержание этого персонального мира обходилось ему баснословно дорого.

Пока единственным пострадавшим от существования этой псевдодействительности был сам отец, вряд ли у кого-то могли возникнуть к нему претензии. Но теперь он начал обманывать людей – даже не догадываясь, что занимается чистой воды жульничеством.

Да, отец умел обещать. Обещая и сам свято веруя в успех очередной аферы, он был убедительней Цицерона. Талант его как преподавателя был неоспорим, а авторитет среди слушателей – непрерываем. Стоит ли удивляться, что вполне серьезные, взрослые и успешные люди верили зажигательным его речам и давали в долг ему немалые суммы? И всё это, как уже было сказано, только для того, чтобы очередной подлец-фаворит, занимавший при нем временную роль «умницы и золотого человека», положил эти деньги себе в карман. Особенно обидно было осознавать, что каждый из этих прожженных негодяев, не стоивший и мозоли на пятке отца, смотрел на него с непомерного высока, с презрительной и мерзкой улыбкой, как на нелепую, смешную, но при этом вполне полезную дойную корову... Отец, чего уж греха таить, и был ею. А можно ли представить что-то более унижительное, чем быть дойной коровой для одноклеточного негодяя? Казалось бы, один, два, пусть три раза повторенная, эта абсурдная ситуация должна была заставить отца прозреть и вернуться в реальность – да где там! С неизменным упорством он продолжал наступать на те же «грабли», из чего можно сделать только один вывод: он на самом деле был болен – он был игрок. Ослепленный, он жил в своем вымышленном мире, в который верил с такой истовостью, что вовлекал в него и других. Как мальчик из Гамельна, он наигрывал на своей волшебной дудочке и уводил, словно доверчивых детей, в прекрасное никуда. Нарисованные отцом миры обладали неодолимой притягательностью, но тем горше оказывалось возвращение в реальность. Хуже всего было то, что поверившие отцу и обманутые им люди считали его корыстным, циничным и безжалостным!

Увидев, насколько далеко всё зашло, я, набравшись мужества, пытался снова поговорить с ним, но он так разобиделся и вспылил, что больше к этому разговору я не возвращался. Бесполезно. Всё было бесполезно. Невольно я порадовался тому, что выписка со счета, где лежали деньги от проданной квартиры бабушки, находилась у меня. Отец получил ее по доверенности незадолго до моего освобождения и при первой же встрече торжественно вручил мне вместе с самой доверенностью и договором – хотя я его об этом и не просил. И я, хорошо помню, радовался тогда этому – не зная истинного положения дел. Истина открылась через девять месяцев.

К тому времени решение мое поменять страну окончательно вызрело. Причина была самой удивительной и самой обычной: я влюбился. Она была в составе группы интуристов, для которой я переводил. Двух часов в толпе посторонних людей оказалось достаточно для нас обоих. Вопрос о том, в какой стране мы будем жить, стоял недолго – она не могла оставить свою, а меня в моей держало

немногое. Если, разумеется, не считать родителей. Но ни мама, ни отец никак не тянули на роль дряхлых стариков и двумя руками были за неожиданный поворот в моей нескладной судьбе. Так что и это не должно было служить мне препятствием.

Я готовился к отъезду. Собирал бумаги – среди прочего, за смешную взятку раздобыл себе липовую справку о несудимости, радуясь «неподкупности» наших чиновников. Навестил перед долгой разлукой старых друзей. Повидался с промежуточными родственниками. Незадолго до даты вылета я отправился в банк снять кое-какие деньги, которые, естественно, нужны были мне, чтобы начать жизнь в чужой стране. Здесь меня и ожидал сюрприз. Я узнал, что никаких денег нет – как нет и самого счета. По той же генеральной доверенности отец снял их через две недели после того, как получил выписку, а счет закрыл.

После состоялся мучительный для меня и для отца разговор. Не то чтобы я пришел к нему судьей или кредитором, я просто хотел услышать, что он скажет, я хотел посмотреть ему в глаза в тот момент, когда он будет говорить. Больше всего меня задело даже не то, что он запросто взял и потратил эти «квартирные» деньги, но то, что он не нашел в себе сил сообщить мне об этом. А ведь все свои планы новой жизни я выстраивал с учетом того, что эти деньги есть. Разумеется, временами я сомневался в этом, но тут же гнал недостойные мысли прочь. Я не хотел верить, что отец осмелится сделать то, чего категорически не желала его мать – моя бабушка Аня...

Увидеть глаза отца во время того разговора мне так и не удалось, он прятал их с редким умением. Говорил он сбивчиво и торопился так, словно опаздывал на самую важную в жизни встречу. Слова его бежали всё скорее, утыкаясь друг дружке в спину, валясь, в конце концов, навзничь и создавая кучу малу. Я видел, что отцу ужасно стыдно и неловко, он чувствовал вину и глубоко страдал, – но всё, что было связано с его пресловутым «бизнесом», находилось за гранью логики. В слепой своей вере он никогда не признался бы себе, что был неправ. Получи он возможность прожить этот сомнительный период жизни еще раз – он распорядился бы деньгами бабушки точно так же.

Как и ожидалось, он говорил мне, что рассчитывал «прокрутить» всю сумму и вернуть с двойным наваром, что деньги никуда «не ушли», деньги «крутятся» в деле... Даже если мне придется уехать раньше – не беда, он готов каждый месяц присылать мне определенную сумму, пока я не встану на ноги. А при первой же возможности он обязательно вернет всё взятое им целиком да еще с приличным наваром. Временами он подпадал под чары собственного красноре-

чия, и в голосе его начинали звучать нотки обиды и даже негодования: как вообще я осмелился заподозрить его в непорядочности? Да... Да, он выглядел расстроенным и смущенным. Мне было так же стыдно и неловко, как и самому отцу. Я знал, что денег этих уже нет, и никогда, никогда и ни при каких обстоятельствах он их не вернет – просто не сможет этого сделать. А он всё обещал, обещал этим своим виноватым и задиристым от чувства вины голосом, который мне так невыносимо было слышать...

Кончилось тем, что в положенный срок, имея в кармане ровно тысячу долларов, заработанных мной после освобождения, я уехал к своей возлюбленной в чужую страну – начинать новую жизнь. Никаких денег отец мне не вернул, и в первые, самые тяжелые месяцы, равно как и во все другие, не прислал мне ни копейки. Какую, всего однажды, когда ситуация была совсем уж безвыходной, – возлюбленная моя потеряла работу, а я еще не нашел, – я всё-таки дозволился до него и попросил о помощи. Отец обрадовался мне, но голос его был знакомо виноват и убегающ; снова мне казалось, что я вижу его сверкающие пятки и пляшущую в паническом бегстве спину. Больше я ему не звонил.

В ту пору я не до конца еще избавился от привычки навешивать на людей и события всевозможные ярлыки. Сейчас я понимаю, что тогдашнее поведение отца я счел все-таки предательством – хотя слово это ни разу не было произнесено мною вслух. Но мысль о том, что это именно предательство, упрямо жила где-то в глубине меня. Был ли его поступок действительно предательством? Мог ли я, имел ли я право считать так, учитывая, что «квартирные» деньги, из-за которых разгорелся весь этот сыр-бор, я тоже не заработал своим трудом? У меня есть лишь один проверенный способ оценки и понимания любого поступка: примерь на себя. Представь, что ты сам совершил его, – и оцени, без лукавства и вранья, по своей собственной шкале ценностей. Я примерил. Я «сделал» то, что сделал отец, – да, это было предательством.

Никаких обвинений в свой адрес отец от меня так и не услышал, – я, по моему глубокому убеждению, попросту не имел права предъявлять их. Три года, черт побери, он терпел от меня такое, что не всякий человек в силах вытерпеть, – это ведь тоже было! Было! Слава Богу, я понимал это.

Я поступил по-другому – и это тоже было как раз в моем ключе максималиста: я просто перестал ему звонить. Без криков и сожалений – враз и бесповоротно. Так я был с определенной поры настроен: не кричал, не злился, не доказывал, не убеждал – перечеркивал жирно крест-накрест и уходил прочь.

Первые, самые тяжелые и голодные месяцы в конце концов миновали. Мне удалось встать на ноги и даже на них удержаться, хотя весь мир, кажется, был против этого. *Нам* удалось – мне и моей любимой женщине. И я горжусь, что мы сделали это сами, – не попросив ни единого евроцента ни у державы, ни у друзей и знакомых.

ТЮРЬМА

В следующий раз на экране телефона я увидел слово «отец» лишь три года спустя. С мамой, если она была не очень пьяна, я время от времени общался и знал, что и с ней отец давным-давно перестал поддерживать всякую связь. Я молча смотрел на экран и спокойно ждал, пока звонок прекратится. Минут через десять телефон зазвонил снова. Хмыкнув, я нажал зеленую кнопку. Без энтузиазма – у меня, к сожалению, очень хорошая память.

Вместо отца со мной заговорила женщина – голосом приятным, глубоким и никогда мною ранее не слышанным.

– Здравствуйте, – сказала она. – Я жена вашего папы. Он уже полгода находится в тюрьме, и я просто не в состоянии всё это тащить: адвокаты, взятки, передачи... Каждый день мне угрожают какие-то люди, требуя с Валерия долги. Долги, долги... кругом бесконечные долги, какие-то огромные суммы, угрозы, оскорбления, а мне нечем заплатить даже адвокату. Мне не на что купить ему продукты – и никто не хочет помочь. Все куда-то исчезли... Забыла вам представиться – Нина. А фамилия у нас с вами одинаковая – после свадьбы я взяла фамилию мужа.

Я сразу поверил ей – сходу, с самого первого слова. Более дикой ситуации – мой отец в тюрьме – я и представить себе не мог. Мой отец – эстет, интеллигент – и тюрьма совсем не уязвлялись в моем сознании в единое целое. Я почему-то не задумывался над тем, что его «бизнес» рано или поздно должен был привести туда, на тюремную шконку.

Одевшись, я тут же пошел в ближайшее почтовое отделение и отправил ей деньги – и потом продолжал делать это ежемесячно все три года и четыре месяца, которые он провел там. В тюрьме нельзя существовать без денег. Это и вообще место, плохо приспособленное для существования, а особенно в Беларуси. Отцу было шестьдесят, а ведь даже для юнца оказаться за решеткой – шок, от которого удастся оправиться далеко не всем.

Я жалел отца, но еще больше жалел новую жену его Нину. Выйдя за отца замуж, она, вместо зрелого счастья вдвоем, унаследовала целый воз проблем, который оставил ей отец. Она безропотно тащила

этот воз, и я помогал ей, чем мог. Однажды она рассказала мне, что папа, было дело, едва ли не требовал от нее взять огромный кредит под залог ее квартиры – да и сейчас на каждом свидании заводит разговоры об этом. Нина была умной женщиной: она, кажется мне, уже начала понимать особенности папиной болезни, да и я, полагаю, смог убедить ее в том, что делать этого ни в коем случае нельзя.

Однажды я от души поблагодарил Нину за стойкость и терпение, на что она очень просто ответила:

– Ну что ты, Виктор. Я ему законная жена теперь, и я люблю его, что бы там ни было. Конечно, он много врал мне, о многом не договаривал – как выяснилось сейчас. Но я дождусь его обязательно, и всё, я уверена, у нас наладится.

На свиданиях отец передавал ей написанные специально для меня письма, которые она сканировала и по электронной почте пересылала мне. Давно научившись читать между строк, имея печальный опыт, по этим тетрадным листам в клетку, исписанным почерком отца, я мог безошибочно судить, как ему живется там, – в самом неподходящем для него месте.

Поначалу – и я хорошо это чувствовал – он был почти раздавлен. Из той умопомрачительной круговерти людей и событий, которая, по его воле, вращалась вокруг его персональной планеты, угодить в изоляцию и неподвижность, оказаться в лишенной минимальных удобств клетке с глубоко чуждыми чужими ему людьми – я представлял, каково ему. Позже, когда из изолятора его этапировали в колонию, он несколько воспрял духом. По тону его писем я чувствовал, что он, наконец, кое-как смирился с новым своим положением и начинает помаленьку осваиваться. Иногда я ловил себя на мысли о том, что заключение, возможно, станет для него тем безусловным и единственным спасением, каким стало когда-то для меня.

Так или иначе, каждый месяц я пересылал Нине деньги, а она закупала все необходимое и отвозила отцу. Только она, будучи законной женой отца, и могла эта делать – с мамой свидание ему просто не разрешили бы. Срок его перевалил за половину, осталось всего ничего, и я радовался этому. Приятно было наблюдать, как от письма к письму голос отца делается всё более уверенным и бодрым. Когда в нем зазвучали так знакомые мне задиристо-энергичные нотки, я понял: отец полностью обрел себя. В последние месяцы он перестал передавать для меня письма, но из звонков Нины я знал, что у него всё хорошо. Однажды она, правда, пожаловалась, что он начал общаться с непонятной прохладцей, но я не придал этому особого значения и успокоил ее, объяснив эти скачки в настрое отца естественным волнением перед близкой свободой.

Наконец наступил долгожданный день освобождения. Отец должен был сесть на поезд, проехать двести километров и быть через четыре часа у Нины. Сама она в тот день не смогла отпроситься с работы – да и не было в том особой нужды. В положенный час отец, безусловно, покинул стены ИТК. Он, не сомневаясь, сел на поезд, который через четыре часа привез его в наш славный областной город. Вот только у Нины, своей жены, он так и не появился. Не предупредив, не объяснив, не покайся, не попросив прощения, даже просто не поблагодарив, наконец, отец исчез из ее жизни навсегда. Похоже, за время его отсидки изменились какие-то обстоятельства. Возможно, поменялся сам отец, – но сказать-то об этом прямо он должен был?! Оказывается, нет. По возможности, я пытался утешить Нину – женщину с той же фамилией, что и у меня, – но знал, что от брака с отцом ей придется выздоравливать еще долго.

Нина – хорошая женщина с нашей фамилией – всё не шла у меня из головы. В очередной раз я решил, что скорее сдохну, чем наберу его номер. Он сам, черт побери, учил меня когда-то: есть вещи, с которыми человек не должен мириться никогда – никогда и ни при каких обстоятельствах.

РАК

Но однажды позвонила мать и, чересчур правильно и слишком медленно выговаривая слова, сказала:

– Сынок, с тобой хочет говорить папа!

Я был огорочен. Голос отца звучал бодро и молодо. Прежняя самоуверенность и всепобеждающая жажда кипучей деятельности слышны были в каждом его слове. Я мгновенно сообразил, что отец с мамой снова вместе – и мог только радоваться этому. Я и радовался. Еще я понял, что подспудно ожидал его звонка и очень рад разговору. Да, я мог что-то не понимать, осуждать или отвергать категорически, я мог придерживаться самых бесповоротных принципов, но я был просто рад слышать голос отца, и точка.

Я впервые тогда до физической боли, до рези в животе, ощутил, как сильно хочется мне увидеть их – отца и маму, и как неправильно устроено всё в моей нелепой жизни: я сидел в Испании безвыездно, я не мог пересечь границу из-за проблем с документами, и ситуация эта тянулась годами, а годы, между прочим, с рыси перешли в галоп и мчали с всё более удручающей скоростью.

Отец стал звонить мне регулярно. Он снова был весь в делах, он затевал бесконечные свои мероприятия, и каждый разговор, как водится, заканчивал словами:

– Всего чуть-чуть осталось подождать, Виктор! Не хочу ничего обещать заранее, но через две недели, кажется, мы сможем решить все наши проблемы. У меня очень хорошие перспективы. И если всё получится, за полгода я заработаю столько денег, что их хватит на всю жизнь – нам, нашим детям и внукам. Держись, Виктор, привет жене! Помни – мы накануне грандиозных событий!

Он постоянно заводил новые телефонные номера – в конце концов в книжке у меня значились сразу несколько: «Отец», «Отец-2», «Отец сейчас», «Отец в данный момент», «Отец новый», «Отец с ноября»... Это был своего рода забавный лингвистический тест на поиск синонимов. Причины этому я, разумеется, не знал, но подозревал, что каким-то образом смена номеров связана с его новым бизнесом – и побаивался, что отец вот-вот наживет себе новые неприятности.

Рак у него обнаружили совершенно случайно и уже на той стадии, когда исправить ничего было нельзя. При своей активной и беспорядочной жизни он не проходил никаких регулярных обследований, продолжая считать себя вечным – так что удивляться здесь особенно нечему.

Умирать он вернулся к маме. На всё про всё врачи отпустили ему полгода, и я понимал, что вряд ли смогу увидеть его живым. Так и вышло. Он протянул почти восемь месяцев, и в последние месяц или полтора мама, звоня, каждый раз сквозь слезы говорила мне:

– Это невозможно, это невыносимо смотреть на то, как он мучается. Наверное, грех это, но я Бога каждый день прошу: скорей бы он умер – чем так страдать!

И эти слова я слышал от своей железобетонной мамы – могу представить, каково было отцу! Если бы на год, хотя бы на год раньше !.. Но рак с мерзкими своими клешнями обнаружился слишком поздно.

А приехать к отцу я не мог.

ШАНС

Потом это время все-таки пришло, и я летел на родину – куда, так сложилось, не мог попасть десять лет, – летел к матери и отцу. В багаже, среди прочих подарков, была одна особенная вещь: пузатая литровая кружка для чая – в точности, как отцова «дуся». За неделю до моего вылета отец явился ко мне во сне – обиженный, взъерошенный и сердитый.

– Здравствуй, Виктор! – сказал он. – Соизволил, наконец, собраться – уже хорошо. Это радует и даже вселяет определенные надежды. Не подумай, конечно, что я обижаюсь на что-то там, – я всегда был чужд каких-то нелепых обид. Я, собственно, хотел бы

обратиться к тебе с маленькой просьбой: «дусю» ты не мог бы мне привезти? Обычную «дусю»! Можно тебя попросить об этом маленьком одолжении? Я, видишь ли, лишен кое-каких элементарных вещей – и, надеюсь, с твоей помощью смогу исправить ситуацию. Надеюсь на скорую встречу, Виктор. Бывай!

Всегда, когда он сердился или обижался, он переходил на излишне правильную, официально-деревянную речь, – и сейчас остался верен этой привычке.

Проснувшись, я еще половину дня носил в себе эту его обиду. Вечером в магазине подарков я отыскал ему замечательную «дусю» – пожалуй, даже лучше прежней: такую же пузатую и черную, но добавок, с надписью «The Beatles», как на барабанах Ринго. Лучше и придумать было нельзя – я знал, отец будет доволен.

Я решил, что сразу из аэропорта поеду на кладбище, а потом уже к матери. Накануне я намеренно соврал ей, что рейс мой прибывает на два часа позже. Не знаю, почему, но в самый первый раз я непременно хотел побывать у отца один.

А потом я стоял у могилы его на заброшенном сельском кладбище, в середине Полесской глуши – стоял и не мог понять, что происходит. Я тысячу раз представлял себе, как это будет; я прожил и пережил этот момент в мыслях заранее и уверен был, что знаю, как всё произойдет, – но, оказывается, ошибался. Надгробие качалось и плавало в неверных глазах. Текла беспрерывно густым и красным, текла и била в виски тяжелыми пульсами не мной порожденная мысль:

– Я уже никогда не буду так счастлив. Я уже никогда не буду так счастлив.

Стучало так больно и тяжело, что я присел на небесного цвета скамью и пытался губами поймать ускользающий воздух, и рукой всё придерживал левую половину груди, опасаясь, что вот-вот прошибет ее изнутри расходившейся главной мышцей.

Но и сидеть не сиделось, и я лег, вытянулся во весь рост на бурой хвое, вдоль отцовской могилы, – лег, зажимая сердце в руке, лег, всей спиной чувствуя тихую дрожь земли, лег – и увидел небо. Я давно отвык смотреть на него и успел уже забыть, что его так много. Небо было повсюду – непостижимое, бесконечное и бесконечно же, мучительно и бесконечно пустое. И та же мучительная, грохочущая пустота была внутри самого меня.

Я видел, как в запредельную пустоту эту вползла крохотная ртутная точка – самолет. Потом их сделалось две – в моем мокром радужном небе. Вот ведь какая ерунда. Мой отец умер. Он умер – а я ничего не могу сделать. Лежу, мокну глазами – и ничего не могу сделать. Никто ничего не может сделать сейчас. А ведь у нас с ним была

целая жизнь – на двоих. Была, была – та самая, которую я прошляпил и упустил.

Когда чуть-чуть отпустило, я кое-как утвердился на ногах, запустил в телефоне «Через Вселенную» – для отца, и для себя тоже, – и думал, опершись на холодный металл ограды: кому нужны они – кладбища, памятники и могилы? Ведь там, двумя метрами ниже, нет никого, о ком надо плакать и сожалеть. Никого и ничего – разве что ненужная более, отслужившая свой век пустая оболочка. И, раз так, могила эта – лишь условность. Дань общепринятой традиции. Но в голове, противореча, всё громыhalo и громыhalo нескончаемыми вагонами:

– Я уже никогда не буду так счастлив! Я уже никогда не буду так счастлив!

Грохот этот сбивал с мысли, но я пытался не терять нить. Я всё добивался у мозга ответа: кому нужны они – кладбища, памятники и могилы? И сообразил вдруг: они нужны нам, живым. Мы ставим их себе. И памятник напротив меня: продолговатый блок гранита с отцовской фотографией – поставлен здесь совсем не для него.

Габбро-диабаз – так правильно называется этот камень: я запомнил название, когда заказывал памятник через интернет. Заказывал, выходит, себе. Это мой памятник – и памятник мне. Тяжелый каменный столб посередине гладкого шоссе моей памяти. Вот только надписи на нем высечены не все. Не хватает одной, самой главной, о которую я каждый раз, оказываясь здесь, должен разбиваться всмятку, как о приговор, обжалованию не подлежащий: «Я откладывал любовь на потом».

Да, так и есть. Я откладывал любовь на потом. Да что там – я просто боялся ее, и потому изыскивал разные поводы, чтобы при первой же возможности от нее увильнуть. Убежать, спрятаться, уклониться, отгородиться железными принципами и вескими причинами – не умея или не желая понять, что все эти поводы, принципы и причины не стоят даже скорлупы от выеденного яйца там, где речь идет о самых близких тебе людях. Я, черт бы взял мою слепоту, всю жизнь пытался мерить и взвешивать там, где никаких мер и весов не существует по определению.

А ведь могло, могло бы быть иначе. Моя несостоявшаяся, по большому счету, любовь всегда бежала в двух неделях впереди меня. В тех самых двух неделях, которые как раз нужны были мне, чтобы понять, как я ошибаюсь, – если бы я дал себе этот труд. Положим, так поступал не только я, но разве это что-то меняет? Разве может это что-то изменить, когда я стою у могилы отца, у своей могилы – здесь и сейчас, и читаю не высеченные на камне, но жалящие в самые зрачки мне

слова: «Я откладывал любовь на потом»? А предпочел бы прочесть другое: «Я не забывал любить при жизни». Если бы надписи эти в обязательном порядке помещала на каждое надгробие беспристрастная рука свыше – было бы честнее. Человек приходил бы к себе на кладбище и сразу понимал, что для него этот памятник, – плаха или пьедестал. И обмануть себя было бы нельзя, и что-то скрыть тоже.

Так размышлял я о плахах и столбах и, странное дело, – так же внезапно, как до того поплохело, сделалось мне легко: как будто через безвоздушие и боль изверглось из меня свинцовое что-то, лишнее и дурное. Так легко и свободно сделалось мне, что я попробовал даже улыбнуться неверными губами. Исторглось, изболело, ушло. И грохот вагонный об утраченном счастье, шевельнув напоследок гремучим хвостом, истаял за поворотом, возвращая покой.

Именно так – покой! Теперь я был спокойнее, потому что понял, наконец, то, о чем раньше мог только догадываться: родители не умирают. Родители не умирают – они просто перебираются в нашу оболочку, чтобы после, когда придет время, перебраться в оболочку наших детей. Это понимание тоже пришло извне, но я не удивлялся. Я уже, кажется, начинал привыкать к тому, что всё, происходящее здесь со мною, от воли моей не зависит и творится помимо меня.

А потом раздался звонок, и я, не глядя, знал, кто это. Да, это была мама, хотя накануне мы договорились, что я позвоню ей сам, – после того, как самолет приземлится. По медлительной, чрезмерно отчетливой речи ее я знал, что мать уже выпила – и выпила крепко, вот только раздражаться по этому поводу мне совсем в этот раз не хотелось.

– Ты у отца сейчас? – сходу не спросила даже, а утвердила она.

– Да, – ответил я машинально. – У отца. А как ты узна..?

– Как-как... – папа мне сам и сказал! Не понимаешь, что ли... – перебила она, сердясь на мою непонятливость, и я поймал себя на мысли, что ожидал именно такого ответа. – Значит, у отца... Ну и правильно, сынок. Правильно. Так и надо. А потом мы еще вместе к нему обязательно съездим. Даже не верится, что ты здесь, совсем рядом, сын. Приезжай скорей, ладно?

Я не видел ее десять лет – мою, *нашу* любимую маму.

Поставив в вазу цветы, я примостил обочь «дусю», закрыл небесного цвета калитку и заторопился прочь – туда, где ожидало меня такси. Мне нужно было спешить. Мне обязательно нужно было догнать ее – мою любовь, всегда бежавшую в двух неделях впереди меня.

У меня еще был шанс.

Андрей Иванов

Сказка о фарфоровом мальчике и гуттаперчевой девочке

Когда я был фарфоровым мальчиком, я висел на еловой лапке рядом с восковой курочкой и ленивой гуттаперчевой девочкой. Что осталось от тех времен? Разве что сказка, которую я рассказал на ночь сыну, и ту он не услышал, потому что быстро уснул.

Я лежал и слушал его дыхание, ожидая подходящий момент, чтобы уйти, не разбудив его. Сказка разворачивалась в моем уме, как диафильм на полотне в темной комнате; как рога улитки, выглянувшей из домика; как тронутый солнцем спящий лист.

Я слушал дыхание малыша, ждал: скоро уж оно станет глубоким, устойчиво напористым, как под ветром мерно прогибающаяся крыша, – и вспоминал те времена, когда я был фарфоровым мальчиком и дружил с восковой курочкой, мохнатой кошечкой и гуттаперчевой девочкой...

Девочка красиво рисовала, но ленилась делать уроки. Она сильно уставала на тренировках, на математику и физику сил не хватало, тогда она звонила мне, и я помогал ей решить задачки. Она пыхтела, записывала и говорила: угу... угу... записала... Я слушал ее дыхание и жалел, что она мне не нравится, что я не могу в нее влюбиться. Мы с ней так хорошо дружили! Почему я не мог ее полюбить?

Я не верю в любовь. Я никогда не любил. Я не знаю, что это такое – любовь. У меня были только влюбленности. Влюбленность – это самообман, состояние интоксикации, полусна, когда ты уже проснулся, но врешь себе, потому что не хочешь подниматься и идти в проклятую школу. Влюбленность хороша тем, что ты ее выбираешь сам, как напиток, – правда, увлекшись, теряешь контроль, – не я один так делал, многие, потеряв контроль, говорили, что влюблены... Но я всегда знал, что не влюблен, я помнил, что добровольно вызвал это состояние, – я рано начал вести дневник и, смутно догадываясь о практической пользе моих дурацких записок, перечитывал его, напоминая себе о том, как принял решение ухлестнуть, придти и

смотреть на окно, искать встречи и проч. Например, однажды я приударил за девочкой, о которой не знал почти ничего; она училась в нашей школе на год младше, она мне нравилась своими длинными ресницами и алым ртом, я только слышал раз, как ее называли по имени, и решил обязательно найти ее, проник в их класс после уроков, оставшись для уборки, залез в журнал и нашел ее имя, адрес и прогуливался возле ее дома, хотя она жила в опасном районе, что придавало ей шарма: я видел надписи на стенах ее дома, безусловно, хулиганами написанное ее имя – это меня возбуждало, будоражило, волновало, влекло к ней. Я нуждался в этом чувстве, но не позволял себе забывать о том, что осознано подыскивал объект вожделения. Мне нужна была влюбленность затем, чтобы мир казался более сносным, чтоб затуманивать страстью взгляд и проще принимать людскую грубость; школа была отвратительным заводом по производству болванов, и, чтобы в ней выживать, я искал себе объект созерцания. Не всегда получалось. Чтобы увлечься серьезно, до затмения, нужна была необычная девочка, с демоническими задатками, и я их находил, с кошачьими повадками и блядскими замашками, жестокие, обозленные, ядовитые – о, такие пробуждали во мне болезненную страсть, на таких безрассудных я западал до помутнения сердца и долго держался – бывало, что год!

Первыми признаками моего охлаждения были вспышки желчности. Я раздражался на мать. Или, слушая, как отец собирается на работу, надевает шинель, стоя перед зеркалом, поправляет галстук, бренчит наручниками, ключами, прочищает горло и щелкает прицепленной пока что пустой кобурой, я вдруг желал отцу невозможное: чтоб он не вернулся со своего дежурства. Когда начинал злиться на моих школьных товарищей, я понимал: отравля влюбленности в жилах оскудевает, скоро злоба накроет меня с головой. Тогда я искал лазейку для передышки; я либо заболел, напившись холодного молока, которое покупал на обратном пути из школы, или шел домой растянутым, или, спрятав портфель в дровяном сарае, прогуливал школу, катался в электричках и автобусах, ходил в кино.

Находя в себе дурное, я редко оправдывал свои поступки. Обнаружив в себе зло, я считал, что ничего уж нельзя поправить: даже если я начну всё делать правильно, рассуждал я, и буду всем казаться хорошим, я-то буду знать, какой я внутри.

Очень рано я понял, что внутри меня живет существо без возраста, имени, пола и национальности, а значит, решил я, возраст, имя, пол и национальность – чепуха. Какое-то время я думал, что я – советский мальчик, и я даже так думал, разглядывая старые немецкие

газеты под сорванными обоями: как же мне повезло, что я родился и живу в Советском Союзе! Очень скоро я понял, что нет ни Советского Союза, ни советских детей; вместо этого, под покровом, живут загадочные существа; нет родителей и детей, думал я, лежа в темноте (такие приступы ясности, такие откровения случались со мной по ночам, когда нападала и держала бессонница), нет начальников и подчиненных, нет учеников и учителей; нет ни советского, ни капиталистического – и спрашивал себя: а что тогда есть? что я такое? Я спрашивал себя: неужели и в других тоже есть оно?

Я судил и себя, и других беспощадно, я был слишком требовательным к моим друзьям, взваливал на них непосильные задачи и себе придумывал что-нибудь невозможное.

Я – источник бед для дорогих мне людей (многих из них я растерял: одни отвернулись от меня, а другие сгорели, не выдержав моей требовательности). Нет, я не был источником огромных бед, – я был причиной мелких беспокойств и неприятностей.

Часто по ночам я раздумывал над тем, почему я не заступился за моего школьного приятеля, почему я сказал гадость или нагрубил матери; не находя себе оправдания, я злился на себя, понимая, что утром начнется всё заново, – не новый день, а еще один день, и я буду таким же, каким был вчера и прежде, и что я снова ей нагрублю и кого-нибудь предаю, сделаю что-нибудь, какой-нибудь выверт, который будет меня мучить по ночам, – и так будет впредь. Лежа в темноте, я знал, что лучше я не стану никогда, потому что каким я стал – я и должен был таким стать, лучше быть нельзя, можно только казаться – себя и прочих обманывать. Я знал: человек может быть только таким, каков он есть, в основе основ, и я знал, очень отчетливо, каков я есть; я знал мое яростное сердце и не хотел его прятать: что толку его прятать? Оно будет жечь меня изнутри. Я буду бороться с ним, сжимать его, как кулак, и оно начнет само свое сжатие, затягивая всего меня в этот процесс. Я видел спираль моей жизни, вращаясь по которой, я вынужден буду страдать. У меня бесконечные ночи, в них приоткрывается дверь в ад, и шершавая чернота гуляет сквозняком по душе. Не могу спать и думаю, что вынужден страдать, обязан.

Теперь я страдаю намного меньше... Хотя что это меняет? Всё равно страдаю. Возможно, это связано с тем, что я старею, слабею. Раньше я был молод и ненавидел сильнее, страсть меня будоражила, я выжигал себя изнутри, а если ненавидел, так до затмения!

На меня действовали книги, я маниакально вгрызался в них (стремился забыться, уйти от себя, спрятаться, раствориться в чужой жизни – еще один вид интоксикации); очень много смотрел

телевизор, в основном, финское телевидение; ходил часто в кино, в кинотеатрах я прятался и оставался на следующий сеанс, – так мог посмотреть один фильм три раза, мне было всё равно что смотреть. Читал я тоже очень часто не те книги, слушал не ту музыку – мне многие говорили о том, что я слушаю не то, что теперь слушают, и читаю не то... Все вокруг увлекались чем-то преходящим, каким-нибудь поветрием, и, легко переболев, жили дальше, словно на них не оставляли следа ни книги, ни музыка; они были ко всему слегка равнодушны и по-своему, по-ребячески, эгоистичны, а я не оставался равнодушен даже к нашим классикам, я всё воспринимал болезненно и к себе примерял, вызывал на спор учителей, сам позорился и всем вокруг кровь портил, так что я был для всех вокруг шутком. Слава о моем дурацком характере шла далеко за пределы школы, говорили и о революции, которую я затеял, и о попытке самоубийства было известно, – смеялись, не воспринимая меня всерьез; для меня персонажи Лермонтова и Толстого значили гораздо больше, чем реальные люди; я ставил Печорина выше всех моих друзей, я грезил им, он был моим наваждением, а когда я прочитал, как у Раскольникова случилась лихорадка после убийства, той же ночью я встал и рвал обои на стене. Всех родных и знакомых я рассматривал только с одной точки зрения: могут ли они послужить моделями для моих произведений, – и писал о них, с шестнадцати лет я методично изводил бумагу, тщательно выкраивая из моих близких хоть что-то путное, но ничего не выходило; они обижались и говорили, что вся моя писанина дрянная, в то время как дрянными-то были они, модели, совершенно негодные для литературы. Не знаю, как я вынес, как прорвался сквозь то безжалостное и насквозь фальшивое время.

По ночам всё это варилось в моей голове, влюбленность усугубляла мое отвращение к себе, душа моя сигналила мне: стучаться в чужие сердца глупо.

Я часто дрался, мне попадало, и я не жалел себя, и все-таки три раза струсил, и эти три раза меня поедают стыдом по сей день; с раннего возраста я знал все мои наклонности и видел свою слабость потворствовать им. В детском саду, обнаружив в себе сильный луч воображения, которое мне показывало очень многое, раскрывая тайны людей (так я считал), я заставлял себя выключать этот луч, старался оставаться со всеми (будто выйдя из кинозала), не слушал внутренний голос, заманивающий внутрь, где легко включалось кино; в детстве я стеснялся представлять людей, особенно в те минуты, когда находился в туалете или душевой, я старался ни о ком не думать, стесняясь: человек на экране моего внутреннего кинозала был более настоящим, чем в жизни, воображаемые люди знали меня

изнутри, я с ними был откровенным, и часто удивлялся, когда в реальной жизни они проявляли невежество в тех вопросах, которые мы с ними прояснили в моем воображении. В школе я этим так увлекся, что воображение стало моим проклятием. Я воображал людей даже во время нашего общения, я мог крутить кино в голове и гулять, беседовать, играть с людьми в карты. Разговариваешь с человеком – и видишь рядом его двойника; слушаешь то, что говорит тебе человек, – и слушаешь то, что тебе нашептывает его дубль. Расставшись с другом, я продолжал быть с ним: я видел, как он идет домой, я знал, о чем он думал, на что обращал внимание, я видел даже то, мимо чего он проходил, я видел, какую книгу он читал дома, что он ел и как забывчиво зевал, стоя у окна, – я стоял рядом, стоял рядом и смотрел на моего друга и не мог уйти; поэтому я легко нашел ключ в темноте, который обронила девочка, в которую я был влюблен, но меня поразило, что это не произвело на нее и ее подругу ровным счетом никакого впечатления; я переживал, когда у меня появлялся друг, потому что я знал, какая это редкость и странность – иметь друга: обычно «друзьями» называли тех, с кем просто убивали время; в настоящего друга я словно влюблялся, часть меня жила подле моего друга.

Где-то лет с двадцати, уже в университете, мне стало наплевать на то, что обо мне думают, в двадцать пять я порвал со всеми друзьями и сжег всё, что написал... и ночи мои стали совсем другими, там царили совершенно inferнальные кошмары, я видел охваченную огнем беспредельность, волну огня, что поднималась над нашим домом. Проснувшись, лежал в темноте до утра... и в этой темноте со мной рядом всегда кто-то был – я не знаю одиночества, я никогда не бываю один и никогда один не был, даже в одиночной камере.

Особенно в одиночной камере: там тебе назойливо дают понять, что твое одиночество умозрительно. Так устроена тюрьма: в ней тебя пытаются стенами, но не одиночеством. Ты видишь стены, но видеонаблюдение работает, за тобой может и не смотрят, но ты не один, есть камера, под таким-то номером, в ней находишься ты, твое имя, такой-то, ты помечен и ты уже не один, потому что о тебе им известно. Знание о тебе не может быть полным, потому что оно лишает тебя твоих исключительных достоинств и отнимает перспективу у твоей бесконечно сложной натуры. В одиночестве человек только тогда, когда никто не знает, где он, что с ним, как он и о чем думает, – и тогда он огромен, как исполинская статуя! А в тюрьме ты лежишь, о тебе всё до конца сказано, тюрьма набита такими же, вот именно – такими же, ты уже часть этой массы. И даже там у меня были друзья.

Куда бы я ни бежал, всюду кто-нибудь появлялся, точно его подсылали. И, наверное, я все-таки бежал от моих друзей и близких; эти деньги и само приключение были предложением для того, чтобы рвануть от всех подальше, оторваться, разорвать с позором эту связь. Потому что лучшие из друзей — твои сокамерники, они — отполированные тобою прутья клетки твоей; а худшие из друзей — твои тюремщики. Иначе быть не может. Человек выстраивает себе враждебный мир, чтобы самому сломаться или совершить из него побег, чтобы оказаться в другом лабиринте, построенном такими же зэками, как он сам, чтобы бегать по этому лабиринту лабораторной крысой. Но я никогда не был один. У меня всегда был попутчик. А когда попутчика не было, и я шел под дождем на моих двоих, никого подле себя не слыша, я всё равно знал, что за мною кто-то подглядывает, кто-то всё равно есть рядом...

Иногда ночью, засыпая, я слышу в голове сопение гуттаперчевой девочки, будто мы снова говорим по телефону, я решаю какую-то задачку и не могу решить; она спрашивает: что?.. что ты говоришь?.. что за бред!.. Я отчетливо во сне слышу ее голос и просыпаюсь в сильном изумлении, и начинаю вспоминать наши разговоры по телефону, — то была параллельная жизнь, мы прятались от наших родителей, мы ускользали в провод, мы переставали быть детьми, наши голоса, наше дыхание — оно выдавало в нас присутствие загадочных существ — без пола, имени, национальности и плоти; эти существа устремлялись друг другу навстречу, сплетались, дышали, были одним, подвешенные в полной темноте над бездной.

В благодарность за мою помощь гуттаперчевая девочка ставила новые пластинки. Я слушал, по окончании песни она спрашивала: «Ну что, понравилось?»

«Да», — отвечал я.

«Хочешь еще поставлю?» — спрашивала гуттаперчевая девочка.

«Конечно», — отвечал фарфоровый мальчик.

«Хорошо, тогда реши еще одну задачку.»

Я с легкостью решал...

Тридцать с лишком лет назад: мне было пятнадцать, я был в гостях на ее дне рождения, немного одержимый другой девочкой, которую не пригласили, я скучал, перебирал пластинки и японские кассеты. Из ее окна я мог видеть мое. Ни на секунду не удавалось забыть, что лето подходит к концу, — она родилась в последних числах августа, ее день рождения был чем-то вроде последнего всплеска веселости перед началом затяжного обморока, взмах флажка перед ненавистным стартом.

Ее папа ходил в море, у гуттаперчевой девочки было много заграничных шмоток и пластинок, я переписал у нее Kraftwerk и многое другое, – он привозил много музыки; он мне нравился – как-то раз я услышал, как в другой комнате, где собирались в день ее рождения родители приглашенных детей (я приходил один, конечно), он, слегка подвыпив, сказал, что работа в море адская, и вдруг добавил, что работает на кораблях только ради того, чтобы привезти что-нибудь из-за границы... и тут он стыдливо воскликнул: «Пластинки!» – и засмеялся, и все засмеялись, будто понимая его шутку, но я в ту минуту всем сердцем поверил, что он сказал правду, и это не могло не подкупить мое детское сердце... да я и теперь, скажи мне кто, что в те годы в море ходил ради того, чтобы привезти пластинки, я бы поверил и полюбил этого человека!

Благодаря ей я снискал сравнительную популярность в своем классе (меня считали занудой), – другие ребята переписывали у меня музыку и спрашивали: «Колись, откуда достал». Я не признавался, потому что стеснялся ее, она была младше, она была похожа на обезьянку, у нее были прыщи, она была дурнушкой и – костлявой дурнушкой; частенько она была квелой, она занималась фигурным катанием и спортивной гимнастикой, но у нее не было на это здоровья, не следовало бы ей заниматься, ее спортивные достижения давались ей с огромным трудом и наносили страшный ущерб ее здоровью – она много болела, иногда она вообще не выходила гулять, сидела дома, еле ковыляла по квартире, так у нее болели вывихнутые на тренировках суставы. Однажды между нами пробежала искра: она у меня в шутку что-то отобрала, какой-то брелок, и не хотела отдавать, я пытался вернуть его, борьба перешла в объятия, объятия – в поцелуи, мы остановились, когда поняли, что это уже совсем не детские игры, мы не на шутку возбудились. Стыдно вспоминать... Теперь запросто можно сказать, что всё это показалось: всё это была сказка, которую я сочинил, лежа на давенпорте рядом с моим семилетним сыном.

В темноте, прислушиваясь к его дыханию, я видел лицо гуттаперчевой девочки, видел ее такой, какой она была в двенадцать... Она слегка походила на мартышку из мультфильма «38 попугаев», поэтому я и прозвал ее «гуттаперчевой». Прозвище, вообще-то, слетело с губ моей матери, когда она увидела, как та делает на асфальтовой дорожке возле Дома культуры акробатические трюки: «Какая гуттаперчевая!» – сказала мать, с прищуром глядя на ее пируэты, и чуть позже добавила еле слышно: «Сумасшедшая – убьется однажды».

Рисовала она тоже замечательно: «У нее дар», – говорила моя мать с сердцем; маме ее рисунки не давали покоя, она часто на них смотре-

ла, доставала и разглядывала, они на нее действовали, как стихи ее любимых поэтов; маме делалось нехорошо, она бледнела и, с полу-прикрытыми глазами, говорила: «У нее было много воплощений».

Девочка рисовала очень хорошо, но всё же посредственно, и частенько выдавала бабушкины рисунки за свои (та рисовала, как говорится, от Бога, — именно те рисунки, что доводили мою мать до полуобморочного состояния, и были бабушкиными). Однажды девочку разоблачили, не помню, кто ее выдал, вся история разворачивалась в учительской и директорской, до нас доходили сплетни, сама она мне не хотела рассказывать, в те дни она была очень нервная и не ходила в школу. По делу о подлоге собрали педсовет, на котором решали, писать об этом в газету или нет, из-за чего у девочки сдали нервы. Всё было так серьезно, потому что ее обман зашел чересчур далеко: наша учительница рисования легкомысленно отправила два ее рисунка на какой-то важный конкурс в Москву, оттуда пришло восторженное письмо с просьбой прислать еще, тогда девочка сама нарисовала и выиграла конкурс, ее хотели пригласить в студию, вся школа гудела, и вдруг кто-то выдал, на нее нажали, и она призналась. Тут уж на нее начали давить все, кому не лень... Сволочи! Отчасти она все-таки сама выиграла конкурс, но когда начали разбираться, то на ее заслуги закрыли глаза, говорили только плохое. Бабушкины рисунки она умело копировала, девочка у нее многому научилась, хотя та совершенно ничему не умела учить, бабка была коварная и злая, настоящая ведьма, она даже побивала девчущку — странно, что такие трогательные, теплые образы, с нежными тонами, с уточками в озере, ласточками в гнездышке над окном, и детьми, весело искрящими спицами велосипедных колес, рисовало такое озлобленное существо (узнай мы ее жизнь получше, наверняка мы поняли бы ее!), девочка ее побаивалась, но, несмотря на все страхи, которых она натерпелась, и козни, что старуха ей строила, девочка называла ведьму «бабулей».

Бабуля была настоящей аристократкой — документы, подтверждавшие ее родословную, отец девочки раздобыл в девяностые, чтобы уехать за границу, но никто никуда не уехал. Я бабулю видел раза три, не больше, она почти не вылезала из своей каморки; она свою внучку едва выносила, о других детях, тем более, мальчиках, говорить нечего; она много читала и рисовала (еще были какие-то письма, которые она писала давно умершим друзьям и родственникам — вот их бы почитать!).

Умерла она, когда девочка пошла в третий класс, тогда-то у нее и прорезался «дар». Она нашла бабушкин старый альбом, о котором та давным-давно и думать забыла, девочка таила его у себя и поти-

хоньку выдергивала из него листки, а что-то (повторю) очень недурно перерисовывала, – в общем, девочка не напропалую выдавала ее рисунки за свои, я хочу еще раз об этом сказать: она старалась, училась и впоследствии хорошо их копировала – разве что ничего своего придумать не умела, случилось, даже меня спрашивала: а что бы такое нарисовать, ну скажи, ну придумай, – зудела, и я садился и начинал придумывать, рисовал что-то своей корявой рукой, а она, глянув, говорила: ага... я поняла, – и тут же мой рисунок в ее альбоме превращался в настоящее искусство! Восхищение оттого, что мой дурной набросок, не теряя моей задумки, через две-три минуты перекочевывал в ее альбом в мастерском исполнении, я не забуду никогда; я ношу тот восторг и буду его носить в сердце, жалею лишь об одном: этого восхищения не было достаточно, чтобы полюбить ее. Я считаю, что с ней обошлись незаслуженно жестоко, ее преступление было куда безобидней, чем то моральное изничтожение школьным педагогическим коллективом.

Незадолго до смерти бабушка гульнула умом: она выходила на улицу в драном пеньюаре и молью побитой шляпке, приставала к людям с идиотскими вопросами. Мама девочки называла это «сомнамбулизмом»; я уже тогда понимал, что термин не соответствовал действительности, но из вежливости молчал. Отчетливо помню, что один из эпизодов ее «сомнамбулизма» пришелся на день похорон Брежнева. Она гуляла по улицам Каламая в совершенно легком платье, сетчатом и обветшавшем до прозрачности, равнодушная к холоду и завыванию заводских труб, она веселилась, пела, танцевала, подбрасывала листья, громко читала стихи на французском языке. Ее поймала милиция и отвезла в психушку на Палдиски мантеэ, оттуда ее забрал домой зять. Сам я, к сожалению, этого не видел.

Мать девочки была тоже странная: она почти ничего не делала, сидела дома, смотрела телевизор, красила ногти и ела мороженое, она была совершенно инфантильной дамой с высоким бюстом, двойным подбородком и некрасивой фигурой, но у нее были большие красивые мечтательные глаза с длинными ресницами и коллекция коротеньких платьев, какие носили в шестидесятые, шмоток у нее было очень много, и работать с таким мужем, который всё время ходил в моря, ей не надо было.

Пока не утратила рассудок, девочкой занималась бабушка, она внушила ей странное представление о мире; девочка всё подвергала сомнению, не верила, что Гагарин летал в космос, и во многие другие очевидные вещи; ей было трудно учиться, она всё воспринимала со скептической ухмылкой, за что ее ненавидели учителя. Она верила в магию чисел, астрологию и прочую дребедень; умела гадать на

картах, ругалась по-французски, курила со мной сигареты, которые я крал у отца, и подмешивала в наш лимонад коньяк из бара родителей. Она мне не нравилась, но я ею восхищался, и было чем: она училась читать по книгам с дореформенной орфографией, цитировала Библию и знала наизусть огромное количество стихов таких поэтов, о которых ничего в школе не говорили; как сейчас помню ее в легком васильковом платице на бортике старого неработающего фонтана – стоит, держась за каменную позеленевшую рыбину, и громко читает:

Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.*

Моя мама очень любила ее, называла «лучом света в темном царстве» и приглашала к нам в гости; при виде ее мама начинала читать наизусть «Ночевала тучка золотая...», быстро сбивалась, а та ее поправляла, но тут же читала что-нибудь другое, грустное и душу леденящее, с нагими нимфами в воде; она могла даже забыться и заплакать, моя мама оправдывала эти неврастенические припадки «издержками аристократического воспитания» и говорила, что ей обязательно надо стать актрисой: «Ты прирожденная актриса», – говорила мама строго. Но девочка в итоге стала инженером, она поступила в ТПИ и вышла замуж за мелкого бизнесмена, они ездили по странам бывшего содружества, скупая барахло по дешевке, а потом продавали его на рынке Кадака. Я случайно наткнулся на них – они стояли за лотком, оба были смущены донельзя, при виде меня она побледнела, я подумал, что сейчас упадет в обморок, но она взяла себя в руки и пригласила в гости. У него были странные мутные глаза (скорей, сектант, чем торгаш). Они торговали полудрагоценными камнями, талисманами и прочей мишурой, которая была в моде в девяностые. Думаю, это у нее от отца. Он тоже толкал джинсу. Мы поговорили пять минут возле ее лотка, она успела сказать, что мой камень – траурный агат. У них была шикарная фонотека и японская аппаратура – в основном за этим я и ходил к ней, она мне не нравилась, слишком худосочная, но я ей морочил голову, набивался в гости, эгоистично приносил с собой магнитофон, чтобы переписать очередную пластинку, но выдавал это за предлог. Ей нравились мои дрянные стихи, ее стихи были ужасны, но все же лучше моих; как и мои, они состояли из всякой мишуры и бреда, которого она наслушалась сызмальства, но в них была какая-то странная грустная мелодия – я не могу этого постичь, до сих пор вспоминаю некоторые, глупые, бре-

* *Владислав Ходасевич. Путем зерна.*

довые, но музыка, какой-то дух, как запах из старинного шкафа, – вот то очарование, которое было в ее глупых стихах... Она поцеловала меня первой, сказав – не надо стесняться своих чувств, и подарила японскую кассету. Как-то, когда мы нежно целовались, она сказала: вот бы по-настоящему поцеловаться, ты умеешь? И я, понимая, к чему она клонит, соврал, что не знаю, о чем она говорит, и быстро слинял.

Дома у них была старинная мебель, очень внушительная, крепкая, строгая; массивные медные канделябры, бронзовая шкатулка, массивный подсвечник, хрусталь, большие тарелки с вензелями, столовое серебро, в бабушкиной комнате – самой маленькой, тесной, как покойническая, с полукруглым окном под потолком, как в тюремной камере, – много места занимал большой сундук с каким-то длинным номером; он стоял в изголовье скромной металлической постели, на которой она и отошла. Бабу мы боялись, она нас всех за людей не считала, я ее прозвал Пиковой дамой. Девочка в день смерти бабушки плакала совсем мало, поплакала и весело играла дальше, в церковь ее не взяли – я тогда впервые услышал о том, что кого-то еще отпевают в церкви.

На открытках, которые она рисовала, были самые заурядные сцены: вот женщина в пальто и круглой шапке ведет за руку девочку с цветами – это я пошла в школу, объясняла мне девочка; вот женщина в переднике стоит на коленях перед девочкой, которая сидит на стуле и плачет, на ее коленке красное пятнышко – это я первый раз каталась на велосипеде... и тому подобное, ничего особенного, но всё было каким-то чудесным, живым, настоящим.

Где это теперь? Где ее шляпки, где то платьице, где наши кассеты и поцелуи? Кому это всё нужно... эти сказки, которые я шепчу спящему сыну в темноте, вспоминая гуттаперчевую девочку... фрагменты, которые не вошли в сказку, излишек, ни на что не годный материал, каким в наши дни признан асбест. Перечеркнуть и, не отдергивая руки, тянуть линию противожизни дальше, вплоть до недавних дней, воскликнуть: всё привиделось!.. ничего не было!.. я не знал гуттаперчевой девочки, я не был фарфоровым мальчиком, я не катался на курочке и не плясал под индийскую флейту, превращаясь в фонтан разноцветных искр, я не сдавал экзамен на гражданство, не стоял под каштаном во время дождя, не беседовал с министром образования, не получал государственной премии, не получал злобные письма с угрозами, не жил в Париже; чокнутая в мужском пальто не показывала вчера мне язык, не спотыкался на ровном месте, не вывихивал колена; меня не приглашали ни в префектуру, ни в Ратушу, ни в Розовый сад, за мной не шпионили, не задавали наводящих вопросов; я не жил ни в Англии, ни Брюсселе, ни в Скандинавии, в конце концов, – на самом деле ничего этого не было, всё это было не более реально, чем сказка о дружбе фар-

форового мальчика с гуттаперчевой девочкой. Я не толкал астрологические фуколки по телефону, не открывал своей фирмы чужими руками в Исландии, не писал дипломных работ ленивым студентам, не устраивал фиктивные браки и такие же фиктивные сделки – ничего этого не было, потому что гороскопы всё равно всегда врут, фиктивные браки распадаются, а сделки аннулировали, так как компании обанкротились во время кризиса 2008 года – тогда в Исландии много чего рухнуло, и под этот шумок легко было замести следы: ни пылинки не осталось – всё смел электронный вихрь. Всё исчезло, превратилось в пепел и дым, в том числе и травка Буги-Вуги. Даже осколки разбитых елочных игрушек в моей памяти оставили более яркий след...

Фарфоровый мальчик – от него осталась красивая сказка, которой никто, кроме меня, не знает.

Мой малыш быстро уснул – я не заметил, рассказывал... увлекся... а он спал.

Так кому я рассказывал?

Разбавленной огнями проезжающих машин темноте?

Сумеречным лицам, что образуют складки гардин?

Гулу в шахте лифта?

Или моему неумному сердцу, которое требует исповеди?

Да, это оно шепчет:

«Ничего не было, говоришь?»

Да, – отвечаю, – не было.

«Показалось, значит?»

Ага, точно, показалось.

«Нет, – сердце не успокаивается, – меня не проведешь. Что-то было, что-то осталось, должно было остаться!.. куда-то ушли все эти годы... Откуда взялись болезни, переживания, кошмары?»

Не знает никто.

«А рубцеватые следы?.. Что ж, если никто не знает, так и черт с ними?»

Да.

«Зарыть и бросить, как труп неизвестного?»

Да, вот так! Вот так! Лучше всего – анонимная смерть!

«Нет, унтерменш, — говорит сердце, — так просто ты от меня не отделаешься.»

Таллинн

Владимир Гандельсман

Смерть языка

1. ОТЪЕЗДНАЯ

Кто в собор,
а сброд гужом
по улице валит,
всполошён город,
рёбя, головы проломны,
хар-ря-ор,
нюбивайся мать,
Ваньке дурь повыбьют, чать,
вой погромный,

ерболизнь,
бей полицию,
хрясь па-лиц-цу,
грабь казёнки,
брейсь и там храбрись, иц-цу,
на войне борись,
нюбивайся мать,
умягчится, чать,
сердце, мать твою, умягчится,

ты целуй, Вань, свою –
вон стоит, семки лузгая,
запевай русскую –
«нашу, Марья, ночевальню
не забуду, целовальню,
солнышко,
в чужу дальню,
в чужу дальню
еду сторонушку»,

паровоз –
пуш дыч хяц –
пышет, легкие прочищает,
эшелон-мэшеловка,
серая солдатня,

солнце дня
мается,
вдоль вагонов по насыпи
шалава шатается,

паровоз —
фых шиж соп,
тиф сыпной, рассыпной,
упокой, Господи, души усопших,
а кто не усоп и нищ,
тот блажен,
довези, ась,
до деревни «Вши»,
эй, шалава, залазь,

девку лапы лапают,
моргалами лопают,
рты, как западки,* хлопают,
Русь — во! —
палец большой торчком,
а не Русь — во! —
палец ничком,
некрусьво,**
солдасьво.

2. ДОРОЖНАЯ

Ах, как плачет он: мамашенька,
а еще приплакивает: Машенька, —
только залюбился, а ему: марш, Ванька́,
пашка наголо тебе не шашня ж, энь-ка!
Как с поклоном голос, так просительно
обращается: водички б, хлебушка,
тихо плачет, уменьшительно
называет всё: травинка, небушко.

Разве, речь Ванька́ выручит
и собственноручно вынянчит,
а не то наоборот его вычернит,
из людей в нелюди вычеркнет.

* Западóк — ловушка или дверца ловушки для птиц.

** От «некрут» — рекрут.

На позиции пока не повылезли,
только обозначилась станция,
пить почали враз — кого и вынесли,
а кто сам, тот за манерку, иц-ца!
В страхе злоба копится и копится,
кроют всех кого ни попадя,
оскорбляют барышень, в пойле топятся,
пропади ты жизнь моя в реке-Прóпади.

Речь пылью распыляется,
а не то словарём разливается,
и огнём, гневясь, распаляется,
и не ластится, только лается.

3. ЖДУЩАЯ

По полю, как по золе, по золе,
идёт корова издали, издали,
медленно идёт, а после
близко, за ней ночь хоть выколи,

ночь хоть выколи, тенью
за окном кто, не сын ли,
дума в стену упёртая, в стену,
на войне следы его простыли,

а придёт ли по своему следу
обратно, мается мать, слепо
смотрит в глаза лету,
служит молебны, молебны,

свечу ставит одну, другую,
с вечера взгляд впивает
в дорогу, в поле, а то по кругу
ходит возле дома, ветер воет,

а то память как стёртая,
или сидит долго на паперти,
или в бабьем углу как мёртвая,
исслезила все платки, скатерти,

гадает, в каком холоде стынет,
в каком болоте мокнет,
«может притти, коли не сгинет,
но ведь и не притти может»,

по полю, как по золе, по полю
ветер гуляет, лицо в пыли,
задохнулась немотными воплями,
думы душу живую выпили.

4. ОКОПНАЯ

Как дырявил металл
землю, кромсал-кривил,
я на четвереньки встал
и по-зверьи выл,

память выбило вон,
только вижу – рука летит,
а за нею стон
из грудной клетки,

а во рву глаза лежат,
а в реке башка плывёт,
жди, когда разmozжат
сам небесный свод.

День прожить бы, «Отче
наш» лепечу. Как чёрт,
страх припал, жёстче
нет его, кровь не течёт.

А то пасть разеваю
и воплю, а как на курок
нажать, не знаю,
обеспамятел и не смог.

Я как лягу, устал,
хочу грамотным быть,
всё чужую б жизнь читал,
чтоб свою забыть.

А ведь если «горюшко»
не скажу, нежно так,
или «цветик», «зорюшка»,
не засну никак.

5. НОЧНАЯ

Ноги за день намесят
столько топких жиж,
ночью раз десять
прокидываешься и кричишь.

Одного пристрелил,
идёт во сне встречно,
глаза раскрыты сверх сил,
а потом упал навечно.

Вызвать надо, вот и вызнь —
кровью согретая,
это что ж такое жизнь,
если падает и нет ея?

Тоже сон про матушку,
как ей живётся,
и про маруху Машеньку,
знать, с Тимошей шьётся.

Ищут меня мёртвого,
кричу им беззвучно
«жив я, лыса чёртова
смерти сучьей!»

Ищут и по двору, и по дому
мой убитый прах,
как от белого грома,
просыпаюсь в страх.

6. КРЕЩАЛЬНАЯ

То война зверюет людей
всё лютей да лютей,
то не лютия поёт – то труб
трупных зов тупой,
я не скот на убой, не скот я те,

я вернусь (на подъезде я!)
да и в знак возмездия
твоё поместье
спалю, в межзвездие
глаз пущу пулю, це

революция, революция,
в ряло целю, ярею в лицо,*
улиц рёв, гоп-цо-цо,
це за мать-отца,
гоп-ца-ца,

у-цо-цо, у-цо-цо
от кого лужица,
от кого деревцо,
у-ца-ца, у-ца-ца,
припокровь меня, молодца,

раз из саду
при церкви, снарядом
сбитую девы статую
притащил святу
в землянку рядом,

ночью она молитву
шепчет мне в ухо –
ниспослание Духа
Святого, помазывая на битву
то, что у меня под брюхом,

обнял я Деву,
целовал её в грудь,

* Оба словосочетания в этой строке являются анаграммами слова «революция», бес-сознательно возникшие у автора монолога.

как грудным молоком она
меня наставляла на путь
правоты закона,

вспаивала всем телом,
я ж ей жизни подлости
клялся выявить
в общем и целом,
целиком и полностью,

и пролился ей
в складки платья, моей
любви, что крестила мя,
благословила мя –
из огня да в пóлымя,

из огня да в пóлымя
вошёл голым я,
те, что были полыми,
люди с волчьими оскалами,
стали гегемонами, скалами,

распни исчадие
ада! – клянут их, но прочно
дело, бо твоё зачатие,
революция, непорочно,
я не скот на убой, не скот я те.

7. ЧАСТУШЕЧНАЯ

Не мычи в слезах, жена,
что твоя бурёнка,
нынче кончилась война,
кутанем, шабрёнка,*

мерь свое шитьё-шматьё,
на остатни гроши
покупай еду-питьё,
едет гость хороший,

* соседка

кто убил антихриста,
тот имеет право,
три егорьевских креста,
командеру слава,

по полям да по лугам,
награбастав денег,
ты, Тимошка, к белякам
убегай, изменник,

шкалики, мерзавчики,
четверти, бутылки,
Ванька главный в Губчека,
подставляй затылки.

8. ПРИВОДНАЯ

Трёхэтажный особняк ЧК
да крысиный подвал,
там рука не дрожит, рука
бьёт врага наповал.

Как на первом этаже ЧК
всё шныряет допрос –
в два испуганных-то зрачка
два впиваются вроде ос.

На втором-то этаже ЧК
всё донос –
буквы с грязного клочка
прыгают под барбосов* нос.

Как на третьем этаже ЧК –
кожа-френч,
из едала там, как из очка,
комендантская фуняет речь.

А фырчат грузовики, от ЧК
отъезжая, везя

* барбос – следователь (*арго*)

то купца, то какого дьячка.
Жить им больше нельзя.

А колючей обернёт в ЧК
проволоккой разом двух-трёх
и где Пропáдь-река
сбросят. То-то. Молóх.

Трёхэтажный особняк ЧК.
Говорит Ванёк: «Ты того
приводи – говорит – языка.
Мы развяжем его».

Образок на груди Глав-ЧК.
«Окорми ми, Дева,
Из тваво, как из стручка,
Свет пальнёт из чрева».

9. КАНЦЕЛЯРСКАЯ

низший слой земляных людей, нет ниже́й –

кто от деревни, от политых потом ржей,
из вросших корнями в суглинок,
кто от станка до последних металла пылинок
от рабочих резцов-ножей, –

апостолы октября, сами себе потомки,
в канцелярии проверяют списки, всматриваются в потёмки.

который в красных галифе пощипывает ус:

выявлены как не осознавшие перелома плюс
как имеющие пораженческий пульс,
переходя от слов к делу –
налицо все предпосылки к расстрелу, –

вкупе и влюбё с апостолами стоит, всматривается в потёмки,
закрывает папку, завязывает тесёмки.

10. ЛЮБОВНАЯ

«Ты, Марьюшка, проси прощения,
на коленях проси,
бо носишь в утробе плод согрешения
с врагом, быв с ним в половой связи.
Вы как с Тимофеем слились
по этому делу,
его орган послал буржуазную слизь
твоему таким образом телу».

Марьюшка стала на колени,
с трудом воздух глотая:
«Вот моё последнее моление:
я умирать не хочу, я еще молодая».
Ванёк: «Так! но умей же
Богородицы суду не мешать.
А теперь, унизившись, ты ещё меньше
как оказалось, нужна дышать.

Тимофей хочет свою жизнь спасти,
спровадив тебя
в чистоту нежизни. Видишь в его горсти
маузер? Струляй, Тимоша, любя.
Как любил, так и струляй, подбеги
поближе, шоб верней попасть,
а потом пойдём под спирт пироги
сунем в пасть».

11. ПРЕДСМЕРТНАЯ

Во поле, во поле
не гулять, беляк, тебе боле, братчик,
в подполе, в подполе —
конокрад, Тимоша, ты иль кабатчик —
в опотевших стенах
ползком доживай время своё, ползком,
кровь в живых венах
запрудят тебе, рот забьют песком.

*Едина Чистая и Непорочная Дево,
моли спастися душам их.*

У кого горло рокотом,
кто охрип –
бьёт как током
дрожь напрошиб.
Тимофей время пробует вспять,
мысль в него уперев,
обратить, хоть на пядь
сдвинуть, вплачь-нараспев.
У кого душа судорогой сведена,
кто твердит,
заикаясь «е-е-ди-ди-на»,
кто смердит.

*Едина Чистая и Непорочная Дево,
моли спастися душам их.*

На свет божий, божий
ты родился, Тимоша, молоко-булочка
личико было твоё, не рожа,
нынче ж роды наоборот, это буднично,
ты теперь не грудной,
громыхнёт засовом дверь, громыхнёт,
раздевайсь, родной,
да почуй, как холодом-то дохнёт.

12. УГОВОРНАЯ

«Чё, Тимоша, ослаб?
смерть – оно
для мужиков и для баб
ни светло, ни темно,
ни холодно, ни горячо,
чё пугаешься, брось,
тебя не было – и ничо,
не замечал небось,
не спадай с лица,
не замечал тогда, мля,
значится
не заметишь и опосля,
хоть мёд пия,
хоть на дне волоча –
жисть такую, как твоя,
беречь не для ча.

Вот ты есть, например,
 а теперь
 попробуй не быть
 и про неё забыть,
 тутака
 одна сутолока
 и от дыханий воньё,
 не дышать-то чище оно,
 миг, Тимоша,
 и смерть. Знаю, мучит
 чижолая тебя ноша,
 но пуля добру учит.
 Ивangelие не зла,
 а коммунизма во главе
 нынче угла,
 пережди во рве.»

13. ПЛЯСОВАЯ

В пузырьёк загнали,
 оп-цы, ёп-цы,
 рабству —
 ни-ни-ни, довольню,
 оп-цы, ёп-цы,
 на арапа брать,
 выхолащиванью — ни, и ни — похабству,
 делай жизнь,
 кердык-смердык,
 свою на -ять,
 делай жизнь
 свою на -ять.

Арлык-кулдык
 эх-да
 курлык-мурлык!

Бабья жизнь,
 елтын-белдын,
 спокон скверная,
 но теперь,
 елтын-белдын,
 идёт
 втя-ги-ва-ни-я кам-па-ни-я все-мер-на-я

девок наших,
 у́ра-шму́ра
 в красных зорь восход,
девок наших
 в красных зорь восход.

 Арлык-кулдык
 эх-да
 курлык-мурлык!

Угнетательскую,
 халяши-марда́ш,
 временку —
в корне,
 халяши-марда́ш,
 снести, на смычку курс,
на рабочего курс и крестьянку,
на ударный труд,
 камча́т-тамгача́т,
 мотай на ус,
на ударный труд,
 мотай на ус.

 Арлык-кулдык
 эх-да
 курлык-мурлык!

Ты прикладывай к земле,
 кача́к-суча́к
 ухо,
слушай, как,
 кача́к-суча́к,
 дышится траве,
чтобы неувязок не было в подъёме духа,
чтоб жилось,
 ажу́р-тужу́р,
 передовой братве,
чтоб жилось
 передовой братве.

 Арлык-кулдык
 эх-да
 курлык-мурлык!

Óп-цы, ёп-цы,
 Богоматери творцы мы храма,
óп-цы, ёп-цы,
 равенству даём добро,
слава тем, кто соотносит жизнь упрямо
с целевым решением,
 кердык-смердык,
 бюро,
с целевым решением
 бюро.

Арлык-кулдык
эх-да
курлык-мурлык!

Сентябрь – октябрь 2021 года

Игорь Метельский

ПРОГУЛКА

На обнаженных деревьях
Бульвара иней серебрится.

Евгений Баратынский

облачностью сплюснен
город
серебрится
рваное бульварное кольцо

броуновской гущей
в плоскости страницы
время осаждается – свинцом

теплится осадок малорастворимый
в толще обнаруживая след
о насущном хлебе о единстве мира
о расположении планет

милостивый вечер
реет по Тверскому
треском электрическим трещит
маленькое тельце искорки искомой
выпущенной точно из пращи.

* * *

старая женщина
стоит на коленях
просит милостыню –
– я прохожу мимо

старый мужчина
в инвалидной коляске
просит милостыню –
– я прохожу мимо

уличный музыкант
играет Баха –
я останавливаюсь
вспоминаю
женщину
мужчину
даю денег и говорю спасибо.

УЧЕНИЧЕСКОЕ

отрываясь на миг вертикальный от ветви сухой
посмотри как пространство словами изрыто красиво
попытайся копнуть неуклюжей своей штыковой
относительно криво

ковыряя усердно глаголом игрушечный фьорд
совершая обряды под бубен иди по спирали
чтобы слой под ногой оказался достаточно тверд
относительно стали

будешь гномом чумазым обросшим словесным тряпьем
погружая окрестность труда в кубометры отвала
ты копался всю жизнь а узор занимает объем
относительно малый

но затем зарывался чтоб грянуло над головой
чтобы хлынуло враз по краям протекающей тверди
как бы плитками света со скоростью сверхсветовой
относительно смерти.

В ПУТИ

аккуратно заплеванный тамбур
димедрольных явления лиц
это зритель одна из преамбул
ежедневных потертых страниц

сквозь слои изможденных статистов
ароматом балтийских дрожжей
дышит нечто и ныне и присно
посреди монотонных дождей

вот рекламу японской мочалки
голосит надоевший артист
вот проходит умышленно жалкий
на лечение просит на бис

в этом фильме своя атмосфера
всякий знает свое ремесло
уплотняется справа и слева
что тут скажешь тебе повезло

окруженный сермяжным богатством
благодарно еще попроси
Режиссера: позволь надышаться
этим воздухом малостью сих

чтобы вещи себя называли
денотат мотыльком танцевал
только так говорящий словами
раскрывает свой потенциал

только так он становится зрячим
рассекая весь дивертисмент
чтобы на горизонте маячил
анонсированный хэппи-энд.

* * *

судьбы с любовью свадебный демарш
наградой занозы незабудки
и радугой сентиментальный фарш
из жерла разъяренной смыслорубки

приправь слезой заумью поперчи
на вкус добавь цитатные ключи
удобри сливками священного обмана
под соусом сезонного кино
вскорми из чаши формой до минор
голодного до ритма графомана

питайся тем чего на свете нет
космического хаоса щедротой
вдруг отзовется тайный флажолет
вернувшийся к тебе вербальной нотой.

* * *

в плоскости отражения
в скорости разговора
в пустоте людского потока
вдруг вспоминаешь
медленно голубое
в прорези облаков.

ВАРИАНТ

на дне небесного колодца
микроскопическим пятном
в котором красочное бьется
лежать и слушать оком

об электроне думать матом
беречь вселенную в горсти
по ней размазывая атом
а может вслух произнести

и в поперечности ненастья
покорно ждать как тот пиит:
звезда стремительного счастья
над головою просвистит

ангармоническим сознанием
кипящий вакуум пинать
укрывшись пледом мироздания
и оживленно умирать.

* * *

тебе нравятся
мои розовые волосы?
они
окрашены в цвет зеленой тоски
когда смотришь
на убывающее за горизонт
и не веришь

впрочем

мне
мои волосы совсем не нравятся
они такие же
как у тьмы других
безликих имен
к примеру вон смотри
говоришь с другой планеты?
какая разница – всё тот же закат на виду

что мы имеем в виду
когда говорим?

не уверен
но знаю одно:
хочу себе волосы
цвета стрекочущего звездного неба.

Анастасия Андреева

* * *

в загробном винном магазине
всегда пустынно и темно
когда заходишь бледно-синий
и ищешь теплое вино
у продавщицы вид невинный
ей всё равно ей всё равно
потом выходишь в вечер зимний
и смотришь синее кино
пришельцы тащат труп собаки
чтобы отдать богам долги
в высотках спят в счастливом браке
в пятиэтажках сквозняки
скрежещет искрами последний
на этом полюсе трамвай
к тебе приходит откровенье
что мол беги и догоняй
но запретив себе движенья
ты на скамеечку присел
ты весь вниманье и терпенье
ты занят сотней важных дел
переставляешь в уравниенье
знакомых улиц мирный бред
предполагаешь новоселье
но не истрачен твой билет
смеется дворник первозданный
над тем как тупо ты сидишь
на той скамейке у парадной
и всё молчишь и всё молчишь

* * *

в зиме застрять
и соскочить на полустанке
дышать на ледяные руки и смотреть
как сосны кронами прибиты к небу
как селянки идут отдышливо
за молоком и хлебом в ближайшую
пятерку или дикси где вечный май

гремит от дынь и ананасов
где продавщица кроет матом подопечных
под новый год у них всегда неладно
но елка и огни и гром петард
а ты такой весь идиот нездешний
когда такие времена и снег
целует в губы облака
и провода качают птиц отпетых
летит фонарь янтарный в никогда
над белым ускользящим нездешним
о господи как хочется туда

* * *

утром крыши в блестках
небо рвется
сквозь изморозь окон
слышен
синичек звон и
новогодних бокалов
елки стоят попрошайками
на тротуарах
кончился праздник
и началось остальное
дворник бесстрастный
выметет всё
под былое

* * *

на остановке сердца было людно
все ждали
заведется и пойдет
и все поедут по своим делам
но сердце требовало чуда
а чудо не заходит к нам
и все толпились и глядели хмуро
и бормотали
что пора уже пора
что дети малые

что надо мыть посуду
и что с собакой не гулял с утра
и столько дел а тут вот это
сердце
не хочет заводиться и идти
уже испробовали средства
и заняли места в груди

* * *

площадь голоса туман часы
пробили восемь уже не видно
кто там и о чем попросит
или куда уйдет из этой полосы
в другую оземь
рассыпавшись
и полный оборот зимы
прощупав ребрами
с себя не сбросит в просинь
не ускользнет из толстых одеял
и перламутровых свечений
устав от этой красоты
и обновлений
всему есть осень

* * *

в провинции упало небо
подпиленное ураганом
упало и лежит
раскинуло по сторонам
как руки тучи
и встать не может
и несчастное на вид
по небу скачут
обесточенные птицы
не могут успокоиться
и слиться
с потоком ветра
крылья обрести
на темном фоне
так прилежно зрячи
воздушные шары тюльпанов
нарциссов маяки

* * *

еще на грядке что-то спело
хотя могло уже не спеть
еще болело гриппом тело
хотя могло и не болеть
над нами бабочки кружили
и самолеттики стрекоз
наверное мы всё успели
пока не все пошли вразнос
глядел привычный одуванчик
готовый частью ветра стать
играл в футбол соседский зайчик
и прорастала благодать
и может быть мы всё успели
где нужно в жизни преуспеть
дом обустроен и качели
качают сеть

Брюссель

Каринэ Арутюнова

Аптека Габбе

Предание гласит, что очнулась Лиза от обморока благодаря нехитрому приему, которому научила Розу старая Фейга (о нем не очень удобно распространяться в приличном обществе). Лиза тут же открыла изумленные глаза, присела, опираясь на заботливо подложенную подушечку-думочку, и, если верить легенде, попросила небольшой кусочек штруделя.

Вообще же, история довольно запутанная.

Никто толком не понимал, какого лешего Даня ушел от Хаси. Хася была довольно интересная женщина. И на личико, и формы. Совсем не то Лиза. Не то чтобы карлица, но, знаете, с изъяном некоторым. Из-за изъяна этого ходила она криво, припадая на одну ногу, и одно плечо имела выше другого. Некоторые крутили пальцем у виска и говорили – горбатая.

Но нет, это было не то. Не горбатая, Боже упаси, а всего только с небольшим наростом на спине. Последствие перенесенной в детстве болезни костей. К тому же очень близорукая. Достаточно было взглянуть, как вдевает она нитку в иголку! Ножки и ручки она имела маленькие, деликатные, нежные. Вот что было хорошо у Лизы – так это улыбка, обнажающая несколько крупноватые зубы; смеялась Лиза залиvisto, заразительно, с такими, знаете, ямочками на щеках (потом ямочки стали бороздками), и все тут же понимали, отчего Даня ушел от Хаси – степенной, рассудительной, с большой и выразительной грудью. К маленькой Лизе, живущей в боковой комнатке-пенале на Притисско-Никольской. Всё там было кукольное, в этой комнатке. Ажурные салфеточки, подушка-думочка, окошко...

Постойте, да было ли там окошко, в этой самой комнатке? Уже и не вспомнить. И как только туда помещался большой, несуразный и отчаянно влюбленный Даня? Не иначе как складывался вчетверо!

Ну, поначалу были, конечно, тайные свидания. То в кинотеатре на Контрактной, то под раскидистой акацией в случайном дворе. Даня совсем не умел врать. И бормотал какую-то чепуху – мол, инструмент забыл в мастерской (Даня был рукастый и мастеровитый), и мчался на

другой конец Подола, чтобы только коснуться краешка Лизиного платья, пахнущего то ли сиренью, то ли ландышем. Увидеть ее улыбку, смеющиеся глаза. Не больше! Даню словно приворожили.

Хасе, конечно, в уши донесли. Держи, мол, парня, он опять к хромоножке ушел. А как тут удержишь? Грудью? Комодом? Стопками аккуратно разложенного белья? Бульоном из молодого петушка? Хася плакала от абсолютного бессилия.

Даня, знаете ли, слыл немножко... как бы это сказать... глуповатым, недалеким, простодушным, точно пятилетний ребенок. И врать, как уже было сказано, не умел. Несуразный, виноватый, стоял на пороге, и Хася, вытирая заплаканные глаза, ставила тарелку, садилась напротив, смотрела, как движется на Даниной шее кадык, как крепкие белые зубы впиваются в мозговую кость, как сверкают морковные звездочки, и сердце ее утешалось этой идиллической картинкой.

Но ненадолго. Все устали от неразрешимости ситуации; хотя Лиза ни на чем не настаивала, но однажды Даня так и остался в ее кукольной спальне. Потому что готов был вечно любоваться, как нежные пальчики Лизы обхватывают кукольную чашечку из фарфорового сервиза на двенадцать персон.

Если всё-таки было окно в этой комнате, то выходило оно во двор, – там полоскались на ветру накрахмаленные до небесного хруста простыни, пододеяльники и наволочки, там старая вечнозеленая акация росла, и воздух был острым, насыщенным влагой и электрическими разрядами, как бывает поздней весной.

Отчего не пахло счастьем там, у Хаси? Один Бог знает. Ведь и там крахмалили и подсинивали белье, и там во дворе росли огромные деревья – акации и каштаны. Может, всё дело было в сервизе на двенадцать персон и легком перезвоне чашечек (когда проезжал трамвай)? Или в пряди золотистой, ниспадающей на Лизины смеющиеся глаза? В расходящихся от уголков их тончайших паутинках? Или в преломлении света, в котором обыденное становится особенным, неповторимым? Отчего мы счастливы там и несчастливы здесь?..

Рослый Даня легко, без особых потерь, складывался вчетверо, и что именно происходило за закрытой дверцей пенала, останется великой тайной.

Но только однажды Роза, живущая с большой комнате (направо по коридору), приведет Лизу в чувство нехитрым маневром, о котором она помнила смутно, – изо всех сил дернув за то, что есть у каждой женщины внизу живота. Когда степенная и несколько располневшая Хася вернет (ненадолго, впрочем) права на счастливого Даню, предъявив тому протекающую не без осложнений беременность, а после, как итог – слабую, зачатую без особой страсти, девочку.

Бедный Даня не понимал, откуда (а главное, зачем) явилось на свет божий это создание, одним появлением своим нанеся сокрушительный удар по его безоблачному счастью, но любой мужчина беззащитен перед женскими уловками, и никакому мужчине не раззять множественные петли и узлы женского лукавства.

Девочку назвали Соней. И это был тот самый беспроегрышный козырь, который думала предъявить Хася маленькой Лизе, ее кукольному бездетному (и оттого ненастоящему) миру. Пеленки, спринцовка, незаросший родничок, звук детской отрыжки, столь сладостный материнскому сердцу, – всё это было великим завоеванием, женской победой, в тени которой, точно забытые игрушки, позвякивали фарфоровые чашки, облитые глазурью синие блюдца.

Терпи, Лиза, куда он не денется, твой Даня, – рассуждала Роза, замешивая тесто для пирожков с вишнями. Да, в жизни, помимо звона фарфоровой посуды, должно быть место штурделю, начиненному, как учила старая Башева, маком – влажным, рассыпчатым, густо замешенным, черносливом, орехами, растертыми до пастообразного состояния в тяжелой медной ступке (она, как и сам рецепт, досталась от той же Башевы). Пьянящий аромат ванили, жженого сахара, корицы, олады, присыпанные пудрой... Вот от чего сладко заходится сердце, вот чем жив человек.

Очнувшись от глубокого обморока Лиза обнаружила, что совершенно не умеет предаваться страданию. Уголки ее губ по-прежнему изгибались в предвосхищающей улыбке. В конце концов, вот любимая Данина чашка. Вот блюдце с синей каймой. Вот томик Брема с закладкой на девяносто второй странице. Всё, как и раньше, дышало присутствием.

Так, собственно, оно и было. Данино сердце оставалось там, в тиши крохотной спальни с ходиками на шкафу.

Материнство преображает женщину. Увы, не всегда красит. Хася еще больше располнела, в голосе ее появились властные визгливые нотки. Даня – то, Даня – сё. Подай, принеси, вынеси. И Даня выносил. Вносил и выносил. Авоськи с торчащими из них волосатыми куриными ногами, базарный творожок, топленое масло, молоко. Большая Хасина грудь его не слишком много вырабатывала.

Согнувшись под тяжестью авосек, Даня вспоминал маленькие Лизины пальчики, ее сахарный рассыпчатый смех, ее несерьезность, нежную картавость, ее твердое «ч» в слове «что», – и ноги сами несли в тот самый переулок, где под пышной кроной вечнозеленой акации резались в домино; в знакомом окошке загорался желтоватый свет, и крошечный наперсток, надетый на крошечный палец, напоминал о главном.

Она ни о чем не спрашивала. Обжигаясь, они надкусывали начиненные антоновкой оладьи, а чуть дальше по коридору над пылающей сковородой колдовала Роза – оладьи дело нехитрое, но требуют терпения, чуть зазевашься – и всё пропало.

* * *

О Хасе доносились сведения, но какие-то, знаете, расплывчатые.

Ну вот, что, допустим, она сидит как истукан. И все тут же воображали Хасю, с ее серьезным лицом и большой грудью, сидящей на стуле лицом к двери, со сложенными под этой самой грудью большими красивыми руками. Потому что руки у Хаси были таки красивые, полные. Плечи будто наливные. А зубы непропорционально маленькие, будто не выросшие вровень с остальным организмом. Это даже до смешного доходило. Женихи как натыкались на этот аккуратный ротик с крошечными сахарными зубками, тут же обращались в бегство. Ну представьте, большое и довольно красивое лицо, бровь ровная такая, носик аккуратный, и вдруг – детские зубы. И, главное, оно же не сразу обнаружилось. Когда поняли, что Хася выросла, а зубы нет, поздно уж было. Всё при ней было. И плечи, и бока, и, само собой, бюст.

Даня и сам понимал, что запутался. Главное, совершенно не помнил, как его угораздило. Только и видел плывущие белые караван, полные молока и меда. Не до зубов ему было. Тем более, что Хася, наученная опытом, их не разжимала, смеялась с опечатанным ртом, знаете, жеманным таким смехом – хи-хи. Многие женщины и девушки так смеются. В общем, оно быстро случилось. Вначале, значит, молоко и мед, а потом всё остальное. И когда разомлевшая от любви девушка кладет голову тебе на грудь и обвивает шею руками, и прижимается коленом, тут уж не до зубов.

Хитрая сваха про зубы умолчала. А как же! Ей же наперед *уплочено* было! Хасин отец постарался. Свидание нарочно поздним было, а что там во тьме? Платище белеющее, коса вокруг головы, сливочные колени. Луна над Боричевым Током, сладкая, круглая. Свечи каштановые, подсвеченные лунным светом, гроздья сирени, – всё дышит, благоухает, от свежескошенной травы аромат трав каких-то луговых. А Даня уже большой был. Куда девать это всё. Всего себя. Рослого, красивого, не сглазить бы, мальчика из простой семьи. Мать его, Фейга, людей обстирывала. Во всем себе отказывала, чтобы сына поднять.

В общем, попался наш сокол. Когда очнулся, солнце сияло, вино лилось, бокал под каблуком предательски хрустнул. Благословения со всех сторон. И вот тебя уже под руки ведут. Точно Иосифа Прекрасного. И невеста под хупой. Платье (у хорошей портнихи шили из креп-жоржета), колени, чулки. Всё на месте.

Плодитесь и размножайтесь, сказано в Писании. Опять же, тесть кровать купил, хорошую такую, с панцирной сеткой и никелированными шишечками, комнату им освободили, торшер, скатерть с бахромой. Живите и радуйтесь.

Но что-то Данно стало душить. Ну, не то чтобы душить, а вот здесь, в груди, давить. Куда ни повернись, везде она, Хася. Грудь ее пышная, прикрученная к затылку густая коса, а главное, улыбка. Не по себе ему было от улыбки ее. Будто внутри Хаси другой человек или *диббук*^{*}, скалит маленькие зубки – и ничего не спасает, ни колени, ни чулки фильдеперсовые, ни торшер с бахромой.

Совсем не то Лиза. Случайное знакомство. В библиотеке. Ее и не видать было из-за стеллажей. Маленькая, в накрахмаленной блузе. Снимите мне, молодой человек, книжку. Вон ту! И пальчиком так.

Он этот пальчик запомнил. И ножки ее детские, носочки, туфли с перепонкой поперек, смешно сказать, едва ли не тридцать четвертого размера, наверное, в детском отделе покупала.

Он потом в библиотеку зачастил. Дышать не смел, возвращая книжку в ее кукольные ручки. А она, строго так, склоняясь над формуляром, спрашивала: ну как, понравилась книжка, Даня?

Потом как-то зашел, а там сменщица, неулыбчивая женщина-мышь. Заболела ваша Лиза, простыла, молодой человек. Где живет? Да на Никольской, знаете, где аптека Габбе раньше была? Ну да, там вывеска до сих пор висит.

Уж не помнит, как летел со всех ног. Осторожно котомку у дверей поставил. Яйца – свежие, домашние, творожок, молоко топленое.

Ее и не видать было под пледом. Он как представлял себе, что там, под пледом, ступни ее шелковые, плечики, – испариной покрывался. Роза, соседка, не скрывая радости, пристраивала яйца в авоське за окном. Лицо ее блестело от кухонного жара, – ой, не наследите, молодой человек, вот, отнесите ей гоголь-моголь, если, конечно, вас не затруднит.

По радио передавали скрипичный концерт, и Лиза, укутанная в шерстяной платок, смешно дула на горячее, брезгливо снимала пенку, надрывно кашляла, и от кашля сотрясилось всё ее птичье тело. Даня сидел напротив, и что-то разливалось у него в груди. Как будто весь его большой и сильный организм наконец обрел смысл и точку опоры, и эта точка была здесь. Книжная этажерка с томиками Брема. Фарфоровая статуэтка балерины на одной ноге. Лиза. Ее смеющиеся близорукие глаза, ее строгие пальчики, ее голос, негромкий, глуховатый даже, но такой родной.

* Диббук – злой дух, являющийся душой умершего злого человека. (*идиши*)

Ни о чем таком он не думал. Ведь Лиза была божество. Не такая, как остальные женщины. Он не мог представить ее склонившейся над стиральной доской, например. Или идущей с тяжелыми авоськами. Книжки, радио, монпансье в круглой коробке. Свернутые невесомые носочки в углу шифлодика. Аккуратные туфельки с перепонкой.

Большой Даня мог усадить ее на плечо и пробежать стометровку. Отжаться от пола. Станцевать краковяк. Она заливалась безудержным смехом, склоняя голову набок, – *пгизнайтесь, Даня, вы же ухаживаете за мной?*

Да, Лиза немного картавила; кроме того, она была значительно старше Дани. Уже хорошо за тридцать. Она напоминала ему учительницу младших классов, Зою Адамовну Зельцер, – он был тайно влюблен в нее в свои тринадцать, но это было безответное и благоговейное чувство. Как, впрочем, и сейчас, к Лизе, которая была гораздо умней его, начитанней, взрослей во многих смыслах, но часто казалась девочкой, совсем беззащитной, со всеми своими книжками, с близорукими за толстыми стеклами очков глазами. На вопрос, что она ела сегодня, беззаботно смеялась. Вся надежда была на Розу, которая, точно хищная птица, уже с порога налетала на стоящего с авоськами Даню.

– Ну, слава Богу, теперь хоть поест как человек! Ну, тут и на фарш, и на бульон. Да проходите, Данечка, она у себя.

– Даня, пгизнайтесь... Вы ухаживаете, да? – Лиза, обернувшись, снимала очки, и тут ее лицо становилось совсем потерянным, – ппекгатите немедленно с этими подарками! Сколько я вам должна за эту ппекрасную курицу? Не отказывайтесь, Даня, у вас же семья! И ботинки вам хорошо бы новые.

С обувью у Дани дело обстояло непросто. На его сорок четвертый мало что можно было найти, и он донашивал старье, время от времени подновляя подошву, даром что идти далеко не надо было. Поднатужившись, он приобрел (в долг, с помощью тестя) старую сапожную будку неподалеку от Лизино дома, и теперь, поглядывая в окошко, видел, как, сосредоточенно перебирая аккуратными ножками, торопится она к трамвайной остановке.

А что же Хася, спросите вы? Как она терпела? Как справлялась с тяжелым обжигающим чувством?

На самом деле, Данины походы в библиотеку не нравились ей с самого начала. Ничего хорошего от книг ждать не приходится, одна смута в голове. Но, надо отметить, долгое время Хася пребывала в полном неведении относительно Даниных пристрастий. Ну, книжки, ну, библиотека. Всё это отнимает время у взрослого женатого мужчины, который должен...

И тут Хася загибала пальцы. Данин долг по отношению к семье обростал процентами. Семья – это вам не шутка.

Ну хорошо, папа купил обстановку. Абажур с бахромой. Если бы не папа...

– ...как поживаете, Хася? Что-то не видно давно! А Даня всё там, на Никольской? Скажите, если я зайду к нему за набойками после восьми...

Улица обростает слухами, полнится догадками. Вот в сквере мелькнула юбка в мелкую клетку – Лиза сшила ее у знакомой портнихи Фаины и очень радовалась обновке. А вот и воодушевленный профиль нашего героя, его вьющиеся мелкими колечками волосы – впрочем, он стриг их коротко, и мужественных очертаний голова возвышалась над широкими плечами. В мускулистых руках – авоськи. В конце концов, куда исчезает Даня в обед? Почему не торопится домой?

– Папа не для того помог нам с будкой, чтобы вы тратили деньги непонятно на что, – прижимая сонную девочку к груди, Хася повторяла одно и то же нудным, неинтересным и недобрым голосом, не понимая еще, что главный раунд она проиграла. И кому, смешно сказать! Горбатой и хромой библиотекарше! Добрые люди доложили о комнате-пенале, в которой ютится не особо молодая и некрасивая женщина, к тому же она, эта самая женщина, гораздо старше ее, Хаси!

– ...знаете, Хася, это становится неприличным. Вчера их опять видели вместе. Вашего Даню и эту... прости господи, несчастную! Где глаза у этих мужчин, я вас спрашиваю! Где? Что они в ней находят? Ни кожи ни рожи, ну буквальным образом ничего! Немчура, одним словом! В последний вагон...

Лиза Габбе и в самом деле происхождение имела немецкое, хотя провизор Эммануил Габбе, Лизин отец, утверждал, что в роду были шведы, но этого точно никто ни доказать, ни опровергнуть не мог. Однако же старый провизор прекрасно владел немецким и латынью, и немалую часть жизни проработал в аптеке. Которая, впрочем, досталась ему по наследству. Провизором был и его отец. Редкая порода аккуратных, учтивых и кристально честных людей. Казалось, Эммануил Габбе таким и пришел в этот мир – в крахмальном воротничке, манжетах, в начищенных до зеркального блеска штитблетах, с венчиком вьющихся седых волос вокруг стремительно лысеющего черепа, с выбритыми до синевы впалыми щеками на длинном, несколько лошадином лице. Старожилы помнили специфический наклон головы (вправо), пристальный взгляд из-под толстых стекол очков. Улыбку, обнажающую десны и несколько крупноватые зубы. Близорукость передается по наследству, и голубые Лизины глаза

были точной копией отцовских. Впрочем, улыбка Лизы тоже была отцовской. Лизина мать, неслышная и незаметная женщина родом из Вильно, боготворила мужа. В доме всегда царили уют и образцовый порядок. Удивительным для окружающих было то, что супруги Габбе до самого конца обращались друг к другу уважительно и только на «Вы». В лучшие времена (до уплотнений и выселений) семья Габбе владела половиной дома, в которой находилась аптека.

Ах, эти лучшие времена! Всегда отыщется тот, кто помнит их именно лучшими! Когда-то, придя в аптеку с рецептом или же без оного, можно было пожаловаться на жизнь, на зятя или золовку, получить совет или ободрение. Туда приводили истеричных, заходящихся в заполошном вопле женщин, детей, которые до смерти боялись собственной икоты, мнительных стариков... Любой, переступая порог аптеки Габбе, имел право на свою долю внимания и даже сочувствия. Там собирались пикейные жилеты (за средством от изжоги и последними новостями), хорошенькие дамы поверяли тайны своей интимной жизни, и, надо сказать, старый провизор никогда не обманывал их доверия.

Старик Габбе души не чаял в дочери, столь похожей на него, к тому же достаточно поздней, долгожданной. Плод зрелой любви супругов Габбе, единственный ребенок, она родилась чахлой, слабенькой, ко всему еще переболела костным туберкулезом в возрасте восьми лет. Елена Теодоровна Габбе, миловидная женщина с чистым лбом, над которым расходились разделенные ровным, точно шелковая нить, пробором каштановые волосы, была много моложе своего мужа, но со временем они будто сравнивались, потому что Эммануил Габбе, перейдя некий возрастной рубеж, как будто застыл в удачно обретенной форме, к тому же молодость и преданная любовь супруги гарантировали душевное равновесие и физическое здоровье. Впрочем, оставшись вдовой, она совсем ненадолго пережила своего мужа, который скончался от сердечного приступа прямо на рабочем месте, так и не успев взвесить (на особо точных аптекарских весах) полезное снадобье для пациента.

К слову сказать, к тому времени статус аптеки изменился, она уже не принадлежала семье Габбе, а числилась аптекой номер шесть. Как, впрочем, и половина дома (сам дом по-прежнему называли домом Габбе) обрела новый статус и новых жильцов, вследствие чего единственная наследница оказалась живущей в боковой комнатке-пенале.

Хася, ошеломленная подтверждением своих подозрений, не смела жаловаться отцу. Скорняк Зелиг, человек властный, жесткий, расчетливый, с тяжелым лицом и маленьким скупым ртом скобкой вниз, и слышать не желал о каких-то женских проблемах. «Свадьбу

справили, обстановку дали – живите, что вам еще! А что на сторону бегают, так это кто виноват? Папа Римский? Сама же и виновата. Мужу надо потакать! Чтобы он и думать не смел.»

* * *

Внезапная война, как это водится, разрешает многие противоречия, в том числе и семейные. И всё, что кажется неразрешимым, отходит на второй, а то и на третий план.

Слово, от которого всё сжалось где-то в области солнечного сплетения, застало Хасю во время ежедневного купания Сони. Девочка плескалась в тазу, показывая розовые беззубые десны, смеялась, когда Хася, ловко подставив руку, переворачивала ее на животик, поливала из небольшого ковшика.

– Ай, кто тут у нас такой красивый? Сонечка? Какая у Сони ножка, ай, какая ножка! А какая у Сони спинка!

День стоял теплый, даже душноватый, вот-вот должен был вернуться с рынка Даня, он обещал свозить Сонечку в парк или на речной причал, смотреть на пароходы.

Хася была хорошей матерью. Все эти шуры-муры на стороне рано или поздно закончатся, а у ребенка должен быть отец. Ну что ж, что непутевый. И... как бы это сказать... – бестолковый какой-то. Зато покладистый. Слова злого от него не услышишь! Застынет в дверях, нелепый, точно большой набедакуривший пес, потом прижмет к себе Сонечку, и давай свои глупые придуманные песенки на ломаном языке – и где он только таким научился!

Даня получил повестку одним из первых, буквально через несколько дней после обращения Молотова. Их часть неделю стояла под Киевом, в районе Белой Церкви, и там же попали они в окружение уже в июле; но ни Хася, ни Фейга об этом так и не узнали.

* * *

О том, что к городу приближаются немцы, Лиза услышала от старухи Павловой из пятой квартиры. К слову сказать, находились люди, которые завидовали ей, Лизе, полагая, что уж ей-то ничего страшного угрожать не может, а некоторые вспоминали, что Лиза Габбе – дочь бывших владельцев половины дома и аптеки, единственная наследница. Находились и такие, кто при встрече с ней, Лизой, незаметно (либо же демонстративно) отворачивался или переходил на другую сторону улицы. Но среди ближайших соседей таковых не было. Живы были те, кому семья старого провизора сделала немало добра.

– Вы, Лизочка, не обращайтесь внимания на идиётов. Возьмите

себе это овальное блюдо, оно для фаршированной рыбы, ну, вы знаете. И этот подсвечник поставьте себе, лучше спрячьте подальше, это чистое серебро.

Сморкаясь, Роза носилась по квартире. Она старалась не смотреть Лизе в глаза, чтобы не растерять остатки самообладания. Подвода отъезжала утром, на следующий день. Значит так, носки теплые... это я положила. Альбом с фотографиями. Кастрюли, выварка. Подушки, как можно без подушек? Без «чуда»^{*}? В чем я буду печь бисквит? А часы? Эти часы столько пережили, а как новые...

Она снимала настенные часы, потом, плача, вешала их обратно.

– Повесьте у себя, Лиза, вас не тронут, слава Богу! И за комнатой присмотрите, пока этот кошмар не закончится. И кушайте! Не забывайте кушать!

Плача, Роза хлопала дверью, слышен был топот ее тяжелых ног, грохот посуды, она вновь вбегала к Лизе, чтобы отдышаться и как следует нажаловаться на мужа, который сбрасывал с перегруженной подводы уже упакованные узлы (Роза, поезд не резиновый!), но, раскрыв рот, тут же забывала о выварке и постельном белье, – заливаясь слезами, присаживалась к Лизе на кушетку.

– Розочка, не беспокойтесь, до'огая моя! Кто-то же должен остаться в доме! Я и за комнатой вашей пгисмотрю, и вообще. Вегнетесь (а вы же в конце концов вегнетесь!), а тут все как и было, – ну кому я нужна, посудите сами? Кому? С меня же и взять нечего. Кроме всего пгочего, среди немцев немало интеллигентных образованных людей! Зачем им хромая библиотекарша! Которая, кстати, немножко знает немецкий! Ну, и вы же понимаете, Розочка, я должна дождаться возвращения Дани.

Уж как они обнимались, рыдали и прощались утром следующего дня, как вытирали мокрые глаза. Как оглядывалась Розочка на кутающуюся в серый шерстяной платок Лизу, пока та не исчезла из поля зрения, и тогда совсем другие мысли и заботы сменили горечь прощания.

Буквально на днях, на углу Большой Житомирской и Владимирской, Лиза с размаху влетела в толпу, – вдоль Владимирской и дальше, по направлению к вокзалу. Это были пленные. Их было много. Сотни, тысячи. Измученные, в рваных робах и шинелях, с лицами, покрытыми многодневной грязью. Лиза близоруко всматривалась в эти лица, в невидящие, лишенные выражения глаза. Она страшилась узнать хоть в одном из них Даню.

^{*} Чудо – форма для выпекания бисквита.

Собственно, там было две толпы. Пленные солдаты и идущие, стоящие (вдоль тротуара), плачущие, причитающие. Старушки крестились, протягивали хлеб, сухари. Полицаи, сытые, упитанные, в новых мундирах и сверкающих хромовых сапогах, блестя налитыми кровью шальными глазами, тычками и руганью отгоняли проворных старушек, погоняли и рьяно подстегивали идущих плетками. Лиза обратила внимание, что многие из полицаев – свои, но, похоже, не городские, не местные.

– Господи, папочка не дожил. Может, и хорошо, что не дожил.

Отчаянно припадая на одну ногу, бросилась она прочь, вниз, к Боричеву Току. Краска стыда заливала ее бледное лицо. На пересечении Боричева и Андреевского она увидела старого Зелига, отца Хаси. Лицо Зелига было, как обычно, мрачноватым, замкнутым, чуть отстраненным. Проводив прихрамывающую Лизу долгим изучающим взглядом, он застыл, сложив крепкие волосатые кисти за спиной.

* * *

Выйдя во двор, Лиза заметила расклеенные на домах и заборах бумажки. Вокруг бумажек толпились взволнованные соседи. Давид ухо-горло-нос, портниха Фаина, часовых дел мастер Тува Мендель. Мужчины были бледны. Женщины утирали стекающие по щекам слезы.

По городу давно ползли слухи, в которые не хотелось верить.

– Послушайте, Фаина, ну что вы, в самом деле, что за паника! Это же не дикари! Ну какие ужасные мысли приходят в вашу голову, честное слово! Только не забудьте документы, умоляю вас, они прежде всего ценят пунктуальность. И Адочку укутайте потеплей.

Убеждая Фаину, Лиза ощутила холодок, пробегающий вдоль позвоночника.

– Два дня, Лиза! Что я могу за два дня? А что с квартирой? С кошкой? Со старой Башевой? Как я поведу ее? Пешком? В коляске? И что я скажу Фиме? Он вернется, а где все? Мама, Адочка... Лиза, умоляю, на вас вся надежда. Вот ключи, я оставлю их утром вот здесь. Отдадите их Фиме. Не может быть, чтобы это надолго.

Исполненный очарования осенний день померк. И всё же, проходя мимо военной части, Лиза не могла не отметить густые кроны разросшихся и уже желтеющих деревьев. Невольно поддавшись воспоминанию (такому далекому, мерцающему, будто из каких-то прошлых жизней), она смахнула со щеки невесомую паутину. Вот здесь, под этой старой акацией, стояли они, не в силах разять объятия.

– Ласточка моя, – большими ладонями касался он ее мокрых щек

и смеялся чему-то тихо, точно в предвкушении счастья. В сумерках смуглое его горбоносое лицо блестело, а коротко остриженные густые волосы чуть-чуть покалывали кончики Лизиных пальцев.

Семья скорняка Зелига так и не смогла выехать из города. Перегруженную имуществом подводу пришлось развернуть в обратную сторону – поезда бомбили; к тому же Зелиг несколько затянул со сборами, всё откладывал до последнего, надеясь, что всё как-то утрясется, а тут еще Сонечка, как назло, простудилась, так и до воспаления легких недалеко.

Приказ о сборах застал их врасплох. Человек угрюмый и подозрительный, Зелиг не верил в благополучный исход. Он вообще мало во что верил. Счетная машинка, встроенная в его бритую шишковатую голову, редко ошибалась. Он злился на себя, что допустил такой непростительный просчет, и срывал досаду на домашних. Ведь можно было успеть, проскочить. Главное, вырваться из города. Трясущимися руками он пересчитывал бумажки, теперь уже точно никому не нужные. Всё в этом мире покупается и продается, со всеми можно договориться. Не так, так этак.

Самое страшное – это ожидание. Фира, жена, тихонько всхлипывая, собирала вещи. Хася делала ребенку компресс. Время от времени из детской доносился слабый, заунывный, будто жалоба, детский плач. Он вынимал Зелигу сердце.

– Ша, пусть уже будет тихо.

Грузный, тяжело присел на краешек кушетки. Сердце ныло.

– Хася, дай уже ребенку спокойствие. Пусть будет тихо. Слушай сюда. Только не кричи, слушай меня и запоминай. Сейчас. Прямо сию минуту, Хася. Ты. Одеваешь Сонечку. И идешь к ней. К этой хромой, да. Ребенку нельзя в дорогу. Тем более, что у нее жар. Вот деньги. Возьми еще. Дай ей это плюс еще столько же. В конце концов, я знал ее отца, приличный был человек, хоть и немец. Пусть уезжает, как только ребенок поправится. Ша, не делай гвалт, Хася, так будет лучше, я сказал. Что бы там ни было, ребенок дороги не вынесет.

* * *

Детские вещи без труда уместились в небольшую корзинку. Даже легкое пикейное одеяльце, сложенное вчетверо. Конец сентября, вечера уже не такие теплые. Со стороны казалось, будто Хася неспешно прогуливается под каштанами. На свежем воздухе Сонечка внезапно перестала капризничать, с интересом разглядывая редких прохожих. Девочка, *нивроку*, выровнялась, и личиком пошла ни в Даню, ни в Хасю, а в каких-то дальних родственниках, – вьющиеся

мягкие волосы еще не определились с цветом, и это было хорошо, как и то, что кожа у Сонечки была бледная, фарфоровая, светящаяся, вот только носик и разрез глаз... – вы понимаете... Ну какой, я вас умоляю, там нос, какой разрез глаз у маленького ребенка?

Никто (кроме, пожалуй, вездесущей старухи Павловой) не видел того, как свернула Хася на Притисско-Никольскую, как подошла к окошку первого этажа, как медленно поднималась она по проваленным полусгнившим ступенькам, как, свернув налево по коридору, оказалась перед той самой дверью в комнатку-пенал. Никто не слышал покашливания за дверью, мелких торопливых шажков и звука включенного радио.

О некоторых событиях история умалчивает, подробности предпочитая оставлять за кадром. И о многом мы можем только догадываться – впрочем, как и те немногие, кто всё еще помнит стоящую неподалеку от военной части будку сапожника и вывеску с полустертой надписью «*А...тека Г...ббе*», некогда украшавшую первый этаж старого кирпичного дома.

Александр Бараш

Из «Новых Кумранских рукописей»

* * *

Анемоны перемешаны
с одуванчиками на лугах Геенны.
И то же во мне: советское детство,
юность в самиздатском подполье и
30 лет в Иерусалиме, иная жизнь,
но с тем же бэкграундом.
И когда я стою перед тобой, Святой град,
как лист перед травой, я вижу
будто всё сразу, словно
на одну пленку сняты
две жизни:
Старый Город наслоился
на рощи Сокола и поля Аэропорта.
Под Дворцом Ирода подземная река Ходынка –
каменная труба в скале в Долине Иосафата.
В ней археологический слой: пионерский значок,
пятка, пробитая гвоздем, солдатская пряжка
римского legionera.
Кто-то умер, кто-то родился. Кто-то
переродился. Кто-то скоро еще раз придет
обменять свою кровь на вечность
у метро Акелдама, переход на
Октябрьское Поле мертвых.

* * *

Старый город в Иерусалиме – всё, что
внутри стен, меньше квадратного километра.
Но кажется гораздо больше. Пространство здесь
и вокруг – как будто плывет, перспектива
не линейна, взгляд скользит по спирали.

Стены города – первый
концентрический круг. Еще один –

на ближайших склонах: гробницы в садах
и каменоломнях. И гребни окружающих гор
расходятся по сторонам света,
как круги по воде.

* * *

Сколько еще
всему этому сниться,
сколько будет тянуться
кожаный свиток?
Потом буквы кончатся,
кожу закутают в ткань
и положат в кувшине
в безмолвный Кумран.
Вокруг Соленое море,
сугробы соли, как лед.
И не кружится голова,
и не болит живот.
Небо – размытые смыслы,
горы прошедших времён.
И света прозрачное масло,
как исцеляющий сон.

* * *

Под детской площадкой рядом с домом
случайно обнаружилась подземная цистерна
византийского времени.

Сводчатый каменный зал, как в церкви, с ярко-зеленой,
малахитовой водой. Она словно светится, как будто
открылось что-то в подсознании города.

Сначала мэрия хотела водить туда экскурсии, но
потом всё закрыли, оставив табличку с картой того, что
под землей. Похоже на картинку из анатомического атласа.

Сюда, мимо колониальных вилл начала 20-го века,
итальянского и греческого консулатов, школ,
домов престарелых, автобусных остановок

по-прежнему стекается вода зимних дождей,
как благословение, которое
пока не иссякло.

* * *

Плато на горе
над Мертвым морем:
дворец Ирода, потом
крепость апокалипсиса,
цитадель восстания против Рима,
все защитники покончили с собой –
обменяли жизнь на свободу воли.

После апокалипсиса здесь был
оглушительно-тихий
византийский монастырь
потом и он отцвел.
А еще через тысячу лет
в новом государстве
это место стало символом
смерти за родину.

У меня на руке, приобняв за шею,
историческое событие:
дочь двух лет,
в углу рта соска как потухшая сигарета,
смотрит вокруг покровительственно
и слегка хмуро.

Мы живем за родину.

* * *

Среди удивительных историй об отшельниках
в Иудейской пустыне есть рассказ о том,
как монахи, жившие на горе у Мертвого моря,
посылали ослика за плодами монастырского сада,
который был в долине. Ослик приходил к воротам сада,
стучал головой в двери, садовник нагружал его
свежими дарами – и ослик возвращался в обитель.
В примечании к этой главе было сказано:

*Среди пустынных местностей обители
представляли как бы цветущие оазы. Пустыня
процвела «яко крин». Куда же всё это делось?*

*Под железною и жестокою дланью старых османов
увял окончательно этот духовный луг, исчезли цветы,
а в глухой и немой пустыне поросли травой забвения
и самые следы прежних высоких подвигов.*

Но, похоже, ничто полностью не исчезает. Волшебство
воскрешения – только в умении увидеть, распознать
присутствие прошлого и будущего, только в тонкости
настройки. Как в недавней истории с царским дворцом
в Рамат-Рахель между Иерусалимом и Вифлеемом,
когда стало возможно восстановить по пылице,
слетевшей с цветов и деревьев три тысячи лет назад,
что же росло на террасах царского сада. И вдохнуть
запахи этого сада. И чем тоньше наше «обоняние»,
тем мы ближе к подлинной реальности,
тем объемней и детальней память –
знание о нашем месте
во времени.

Иерусалим

Марина Эскина

Обыграем тьму

* * *

Порвался лета праздничный подол,
Когда ночной совиный ветер дул
И ловко выметал прошедший год.
Начнем с начала: яблоки и мед.
Растопим горечь, обыграем тьму,
Пообещаем всем – себе, ему,
Покуда не наложена печать –
Просить прощенья и другим прощать.
Вот облако разнежилось в пруду,
Насвистывает птаха ерунду.
Простой «чирик», а сколько правды в нем,
Вот с этого, пожалуй, и начнем.

* * *

Плачу и перестану, не обращай внимания,
Стоит ли рефлексировать до вздутия жил,
Жизнь в нашем прекрасном возрасте – чистая клептомания,
Плохо лежит – хватаешь, думая – заслужил.

Бусы стрекоз, ведь август не дорожит убранством,
От него не убудет, вот он и не следит,
Мелкие волны озера сам на меня набрасывает,
Яблоки под забором, облако впереди.

Сколько ни натаскаю, утром пусты ладони,
Можно смотреть сквозь пальцы на себя и вокруг.
Сети сетчатки ловят сосен неровный дольник,
Сердце шаги считает, птицы летят на юг.

* * *

Выйду под мелкий дождик, секущий полдень,
Осень приму под кожу, и в кровь, и в лимфу,
Путь не выбран еще, а ведь казалось – пройден,
Посмотрю на облака, бегущие в рифму.
И довольно, и сразу вспомню, как ты мне дорог,
Облаков прочтением, равно-душием – душ равёнством,
Долгим молчанием после отрывочных разговоров,
Незавершенностью, граничащей с совершенством.

* * *

Перемножим числа, вычтем, разделим, сложим,
в итоге – простые дроби, не за что брать с поличным,
жизнь мне досталась, похожая на повторный обжиг:
жара не выдержу – уцелеет черепок, шершав и коричнев.
Все знают правду, а где она – эта правда,
двойников – тьма, похожих и непохожих,
сегодня бьемся друг с другом за свою единственную, а завтра
понимаем, что дрались за одно и то же.
Правда проходит стороной, бойцов чураясь,
она, наверное, вообще о другом, нет у нее героев,
она за лесом, за полем, короче, за краем,
мы и в спорах правды-истины не нароем.
Но всё, что заслужили, останется с нами –
наши добро и зло, пока мы и память живы –
их не смоют ни соленые наводнения, ни цунами,
то ли дело счастье – блики легкой, цветной наживы.

* * *

Мне пеняют, зачем я о смерти пишу и так далее,
Мол, по жизни пора достигать и ставить новые цели,
Так ведь разве эту цель нам не с рождения дали,
Только достигнуть ее пока не велели.
По дороге посажу дерево, рожу дитя, если повезет, внука,
Или парой строк вдруг соскользну с земного круга,
Здесь, где я живу, про это не львы и хищные птицы,
А зима, когда ветром срывает крышу, не даром злится.
Зиму я люблю, снег ее, не мной замечено, – чистый лист и саван.
Им не брезгует чистоплюй, рад ему неряха последний самый;
Я, признаться, в чем-то похожа на них обоих,
Сердце хочет работать четко, но не может без перебоев.

* * *

Всё весной поддается соблазну,
я, как всё, тем же самым грешу,
пробиваю пласты всякой-разной
дребедени и что-то пишу,
упоенная воздухом.

Чаша

опрокинута, хватит на всех,
беззаконное пиршество наше
кем-то обречено на успех
кратковременный,
в пору сезону,
вровень с жизнью сквозной, дармовой,
пробегающей по газону
бледным крокусом, робкой травой.
Мне призывное пенье лягушек,
размороженных тем же лучом,
оправданьем и пропуском служит,
а без них здесь и я ни при чем.

* * *

Щекочет запах скошенной травы
и первый жаркий день спалил тюльпаны;
они сложили буйные главы
чубами вниз, ясновельможны паны.

И доцветает под окном сирень-
целительница, даром что банальна,
и ландыши уже пронзили тень
необъяснимо, нежно, материально.

И дождь ночной, и птичьи голоса
сквозь утренний, понятный и без Фрейда,
сон.

Нервная и терпкая весна,
звнящая, как Марсиева флейта.

* * *

Подарок осеннего леса подранку сует суеты,
поденщик прогресса и стресса, не вольноотпущенник ты,
а просто прогульщик завзятый, удравший от бдительных глаз,
с тенями играющий в прятки, от солнца рукой заслонясь;
в грибном побуревшем подлеске с опятами солнечных брызг,
к могучей сосне не по детски прильнешь – так чтоб слышала высь –
просить, чтобы сняли обеты, простили стихи и грехи,
об этом еще, и об этом... невидимы сосен верхи,
но ветра ответное пенье и веток торжественный гул
просящему дарят прощенье за весь прошлогодний прогул.

Бостон

Григорий Марк

* * *

Опускается небо. Всё ниже и ниже.
Тучи в ливне полощет порывистый ветер.
Он торопится, чтобы успеть на рассвете
к появлению солнца их наскоро выжать

и развесить сушить. А пока голубая
точка в куполе светится ровно и скупое
через пленку воды вездесущей. Но купол
остается сухим: дождь его огибает.

Это храм в центре площади, проткнутый сбоку
острым лунным серпом. И в нем рана сочится
голубой древней кровью на окна-глазницы
окружающих зданий под рёв водостоков.

Сонный город дожди захватили бескровно.
Стрелки всех циферблатов вернулись в начало,
в полночь новую, где дом за домом кварталы
на глазах без следа растворяются, словно

бутерброд, толщиной в минувшие сутки,
горький хлеб твоей яви, проложенной снами,
время рвет и глотает большими кусками,
исчезая во тьме. И становится жутко,

что оно не вернется. Останется с нами
только пленка слезящейся гнили на окнах,
церковь, влагу впитавшая, чтобы поблекнуть,
слиться цветом с асфальтом, с другими церквями.

Но, пока у тебя не закончилось время,
будет дождь-косохлест вместе с ветром норд-остом
возвращаться по небу из Питера в Бостон,
словно память о сбывшемся с нами. Со всеми.

* * *

Окно. Струи ливня. Мерцание отблесков зыбких.
Мой мысленный взгляд катарактой затянут. Отныне
и присно в душе пусто место святое. Ошибка,
я здесь быть не должен. Исписанный лист посередине

стола, там бессонницей буквы расставлены в строчки...
Они оживали от света в окне. Неуклюже
друг дружку царапая острыми лапками, точно
взбесившись, по спинам карабкались, лезли наружу,

слеплялись в мужскую, растущую быстро фигуру.
И ноздри рывком зацепил запах крови и гноя.
Пустоты внутри человека гудели. Я сдуру
подумал: он сделался виден, явившись за мною.

Вот в этом и был незатейливый смысл превращений
колющих значков одномерного мертвого мира
в другой оживающий мир сразу трех измерений,
в котором ведущий намечен лишь беглым пунктиром.

Там новая плоть набухла враждебною силой.
Кружилась, слетала с волос буквиц черная перхоть.
Как патина зла, оседала в лице. Мельтешил и
светился язык, мелко взбалтывал воздух. Он сверху

взглянул на меня. Смерил взглядом. Итог измерений
не слишком его впечатлил. Отвернулся и сразу
пошел в темноту, где роились шушанья и тени.
Я двинулся следом. Мой ум, заходивший за разум,

уже отключился. Качалась земля под ногами.
Навстречу секунды безликие строем шагали.
Бессонница их провожала пустыми глазами.
Последнее время еще было в самом начале.

* * *

Путь умного деланья, чуть освещенный огнями
неясных намеков, догадок, вел явно в тупик.
Я знал, но не верил. И к цели шагал напрямик.
Шагал много лет, темноту раздвигая руками.

А сзади угрюмой колонной – затылок в затылок –
тянулись всё время растущие числа-долги.
Придется платить. Еще в детстве промыли мозги.
Слова первородные. Горб за плечами. Не в силах

свернуть. Шаг в сторону будет побегом. Конвой
у края дороги. Столбы, ухмыляясь, стоят
как древние идолы. Строй деревянных солдат.
Не любят тебя. Улыбнись и утрись. Не впервой.

Труба заводская. Наверх указующий палец.
Но глаз не поднять. Меж столбов стеллажи из стекла.
Там вывески лавок названьями на корешках
и книги-дома. Их обложки друг к другу прижались.

В лице борода серебрилась. Слепой, безголосый
на окнах витрин миротóчил мой зыбкий двойник.
Путь умного деланья вел через книги в тупик,
где кончается всё. И слова уже не произносят.

* * *

Приглушённый рассеянный свет, над столом
мутно-белая взвесь, надо лампу зажечь,
тихо льется невнятная плавная речь,
струйкой меда стекает в стакан с молоком.

Звук выходит откуда-то из глубины,
бормотанье, в котором мерцают слова,
на минуту закроешь глаза, и едва
различимые буковки станут видны.

Свою зыбкую зримую плоть обретут,
за заглавную следом, одна за одной.
Так за нянькой-вожатой, крича вразнобой
и держась за веревку, детишки идут

изнутри на поверхности сомкнутых век.
Канифолью натертые их голоса
поднимаются медленно вверх, в небеса.
Ну а здесь лишь оглохший пустой человек.

* * *

Так трясет, будто в кузове грузовика
в ночь несешься, и всею отбитой душой
понимая уже, что водитель слепой,
свой диагноз-повестку сжимаешь в руках.

А машина вихляет в мельканье огней,
всё сильнее скрежещут внизу тормоза.
Поднеся близоруко повестку к глазам,
ты пытаешься дату увидеть на ней.

Бостон

Игорь Гельбах

Человек из ресторана

1

В тридцать лет я полюбил ресторан по вечерам. Была зима, шли дожди, а я сидел и слушал, как звякают ножи и вилки, хрустят скатерти. Потом на белой скатерти появлялись зелень и редис. Я жевал редис с солью, выпивал полбокала темно-желтого вина в ожидании мясного блюда, а на столе появлялся тонко нарезанный белый сыр. Белый сыр, зелень, редис и темно-желтая явь на столе; слегка желтеющий на глазах сыр, медленно сползающая по стеклу бокала капля вина, – можно сидеть, слушать музыку и глотать пахнущее землей вино.

В ту пору я много работал и уставал; по вечерам хотелось ярко-го света и шума, и я зачастил в зимний полупустой ресторан. Посетителей бывало немного – два-три столика. Я выпивал пару зеленых бокалов вина, жевал красную перченую капусту и слушал оркестр. Позднее играли местную, кавказскую музыку. Иногда в зале дрались – тогда музыканты смеялись и играли громче, а однажды я увидел даже сосредоточенно пляшущих мужчин в черных пиджаках... После перченого мяса с луком, вина и длинных застольных речей, после обмена поцелуями с товарищами по столу им хотелось танцевать, и они выходили в круг перед маленькой эстрадой – где танцевали самозабвенно и сосредоточенно, ощущая, наверное, удовлетворение не только от ритмичного похлопывания и быстрых движений, но и от сознания того, что здесь, среди таких же, как они, происходят важные жизненные дела: едят, пьют и танцуют, завершив трудовой или бездельный день и продолжая естественную череду событий....

Они танцевали самозабвенно. Выделявая замысловатые фигуры под грохот барабана и повизгивание флейты, они неслись по кругу, высоко подпрыгивая и раскидывая руки, пытаясь и нагибаясь к полу, чтобы схватить зубами платок, брошенный на затертый паркет под желтым зимним электрическим светом... Вновь и вновь кидали они деньги оркестрантам, и те повторяли заезженные, но бодрящие мотивы.

Да и я не оставался безучастным: порой к концу вечера музыка в ресторане будила ощущения почти той же силы, что и некогда услышанная в детстве...

Я бежал по улице, и вдруг черная толпа у дома на углу зазвучала, взревела, и через мгновение сверкнула серебром и медью, будто плакала... На похоронах дедушки вели меня за руки мать и отец – оба в черных пальто, лица их теперь видятся словно маски – до того они молоды. Я помню, как чернели в желтом поле фигуры, затем – мы отступаем в жидкую грязь, а мимо плывет гроб, в котором уже четыре дня лежит дедушка, умерший на улице от приступа «грудной жабы», – и огромное, сырое поле ромашек, с утопающими в них каменными плитами надгробий.

Музыки не было, пел кантор... Почему же я слышу голос флейты?

Вот так я захаживал и захаживал в ресторан, попивал дешевое вино прошлогоднего урожая – и вскоре познакомился с музыкантами. Как-то раз я разговорился с саксофонистом. Звали его Женья, музыканты называли его Жеха.

– О, работа очень интересная, – сказал он, усмехнувшись, – когда я вечером иду сюда, я знаю, обязательно что-нибудь произойдет. Обязательно. Заранее не знаешь что, но обязательно что-нибудь происходит. Или подерутся, или кто-нибудь захочет спеть, или мы с кем-нибудь познакомимся.

Жеха играет, прислонившись к тумбе усилителя, не меняя выражения лица. Музыканты переговариваются, шутят, смеются – я вижу, как брови его лезут вверх и поблескивают серые с зеленым глаза.

Однажды я встретил Жеху в субботу, днем. Шел дождь, ветхий навес на веранде в кофейне пропускал воду; за несколькими сухими столиками сидели старики. Жеха пришел в кофейню с высокой, худой, черноволосой девушкой. За ухом у девушки был цветок с красными шершавыми лепестками. Я заказал коньяк, мы разговорились. Саксофонист рассказал, как недавно прочел у Мэри Фланнери О'Коннор: *сознание старого генерала вытекало из черепа через маленькую дырочку, как влага*. Генерала возили в коляске.

– Мне хочется, чтобы меня возили в инвалидной коляске, кормили и одевали. А я был бы тридцатилетним идиотом – ведь мне всего тридцать, – сказал он и тут же спросил: – А смогу я играть при этом?

– Наверное, нет, – сказал я, – но если даже ты и будешь играть, то не поймешь, что играешь. Кроме того, идиот пускает слюни и мочится под себя.

– Тогда мне это не подходит, – засмеялся он, – я хочу быть чисто одетым и причесанным. Я читал, что есть один астроном или физик, его вот так возят в коляске по всему белому свету. И он говорит, что ничто не мешает ему думать о том, как устроен мир.

– Ну, это последствия совсем другого заболевания, – сказал я, – это совсем другое...

– Но быть тридцатилетним идиотом, наверное, все-таки здорово, – заметил он.

Девушка с цветком в волосах засмеялась, в ее чашку с кофе попала капля дождя, саксофонист состроил гримасу, они распрощались и ушли. Из разговора я узнал, что девушка приехала отдыхать из Свердловска. Там она паяла контакты на огромном ракетном заводе и складывала в старую черную сумку оставшиеся после покупки консервов деньги с зарплаты – их всё равно было невозможно потратить, объясняла она. Здесь, на Юге, она была впервые. Ей нравились пальмы, вино, теплое синее море и несущаяся отовсюду музыка.

2

Я по-прежнему жил в нашем старом доме на горе Чернявского и рано уходил на работу. Машины, собиравшие мусор, приезжали позднее, и я, как и многие соседи, стал по ночам выносить мусорные пакеты на обочину. Этот стихийно сложившийся ритуал казался мне порой унижительным. Утешал я себя тем, что жизнь наша полна унижительных ритуалов, к которым мы настолько привыкли, что порою просто не замечаем их.

– Так не лучше ли просто стать идиотом и ни о чем не задумываться? – спросил я однажды у профессора Штейна, он был уже стар и достиг того положения, когда дозволительно обсуждать любые вопросы.

До переезда в этот городок у моря профессор Штейн работал в Сарове. Туда его забрали с фронта, из артиллерии. В Сарове, где рабочие, инженеры и ученые работали над созданием сначала атомной, а затем и водородной бомбы, он возглавлял отдел прикладной математики. Вскоре после начала борьбы с «космополитами» его отстранили от работы, но благодаря заступничеству одного из «отцов» бомбы, назовем его А. Д., оставили на свободе.

Покинув Саров, Штейн с семьей провел две недели в московской квартире А. Д., ожидая решения своего вопроса. Затем его вызвали в одно из серых зданий в центре Москвы и объявили, что ему следует выехать на работу во вновь созданный физико-технический институт на Юге, в Сухуми.

К профессору я приезжал на троллейбусе. На следующей после «городского пляжа» остановке справа от дороги тянулась насыпь железнодорожного полотна, а за ней лежал узкий песчаный пляж,

окаймлявший синее пятно залива со светлыми строениями города на другом его берегу, На другой стороне дороги уходило в сторону гор ущелье с утопавшими в зелени строениями физико-технического института и домами, построенными для его сотрудников.

Считалось, что проект центрального корпуса института был разработан маршалом Берия, руководившим созданием этого учреждения. В юности он учился в Сухумском техническом училище и на всю жизнь сохранил интерес к техническому черчению и архитектуре.

Штейн рассказывал, что впервые попал в эти края в начале лета и был поражен красотой сальвий, высаженных на клумбах. Перед домом с полукруглым фасадом, где ему выделили квартиру, шумел фонтан, разбрызгивая воду на посыпанные гравием дорожки. Однако большая часть воды всё же попадала в неглубокий круглый водоем с кувшинками и красными рыбками.

Вскоре профессор понял, что ему придется работать вместе с привезенными из Германии учеными, ранее вовлеченными в немецкий атомный проект.

– Их привезли сюда после окончания войны вместе с семьями. Они прибыли с оборудованием, приборами и научной библиотекой Берлинского университета. Среди них было несколько вполне порядочных людей, – сказал он однажды, – я говорю о тех, с кем мне приходилось сталкиваться по работе. Но были и убежденные нацисты. Эти предпочитали молчать. Официально они все были военнопленными, но для них создали вполне приличные условия. Идея маршала состояла в том, чтобы условия труда для ученых были лучше, чем в любой из раскиданных по территории России «шарашек»...

В середине пятидесятых годов почти все немецкие физики с семьями уехали в Германию, а Штейн так и остался в институте возглавлять отдел прикладной математики.

Однажды, когда профессор спросил у меня, почему мы не видим в космосе следов астроинженерной деятельности – например, преждевременно взорвавшихся звезд, этих ночных костров, разожженных иными цивилизациями, я вспомнил о своих ночных выходах на улицу с пакетами мусора и сказал, что те, *другие*, очевидно, не хотят нарушать естественной экологии вселенной.

Штейну мое замечание понравилось, и он попросил разрешения привести это соображение в своей очередной статье,

– Естественно, с указанием источника, – добавил он, и я согласился; мне показалось это забавным.

А вообще меня всегда преследовало ощущение, что пока я сижу

и беседую с профессором в одной из комнат его огромной квартиры, в других комнатах происходит что-то тайное, скрытое от глаз. Квартира полна домочадцев, им лень слушать Штейна, это я заметил, и, наверное, он рад найти во мне слушателя.

Он сидел против меня, похожий на старую куклу-мудреца; поредевшие волосы над его лбом были уже совсем седые. Когда же он улыбался, это делало его похожим на куклу-паяца. В интервалах, когда он прерывал свои монологи и, внимательно глядя небольшими, почти круглыми обезьяньими глазами, слушал меня, лицо его бледнело, вокруг рта прорезались две круглые складки, и свет играл у него на лбу и под глазами.

Потом блики исчезали, и оставалась настороженность во взгляде да легкая неуловимая черточка иронии в движении нижней губы, и вдруг – тень улыбки и недоумения:

– Но я уже не раз высказывал вам эту мысль...

Я согласился и заговорил о чем-то не очень важном. Беседуя, я вдруг понял: меня приводило к Штейну что-то вроде потребности обрести новых родителей или наставника, связь с которым была бы не столь догматически определенной, как, скажем, мои отношения с отцом. Увы, я не мог ясно представить себе, чего мне, собственно, не хватало и что бы мне хотелось услышать или узнать.

Сидевший против меня Штейн, подавив вздох, стал рассказывать притчу о толковании текстов – тема эта занимала его: когда-то давно, в детстве, он получил начальное религиозное образование.

В юности некий мальчик постоянно превосходил своего приятеля в толковании священных текстов. С тех времен прошло много лет, и вот они встретились, постаревшие. С почтением осведомился старик у своего менее удачливого приятеля, а ныне – знаменитого толкователя Торы и Талмуда, могут ли они вновь, как в юности, сравнить свои силы в толковании текстов. Выбрана была история Ионы, проглоченного китом. Каждый дал свое толкование, и тот, что предложил начать состязание, с удивлением заметил про себя, что, как в юности, его изложение глубже и интереснее.

Они продолжили состязание. Знаменитый соперник его предложил новое толкование, и вновь старик увидел, что его – лучше, чем у известного талмудиста...

И вновь состязание продолжилось, и еще множество толкований дали оба... Наконец, тот, кто и в юности, и теперь считал себя за более проникательного толкователя, удивленно спросил:

– На чем же зиждется слава собеседника моего?

– На неустанном толковании текстов, – услышал он в ответ.

Жена профессора Штейна пригласила меня отужинать с ними. Взгляд мой случайно упал на Штейна: он ел белые мучные ракушки с красной подливкой, он был голоден и рад тому, что ему не мешают есть. И вот, когда ужин подходил к концу и передо мной поставили чашку чая, я, глядя на розетку с вареньем, спросил, груша это или айва? И оказалось, что предлагалось мне варенье из терновника.

Много позже, однажды вспомнил об этом ужине, о профессоре, его домочадцах и всей этой жизни, полной скрытых напряжений, и мне вдруг представилось, как профессор выходит по ночам на морской берег, собирает ракушки и гложет их, низко наклоняясь к песку.

Обычно море выбрасывает на берег пустые, без моллюсков, ракушки мидий. По ночам ракушки становятся видны лишь на мгновение, когда набежавшая на песок или гальку волна, разбиваясь, разбрызгивает свет.

Затем я отчего-то вспомнил, как за несколько лет до этого к нам в город приезжал А. Д., заступившийся когда-то за Штейна. Опальный академик и его жена остановились в просторном номере на втором этаже светлого здания гостиницы, расположенной против причала с кофейней и рестораном на воде.

Узнал я об этом от моего московского знакомого, приехавшего к нам в институт. Он остановился в той же гостинице, что и А. Д.; они были знакомы – встречались на общих собраниях в Академии наук.

Через несколько дней я оказался у Штейна и в разговоре упомянул о том, что А. Д. с супругой остановились в гостинице на набережной.

– Вы собираетесь увидеться с ним? – спросил я у Штейна.

Он помолчал с секунду, а затем ответил:

– Но вы же понимаете, что я не могу поехать в гостиницу, где останавливаются иностранцы, мне это просто запрещено делать. Номер его наверняка прослушивается, и поэтому звонить ему я тоже не буду, – Штейн помедлил... – Но если он сам придет сюда, ко мне, я буду рад его встретить...

А. Д., однако, решил не беспокоить Штейна.

– Здесь, в институте, работает один мой старый друг, – сказал он моему знакомому, – но я не уверен, что не создам ему неприятностей, если внезапно появлюсь у него на пороге.

Стены в лечебнице выкрашены в бледно-зеленый цвет, и внутри здания всегда присутствует ощущение легкой прохлады, порой даже сырости и полной ирреальности происходящего, – каждый знает, что

такое психиатрическая лечебница. Но сад, великолепный сад окружает недавно отремонтированное здание и обшарпанные вспомогательные строения. Кое-где видны кучи песка и гравия, а жестяное корыто, полное сохнувшей извести, оставлено под водосточной трубой. Ну а дальше – кипарисы и пыль на дороге, плотная зелень камфарных деревьев, одиноко стоящее на холме гинкго и – сосны и сосновые иглы под ногами.

Иногда мне казалось: выпустить больных в сад и заставить их жить в тени сосен, под проливными дождями, под редкими пятнами зеленовато-белого снега, – и они выздоровеют...

Их выводят в полдень – процессия безликих мужчин и нежных юношей, опустившихся старух с неубранными седыми космами и молодых еще женщин в сиреневых платьях. Они бредут по утоптанному кругу, а кто устает – отходит к скамье у кипариса на краю поляны.

Говорить с Ятой под деревьями трудней, чем в палате, – всегда наступает момент, когда я смотрю на стволы кипарисов, слышу потрескивание веток; она молчит, и я ухожу.

Лет десять назад, когда я познакомился с ней в Ленинграде – там я учился, – розоватые пятна на скулах медленно опускались на ее худые щеки, разрезанные крупными губами. Она внимательно смотрела на меня ореховыми глазами, голос у нее был низкий, слова она произносила, закругляя их, и очень темные волосы падали на худенькие плечи. Ходила она легко, легко несла вперед свою маленькую грудь и чуть наклоненную голову с темными кудрями.

Наверное, мне не следовало привозить ее сюда, на юг, но когда-то, в Ленинграде, всё было очень хорошо. Тогда она училась, потом стала преподавать музыку, как моя мать, но отношения у них сложились совершенно невозможные, а после смерти моей матери что-то сломилось и в наших отношениях.

С годами ее смех становился всё более глубоким, я бы сказал так: когда она смеялась, мне казалось, она говорит с собой, и я слышу отзвуки этой неясной беседы. Она стала вздрагивать и худела всё больше, а румянец медленно полз к худым щекам, когда она говорила, всё больше растягивая слова. Ей уже нельзя было пить вино – ей нравились красные, почти черные вина, – хотя она и раньше пила немного, лишь когда к нам кто-нибудь приходил или когда мы встречались в городе и отправлялись посидеть где-нибудь на набережной, – обычно это происходило днем.

Разговаривая с ней, я стал избегать многих тем. Ее старшая сестра, пятилетняя девочка, погибла в июне сорок первого года вместе со своим дедом, длинноносый и худым стариком, – дед и внучка

ехали в попавшем под бомбежку поезде, направлявшемся из Ленинграда в Луцк. Туда их пригласили на лето жившие в городе родственники деда, объявившиеся вскоре после окончания польского похода РККА в 1939 году, когда этот город вошел в состав Украины.

Ята родилась в Ленинграде, после войны, и никогда не видела свою сестру, только на фотографии. Она моложе меня на три года, а познакомились мы, когда я учился на третьем курсе в медицинском. Она в то время, окончив музыкальное училище при консерватории, уже поступила туда и была студенткой второго курса.

Отношения наши поначалу исчерпывались случайными или полуслучайными встречами, были у нас и общие знакомые, но разные, совершенно разные направления жизни. Родители ее были инженеры, работали они на каком-то огромном предприятии, – тихие, усталые люди; у нее, как говорили, были способности или даже талант к музыке. Похоже, они ее очень любили.

Отношения наши изменились после одной случайной встречи у Казанского собора. К тому времени я снова приехал в Питер, уже после зачисления в аспирантуру, и поселился в пустой квартире, снятой у знакомых, – им не хотелось переезжать на Охту с Сенной площадью. Я провел в Питере три года, и когда у Яты в консерватории подошло время распределения, мы расписались, ее освободили от распределения в Тихвин, и вскоре после защиты я увез ее домой, на море.

Поначалу мы жили вместе с матерью в доме, выстроенном в 1916 году на средства Московского географического общества, но вскоре переехали в один из финских сборных коттеджей для приезжающих в долгосрочные командировки ученых из других городов. Расположены эти коттеджи на территории Института экспериментальной патологии, где я работал.

– Ну вот, – сказала она вскоре после нашего переезда, – я оказалась в джунглях.

Жизнь на территории института начиналась с криков просыпавшихся с восходом солнца обезьян. Вблизи коттеджа росли кусты османта душистого и несколько пальм. Это был первый, вполне романтический, несмотря на дождливую зиму, период нашей жизни на море.

Потом ей пришлось уехать в Питер домой, к родителям, где она была прописана, чтобы они смогли получить отдельную трехкомнатную квартиру в пятиэтажке, выстроенной заводом в унылом районе, именуемом Дачное. Прошло полгода, и она вернулась. После смерти моей матери мы переехали в наш старый, разделенный на квартиры, дом на горе Чернявского.

Со временем Ята ушла из музыкальной школы, где раньше преподавала моя мать, и начала работать педагогом по классу фортепьяно в музыкальном училище, размещавшемся в выстроенном в стиле модерн особняке у подножия горы Трапедия. Когда-то особняк принадлежал негоцианту, создавшему свое состояние на торговле местным табаком. Серо-голубое двухэтажное строение с белыми колоннами и примыкающей к нему трехэтажной башней с открытой площадкой на третьем этаже, с балконами, верандами, лесенками, башенками, широкой внутренней винтовой лестницей и просторными залами с роялями и каминами, выложенными кузнецовской плиткой, – оно располагалось по соседству с виллой Дундера, окруженной парком в английском стиле.

После работы я обычно заходил за Ятой в училище, оставляя позади бамбуковую аллею, поднимался по ступеням широкой каменной лестницы к зданию и, миновав высаженные в ряд пальмы и яркие клумбы с цветами, взбегал по ступеням левого крыла изгибавшейся лестницы в наполненное музыкальными руладами и пассажами здание.

Обычно она занималась со студентами в одной из комнат в северной части здания. В классе стояли два старых рояля «Schröder». Ята обычно сидела у клавиатуры того из них, что ближе ко входу, и высокой белой двери, а ее студентка сидела у рояля, стоявшего у полукруглого окна и белой двери на балкон, глядящий на город и море..

Она заканчивала свои занятия, и мы направлялись в город, на набережную, – поужинать или выпить кофе, или просто шли вдоль ограды Ботанического сада направляясь к дому.

Постепенно у Яты появились свои знакомые, но очень многое из того, что характерно для жизни на Юге, она просто не могла или не желала понять, и, возможно поэтому, ее постоянно преследовало ощущение чужеродности здешним обычаям и нравам. Порой это приводило к конфликтам и недоразумениям, происхождение которых было связано, как я в конце концов понял, не только с чужеродностью и обостренностью восприятия, свойственной музыкантам, но и с особенностями ее психики. К этому заключению я пришел волей-неволей, после того, как заметил определенную цикличность в ее поведении и реакциях.

Со временем мне становилось всё труднее объяснить себе свои мысли и поступки, а потом пришли времена, когда я смотрел на нее и понимал, что это говорит и действует не она, а некий испорченный механизм за ее оттененным темными кудрями лбом.

...Я был в Ленинграде у Генриха Антоновича, моего научного руководителя еще со времен аспирантуры, когда она преприняла попытку суицида, проглотив почти полпачки снотворного. Дверь в квартиру, по счастью, не была закрыта, и пришедшая попросить кружку кукурузной муки соседка обнаружила ее без сознания на кровати и пустую пачку снотворного на полу, после чего позвонила в «Скорую».

Порой по дороге в лечебницу я думал, что приезжаю туда из-за великолепного сада, тишины и одинокого гинкго на холме. Но потом я говорил с Ятой, и всегда наступал момент, когда я начинал смотреть на кипарис – что-то в его кроне притягивало мой взгляд, во мне пробуждалось старое чувство волнения и тревоги. Ята умолкала, и, проводив ее в палату, я уходил вниз по пыльной кипарисовой аллее.

4

Из лечебницы я обычно направлялся пить кофе.

Сижу в конце дня под тентом в ресторане на воде и не спеша пью кофе. Небо напоминает скатерть со столика в ресторане, на которую в суете кто-то опрокинул стакан «Саперави». Вода внизу спокойная и прозрачная, видны тарелки, вросшие в песок на дне, темнеют розовые дома на берегу, и в сырых растрепанных перьях пальмы висит ярко-желтый таз солнца.

Середина марта. Через несколько дней пройдут дожди, и начнет сырая, солнечная и прозрачная наша весна.

Я легко узнаю состояния пейзажа. По-моему, это одна из причин, неосознанных причин нашей любви к природе. Мы знаем, чего можно ожидать от пейзажа, – и это неизменно из года в год. Это знают и старики-рыболовы на причале за рестораном, и лотошницы, продающие им булки на наживку, и рыбы, из года в год плывущие на крючок за хлебным мякишем. Что же до людей – то большинство человеческих лиц мы воспринимаем как маски с играющими камешками глаз, вставленных в дырочки для оживления куклы. В молодости индивидуальное дыхание зачастую окрашивает маску, придавая ей иногда подобие некоторого единства, но постепенно индивидуальное начало исчезает, глаза, как и всякие камни, тускнеют, и почти все старики становятся одинаковыми.

Я встречал людей, что сами или волею обстоятельств развили свое индивидуальное дыхание. Но, согласитесь, совсем непросто расти и плодоносить подобно виноградной лозе, искать и находить случайную, шаткую и ненадежную опору, доверять ей и тянуться дальше, зная, что грозди, созревающие под зеленоватым светлым небом, рано или поздно склюют птицы.

5

Наступило безоглядное лето, темная и плотная зелень кипариса кажется безнадежно сухой театральной декорацией рядом с глубокой, темной и безоглядной синевой моря, его сбивчивым дыханием и спокойным, завораживающе ласкающим прикосновением, пухнувшей темнотой его ночей, прорывающихся в иссиня-черную пустоту, увешанную сине-зелеными светильниками с нечеловечески сильным ароматом – магнолиями начала лета.

Потом лето добралось до середины, и иногда днем свет лежал на набережной столь плотной и горячей пеленой, что идти пить кофе не хотелось, и тогда я сворачивал на веранду гостиницы пить чай, темно-красный, с ломтиками лимона и кусками сахара в сахарнице на голубом пластике стола.

Собирались здесь обычно пожилые мужчины – из тех, что тщательно следят за чистотой манжет; бывали здесь музыканты, часовых дел мастера и случайная залетная публика. Косо посматривали они на греков и армян из кофейни через дорогу, перебирающих четки, обсуждая политические бури последних лет и вырезая при этом звезды из алюминиевой фольги, оставшейся на столиках после случайных посетителей, поивших девиц шампанским.

Тише и спокойней говорили на веранде о деньгах, выгодных местах и здоровье. Эти люди сидели здесь и ранней сырой весной, и зимой, в сырую погоду, ожидая проблеска солнца.

По утрам, направляясь на работу, я проходил мимо полной плащей и шляп веранды, но ближе к вечеру веранда с одиноким светильником под пластиковой крышей была обычно пустой. Поначалу разговоры и поведение завсегдатаев веранды показались мне плохим маскарадом, но позднее я уверился в их полной серьезности, не уступающей серьезности посетителей кофейен, и даже обнаружил в их поведении некий элемент стоицизма. Постепенно место это стало наводить меня на мысль о никогда не пережитом мною состоянии длительного одиночного заключения, о стоическом, бесцельном бодрствовании мозга и полной неподвижности постепенно немеющего тела, – но какой смысл мог заключаться в стоицизме подобного рода?

А теперь, летом, я заходил на веранду по дороге к автобусной остановке. Обычно я отвозил в лечебницу безобидные, хорошо иллюстрированные книги, посвященные бабочкам или обитателям океана.

– Нет ничего красивее бабочек, – сказала мне Ята однажды, когда я встретил ее у ростральных колонн, – она направлялась в Зоологический музей.

То был конец мая в Питере, время белых ночей, и я не удивился ее словам – мало ли что приходит в голову во время белых ночей.

Белая ночь казалась мне благодеянием усталой природы, не знающей настоящего солнца.

6

А в ресторане, где играл саксофонист, всё совершенно переменилось.

Летними вечерами в ресторанном жарком и блеклом тумане гремела музыка, официанты разносили плотно уставленные снедью и винными бутылками подносы, мелькали яркие одежды танцующих. Музыка гремела беспрерывно, лишь иногда музыканты делали перемены, вели разговоры с девицами и парнями из публики, ловили скомканые ассигнации и складывали их в бубен. Рядом волновалось море, как неостывшее первое блюдо, подъезжали и гудели автомобили, и вся атмосфера вокруг была пропитана легким душком имморализма.

Саксофонист, мой знакомый, играл иногда и на флейте. Ближе к полуночи, однако, напевы разыгрываемых на флейте восточных тем сменялись обычно отрывистым, синкопированным, дребезжащим, хриплым, вибрирующим звучанием его импровизаций, разыгрываемых отрывисто и точно, неожиданно и волнующе живо, и, в то же время, достаточно прохладно, благодаря никогда не нарушаемому, ясному и четкому ритмическому рисунку.

Однажды днем я купил в ларьке на улице свирель с шестью дырочками, напоминавшую флейту, и направился с нею в ресторан. Там было пусто, музыканты репетировали и во время перерыва саксофонист опробовал свирель. Оказалось, что у нее правильный строй. Перочинным ножом он проковырял еще одно отверстие, и вскоре я начал брать у него уроки. Это его забавляло, и в паузах мы говорили об обезьянах — что они ощущают и как, это его особенно занимало.

— Хотел бы я стать обезьяной, чтобы потом всё это сыграть на флейте, — говорил он.

Как-то раз он пришел ко мне в гости со своей девушкой и долго играл на свирели. На следующий день я направился в ларек и занес ему в ресторан такую же свирель.

— Жаль, что на ней нельзя играть в ресторане, — сказал он, — звук слабоват... Но если играть для записи, то я бы обязательно сыграл на ней... И еще хорошо бы на ней поиграть где-нибудь в тропиках...

Несколько лет назад он плавал музыкантом на пароходе, обслуживавшем итальянскую коммерческую линию, побывал в разных краях и много об этом рассказывал; больше всего ему нравились острова у побережья Южной Америки, там была замечательная подводная охота.

Через пару недель я уже мог разыгрывать несложные мелодии, но больше всего меня интересовал процесс импровизации. Постепенно я начал понимать, что именно в способности к ней и обнаруживается подлинная музыкальность, но когда я расспрашивал об этом саксофониста, он смеялся; это был спокойный и тогда еще неясный мне смех, напоминавший по тону его беседы с девицами в ресторане, во время перерывов. Беседы были очень короткие и, в каком-то смысле, откровенные.

7

Однажды летом я зашел к профессору Штейну после пляжа.

Вновь приглядываясь к его небольшим, круглым, глубоко посаженным глазам, маленькому приплюснутому носу и круглой голове, я осознал, что в его лице и крепком маленьком теле присутствует что-то обезьянье, — мудрое, чужое и родственное, обнажающее наше одиночество и, в то же время, отсутствие уникальности.

В тот вечер мы затронули и занимавшую его тему.

— А вот когда появятся *другие*, скажем с небес, не окажемся ли мы в положении обезьянок? — спросил я, — маленьких, интересных обезьянок в вольере, — и *они*...

— *Они*, — сказал профессор, — это слово всегда разделяет, и когда вы отделяете себя, вам кажется, что вы лучше, и имеете право на то, что вы осудите, если это сделают *они*...

В тот вечер я надеялся получить для прочтения рукопись одной из его неопубликованных работ, с которой он как будто решил меня познакомить. Штейн, по его словам, начал работать над ней довольно давно, но оказалось, что он и сам не был уверен в том, что работа его над текстом уже завершена, и в последний момент он передумал.

— По-моему, лучше пока подождать, — сказал он, — да и я еще не уверен, завершил ли я ее. Ведь у вас найдется, что почитать? — он посмотрел на меня внимательно, — в конечном счете, когда человек находится в таком состоянии, как вы, не так уж и важно, что читать, есть много хороших работ — важно что-то почувствовать...

Брови его поднялись, и на лбу одна за другой пошли складки. Скорее всего, он был прав.

Незадолго до этого разговора я проходил мимо городского пляжа, где полоса гальки, усеянная лежащими телами, прерывалась каждые метров пятьдесят волнорезами из цементных плит, уходивших в море, всё еще прозрачное под вдруг набежавшей тяжелой синей тучей.

Я шел, глядя на цветные полосатые тенты, на людей и прозрачную воду, пока фигура черноволосого горбуна – он только что вылез из воды на волнорез – не привлекла моего внимания.

Он твердо стоял на плите, почти слившись с ней, неподвижный и мокрый, лишь глаза его бегали, – и я подумал, даже физически ощутил, сколь отлично, должно быть, то, что видел он, от того, что видел я.

8

После работы я часто ездил купаться на пустой каменистый берег за мысом. Вода здесь была чище, и народу было меньше, чем на пляже. Меня подвозил туда живший неподалеку товарищ.

В таких местах люди быстро начинают отличать друг друга, и однажды я заметил, что молодая женщина, на которую я обратил внимание, заплывла довольно далеко. Она была с гладкой линией темных плеч и слегка напоминала Яту. Я поплыл за ней.

– Не надо так далеко заплывать, – сказал я, – здесь тяжелее плыть обратно, это ведь не бухта.

Мы повернули обратно.

Отдышавшись, она сказала:

– Спасибо.

Трудно говорить, когда выходишь из воды на ровный, в камнях, берег, руки и ноги становятся вдруг тяжелыми и на глаза давит что-то изнутри.

– Ну что вы, – ответил я, – я ведь работаю спасателем.

– Правда?

Она присела на камни, вся еще влажная, и темные камни потемнели.

– Да нет, я вас обманываю, скорее я мучитель.

– А кого вы мучаете? – ей всё еще не хватало дыхания.

– Обезьянок, – сказал я.

– А у вас их много?

– Целая вольера, но вот дарить их нельзя.

– А посмотреть их можно?

– Можно, – ответил я.

Поначалу вольеры с обезьянами производили неприятное впечатление на посторонних.

Вольеры располагались на большой поляне под соснами. Отвратительный запах огрызков полусгнившей капусты и бурака, грязь и видимое отсутствие отопления за железной решеткой первоначально наводили посетителей питомника на мысль о зимних холодах,

а затем люди обычно вспоминали о наших экспериментах, так или иначе связанных с болевыми ощущениями.

Но позднее, когда им объясняли, что обезьян следовало содержать на свежем воздухе для того, чтобы уберечь их от пневмонии, посетители успокаивались и, переходя от вольера к вольеру, забывали о первых своих впечатлениях и со всё большим интересом глядели на обезьян; их постепенно увлекала эта чужая и близкая жизнь за железной решеткой.

Я показал Марине обезьян в питомнике и провел ее через проходную на территорию института. Корпуса, старые и пара строящихся, располагались на плато. С него открывался вид на лежащий у моря город и на соседствующие с горой Трапедия горы и холмы. Видны были ближние деревни. На плато было еще светло, а внизу за горой, в деревне, спускался вечер. Слышен был лай собак. Вскоре, еще до наступления темноты, мы спустились в город и, пройдя мимо решеток Ботанического сада, оказались совсем близко от набережной, на которой уже зажигались огни.

Потом мы еще несколько раз встретились в городе, на длинной, в бесконечных пальмах и кафе, набережной. Наконец я встретил ее в городе днем, было ослепительно светло, море зеленело, а по бульвару шел городской сумасшедший в зеленом мундире и офицерской фуражке с красным околышем.

Мы довольно долго пили кофе, разговаривая, в сущности, ни о чем и, спускаясь со второго этажа ресторана на воде, я сказал ей:

– Нам лучше распрощаться сейчас, было очень хорошо,

Она уезжала следующей ночью, кругом была зелень и было жарко, но не душно, с моря дул ветер.

– Странно, я приезжаю сюда вот уже несколько лет, приезжаю и уезжаю, забываю всё на целый год, а теперь что-то изменилось, – сказала Марина, – я напишу тебе. Ничего такого не было так давно.

– Хорошо, – сказал я, – только пиши мне на почтовое отделение, то, что рядом с верандой, где мы пили чай, пиши до востребования, так будет лучше.

Я записал на листке из блокнота мое имя и номер почтового отделения, прикоснулся к ее плечу и направился домой. Пройдя полквартила, я оглянулся, она шла к гостинице мимо огромной цветочной клумбы и будки сапожника, обклеенной яркими фотографиями и журнальными снимками.

На следующий день я приехал на пустой каменистый пляж за мысом и увидел там Марину.

– Даша улетела домой сегодня утром, – пояснила она.

Мы пошли плавать, кожа у нее в воде была очень гладкая, она потянулась ко мне, мы вместе нырнули, и под водой я поцеловал ее. Когда мы вышли на берег, я обнял ее за плечи и сказал, что мы могли бы поехать ко мне.

Дома отчего-то не было света, я обнаружил это со странным чувством облегчения; за окном становилось всё темнее, и я ощутил дыхание деревьев. Было очень хорошо, казалось, мы медленно гуляем по саду, чередуя солнце и тень; всё это время пока я терял и находил ее взгляд, всё, что происходило почти без слов, было неожиданно новым, но потом нам казалось, что мы давно знаем друг друга.

9

Наступил вечер и мы отправились в гостиницу за ее вещами, а оттуда к причалу по почти ночному уже городу, по теплому асфальту сонных улиц, мимо растворяющихся во тьме зеленых и синих деревьев.

Вечер уходил с длинного бульвара позднее, оставляя за собой мерцание рекламы, смятые стаканчики из-под мороженого на тротуаре, неясные голоса, белые силуэты в синей тьме, шум фонтана и звон посуды из ресторана.

Долетали обрывки музыкальных фраз, последние гуляки медленно расходились с набережной, и чем дальше мы шли по причалу, тем больше я ощущал ночь и спокойствие. Мы почти не говорили. За освещенной изнутри будкой фотографа, с навеки запечатленными на глянце неизвестными лицами, темнота опускалась сразу, видны были огни города, легкая дымка над горами, внизу плескалась вода, а вокруг висели звезды.

В конце причала, в небольшой зоне света, выбитой из тьмы прожекторами парохода, крутилось несколько фигур, посадка заканчивалась, и, пройдя по тяжело позвякивавшему трапу, она скрылась в брюхе парохода.

Я поднялся по бетонной лестнице на плоскую крышу длинных складских помещений, превращенную в некое подобие ресторанчика, уже закрытого, уселся на стул, закурил и стал глядеть на освещенный пароход.

Подождал сторож и присел рядом. Появилась Марина на второй палубе и стала у борта, прозвучали отданные в мегафон команды, теплоход подобрал трап и, тяжело дыша, тихо отплыл. Я припомнил мелодию, случайную мелодию, услышанную в ресторане, и наиграл ее на свирели.

Сторож спустился вниз, поближе к темной воде, в тот вечер он

собирался ловить ставридку на самодур с края причала, а я остался на бетонной крыше, посреди темного ночного неба, вдали от амфитеатра городских огней, под легким ветерком, налетевшим издали, от ушедшего парохода.

Потом я шел по длинному причалу, и в темноте слышно было медленное движение волн вниз и звук моих шагов по асфальту. Дойдя до его середины, я остановился, услышав звон сигнализации и чей-то донесшийся из темноты крик. Вслед за тем мимо меня пробежали двое, затем сигнализация смолкла и мимо пробежал сторож, а когда я вышел с причала на ярко освещенную площадь, ко мне подбежал плотный человечек с усами и спросил,

– Ты играл?

Я остановился. Меня усадили в коляску мотоцикла и увезли.

10

В январе, когда я вернулся, был светлый ясный день, солнце слепило, отражаясь в мытых стеклах автомобилей, и люди на набережной стояли, задрав головы: рабочие подрезали старые пожелтевшие за зиму ветви пальм, стоя в стаканах ремонтных машин.

Только сапожник, вытащив кресло для клиента из оклеенной яркими фотографиями будки, неутомимо чистил туфли, а сидевший в кресле полный мужчина глядел вверх, поглаживая усы. Когда обрезанные ветви летели вниз, толпа вздыхала.

Я зашел на свое почтовое отделение. Письма, приходившие на мое имя, до востребования, были направлены обратно. По инструкции их полагалось хранить не более месяца. По стенам были наклеены яркие почтовые открытки и на барьере стояли горшки с комнатными растениями.

Я сказал, что всё это время меня не было в городе, подивился ботаническим чудесам на стойке и ушел.

– Тебя били? – Ята коснулась моей руки и медленно погладила ее.

– Нет, совсем нет, – ответил я.

– Это страшно?

– Нет, скорее интересно, – признался я, – я ведь знал, что это долго не продлится.

Почему же я верил, что вскоре выйду из заключения? Конечно, я был непричастен к попытке кражи со склада на причале в ту летнюю ночь, но об этом знали лишь я да еще те двое, их задержали первыми. Что до моего объяснения, отчего я находился на причале, то оно следователя не убедило – так, во всяком случае, он говорил.

11

Склад находился на первом этаже строения на причале, но звонок сигнализации сработал не только в его помещении, но и на берегу, в наблюдательном пункте портовой милиции.

Располагался пункт на первом этаже здания, выстроенного из красного и желтого кирпича. В начале века в этом здании располагалась принадлежавшая черноморскому пароходству гостиница «Россия». Позднее гостиницу закрыли, второй этаж дома разделили на квартиры и заселили жильцами из работников порта, а нижний этаж заняли сотрудники портовой милиции.

Маленького человека с усиками звали капитан Шапиро. Гроза местных карманников и наркоманов, он увлекался служебным собаководством. Иногда он разрешал знакомым подняться на борт стоявшего у причала теплохода.

Кафе, бары и музыка на больших круизных теплоходах отличались от всего того, что было на берегу. Вечер, проведенный на теплоходе, был чем-то вроде посещения иной страны, иного мира. Когда же у причала швартовались «греки» или носители иных, редких в наших краях, флагов, доступ на причал прекращался.

У ворот стоял патруль во главе с Шапиро, а по набережной прохаживались сотрудники «конторы». Из-за стекол опорного пункта милиции на причал были наведены подзорные трубы и объективы длиннофокусных фотоаппаратов.

Братья Хартакопуло – те, что взломали дверь на склад с тряпьем и сувенирами, – были жителями ближнего к городу села. Похоже было, что они зашли в бар на причале, выпили, а после того, как им пришлось расплатиться, решили дожидаться ночи и возместить нанесенный их ресурсам ущерб.

Сработавший в опорном пункте портовой милиции сигнал тревоги заставил капитана Шапиро и двух милиционеров выбежать на набережную, где они задержали братьев Хартакопуло да еще и меня в придачу.

12

Следователь был довольно молодой еще, но уже начинавший полнеть мужчина с круглым лысеющим лбом, недавно переехавший в наши края уроженец Юга России. Он задал мне несколько вопросов, а потом сказал,

– Зачем это вам в такое дело влезать было?

Я переспросил его, как это следует понимать, и он сказал,

– Впервые вижу научного сотрудника, еврея, проходящего по такому делу...

– По какому? – спросил я.

– Да бросьте вы дурочку валять, Бронгаузер... Вы ведь на стреме стояли? – полуутвердительно заметил он. – Вляпались вы в это дело зачем?

– Я к этой истории отношения не имею, – ответил я.

– Ну, так все говорят, – ответил он мне. – Так что вы там делали?

– Где? – спросил я.

– На причале.

– Играл, девушку провожал, – сказал я.

– Ну, одно другого не исключает, – сказал он. – Я ведь вам помочь хочу...

– Но почему вы мне не верите? – спросил я.

– Факты против вас, – ответил он, – а факты – упрямая вещь.

– А в чем они, эти факты? – пытался понять я.

– Ну как же, задержаны при попытке скрыться с места преступления.

– Но я не совершал преступления и не пытался скрыться, – упорствовал я.

– А вот это вам придется доказывать, всё против вас, – утверждал он. – А уж раз я впрягся в это дело, то свое я докажу, уж поверьте мне.

В словах его звучало упорство земледельца, вознамеревавшегося во чтобы то ни стало получить урожай с клочка каменистой сухой земли. Я знал этих людей. Они полагали, что в наших краях всё расцветает и плодоносит, стоит лишь ветку в землю воткнуть. Люди эти готовы были на всё, лишь бы врасти в эту щедрую землю.

Я понимал, что всё это напоминает какой-то бред, но ведь и бред обладает определенной инерцией. Итак, я отрицал свое участие в попытке ограбления склада, а он мне не верил, и когда я спрашивал у него, какой мне смысл воровать, он отвечал, что люди воруют не оттого, что им что-либо нужно, а оттого, что чрезвычайно охотно нарушают все писанные и неписанные законы, особенно если уверены, что это сойдет им с рук.

– Но все-таки, зачем мне воровать? – пытался узнать у него я.

– Но вы же местный человек, правда? – спросил он.

– Ну да, – согласился я, – правда, я жил в Питере сколько-то лет, но, в принципе, – да, местный...

– Ну так вы же знаете, что здесь все воруют... Воруют лошадей, оружие, невест, автомобили, деньги, джинсы у отдыхающих на пляже, сумки – всё, что можно своровать, воруют... Разве не так? Людей воруют, отнимают паспорта, держат в рабстве – вы разве не знаете этого?

— Я работаю в институте, — сказал я, — и нечасто сталкиваюсь с этим...

— А вот у вас в институте у обезьян еду воруют, вы разве не знаете? Кирпичи и цемент, лес, сантехнику из строящегося корпуса... Об этом-то вы слыхали?

— Но я не должен доказывать, что я не преступник, — говорил я.

— А вы и не доказывайте, мы сами это докажем, — ответил следователь, — вы просто поймите, что все факты против вас...

Да, я был шапочно знаком с задержанными: они иногда появлялись на территории института, доставляя свежие овощи для кормления обезьян из ближайшей деревни. Но подобным же образом я знал и других людей, которых видел почти ежедневно на набережной и в ресторане.

Но что же скрывалось за моим ночным музицированием на причале? Следователь считал, что я задался целью отвлечь сторожа, а братья Хартакопуло, естественно, утверждали, как и я, впрочем, что никакого отношения к краже они не имеют.

Проводя задержание преступников, капитан Шапиро доверился своей интуиции, и в двух случаях из трех он был прав. Проблема, однако, состояла в том, что братья не подтверждали, но и не отрицали моего участия в ограблении, надеясь, по-видимому, на то, что сумеют завести следствие в тупик. Что до меня, то я, естественно, ничего дельного сказать о них не мог да и не хотел, так что на первый взгляд вели мы себя более или менее аналогичным образом.

Ничего из похищенных со склада вещей при них обнаружено не было, они успели побросать все вещи в воду. На следующий день большие пластиковые сумки со всяким тряпьем из магазина были подняты со дна водолазом. На сумках присутствовали символы Черноморского пароходства и использовались и продавались они только в этом магазине на причале. Так что строилось всё на косвенных уликах и достаточно зыбких основаниях. Следователь не хотел отступать, полагая, что если он отпустит меня, то дело развалится. Но адвокат, к которому мой друг-саксофонист обратился по рекомендации Вахтанга Николаевича, не сумел договориться с коллегой, представлявшим интересы братьев Хартакопуло, об единой линии защиты. Они, как говорили в городе, «ушли в глухую несознанку».

Поначалу я надеялся, что близкие и друзья помогут мне быстро покончить с этим недоразумением, но всё сложилось иначе. Мой отчим Вахтанг Николаевич ставил спектакль по «Кавказскому меловому кругу» в известном берлинском театре. Один из моих школьных

друзей, превратившийся с годами в человека с большими связями в экономических кругах, был в бегах, а Андрей Элизбарович, одноклассник и сосед по горе Чернявского, служивший теперь в «конторе», находился в Питере на курсах повышения квалификации. Институт, где я работал, выделил общественного защитника для участия в процессе, а отдел кадров отослал в прокуратуру стандартное ходатайство с просьбой об объективном рассмотрении моего дела.

Наконец, в один дождливый и довольно сумрачный день, в маленьком зале в помещении горсуда прошло заседание, на котором рассматривалось наше дело. Комната была забита мрачными и суровыми родственниками братьев Хартакопуло. Увидел я и моего друга-саксофониста, по губам его бродила неопределенная улыбка, и Лину, когда-то она брала уроки музыки у моей матери. Было в зале и несколько коллег. Они, по-моему, искренне недоумевали по поводу происходящего.

Нас троих доставили в суд из тюрьмы, расположенной в двадцати километрах от города, в селе Дранда, и к концу заседания осудили на разные сроки. Через месяц примерно я оказался в лагере в двухстах километрах от города, на полпути к Тбилиси. Отнесся я к случившемуся с любопытством, словно был готов к этому, ощущение это не покидало меня.

Вообще же многие ситуации во время следствия, да и на суде, производили впечатление затертое, смазанное, а судья – усталого и скучавшего человека, всем своим видом демонстрировавшего полное безразличие ко всему происходившему в зале.

К концу моего пребывания в заключении я уже понимал, что изначальная надежда моя на скорое освобождение основана была на существовании определенной близости между словами «правосудие» и «справедливость», но ведь это были всего лишь слова... Однако, поняв это, я так и не смог разобраться, в силу чего вновь оказался на свободе. Когда я в беседе с адвокатом попытался разъяснить ему мою точку зрения, мы не нашли общего языка.

Мое дело выделили в отдельное производство по протесту прокуратуры и рассматривалось оно уже после возвращения Вахтанга Николаевича из Восточного Берлина, где его полный экспресси спектакль показался театральным откровением критике и публике, привыкшим к спектаклям, поставленным в полном согласии с изначальной суровой партитурой Брехта.

Это театральное событие и создало ту атмосферу, что требовалась для принятия решения о закрытии моего дела ввиду отсутствия состава преступления. Я вышел на свободу, получил чистые документы и компенсацию в размере утерянной зарплаты с прежнего

рабочего места, на которое я, согласно решению прокуратуры, имел полное право вернуться.

13

Мой адвокат, полный пожилой седой мужчина с неожиданно короткими ручками, с необычайной ловкостью орудовал ими за столом и порой, в наиболее важных, как ему казалось, местах беседы переходил на драматический шепот, оглядываясь на зимнее выцветшее море.

Мы сидели в ресторане, где по вечерам играл мой друг-саксофонист, теперь это был ресторан-поплавок; отопления в ресторане не было, но было не холодно – дневное зимнее солнце набирало силу, грея сквозь стеклянные огромные окна.

Вдали лежал большой причал, там швартовался белый лайнер, а снаружи, меж перилами и окнами обосновались рыболовы с мотками месины, блеснами и крючками, – шла игла, было суетно и интересно, и к тому моменту, когда мы обратились к обсуждению вопроса о том, что, в сущности, случилось со мною, мы уже порядочно выпили.

В ходе неспешной беседы адвокат напомнил мне, как после безуспешной апелляции ему удалось прийти к соглашению с новым адвокатом братьев Хартакопуло. Именно тогда братья, наконец, решили поменять стратегию и засвидетельствовать мою непричастность к попытке ограбления в надежде на то, что этот шаг по пути сотрудничества со следствием, в конечном счете, облегчит и их участь. Этого, однако, не произошло, хотя их новый защитник попытался представить братьев провинциалами, сбитыми с толку полной сбلاзнов жизнью современного города.

В ходе повторного рассмотрения дела суд решил оставить приговор без изменений в части, касающейся братьев Хартакопуло ввиду их попытки сбить с толку следствие. Тем не менее адвокату, защищавшему братьев, удалось убедить своих клиентов в том, что сделанное ими чистосердечное признание позволит в дальнейшем увеличить их шансы на условно-досрочное освобождение после отбытия половины срока в лагере.

Однако, выделив мое дело в отдельное производство, суд не спешил с вынесением решения о моем освобождении. Признаюсь, я понимал, что ожидать решения о закрытии дела и признании факта наличия следственной и судебной ошибки от тех же людей, что сумели ее совершить, было бы нелогично и даже нелепо.

– Собственно, для разрешения такого рода ситуаций и существуют надзорные органы, и именно поэтому я и подал жалобу в органы прокурорского надзора, – еще раз пояснил мой адвокат.

Все эти попытки моего собеседника связать события, приведшие к моему освобождению, в одну причинную цепь, навели меня на мысль о том, что, быть может, и заключение мое можно было бы объяснить столь же безукоризненной причинной цепью. Но тогда, пришла мне в голову мысль, и заключение мое, и освобождение явились бы некими весьма естественными событиями той жизни, в которой я жил, а вовсе не результатом цепи случайностей, как думал я изначально.

А как иначе я должен был рассматривать всё, что произошло, если свобода моя зависела от перемены в настроении находившихся в заключении братьев Хартакопуло и от того, насколько успешной оказалась постановка брехтовской пьесы в Берлине? Двойственность эта не переставала беспокоить меня, заставляя вновь и вновь передумывать не только произошедшее со мной недавно, но и другие события моей жизни. Возникал и вопрос, было ли случившееся со мной событием исключительным или вполне рядовым? Ну и, наконец, что следовало сказать о тех других, кого я встретил в заключении?

Многие, согласно моей первоначальной реакции, заслуживали того, что имели, что с ними произошло. Однако позднее я понял, что эта мысль посетила меня под влиянием моих первоначальных опасений, страхов и естественной отчужденности от массы заключенных, покоившейся на постепенно переставшем досаждать воспоминании о собственной «невиновности».

Вскоре я почти привык к рутине этой новой жизни. Правда, здесь, на зоне, всё было ярче, контрастнее, начисто лишено какого-либо флера и стоило гораздо дороже. И это относилось ко всему, вплоть до тарелки жареной картошки: она стоила столько же, сколько обед без вина для одинокого посетителя ресторана на причале, к тому же предметом торговли могла стать и чья-то жизнь.

Постепенно я стал рассматривать большинство этих людей так же, как и себя, — каждый из нас двигался своим путем, но с той же неизбежностью был захвачен единым процессом.

И лишь один, относящийся к той поре, эпизод не давал мне покоя...

14

Случилось это в тот день, когда из-за предстоявшего мне свидания с адвокатом я получил назначение на дежурство по барaku вместе с Али. Нам надлежало убрать барак, напилить дров и поддерживать огонь в печи. Была зима, горная гряда на горизонте давно уже покрылась снегом, а по ночам лужи замерзали по всему обширному, влажному предхолмью лагерной зоны.

По утрам нас всех выводили на перекличку, распределяли по

командам, а затем под конвоем везли на домостроительный комбинат. Там мы разгружали вагоны с химикалиями, песком, гравием и цементом, замешивали раствор и заполняли формы, где отвердевали конструкции и панели для будущих жилых домов и промышленных объектов.

Иногда, когда старое оборудование выходило из строя, мы часами сидели у стены одного из заводских цехов, спасаясь от ветра и холода и разглядывая длинные, петлявшие ряды чайных кустов на холмах в ожидании ненадолго проглядывавшего солнца. К концу дня мы возвращались в лагерь, нас обыскивали, отнимали ворованные инструменты или лекарства, а затем мы направлялись по баракам, где каждый получал двойную пайку хлеба и сахара, на вечер и на утро, кипятки и «хряпу».

Али был худощавый смуглый человек с невысоким лбом и темным, в морщинах и складках, лицом с густыми, кустистыми бровями, под которыми почти исчезали маленькие коричневые глаза. Определить его возраст было непросто, он приближался к шестидесяти, и Али мог ожидать сокращения срока. Он был крымский татарин, но, не сумев вернуться в Крым после выселения, попал в наши края. В местах заключения не принято спрашивать, за что человек сидит, называют обычно лишь статью, по которой отбывают наказание, но из обрывков разговоров я понял, что он уже второй раз был осужден за бродяжничество.

Он был молчалив – возможно оттого, что плохо говорил по-русски. Несколько раз в день он молился, что вызывало кое у кого смех. Некоторые его презирали. Крымские татары поддерживали нацистов во время войны и потому выселены были из Крыма заслуженно, говорили они. Последние несколько дней кто-то смазывал остатки его хлебной пайки салом, и он выбрасывал хлеб, настороженно глядя из-под темных густых бровей.

В тот день адвокат выглядел весьма воодушевленным от обещания одного из моих школьных друзей, работавшего в системе госбезопасности, посодействовать в ускорении пересмотра дела. Кроме того я должен был подписать несколько необходимых адвокату и составленных от моего имени заявлений.

Вернувшись со свидания с адвокатом, я, не обращая внимания на Али, суетившегося у печки, прилег на нары. Внезапно он спросил у меня:

– Кто это делает? Знаешь? – в руке он держал кусок хлеба.

Кто-то смазал его кусок хлеба салом, когда он выбегал с утра по нужде, а может быть, когда он уходил молиться.

Я промолчал, мне не хотелось влезать в эту историю. Потом я

задремал, но вскоре, проснувшись, увидел, что Али толчет угли в консервной банке, постепенно подливая туда воды. Потом он вытащил из кармана обрывок бумаги и, пользуясь щепкой, как пером, принялся выводить на обрывке листа какие-то письма, обмакивая щепку в подобие чернил, приготовленных из угля и воды. Перед тем как снова уснуть, я заметил, что он засунул исписанный обрывок бумажного листа под порог.

Проснулся я от нарастающего гула толпы, постепенно заполнявшей барак; люди растекались по своим углам, лишь четверо чем-то напоминающих друг друга парней, чернявых, с толстыми длинными ногами, не могли, казалось, отойти от порога. Они стояли дрожа и выкрикивая бессвязные слова. Поначалу их обходили, и, по мере того, как барак наполнялся, вокруг них создавалась пустота.

Люди стояли вокруг и молча смотрели на то, как первоначальная дрожь сменялась эпилептическими конвульсиями. Один цеплялся за стену, другой за порог, третий за переплет двери. Четвертый упал, еще один карабкался вверх, разрывая кожу на пальцах о штукатурку... Выкрики их совершенно уже смешались, и, постепенно теряя силы, они превратились в конвульсирующее человеческое месиво на пороге.

Потом оцепенение прошло, кто-то побежал в лазарет, парней вытащили из барака во двор, сделали им по уколу успокоительного и увели в лазарет, а Али, выходя наружу, легко нагнулся и пошарил рукой под порогом – там, где прибитые ржавыми гвоздями доски отходили друг от друга.

15

Итак, я снова вернулся к своим кошкам и обезьянкам, я снова работал с ними, но зная кое-что о создаваемых нами раздражителях, я не мог не задуматься о реакциях, описывая которые, мы использовали такие привычные термины как «боль», «страх», «гнев» или «радость».

Согласитесь, выражения эти несколько эмоциональны для терминов. Или неясная анатомия чувств человека должна оставаться ключом к анатомии чувств обезьян? Но что я мог знать о том, что составляют для них эти чувства? Точно так же, как я не знал, что ощущает камень, лист или медуза. Это ускользало от меня, как смысл узнаваемой, волнующей и захватывающей всего тебя, но неопознанной до конца и ускользающей со временем музыки. Чтобы не быть голословным, посоветую вам еще раз вслушаться в звуки второй части «Юпитерной» симфонии Моцарта.

16

После возвращения домой я решил какое-то время не появляться у Штейна. Соседи профессора регулярно писали на него доносы еще с тех времен, когда в институте работали привезенные из Германии ученые.

Не следовало забывать и о том, что многие в городе верили в то, что профессор Штейн – чернокнижник и колдун. Возможно, это произошло от того, что, беседуя с людьми, он порой не избегал иносканий и притч. Не знаю, кому именно пришла на ум эта мысль, но, как ни удивительно, она нашла немало приверженцев.

17

А пока я время от времени заходил в ресторан, где играл саксофонист. Отопления в ресторане не было, за стеклами по вечерам была темнота, холодное море и дрожащие от холода белые огни города. В зале обычно сидело несколько человек, и заработка у музыкантов не было. Они играли в пальто и иногда, чтобы согреться, сами заказывали водки, сыра и зелени.

Иногда угощали их городские шлюшки, заходившие в ресторан погреться с холодного бульвара, а порой музыканты играли для себя.

– Не хочется выходить из формы, – смеясь, говорил мой друг-саксофонист, – ведь обязательно пригласят в выходной сыграть на свадьбе или на похоронах, или на крестинах...

Однажды поздно вечером, направляясь домой по темно-синему от холода бульвару, я решил заглянуть в ресторан. Я прошел мимо заснувшей у электрической плитки гардеробщицы и прошел в совершенно пустую залу, где под электрическим светом играли музыканты.

Саксофонист отпустил бороду.

– С ней теплее, – сказал он, – я теперь много играю, сижу дома, отрачиваю бороду и играю, а к лету хочу снова податься на теплоход.

Потом я встретил его днем, на холоде и солнце, на втором этаже ресторана на воде, где мы обычно пили кофе. Мы долго говорили об импровизации и музыкантах. Допивая свой кофе, он сказал:

– Обязательно должна быть какая-то другая сторона, некоторые музыканты играли так, словно глядели с другой стороны...

Наступал вечер, море словно застыло в фиолетовой тьме, а снизу из ресторана донеслись глухие звуки настраиваемого баса и барабанная дробь. И саксофонист спустился по узкой винтовой лестнице вниз, через кухню в ресторан.

Потом снова пришла весна, и Ята сказала, что ее скоро выпишут из больницы. В тот день мы гуляли по саду и увидели первую бабочку-

капустницу. Она выплясывала свой танец в воздухе над зеленоватыми цветами олеандра, и я подумал, что всё, наконец, начинает устраиваться.

А вот и притча, рассказанная Штейном. Мне она всегда напоминала о временах, когда мальчишкой я любил бродить по предгорьям и доходил до ближайших деревень. Не раз вспоминал я ее и в заключении:

– Вот мальчик с хворостиной гонит стадо быков по пыльной горной дороге. Как могут могучие быки повиноваться мальчику?

Ответ: Каждый бык считает, что его гонят все остальные быки, да еще и мальчик с хворостиной.

Вадим Жук

* * *

Мне этот город мил мускулатурой Клодта,
Неуловимым запахом болота,
Забегами гребного флота
По длинной и бликующей реке.
Главою говорящей непокорной
И надписью «Любви все возрасты покорны»
В опрятной, хлоркой пахнувшей уборной,
На итальянском языке.

* * *

Ну чего ты, ей-Богу, чего ты?
У тебя-то ведь всё по уму.
Не шельмуют,
не гонят с работы.
И работа, гляди, на дому.
И почти что покрытый гламуром,
Поспевает с водою живой,
С вологодским привычным прищуром,
Этот гуманитарный конвой.
И всё больше того, что привычно.
Хохочи над духовностью «скреп».
Погоди – у тебя, что ли, лично,
Эта нищенка просит на хлеб?
И ведь ясно, что врет. На иконке
Усмехается криво Христос.
Выпьем, женка. Прости меня, женка.
Что-то дрожь меня бьет, как в мороз.
Бьет в лицо, без размаха, с порога.
Это я? Только я? Или все?
Закатай меня, женка, в дорогу,
В жесткий бархат ночного шоссе.

* * *

А вообще всё тихо и привычно,
И чайник разговаривает вслух,
И у тропинки пожилой лопух
С лицом потрепанным, но симпатичным.
Приходят ежедневные стихи,
Без блеска, но в приличных босоножках,
И муравей, окончивший МАРХИ,
Идет в свой офис по сухой дорожке.
Побрейся. Джинсы старые надень,
Пока она покорно ждет в передней.
Не знать бы только в предпоследний день,
Что завтра будет день последний.

* * *

На октябрьские купим вина и нажарим картошки,
Будет докторская, кузнецовские синие плошки,
Будет мсье Оливье с довоенной серебряной ложкой,
Даже торт «пралине».
Я за локоть словлю Лактионову Анну,
Уведу эту Анну в коммунальную ванну,
Где вода коммунальная каплет из крана
И тазы на стене.
На октябрьские когти разжала железная школа,
Ты ложись мне в ладонь, небогатая грудь комсомола,
Но сперва о шестнадцати тоннах споет радиола,
Будет выключен свет.
Это было еще до великой эпохи колготок,
Кто-то звал, как ты помнишь, по пути до калитки кого-то,
Это Анна и ты на плакучем расплывшемся фото,
До шестнадцати лет.
На октябрьские девственность зря уповала,
За окошком империя околевала,
Петроградская осень холодная, как «Калевала»,
Ледяная вода.
До прихода родителей будет помыта посуда,
Черный ход с ускользящим запахом детского блуда,
Дай мне руку. Уходим, подружка, отсюда,
Навсегда. Навсегда.

1859

Где Лев и Федор объясняют прозе,
 Как ей звучать на почвах крепостных,
 Где Мусоргский и юный, и тверёзый
 Вступает на стезю страстей земных.
 Где Фету жизнь выламывает руки,
 В театре репетируют «Грозу»,
 И уличное пение «Разлуки»
 Выманивает мутную слезу.
 Здесь скоро в хрупкие автомобили
 Шоферы сядут в кожаных пальто.
 Здесь так недавно Пушкина убили.
 И хоть бы что.

* * *

Казалось, день, как в лузу шар, проскочит.
 Жара и маята.
 А он застрял, как начатая строчка
 В конце листа.
 Всё бычится, отталкивает точку,
 Чего-то ждет.
 Как острие заточки не доточен,
 Глядит дождем,
 Но не дает дыхания и влаги.
 И небеса
 Черны копировальною бумагой
 И голоса
 Там, под окном по-ангельски, по-детски
 Тонки и злы.
 И в складки ткани прячутся, как нэцкэ,
 Во тьму, в углы.

В ГОДА ГЛУХИЕ

Мы оказались здесь на перекрестке,
 На желтом. И всегда на полпути.
 Нас пестуют и гладят нас по шерстке
 Да так, что шерстка клочьями летит.
 Мы оказались в этой перепалке,
 С припаянными строчками к устам.

Несвязны наши доводы и жалки,
А в жмене только Блок да Мандельштам.
Мы оказались в этой передраге
Колеблемы, как огонек свечи.
Спроси – какого цвета наши флаги,
И мы недоуменно промолчим.
Не гневом набухают наши вены,
А черным илом обмелевших рек.
Кричал корейский мальчик: Перемены!
Мы ждем и ждем. И век сменяет век.
Нам лагерный прожектор с вышки светит
И милой затененное окно.
Но будут знать и знают наши дети,
Что живы мы, что нам не всё равно.

* * *

Там ты идешь доныне, стригунок,
Отдельные места перелетая,
Во всём отечественном с головы до ног,
Но в черно-белых кедах из Китая.
Идешь навстречу летним пустыкам,
Совсем не спавший, легонький, счастливый,
И городские диапозитивы
Стремительно мелькают по бокам.
И улица потягивается
Во всю свою длину и анфиладу,
И выраженью твоего лица
Стараются подыгрывать фасады.
То встанешь на крыло, то на коньки,
То ловко балансируешь на строчке,
То женишься на генеральской дочке
Ужасному романсу вопреки.
В буфете жизни, на подносе дня,
Идешь, гремишь, как чистая посуда.
А я кричу, кричу тебе отсюда:
Постой! Постой! Ты выпил! Без меня!

Москва

Александр Немировский

ШАРМАНКА

Мороженщик на старом тарантасе
проедет мимо. Музыка шарманки.
Мы выбежим,
догоним, купим. Я в шароварах,
в шлепанцах. Мы лижем,
кусаем. Сладкое течет по подбородку.
Мы в первом классе
средней школы.
Мы большие
и взрослые, и денег звон в карманах,
той желтоватой мелочи тяжелой.

Прошли века. У этого мгновенья
не оказалось вечных атрибутов –
но вдруг мелодия,
как есть, без изменений,
включает: солнце, улицу. И куртка
твоя летит по ветру
платьищем коротким,
открыв колени.
Машинка покидает подворотню
ее спешим догнать у перекрестка,
чтоб снова сладкое по подбородку.

Дом престарелых. Солнца блёстки
от стекла подъезда
плещут на газон,
пронзая тень от тучи.
Сестра толкает кресло
на колесах через кочку.
Музон
по радио совсем достал.
Сменить канал –
хоть слушать новостную сводку,
всё же лучше.
Старик опять, похоже, плохо спал.
Взгляд в точку,
да в слюнях весь сам,
по подбородку.

СМЕНА

Ну вот, дорогой, и мы рудименты в наступившей эпохе.
Сполóхи
из прошлого в тенí от берлинской стены.
Из квартирок с обоями.
Скоморохи
историй, требующих предисловий,
которые мало кому нужны.

Ну что рассказать про среднюю школу в городе «Энске»?
Как курили бычки, прогулявши урок?
Как дерзко
дразнили девчонок и как, не по-детски,
страдали от первой любви?
Про грибок
на дворовой площадке,
под которым портвейн из горла?
Про модную чёлку с зачёсом на бок?
Про бои
с беспощадной
тропарёвской шпаной?
Я в краях,
где вовсю почитают орла
с белёсой, как снег, головой.
Ты всё там же, где мы на паях
покупали бухло
и твой снег настоящий.

Поколение наше вошло
кто в долги, кто в правители, кто в диссиденты,
кто в ящик.
Кто на что посягал —
сократилось на бандитов хамло —
кто сумел — тот за славой на сцену.
Телевизор и тот — рудиментом:
по компьютеру смотрим футбол
и плохой
интернет как неважный сигнал,
только вот самому не настроить антенну.

Мы кому-то нужны
и, не многими, даже любимы.

Но полвека спустя, принимаешь, что горстка друзей –
это всё что дано.
Все, кому не чужды,
в этом поезде дней,
проносящемся мимо,
где в одно успеваешь всмотреться окно.
Что ценней –
прямота иль лукавство?
Пусть уходит мое поколение – я с ним не знаком.
Что пожнешь – то посей,
и не сетуй, что всего-то досталось богатства –
в горле ком,
на который идущий за нами – бедней.

ПОДРУГЕ

Ты любила со мной гулять
по местам, где мы никогда не будем.
Я устал тебя обнимать, шептать
на ухо, показывать пальцем красóты,
задыхаться в твоих волосах, а ты – меня ревновать
к людям.
Пустóты
в нас теперь можно заполнить кремом брюлле
в дорогом ресторане пятизвездочного отеля,
столиками на пляже под шум прибоя
и после, ласковой рукою
сбрасывающей бретельку, колье
и всё такое.

Раскладывая на столе
фотографии, украшения, решительно
и внимательно,
неподаренные, и прочие атрибуты нашего «пóрознь»,
я признаюсь в нелюбви и в потерянном прошлом,
сидящим не взрослым,
платьем,
не перешитым,
но по швам распоротым.
Смешно, что
нам еще предстоит обсуждать поколение внуков,
флиртовать по привычке,

целоваться, купаться nude, не вызывая мурашек кожи,
встречаясь взглядом, говорить без звуков,
соблюдая приличия,
потому что без – мы уже не сможем.

Биология забирает свое, привнося поправку,
так что всё, случившееся не с нами вместе,
жмёт, как плохая обувь.
Горчит, как с друзьями детства
впервые косяк из травки,
от пробы
старости и в ужасе от инцеста.

* * *

Не складывай время
из кубиков старых игрушек.
Живи напролет.
Пусть ненужной
окажется память.
Молись на природе, где храмы из камня
без стен, и где крыша – живой переплет
облаков. Сволоки
на обочину груз
и отбрось
пропотевший ремень.
Наконец-то себе помоги.
Не спеши. Ты и грусть –
теперь это, вроде бы,
врозь.
Не бойсь перемен.
Жизнь пройдена –
стряхни песок с ноги.

LAUNDROMAT

Четверть доллара в пятикратном своем повторенье,
барахлишко в корзине, на колени
опущенной.
Отпущенного времени
ускользание из грядущего.

Из присутствующих, –
симпатичная девушка
с мешком детской одежды плюс еще
одежда в охапке,
видать не во что
запихать остатки.
На стулья разделённая лавка
посередине,
вдоль стен – машины,
стирающие каждая в своем режиме.

Ни о чем таком не завести разговора.
Вспоминаю, что малыши –
это здорово.
Барабаны машин
вращаются. От повтора
поворотов очищаются вещи.
Пре-вращением жизни происходят дети.
Плещет,
выливаясь, вода под днище.
Два квотера (сполоснуть) еще разыщем.

Плети
перекрученных простыней, едва
она открывает крышку,
выпадают на пол, так вышло.
Наклоняется уложить: голова,
тонкие плечи,
грация,
стройные ноги, талия.
Богатство –
это наличие времени, далее
оставшегося, на жизни вечер.

Королева – днем и не на работе.
Стирает белье, не себе, конечно.
Да точно знать
так уж важно?
Я подброшу последний квотер –
орел, решка?
Чуть небрежно, с юностью: «Как вас звать?»

В последней машине крутилась блузка.
И на ней, кажется,
не осталось пятен
Героиня моей сказочки,
где конец не вмятен.
Она говорила по-русски.

ВЕСНА В ДОЛИНЕ

А небо над Долиной Смерти – в снежных пиках,
и тихо
так, как может только жизнь,
из зимней спячки пробуждаясь, тикать,
вздымая миражи
озёр над солью суши.
Я слушаю
пустыню – шмель на цветущем на кактусе,
нависшем над обрывом.
Взор перепрыгивает
высохшее русло,
направляясь на перевал,
где, в ярости,
там крутит ветер всё, что не порвал
внизу. Искусно
так песком заносит, что еще не пусто.

Здесь всё про прошлое:
эпохи – цветом на прожилках гор,
деревья Джошуа
вздымают кулаки, качают лица.
Здесь каждый шаг клубится
в небеса оттенками бессилья живописца
поймать узор.

Я брошу дров,
привезённых с собой, в скупой костер,
извѣянный из дрожи.
Пустопорожних слов
молчание разложит
простор
из звезд. Сухой прибой

над дюнами склоняет из песка знамена;
лопаясь
в плену у времени, они стучат в его причал.
По гребню из-под ног стремится высота,
бросаясь в пропасть,
где волнение качает
авто корабликом в порогах дна каньона.
Когда бы красота
пронзала болью, то я б кричал.

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ

Привычка к чтению умерших стихов,
уже ни чем не трогающих душу.
Под танец пальцев, щелкающих кружку,
пить в одиночку,
глядя на восход.
Сперва на линию, потом на строчку,
чья точка, вырастая, станет диском,
тем утверждая планетарный поворот.

Привычка близко,
бампер к бамперу, водить авто,
где пассажирка (ножки в юбке
сидит сложив, чтоб их уже не вычесть)
Привычка к трубке
и табаку. Плюс куча разная других привычек.

Пожалуй, всё наоборот.
Есть пульс в поэзии, но нет его в душе,
заросшей луковицей обихода.
Ослепший крот,
тебе какое дело?
К чему Дюймовочки краса
в твоей норе? Уже
не выползти. Бесчинствует природа,
подчиняя тело.
Так слой за слоем исчезает лук –
слезой в глазах.
И лишь искусства звук.

Калифорния

Александр Амчиславский

* * *

Не спрашивай, дружок, зачем я здесь
ни сторож никому, ни брат, ни воин,
как нанятый стою, уйти не волен,
когда бы мог, давно бы вышел весь,
а так, ничем не ведаю, смотрю
на отданную райскому сырю
пустынную рождественскую землю –
восходит лишаями соль да ржа,
звезда ползет, судьбу в зубах держа –
разжала бы, да вот покамест медлит,
ждет горстки слов, хоть слова, хоть полсло...
чтоб снова Божьим стало ремесло,
а снизу та же соль, да ржа, да копоть,
открыты рты, но ни живой души,
и воздух застывает недвижим,
ссутилившись, как в мясо вросший ноготь.
Едва ль оттуда вырвутся слова,
когда душа, что плоть, равно слаба,
залейся в плаче, мальчик бородатый,
рожденным, чтобы сказку сделать бы
как до звезды до собственной судьбы,
задуманной по образу когда-то.
Зачем же мне попущено глядеть,
мостя слезами пыточную клеть,
и видеть обе стороны загона,
одной звездой в мерцании светил
и жрец и жнец когда-то накадил
и там и здесь, и дым зашел за окна.

ФАНТАЗИЯ

И столько лет, а помню, помню
как всё качалось утром тем,
когда уазиком в Коломну
быстрее скорого летел,
жених-невеста тили тесто,

курил в окно, считал до ста,
потом бабульки у подъезда
мою судьбу прочли с листа,
потом вдогонку что-то пели,
а я, поймав девятый вал,
хрущёвки сбитые ступени,
взлетая наверх добивал,
пустые банки, чьи-то лыжи,
белья холодная струна
и, как в стихах, под самой крышей
простая дверь отворена
в сентиментальную картинку,
смотри, какие мы в обнимку,
внизу Коломенка течет,
и над Маринкиною башней
встает наш день, всегда вчерашний,
не забывая ни о чем.

ОПЫТ АВТОПОРТРЕТА

Прекрасен твой стишок, но кончится и он,
потешится – и в лёт в подставленное горло,
как в масло, боль сладка, войдет и выйдет вон,
и будешь ты опять для нового укола
искать слова, слова, цеплять их на шесток,
пусть на виду у всех завьются мелким бесом,
а мира нет как нет, не то что он жесток –
таков-каков, и ты идешь-гуляешь лесом
не низок не высок, по-милому хорош,
томимый жаждой, жаль, так быстро растворимой,
что вязнувший февраль впустую роздал дрожь
ненужную тебе как внутренние рифмы.
Танцуй, играй лицом, вывешивай улов,
кончается сезон, еще чуть-чуть и канет,
как сладко ты торчал, не глядя выше слов,
не зная тишины, когда с пера не каплет.

* * *

Январь, а ночи так нежны
и так несут себя в подарок,
что мы среди гусей да галок
подобно им побуждены
куда-то звать, о чем-то петь,
гаддеть, как две большие птицы,
крылами мокрыми трудиться
и никуда не улететь
от незамерзшего пруда,
чей воздух – бывшая вода –
веселой сыростью навывпуск
дарует нам особый привкус
незавершенного труда,
и мы смеемся, я и ты,
бежим и вторим птичьим звукам
и, всё на свете перепутав,
по-детски раскрываем рты.
Чудны, зима, дела твои –
уже под занавес, казалось,
как никогда не прикасалась
вдруг нежно пестуешь двоих
незасыпающих и ночь
им ворожишь не по сезону,
не замедляя время оно
и всё же пробуя помочь.

* * *

Нищенская стынувшая немощь
так и не случившейся зимы.
Эй, ты слышишь? – все мы нынче немые, –
дуй-ли, вей-ли, мы теперь немые.
Цепенеем, как пустые слоги,
ни огней сонорных, ни затей,
вот уже густые некрологи
варит задушевник-чародей,
тихой перемешивает сапой,
сдабривает пьяною лозой,
он ловкач, умелец самый-самый
по собачьим вальсам со слезой.
Ну а нам то снится, то не снится

не пойми какая тишина,
 будто бы в руках дрожит синица,
 да и жизнь еще не лишена
 гулкой рани, птичьего пили́ка,
 легкого дыханья по утрам
 и в ладони маленькой, поди-ка,
 снисхожденья Духа тут и там.
 Снится или нет, немеем дальше,
 будто можно стать немей, чем мы,
 снится даже, будто просим: «Дай же
 всем дожить хотя бы до зимы».

ПИСЬМО ОТ ДРУГА

Ну куда ж тебе, ситный мой, старенький,
 на сторонку чужую глядеть,
 никому из намоленной спаленки
 до сих пор не далось улететь,
 да и ты присмотрелся к небесному
 распорядку и давеча сам
 вертопраху раскладывал местному
 божий промысел по голосам,
 шапки прочь! — толковал по-высокому,
 восхищал из неверья в полет,
 а как туфельки рядом процокали,
 сам не свой, угодил в переплёт,
 бросил домик с родными иконками,
 не простился ни с кем, укатил
 выцеловывать пальчики тонкие,
 забываясь на юной груди,
 восставать в молодом упоении
 и впервые за множество лет
 не об камень стучаться коленями,
 не об камень, и нет, не жалеть.
 Ситный друг! Мне ль тебя пересуживать,
 лишь обнять, утопая в слезах,
 уповая, что божеским кружевом
 ждет любовь на последних весах.

* * *

А нам и не нужно, мальчик, ни звука чистого, ни сердечной дрожи,
куда как легче без этого то ли голода странного, то ли бреда,
жемчуга небес по земле рассыпаны, говоришь, но себе дороже
приближаться, даже думать о них пустое,

уж лучше дуть или что там еще против ветра,
вот и мостимся хоть и под небом единым, да поодаль,

мы же старые дачники,
ни звука, ни дуновения в дубовой прихожей,

если и ждали кого – не помним,

передвигаем слова как бумажные танчики,

невесомые и по-детски похожие,

столько напридумывали, а сколько еще осталось,

и как хорошо, мальчик, что от слова горы не сдвинутся

и никто не воспрянет,

блаженна игра наша, безвинна и безнаказанна –

никуда не зовет, никого не ранит,

не спеши, милый, и тебе со временем от нее не деться –

выдохнешь лишнее и заладишь со всеми вровень

безопасные мантры, не предвещающие ни бедствий,

ни смертной памяти, ни любви до крови.

Торонто

Михаил Айзенберг

* * *

Нервное, фестивальное здесь кино.
Много своих, и не все они заодно.
Перебираешь в памяти, сколько нас,
вот и опять на кого-то не хватит сил.
Раз не меня ждут у билетных касс,
я и не вспомню всех, за кого просил.

Важно знать про кино, что оно окно.
Как ни смешно, тяжело от его гримас,
но в темноте можно убавить звук
и дожидаться, пока угостят вином.

И открывать то, что на этот раз
можно открыть, можно считать окном.

* * *

Обдавая нас легким паром,
ты куда со своим самоваром?
С закадычным своим братком,
обжигающим кипятком,

вслед за всадником безголовым,
отпускающим удила,
ходим Скатертным и Столовым,
где ни скатерти, ни стола.

На газетке и на скамейке,
в подворотне почти родной
заряжаются батарейки
всякой связи беспроводной.

За одними стряхнули скатерть,
за другими протерли стол.
Только где мне теперь искать их
в новом мире полупустом?

Мне показана в назидание
чья-то юность — твоя, моя —
но в легальном переиздании
с комментарием холуя.

* * *

Тихо говорят, вкрадчиво:
это не твоя вотчина
и не для тебя складчина.
Вот и ничего страшного,
если не возьмут с каждого;
если в ход идет разное,
да и не всегда редкое —
терпкое твое красное.
Белое идет крепкое.

Тут и возразить нечего,
только свет гасить с вечера.

Или говорят ласково:
всё теперь пойдёт наскоро,
не зажжет окно звездками —
серыми зашьет досками.

* * *

Мальчик, рисующий длинные линии
карандашом на стене.
Света всё меньше, и день всё тоскливее,
но не по нашей вине.

Сам коридор излучает уныние.
Свет изойдет дотемна.
И всё длинней карандашная линия.
Всё зеленее стена.

* * *

И какой отправиться дорогой,
если нам не надо ни одной,
в эту даль с небесной поволокой
и полупрозрачной пеленой.

Сотни не проявленных расцветок
слепо растворяет белизна.
И как снежный дым, слетевший с веток,
тихо осыпается страна.

Евгений Сливкин

СОЛНЕЧНАЯ УЛИЦА

Мои сметливые, не слишком
богобоязненные предки
в латгальском жили городишке
на железнодорожной ветке.

Промешкав, немцы упустили
возможность их пустить в распыл —
в отместку улицу мостили
надгробиями с их могил.

Но повезло не в малой мере
тем коммерсантам по призванию,
что воздалось им не по вере,
а по ее исповеданью.

И потому, ступая смело
по мостовой в бетонных швах,
никто по Саулас иела
не ходит в черных башмаках.

СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО

Раскинувшись вправо и влево,
бесплодный стыдя сухостой,
мое родословное древо
шумело несметной листвой.

И множились ветви на древе,
стремясь к небесам, что есть сил,
как праотец Лейба издревле
потомству предопределил.

Но в пику велению предка
нарушив старинный зарок,
одна непокорная ветка
несла одинокий листок.

И надо ж такому случиться,
что, славя – фью-ить! – бытиё,
веселая певчая птица
вспорхнула как раз на нее!

* * *

Жили-были, всё казалось мало,
уходили в землю – не в астрал!
Мама, мама, как ты умирала?
Папа, папа, как ты умирал?

Я ведь ваша вечная забота.
Расскажите, как приходит час.
Я хочу хоть что-то... ну, хоть что-то
в этой жизни сделать лучше вас!

ЗВЕЗДОПАД

Нашатырным спиртом пахнет воздух,
потому что временем ночным
в обморок шарахаются звезды
от пророчеств, сделанных по ним.

Нервные светила, что ж до срока
вам срываться в темный оком!
Вы взгляните сверху на пророка:
может, он в отечестве своем.

ЧУВСТВО ЛОКТЯ

Нет, он не изводил учителей,
но в классе по особому заказу
любому мог отвесить кренделей, –
со мной курил и в глаз не дал ни разу.

Однажды мы поспорили с ним про
не помню что, и фотку мне не портя,
меня он локтем двинул под ребро.
Что там Высоцкий пел про чувство локтя?!

Оно крепчало в годы перемен
и после разрослось в игре без правил
до чувства двух локтей и двух колен,
когда на них тот шкет страну поставил.

* * *

Пуškai стихи останутся несбытым
товаром и отправятся под нож:
поэт имеет право быть забытым –
так захотел – и что с него возьмешь?

Исчезнуть, затаиться, отсидеться,
да хоть бы и в потусторонней тьме!..
Ведь если он себе не на уме,
то кто поймет, что у него на сердце?

* * *

Из ваших жизней, взмыв на гребне
любви и нежности земной,
я исчезаю, как волшебник –
не знаю, добрый или злой.

В полете не нагонит стаю
от остальных отставший гусь...
Я так надолго исчезаю,
что никогда не появлюсь.

Простите все, кому для братства
я вдруг понадоблюсь опять:
я научился исчезать,
но не умею появляться.

Виталий Амурский

* * *

Не имел и даже не держал я
Красный паспорт с профилем орла,
Мой же был с гербом иной державы –
Той, что в одночасье умерла.

Не геройски, не на поле боя,
Не от водки и не от тоски,
А всего лишь «Правду» на «Плейбоя»
Заменив в киосках городских.

То есть, даже ложь отставив,
Словно «Курск» пластом легла на дно,
Ну, а девки в глянце, как и Сталин,
Даже обновленный, – всё одно.

Но какой бы очевидной лажей
Не травился там я много лет,
Мне милее всё же не Нью Раша,
А Россия та, что больше нет.

Не парадов, где знамена реют
И вожди про ратный труд твердят,
Не элитных шуб, но – телогреек,
Как носила бабушка моя.

Не усадеб, вроде той, что в Горках,
Но могил колымских, вмерзших в лед,
И в печали – сосланного в Горький
Сахарова – совести ее.

* * *

Тяга к власти страшнее вируса,
Ну, а в ней сплошное ворьё –
Понимаю, поскольку вырос я
Под всевидящим оком ее.

Нет лекарств и вакцин не создано,
Чтобы просто достойно жить,
Не страдая болезнью звездною,
Не оглядываясь на Геленджик.

Вести с родины схожи: в беде она,
И понятно без лишних фраз:
За воротами Спасскими эпидемия
Хуже ковида в сотни раз.

* * *

Дым отечества нынче не сладок,
Но, возможно, хотя бы для
Справедливости вспомнить надо б –
Не бывает его без огня.

Что ж горит там сейчас, где жили мы,
Кто зажег и зачем зажег?
Я не знаю, но дни паршивые
Подобрались к нам вновь, дружок.

Париж, февраль 2021

Михаил Моргулис

Пролетая над гнездом времени

Памяти Евгения Александровича Евтушенко

В Москве за три дня я встретился с ним трижды. Первый раз – на презентации моей книги в культурном центре «Покровские ворота», на следующий день – во время блистательного вечера поэзии Евтушенко в зале Чайковского, и еще днем позже – в его музее, музее Евтушенко в Переделкино. О каждом событии надо писать отдельно. Я попытаюсь сказать обо всем вместе.

Запомнилось: на презентации он поднял руку, сложил длинные пальцы и изящно распластал их на щеке. С кольца на безымянном пальце ярко смотрел в зал таинственный желтый камень. Что-то схожее было у камня с человеком: Евтушенко тоже смотрел в зал ярко, таинственно. Длинные пальцы напомнили пианистов, исполняющих Рахманинова и говорящих, что, когда играешь Рахманинова, не хватает десяти пальцев. Но Поэт играет свою роль в жизни не только аристократическими пальцами, пронзительными глазами, не теряющими с возрастом голубизны; не только эпатажными ошеломляющими ярчайшими пиджаками и рубашками; не только вонзающимися в душу строчками, но и – просто живя в этом страшном Бытии, на сумасшедшей сцене мира. В его голосе, где мальчишеские интонации вдруг превращались в пророческое бормотание мудреца, присутствовал волшебный налет гениальности, который очаровывал слушающих и внимающих ему.

Что ни говорите, но он был великой скалой, выплывшей из бесконечного времени, с развешанными на ее вершине картинами жизни, сотканными из хохота и слез, побед, обид и поражений. Из-за скалы выглядывали личики тех, кто бесконечно завидовал, неожиданно ударял сзади, незаметно вонзал перья ненависти в его большое тело. Но вот что интересно: он их всех прощал и даже любил, – я внимательно рассматривал его жизнь и видел во многих поступках первоначальное христианское начало. Этого он и сам долго не понимал. И даже в его ошибках не было злости или умысла; прощаясь в жизни с кем-то или чем-то, он продолжал кого-то или что-то любить.

На презентации моей книги «Тоска по раю» он вдруг сказал: «Я

влюбился в эту книгу!». Мне стало жарко – да, я знаю себе цену, но думал ли, что великий поэт, которого считают одним из лучших в мире, скажет, что влюбился в то, что я, грешный, написал?..

На следующий день был его триумфальный вечер в зале Чайковского, бывшем театре Мейерхольда. Это великолепный зал, где замираешь еще до начала действий, где тень убитого Мейерхольда наблюдает за происходящими действиями.

Он читал прозу и стихи почти три часа, пару раз забыл строчки стихов – и зал хором ему их подсказал. Зрители его очень любили. А он сидел то с ледяными зрачками старого орла, то преображал себя улыбкой ребенка – и зал улыбался в ответ.

В антракте я увидел в фойе человека с зелеными волосами и в панталонах. Подумал, что это городской сумасшедший, а он оказался американским клоуном. Клоун пробрался после вечера в гримерную Евтушенко и клялся в любви к великому поэту, которого он знал в английском переводе. К Поэту стояла длинная очередь. К нему пропустили десятилетнего мальчика. Он приложил руку к груди и начал читать «Бабий Яр». Читал хорошо, и Поэт изумленно поглядывал на меня. Потом спросил мальчика:

– Ты еврей?

Вместо ответа мальчик повторил последний куплет из евтушенковской поэмы: «Еврейской крови нет в крови моей. / Но ненавистен злобой заскоруждой / я всем антисемитам, / как еврей, / и потому – / я настоящий русский!»

Поэт отпил глоток испанского вина и сказал мальчику:

– Если ты будешь в будущем, то будущее выглядит не так уж плохо!

В Переделкино раньше жили дон-кихоты и подлецы. Кого было больше, не знаю. Скорее всего, подлецов. Их не назову, и не назову дон-кихотов, которых тоже было немало. Первая жена Евтушенко, высочайшая в поэзии Белла Ахмадулина, была рыцарем, но в Переделкино, по-моему, не жила. Зато здесь я увидел Дон Кихота – Евтушенко, поглощенного любовью и фантазиями; счастливого и печального рыцаря, умудренного старца и играющего ребенка на берегу жизни.

Он показывал картины в своем музее – Шагала, Пикассо, Леже, Пирсмени, Сикейроса. Замираешь снова, когда он пронизывает длинным пальцем года и повторяет великие фамилии, звучащие, как музыка старого джаза. Со стен выплескивался талант, каскады красок и человеческих лиц. Поэт не просто показывает и рассказывает, он входит в потаенные дверцы картин и заводит туда и нас. Он погружается в реку Жизни, и мы плывем с ним по этой самой великой реке. Его музей – это корабль, плывущий к островам Свободы, и, наверное, Любви.

А еще, отдельно, – его книги. Их много, кажется, они бесчисленны. В каждой книге – фотографии: вначале он молодой, резкий, упоенный славой, ворвавшийся в жизнь, как ветер в скучные ряды привычных догм, а потом – умудренный, глядящий на настоящее и уже пророчески видящий будущее.

Издали Поэта на 72 языках, на русском только – больше 150 книг. Это великий амбар радости и печали, где уместился его шепот любви, его громкие восклицания-призывы к свободе, к защите, к жалости; рощи и поляны его стихов. Тут ничего не пылится, потому что всё принадлежит Вечности, и дни – слуги Вечности – сдувают с его книг пылинки и оживляют слова. А в отдельных шкатулках лежат особые слова, которые повторяют миллионы: «Со мною вот что происходит: / ко мне мой старый друг не ходит», «Ты спрашивала шепотом: / ‘А что потом? / А что потом?’ / Постель была расстелена, / и ты была растеряна...», «Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем, / Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим», «Дай Бог всего, но лишь того, / за что потом не станет стыдно», «Я – каждый здесь расстрелянный старик. / Я – каждый здесь расстрелянный ребенок...», «Идут белые снеги... / И я тоже уйду. / Не печалюсь о смерти / и бессмертья не жду». «Поэт в России – больше, чем поэт...» И много других строчек, которые помогали российскому человечеству жить и выживать, и любить.

И еще он был гениальным фотографом. На его фотографиях собраны лица со всего мира. Всё, что изобразил камерой, он назвал – «Мое человечество». Это портреты людей из разных стран. Он уловил-изобразил морщины и катящиеся по щекам капли пота; глаза, наполненные светом, некоторые – мудростью, некоторые – нечеловеческим терпением; он выпятил на лице тоску, бессилие и силу – вы видите перед собой заскорузлые пальцы, безнадежность и веру. И всё это изображено, всё видно, сочится, как кровь из-под бинта.

Поэт сидит в кресле перед картинами и фотографиями, иногда его накрывает потусторонняя тишина, и жизнь и смерть поглощают все звуки, но потом Дух с неба ударяет в его душу – и он снова отчаянно вонзается в Бытие словами, глазами, отчаянными порывами любви. Я где-то написал, что плотью возраст не победишь. Возраст можно победить только духом. Сильный дух побеждает болезни. Если не верить в продолжение жизни, то значит проигнорировать вырубленные во времени слова, записанные во всех Священных книгах. Я знаю, настоящие поэты глубоко индивидуальны, им не хочется подчиняться даже Богу. Но без продолжения жизни земля превращается в прах. Поэтому надо не просто верить, но верить так, чтобы увидеть это будущее. Понятно, у самых великих есть особая гордыня, которая

пытается приравнять их к небожителям. И тогда гордыня рождает в них сомнения. Это понятно. Тут в чужую компанию приходишь и не знаешь, что сказать, а здесь – в новую жизнь приходиться...

Но Поэт прошел эти искусы, и в его величии я часто чувствую смирение, напоминающее мне смирение Христа.

И если когда-нибудь Поэт уйдет с земли, Дух его останется, он будет витать и говорить, вдохновлять и удивлять. Ну, как, к примеру, дух Пушкина... Его память видит прошлое, помнит строчки не только своих, но и чужих стихов; он вдыхает настоящее, хочет побольше захватить волнующего воздуха этой жизни; он высылает в будущее, как разведчицу, свою душу, но когда она возвращается, они между собой не говорят. Всё он сказал в стихах, и некоторые из них – это молитвы. А помнят ли все, что молитва – это единственный способ разговора с Богом?!

Он слышит слова, это его любимые плоды, он раскусывает их, перекачивает языком, облизирует по-звериному, и я чувствую, как от сплетающихся редких таинственных исповедальных слов в голове у него возникает гул жизни и времени. И возникает жар огня небесного. И рожденные в нем строчки медленно встраиваются в историю человеческого сердца, которая и является историей Вселенной. Некоторые его стихи ощутимо делаются Наверху вместо него, потому что в них слышно небесное дыхание, Его присутствие. И это чувствуется глубинными фибрами наших душ.

Вера рождает силу. Сила, рожденная верой, гораздо сильнее силы, рожденной знаниями или эмоциональными порывами. Недаром в сталинских и гитлеровских лагерях самыми стойкими оказывались верующие люди. Их не могло сломать ни лагерное начальство, ни уголовники. Итак, сила веры наиболее мощная сила на земле.

В Поэте живет эта сила – сила ребенка и сила пророка. Эта сила через его слова касается всех, ну почти всех.

...В Москве всё большое тонет. И события, и люди. Москва не верит словам. В Москве все события и личности уменьшаются. И всё же – не все. Евтушенко в Москве, и в России, и в мире не уменьшается. Он уже стал бессмертен.

ОТ РЕДАКЦИИ: ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Когда номер уже был готов к отправке в типографию, настигло известие: скончался Миша Моргулис. Еще не сброшено в архивный фолдер его электронное письмо с файлами последних прикрепленных рассказов, еще остались неразрешенными редакторские вопросы... А Миши уже с нами нет.

Его жизнь с самого начала была наполнена какими-то высшими смыслами и значениями. Он родился в Киеве в октябре 1941-го – и ушел, спустя

ровно 80 лет. Он принадлежал к поколению шестидесятников – и был им по душе и темпераменту. В 1970-х он эмигрировал в США – и здесь неумная его натура толкала в гуцу жизни: он встречался с Картером, Рейганом, Бушем, Клинтон и Обамой; с Горбачевым, Лукашенко и Януковичем, – проще сказать, с кем – не-; его приняла и любила старая русская эмиграция, он крепко дружил с Евтушенко – до последнего вздоха поэта; был основателем издательства «Slavic Gospel Press» и международного фонда «Spiritual Diplomacy». И это было главное – его миссия подвижника, его духовная и религиозная деятельность. Личность легендарная – и эта легенда навсегда останется с нами.

В дополнение к уже сверстанному рассказу мы перепечатаем последнее обращение Михаила Моргулиса к читателям, появившееся на его странице в ФБ, а также его письмо, присланное мне его другом, – с просьбой опубликовать после ухода.

Марина Адамович, гл. редактор НЖ

МИХАИЛ МОРГУЛИС: К МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие мои, вспомните, вокруг нас о плохом говорят чаще, чем о хорошем. Испорченной человеческой натуре о плохом говорить интересней, чем о хорошем. Вот когда насыщаются сполна сплетнями и глупостями, тогда для приличия вспомнят о каком-то человеке, который вроде бы делал людям добро. И, конечно, демонстрируя веру, и Христа упомянут, с напускным на лице страданием.

Плохое вспоминается чаще, чем хорошее. Мы постоянно говорим о человеческих недостатках, а о достоинствах людей вспоминаем с трудом. В наше время сказать о человеке хорошо, когда его нет рядом, почти подвиг. А вот плохо вспомнить об отсутствующем человек – пожалуйста, это же для нас скрытая радость, приток адреналина. Ну, верующие люди традиционно добавляют: конечно, я его или ее люблю, но вот, говорят, он, она... – и пошло и поехало. И язык накаляется, как сковорода, и не вспоминаются наставления апостола Иакова об опасных свойствах этого небольшого органа. И не понимают взрослые то, что понимают малые дети: что злой язык и будет жариться на небесной сковороде.

Ведь всем сказано: Будьте, как дети! А ведем себя в этой короткой жизни как испорченные взрослые, – с гордыней, самоуверенно, заносчиво, будто мы чуть ли не посланники с неба! Библиями трясём, цитатами библейскими лузгаем, как семечками, втуне Бога постоянно упоминаем, демонстрируя всем духовность, а живем лицемерно, плохо и скучно. Те, кто никогда в раю не был, гарантируют рай тем, кто никогда там не будет. Люди у которых дети в тюрьмах, учат других,

как вести семейную жизнь. Ах, Боже мой, на кого Ты нас покинул! Нужны ли праху, в который мы превратимся, машины, дома, счета в банках! Нужно ли это душе нашей, которая будет в небесах! Многие утешают себя: детям оставим. А нужно ли детям, которые тоже когда-то уйдут с земли, ваше накопленное добро? Не прекрасней ли путь поиска своего места в этом мире, желание найти и понять предназначенное нам дело?! И жить и совершать то, что совершается с радостью, со счастливым пониманием того, что наша жизнь посвящена Богу и людям.

А иначе для чего тогда мы на земле, зачем нам дана жизнь! Бог нам дал разум и душу, чтобы мы могли думать и понимать, для чего мы здесь. Невозможно трусливо утверждаться в мысли, что Бог-Абсолют дал нам жизнь только для того чтобы мы могли есть, справлять физиологические потребности, работать, рожать детей... Нет сомнения, что жизнь на земле нам дана для какой-то прекрасной личной цели. И Слово Божье подсказывает эту цель: найти место когда-то прерванной связи Бога с человеком, восстановить эту связь и возвращаться с покаянием в направлении Эдемского сада.

Дорогие мои, и я иду с вами!

Сентябрь, 2021

ПОСМЕРТНОЕ

Имею честь сообщить всем друзьям и врагам, верующим и неверующим, что я – Михаил Моргулис – 16 ноября 2021 года отошел в вечность. Я заранее подготовил это сообщение для вас, потому что оттуда уже вам не напишу, а другие люди на земле напишут обо мне как-то по-другому.

Итак, о чем же хочу сообщить вам на прощание?.. Наверное, о самом главном, о том, что в той или иной мере я любил всех вас. И этому научил меня Бог. В той или иной мере я прощал вас. И этому тоже научил меня Бог. Я также прошу вас простить и меня, и прошу Бога, чтобы этому научил и вас. Но многие читающие мои слова, уже научены этому.

Жизнь не была бы легкой без Бога. Но с Богом, даже согнувшись под тяжестью жизни, я смог пронести ее на плечах, как свой крест. Потому что большую часть тяжести Он брал на себя. Думаю, что Бог нашел меня в этой жизни, а я прикоснулся к Нему. Может быть поэтому не боюсь смерти.

Меня любили и не любили, меня слушали и меня отвергали, мне верили и не верили, но я жил со всеми вами, а вы со мной.

Я кое-что сделал в этой жизни в Америке: способствовал созда-

нию русскоязычного издательства – Slavic Gospel Press («Славянское Евангельское издательство») в Уитоне-Чикаго (США), которое переводило христианских мыслителей Запада на русский язык; вел первую христианскую телепрограмму на русском языке «Возвращение к Богу» в СССР, в Москве, 4-й телеканал (НТВ), выпускал русские литературные издания в Америке, «Литературное Зарубежье» и «Литературный Курьер», написал несколько книг, в том числе: «Тоска по раю», «Сны моей жизни», «Духовная Дипломатия», «Return to the Red Planet», «Один на один с жизнью» и некоторые другие. Мне говорили, что из-за того, что выпускал книги других авторов, я не написал достаточно своих книг и поэтому не стал известным писателем. Не знаю. Принимал это, как решение Всевышнего.

В основном, ничего в жизни не планировал; работу, детей, да всё остальное, принимал, как посланное мне Оттуда. Слава Богу за посланных мне жену Татьяну Титову, которая стала Моргулис, и за моих трех детей – дочку Валерию, сыновей Зиновия (Зи) и Николая (Николаса).

Я произносил некоторые запоминающиеся фразы: «Любви и денег никогда не бывает слишком много – их всегда не хватает»; «Вчера ушло, завтра может не придти, у нас есть только сегодня»; «Вера без культуры как птица без крыльев, – всегда будет на земле, не поднимется к небесам»; «Все наши встречи и расставания на земле назначаются на небесах»; «Любовь начинается с терпения, и только на корнях терпения вырастают цветы любви»; «Не торопитесь в ад, без вас там не начнут», «Хотите увидеть Бога, не смотрите на человека», «Любить надо всех, но любить по-разному», и многое чего еще говорил.

В жизни я понял, что любовь – это самое главное из того, что дал нам Бог. Я любил добрых людей. Любил и умных людей. Самым чудесным временем были для меня встречи с умными и добрыми людьми. Я смог познать любовь и познать боль, и понял, что это взаимосвязано. И определил любовь словами: «Это когда ты понимаешь, для чего ты живешь».

Я постарался всех простить, ни на кого зла не держу. Познал от Бога, что любить надо всех, но невозможно уважать всех, кого любишь.

У меня было очень много друзей, очень много, но были враги и ненавистники. Меня всегда утешала жизнь Христа. Хотя я не ангел, но всегда старался утешаться тем, что если так относились к Христу, то чем же я лучше? Поэтому благодарю за друзей и за врагов.

Еще хочется многое сказать, рассказать, пояснить, но знаю, что сейчас длинные вещи не читают. Поэтому прощаюсь с вами. Ищите мои книги, статьи, записи на дисках, ДВД и СД. Во время просмотра,

прослушивания или чтения мы сможем с вами мысленно понимать друг друга и даже чувствовать.

Больше всего я любил одну притчу. Рассказывал ее всю жизнь.

Шел верующий человек по горной дороге. Счастливый был, пел, радовался, славил Бога. Вдруг нога подвернулась, и он стал падать с горы вниз. Но повезло, успел ухватиться за куст, росший на склоне горы. Посмотрел вниз, а там пропасть. Воззвал к небесам: «Господи, помоги!» Господь ответил: «Помогу, но ответь, доверяешь ли мне?» – «Конечно! Я всегда жертвовал церкви, пел в хоре! Знал тебя с юности! Я доверяю Тебе! Помоги, упаду сейчас!» – «Сейчас, потерпи. Только ответь, ты полностью доверяешь Мне?» – «Ну конечно! Я строил церковь, я ездил и служил людям, рассказывал о Тебе! Я полностью доверяю Тебе! Помоги, сейчас упаду!» – «Чуть-чуть осталось, потерпи. Скажи, ты абсолютно доверяешь Мне?» – «Да-да-да, Господи! Я Тебя знаю, я молился каждый день, я помогал детям, я славил Тебя. Я абсолютно доверяю Тебе! Помоги, уже нет сил держаться!»

И в ответ Господь сказал: «Если ты абсолютно доверяешь Мне, тогда расцеди руки, тогда отпусти куст...»

Вот я и думаю, смогу ли я в конце пути легко и с доверием расцепить руки? А вы?..

Дети, в конце еще раз скажу вам. Жизнь такая черствая и тяжелая. Ее может сделать мягче и легче только любовь. Поэтому всегда вспоминайте слова: «Да любите друг друга». Постарайтесь, я хочу слышать эти слова, находясь Наверху. В Его милости –

Михаил (Майкл) Моргулис

P.S. А это строчка моей семье. Вы даже не представляли, как я вас любил и люблю. И вы, если сможете, продолжайте любить меня.

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Юлия Гаухман

Неразгаданный талант

О жизни и творчестве Александры Прегель

Известно, что в конце 1940-х годов Иван Алексеевич Бунин был приглашен в Советское посольство в Париже, где его пытались уговорить вернуться на родину. Ему предлагали советский паспорт и обещали обеспечить самые лучшие условия для творчества. Отвечая советским чиновникам, писатель был немногословен. Он сказал, что не может жить в стране, где имя Божье пишется с маленькой буквы...

Это случилось вскоре после окончания Второй мировой войны. В тот период Советский Союз для поднятия своего престижа начал активную пропаганду по возвращению русских эмигрантов назад, на родину. Мы знаем, что судьба многих из тех, кто на «волне патриотизма» поддался уговорам, сложилась трагично.

Спустя примерно 20 лет произошел случай, о котором вряд ли кто-либо слышал. На одном из международных европейских конгрессов по физике познакомились и разговорились знаменитый советский ученый Михаил Дмитриевич Миллионщиков и Александра Николаевна Прегель, жена известного американского физика и бизнесмена Бориса Прегеля. Академику захотелось узнать побольше об этой красивой и благородной даме, которая так замечательно говорила по-русски. По ходу беседы он спросил, побывала ли она хоть раз в Советском Союзе с тех пор, как ее увезли оттуда много лет назад, еще ребенком.

Ответ оказался неожиданным. Александра Николаевна сказала, что не может она приехать в страну, где ее отец, Николай Авксентьев, представлен в Большой Советской Энциклопедии как «враг народа». Она знала всю жизнь, насколько отец был предан России и как всю свою молодость отдал делу освобождения русского народа от самодержавия: рисковал жизнью, сидел в тюрьмах, был осужден на каторгу. Реакция академика оказалась быстрой. Он сообщил, что скоро в Советском Союзе выйдет из печати обновленное издание БСЭ, и он, Миллионщиков, уже назначен одним из главных редакторов этого проекта. Поэтому он обещает Александре Николаевне проследить за тем, чтобы в статье об Авксентьеве слова «враг народа» не употреб-

ляли. Свое обещание он сдержал, в издании 1967 года эти слова из статьи были изъяты!

Ответы великого писателя Ивана Бунина советским дипломатам и эмигрантской художницы Александры Николаевны Прегель советскому ученому удивительно совпали: по внутреннему убеждению обоих Советский Союз никогда не был и не может стать Россией.

Александра Николаевна рассказала мне эту историю в одну из наших встреч в Нью-Йорке. Это случилось вскоре после того, как в начале 1972 года я с мужем и маленькой дочерью покинула Советский Союз. На всю жизнь сохранилась боль от разлуки с близкими людьми, но мы были уверены, что никогда не захотим жить в стране, которой правит Советская власть.

Не зная за свои почти 30 лет жизни в Москве, что у меня за границей окажутся родственники, я была приятно удивлена, когда уже после отъезда из Советского Союза я встретила с американским дядюшкой, двоюродным братом моего отца, и его женой – Борисом и Александрой Прегель. Тогда, впервые увидев этих милых, совершенно незнакомых мне людей, я не могла предугадать, насколько значительной окажется эта встреча.

К сожалению, вскоре после нашего знакомства Борис Юльевич Прегель скончался. Однако после того, как его не стало, жизнь подарила мне годы близкого общения и дружбы с его супругой, Александрой Николаевной.

Тетя Шура – так она хотела, чтобы я ее называла, – доверила мне и моему мужу, когда ее не станет, позаботиться о семейных архивах и документах, хранящихся в их огромной квартире в Манхэттене.

Выполняя ее посмертное пожелание, мы с мужем взяли за разбор архивов. Оказалось, что личные бумаги Александры и Бориса Прегелей составляли только небольшую часть их общего объема. Остальные материалы представляли собой литературные и политические архивы, принадлежавшие эмигрантам первой послереволюционной волны. Мы быстро осознали, насколько важны эти материалы для истории Русского Зарубежья. Понять, как они оказались в одном месте, было несложно, учитывая то, что ближайшими родными и друзьями Александры и Бориса были выдающиеся деятели этого периода. Письменные свидетельства их жизни и деятельности они передали Прегелям, т. к. справедливо считали, что у тех бумаги будут в сохранности.

Николай Авксентьев – отец Александры; София Прегель – сестра Бориса; Мария и Михаил Цетлины – мать и отчим Александры; Зензинов, Руднев – ближайшие друзья и соратники по партии Н. Авксентьева; Гингер – большой друг Софии Прегель; редак-

ционные папки журналов «Современные записки» и «Новоселье»; письма Буниных, Гончаровой и Ларионова... – вот далеко не полный перечень имен, с которыми мы столкнулись по ходу нашей работы. Понадобилось много времени для того, чтобы ознакомиться со всеми этими материалами и принять правильное решение, где их разместить. Нам было важно, чтобы они стали доступны для исследователей этого интереснейшего периода жизни русской диаспоры.¹

Себе я оставила записки Александры Николаевны. Это были отрывки воспоминаний из далекого детства, эпизоды из жизни во время Второй мировой войны, общие размышления об искусстве, впечатления о близких ей людях и т. д.

В память об этой удивительной женщине, талантливой цельной натуре, замечательной и уникальной художнице, человеке великой скромности и самоотверженности, я приняла решение рассказать о ее жизни и судьбе. В наше время опубликовано большое количество личных воспоминаний, автобиографий и биографий тех, кто оказался за границей в результате победы большевиков в октябре 1917 года. Эти люди покинули родину, пытаясь спастись от жестокого наказания за инакомыслие или просто не желая принять коммунистическую идеологию. Многие из них были уверены, что страшная реальность происходящего в России скоро сменится приходом демократической власти, и тогда они смогут вернуться. Проходили годы, а они всё еще не могли поверить, что их Россия утеряна навсегда, и до конца своих дней мечтали оказаться на родной земле.

Уникальной поэтому представляется мне судьба Александры Николаевны, которая, не успев в детстве узнать Россию и испытать боль разлуки с ней, создала для себя Россию, уже будучи вне ее, как «виртуальную родину». Она полюбила ее любовью тех людей, которые увезли ее оттуда. Образ России сложился из услышанных устных воспоминаний, сказок и рассказов, прочитанных книг, прочувствованного в произведениях искусства, русской музыке...

Родилась Александра Николаевна в Финляндии, в России прожила с интервалами всего четыре года еще совсем ребенком. Несмотря на это, русский язык остался для нее навсегда родным, хотя она в совершенстве овладела французским и английским, хорошо знала немецкий и итальянский, позднее изучила иврит. Уже с самых юных лет ее окружали те, кто, по выражению Романа Гуля, «унесли с собой Россию». Это были люди, которые, как могли, старались сохранить и продолжить те культурные и национальные традиции, которые подвергались смертельной опасности быть истребленными коммунистическим режимом. Вот как она описывает среду, в которой росла:

«Дом моей матери был 'открытым' домом. Где бы она ни жила

(в Париже до революции, в Москве во время революции, в Париже в эмиграции, когда еще были средства, или в Нью-Йорке, когда жизнь стала очень скромной) <...> главным ее интересом были литература и поэзия и вероятно поэтому ее главными друзьями были писатели. Кроме того, русские писатели за границей были наименее приспособленными людьми и нуждались больше других. Она говорила: 'Писатель должен иметь возможность писать, даже если его никто не печатает, значит, надо давать средства для его жизни, т. к. ничего другого он делать не может и не должен.' Во Франции в 1920–1940 гг. русским писателям невозможно было что-либо заработать литературой, и образовалась категория людей, которые жили на пожертвования, собираемые среди более состоятельных эмигрантов.

Можно сказать, что моя мать всегда стояла во главе организации этих сборов и этой помощи. В дореволюционном Париже (1910–1917) у моей матери были друзья среди французских писателей и художников, но только с некоторыми из них (Bourdelle, Cendrars, Verharn и т. д.) она сохранила отношения и после, вероятно, она просто не могла уместить всех в своей жизни, так велик был приток эмигрантов после революции.

Она любила людей, интересовалась людьми и умела входить в жизнь других людей. Может быть, несмотря на семью и т. д., ее душевная жизнь не была заполнена и оставались неистраченные силы и эмоции, которые она неожиданно вкладывала в затруднения какой-нибудь семьи или человека...

Среди друзей и знакомых моей матери и Михаила Осиповича было также много общественных деятелей, с которыми они были связаны прошлыми общественными интересами или настоящей 'борьбой против советского режима'. Они, может быть, делали ошибки, но люди, выражающие какие-либо симпатии или имеющие какие-либо отношения к этому режиму, переставали для них существовать. Эта линия проводилась ими без малейшего уклонения».

Для тех, кто не знаком с биографией Марии Самойловны, матери Александры, надо пояснить, что та была личностью незаурядной, оставившей яркий след в культурной жизни Русского Зарубежья. Родилась она в Москве, совсем молодой вступила в члены социал-революционной партии и уехала учиться за границу. Одновременно с изучением философии она принимала активное участие в политических кружках находящихся там русских студентов. Таким образом она познакомилась с Авксентьевым, который также был вынужден покинуть Россию, чтобы продолжить образование, – из Московского университета его исключили за пропаганду против царского режима. Николай Дмитриевич Авксентьев в скором будущем стал одним из

идейных руководителей партии эсеров. Впоследствии, в течение короткого периода существования Временного правительства, он находился на посту министра внутренних дел России.

Встреча Мани (так называли друзья Марию Самойловну) и Николая Дмитриевича связала их судьбы на многие годы. Они полюбили друг друга и решили пожениться после того, как Маня закончит учебу в университете. На родину она вернулась уже доктором философских наук, одной из первых женщин в России, носящей такое почетное звание (ее диссертация была посвящена творчеству В. М. Соловьева).

Брак состоялся в 1906 году в тюремной камере, где Авксентьев ожидал приговора суда за участие в революционных событиях 1905–1906 гг. в России. Он был осужден к пожизненной ссылке в Обдорск, куда за мужем последовала Маня. Николаю Дмитриевичу вскоре удалось бежать из ссылки, и он нашел временное убежище в Финляндии. Маня, уже на сносях, приехала следом за ним в Гельсингфорс (совр. Хельсинки). Так определилось место рождения их дочери. Едва успели доставить будущую мать в больницу, как появилась на свет Шурочка, будущая Александра Николаевна. Это произошло 15 декабря 1907 года. Спустя несколько месяцев Авксентьев покинул Финляндию. С тех пор, вплоть до революции 1917 года, ему пришлось скитаться по Европе с короткими тайными наездами на родину по делам партии.

Мария Самойловна с ребенком вернулась в Москву и оставалась там, пока Шурочке не исполнилось два года. Тогда, взяв с собой дочку, она уехала в Европу. Там их жизнь определялась частыми переездами Авксентьева, время которого было целиком заполнено нелегальной политической деятельностью.

Вскоре для Марии Самойловны стало очевидным, что она с дочерью не в состоянии разделить полную опасности жизнь мужа. В 1909 она расстается с Авксентьевым и уже в 1910 году сочетается браком с Михаилом Цетлиным, близким другом и соратником по партии.

Новый муж Марии Самойловны, внук основателя чайного дела Высоцкого, не проявлял никакого интереса к коммерции. Истинным призванием Михаила Осиповича была литература. Он много времени проводил за границей из опасения быть арестованным за членство в партии эсеров и за опубликованные им статьи и стихи, призывающие к свержению самодержавия. Еще в юности он тяжело переболел туберкулезом костей, поэтому его родители всегда старались создать для единственного сына максимально удобные условия жизни, где бы он ни находился.

Молодая пара обосновалась в большой красивой квартире в

одном из лучших районов Парижа. Летнее время семья проводила в Биаррице, на вилле, которую приобрели родители Михаила Осиповича. На эту виллу в свое время был приглашен Валентин Серов, чтобы нарисовать портрет Марии Самойловны.

Вот как записывает Александра Николаевна со слов матери рассказ об этом событии:

«М.О.Ц (Михаил Осипович Цетлин. – Ю. Г.) очень хотел, чтобы портрет М[арии] С[амойловны] был написан хорошим художником.

Они были знакомы с Серовым еще раньше, в Москве, но не близко. Их приятельница, молодая художница (мама не помнит, была ли это Ангелина Теплова, которая была потом женой Диего Риверы, или другая, Ольга, но мама не уверена), очень советовала обратиться к Серову. Они тоже этого хотели, но не знали, возможно ли это.

Пошли письма и телеграммы в Москву. Несмотря на то, что они были знакомы, Серов попросил прислать фотографии М[арии] С[амойловны] и только после их получения согласился окончательно.

М[ария] С[амойловна] и М[ихаил] О[сипович] жили тогда в Биаррице, куда Серов и приехал к ним.

М[ария] С[амойловна] его встретила в простом черном платье. Его устроили в предназначенной ему комнате. Серов попросил М[арию] С[амойловну] надеть по очереди все ее платья и остановился на том, в котором она его встретила на вокзале.

Мать позировала ему с небольшими перерывами с раннего утра и до захода солнца. По вечерам, сидя за столом, он делал с нее наброски карандашом, а М[ихаил] О[сипович] читал им вслух прозу и стихи (Серов очень любил русскую литературу).

М[ария] С[амойловна] считает, что отличительными чертами Серова были скромность (в жизни, во вкусах и в оценке самого себя) и неудовлетворенность собой и своей работой.

Хотя он назначал дорогие цены за портреты, у М[арии] С[амойловны] осталось впечатление, что ему жилось нелегко (много детей, болезни их и воспитание, обучение и т. д. Кажется, один сын был больным).

Портрет М[арии] С[амойловны] Серов писал несколько недель – 4-5, с перерывом на неделю, когда он поехал из Биаррица в Испанию. Из Биаррица Серов, М[ария] С[амойловна] и М[ихаил] О[сипович] вернулись вместе в Париж.

Серов назначил день отъезда, считая, что портрет будет готов. Утром этого дня он еще работал, а когда пришли упаковщики, то попросил их подождать, т. к. надо еще что-то прибавить (он не мог «окончить», по выражению М[арии] С[амойловны]).

В вагоне Серов сидел против М[арии] С[амойловны] и всё время

смотрел на нее и говорил: 'Вот теперь я вижу, что это не так, вот тут нехорошо, вот это надо было бы исправить (нос, глаза и т. д.)'.

У М[арии] С[амойловны] создалось впечатление, что если бы он работал еще неделю, две, то всё равно чувствовал бы так же.

В Париже Серов не оставался. Тесно завязанная дружба продолжалась по переписке до самой кончины Серова.

Родившегося вскоре после кончины Серова сына назвали Валентином в память о художнике».

Несостоявшаяся семейная жизнь не помешала родителям Шурочки остаться друзьями, которых на всю жизнь связали любовь к дочери, взаимное уважение и общность политических взглядов. Александра, названная именем пензенской бабушки, матери Авксентьева, хоть и жила в новой семье Мани, всегда могла бывать у отца и проводить с ним время, когда позволяли обстоятельства.

Как только до Парижа донеслось известие о февральском перевороте 1917 года, Авксентьев срочно выехал в Россию. Александра Николаевна так вспоминает свое прощание с ним:

«Он (отец) пришел, посадил меня на колени и сказал: 'Ну, дочка, наконец настал долгожданный день. На нашей родине революция. Россия теперь будет свободной, и я могу теперь туда ехать и работать, для того, чтобы помогать, чем смогу, строить великую, свободную страну – нашу родину'.

Я страшно расплакалась от волнения, он меня гладил и говорил: 'Ничего, не волнуйся, это великое счастье. Скоро ты тоже туда поедешь, и мы вместе поедem в Пензу и покатаемcя по Волге.

Он принес мне лишь маленькую икону и брошь, которая принадлежала матери (они у меня до сих пор сохранились, прошли через все войны, революции и бегства)...

Отец всегда делал мне очень хорошие подарки и со смыслом».

Спустя два месяца мать Шурочки, Мария Самойловна, вместе с новым мужем и детьми (к тому времени у Шурочки появился маленький брат, Валя Цетлин) также отправилась на родину. В Европе всё еще шла война, поэтому путь оказался долгим: через Америку, Японию и Сибирь. Судя по количеству взятого с собой багажа, Цетлины были уверены в том, что они возвращаются домой, и им больше не придется «кочевать» по Европе. В своих записях Александра Николаевна вспоминает детские впечатления от дороги: «И вот наконец мы в России. Я смотрела из окна сибирского поезда и думала: 'Вот эта страна, моя страна, которая теперь будет свободной и счастливой.'».

Она также описывает посещение вместе с отцом Успенского Собора в Москве, их поездку в бывшем царском поезде в Петроград. Тогда, отвечая на ее вопросы, когда же они поедут на Волгу, Николай Дмитриевич говорил: «Даст Бог, поедем, даст Бог, всё будет хорошо». Это были короткие счастливые моменты, оставшиеся в памяти десятилетней девочки. Но они не смогли заслонить воспоминаний и об уличных перестрелках, и о страшных обысках в их московском доме. Вооруженные солдаты врываются в дом и всё переворачивали в поисках оружия. В эти дни у Марии Самойловны родилась дочь, Ангелина, и она, очень ослабшая, была прикована к постели, – тем не менее солдаты требовали от нее подняться, чтобы проверить, не прячет ли она что-нибудь под матрацем.

В детском сознании сохранились пугающие картины горящих степей, грохот взрывов и выстрелов во время бегства семьи Цетлиных из Москвы на юг России в 1918 году; постоянная тревога за судьбу отца, за которым охотились большевики. Вскоре он был арестован и посажен в тюрьму.

Цетлиным удалось спастись и, в конце концов, добраться до Парижа. Для десятилетней Шурочки это стало окончательным прощанием с родиной.

В Париже с ранней юности она увлеклась рисованием. Мария Самойловна решила попросить Наталью Сергеевну Гончарову, с которой была в дружеских отношениях, быть первой наставницей начинающей художницы. Гончарова согласилась, и в будущем отношения между учительницей и ученицей переросли в тесную дружбу, которая не прерывалась в течение многих лет². В 1922 году Наталья Сергеевна написала такое стихотворение для Шурочки:

Горошек прелестный, изящный и скромный,
Средь травки зеленой и тонких кустов,
Растет, возвышаясь в колючках, укромный,
Маня переливами разных цветов.

Малиновой лентой в косе золотистой
Горит, и мне мнится наш север и рожь...
И в солнца лучах, как во ржи, синий, чистый,
Мелькнет василек, что на небо похож.

И хочется тонко ему засмеяться,
Малиновым смехом в зеленых мечтах,
И с ласкою нежной к нему прикасаться,
Как синие струйки в его лепестках.

С 1924 года Александра начала посещать художественную студию, организованную русскими художниками эмигрантами В. Шухаевым и А. Яковлевым; позднее поступила в Высшую Национальную школу декоративного искусства в Париже, которую окончила в 1929 году.

В течение довоенного периода работы Александры Авксентьевой можно было часто увидеть на индивидуальных и групповых парижских выставках. В критических отзывах в печати отмечали ее натюрморты: «Чувство цвета сродни этой молодой художнице»; хвалили пейзажи и портреты: «Очень хорош мягкий лирический портрет М. Ларионова» и т. д.

За все эти годы активной, интересной, творческой жизни в Париже она, тем не менее, не отдалась от русской эмигрантской среды. Она продолжала жить в доме Цетлиных, где еще в дореволюционные годы усилиями ее матери был создан литературно-художественный салон. Там встречались выдающиеся представители русской эмиграции. Александра участвовала в событиях и культурных мероприятиях Русского Зарубежья, присутствовала на литературных вечерах, слушала политические дискуссии. Темы России – ее культуры, истории народа, текущие события страны – всё это глубоко интересовало и волновало молодую художницу. На одном из таких вечеров, посвященных творчеству поэтессы Софьи Юльевны Прегель, Александра познакомилась с ее братом Борисом, ученым-физиком и бизнесменом.

В 1937 году Александра Николаевна становится женой Бориса Прегеля и с того времени начинает подписывать свои работы «А.Прегель».

Налаженное течение жизни резко оборвалось с наступлением Второй мировой войны. Когда стало очевидным, что немецкая армия, легко победившая сопротивление французских войск, быстро движется к Парижу, Александра с мужем и Софьей Прегель срочно покидают город. Борис к тому времени уже находился в черных списках гестапо как активный участник французского антифашистского движения, остаться в Париже значило вынести самому себе смертный приговор. Уезжали они втроем в небольшом автомобиле, сумев захватить с собой только самое необходимое.

Спустя несколько недель особняк Прегелей заняли немцы, и все работы художницы, около 300 полотен, созданные за парижский период и хранящиеся там, немцы конфисковали вместе со всем остальным имуществом. Дальнейшая судьба этих работ неизвестна.

Путь беженцев лежал на юг Франции, они рассчитывали через Испанию добраться до Португалии и из Лиссабона переправиться в

Америку. В дневниковых записях Александры Николаевны довольно подробно описаны дни, проведенные в дороге. Уже второй раз после далекого детства она стала свидетельницей того, какие несчастья приносит война: хаос, разруху, смерть мирных жителей. Эти картины уже никогда не сотрутся из ее памяти!

С большими опасностями и препятствиями Александра и Борис наконец достигают Нью-Йорка. Борис Прегель, будучи мирового уровня специалистом по радиоактивным рудам, вскоре становится главой компании по добыче урана в Канаде. Прегели поселяются в центре Манхэттена в квартире, часть которой превращается в художественную мастерскую Александры. В Америке ее имя как художницы никому не было известно, Александра должна была заново доказывать свою профессиональную и творческую состоятельность. Интенсивно работая, она подготовила 36 полотен, которые были представлены на ее первой индивидуальной выставке в Нью-Йорке в 1943 году. Среди них были замечательные натюрморты, виды Манхэттена и Центрального парка, портреты. Эти работы были по достоинству оценены американской публикой, критика писала о большом мастерстве и вкусе художницы. Однако другие полотна, посвященные теме войны, неожиданно оказались мало отмечены, публика ими не заинтересовалась, в прессе они почти не были упомянуты.

На самом деле эти работы должны были бы произвести незабываемое впечатление своими сюжетами и композициями. В них различными приемами мастерски изображались страшные и разрушительные сцены войны, рассказывалась история осиротевших матерей; лишившихся крова мирных жителей; изгнанников из родных мест, бредущих неизвестно куда. Характерным для этих картин было то, что художница не стремилась к деталям, которые могли бы определить место и время происходящего. Казалось, она хотела показать, что ощущение человеческого горя, скорби, беспомощности перед грозными событиями истории – эти чувства универсальны!

Я много думала о том, как такое могло случиться? Нью-Йорк того времени стал мировым культурным центром. Бурно развивались новые течения в живописи и других видах искусства. Вероятно, жителям Нью-Йорка не хотелось думать о том, что где-то бушует война, – ведь так много интересного и необычного можно было увидеть и услышать здесь, в безопасности. Может быть, поэтому посетителям выставки было дискомфортно задерживаться перед этими работами. Художница могла осознавать, что «военная тематика» не будет иметь успеха, и, тем не менее, она использовала свой талант, чтобы передать на полотне свои чувства, поделиться тем, что так

глубоко ее тревожило. Никакие новейшие течения в искусстве не поколебали вдруг вспыхнувшей потребности изобразить в своем творчестве трагедию и несчастья, выпавшие на долю ее современников.

Ей, как художнику, особенно созвучна и близка была тема сострадания, так характерная для русского искусства. Это был резонанс русской души на несправедливость, талант сочувствия и потребность помочь чужому горю. Этот талант она унаследовала от отца, Николая Авксентьева, которого глубоко любила и почитала. К тому же художница выросла в среде людей большого внутреннего благородства и самоотверженности, от них она научилась следовать не расчетам, а порывам души. Картины далекого прошлого вместе с недавно пережитыми впечатлениями во время бегства из Европы, вызвали к жизни эти сюжеты.

В 1944 году Александра Прегель стала членом Американской Национальной ассоциации художников. Она продолжала выставяться в престижных галереях Нью-Йорка и других городов США, зачастую с такими известными именами, как Джорджия О'Кифф и Сальвадор Дали.

В Нью-Йорк, вскоре после того как туда перебрались Прегели, приехали Мария Самойловна с Михаилом Осиповичем Цетлиным и мать Бориса с его сестрой, Софьей Прегель. С их приездом Александра была вовлечена в дела создания двух новых эмигрантских журналов – «Новый Журнал» и «Новоселье».

Вот отрывок из ее воспоминаний:

«К приезду матери и М. Цетлина я сняла в нью-йоркской гостинице двухкомнатный номер. Трудности и волнения, пережитые теми, кто, спасаясь от фашистского режима во Франции, старались перебраться в Америку, действовали губительно на здоровье М. Цетлина. После приезда в Нью-Йорк у него развилась болезнь малокровия.

Всё то время, которое Цетлины провели на юге Франции в ожидании американской визы, они обсуждали возможности возобновления своей литературной деятельности уже в Америке. Главной идеей было создание литературно-критического периодического издания на русском языке. С тех пор как Францию оккупировали немцы, США казались им единственным местом, где будут услышаны свободные голоса.

Свои издательские планы они строили вместе с Марком Алдановым. Они надеялись, что со временем к ним присоединится также И. Бунин, но тот остался во Франции... Согласно правилам, установленным англичанами во время войны, стало невозможным получать денежные переводы из Англии, где находился филиал

семейного чайного бизнеса. В связи с этим Цетлины оказались в трудном финансовом положении. В этот период Борис Прегель оказал им большую денежную поддержку, что обеспечивало им возможность жить в комфорте. Тем не менее, Мария Самойловна, тратя минимальные деньги на жизненные потребности, старалась по мере возможностей использовать эту помощь для издания 'The New Review' – такое название получил новый журнал, первый номер которого вышел в Нью-Йорке в 1942 году.

Мария Самойловна была убеждена, что духовная жизнь ценнее всего и что для Михаила Цетлина интересы духовные гораздо важнее, чем жизненные удобства. Они отказывались переезжать в квартиру и теснились в номере. У них была маленькая кухонька, однако Мария Самойловна предпочитала ничего не готовить, еду приносили из соседней закусочной.

Мать выполняла все секретарские обязанности. При выпуске каждого нового номера их две тесные комнаты заполнялись журнальными выпусками (до 1000 копий) и мать непрерывно их упаковывала, отсылала и т. д.».

С момента появления «Нового Журнала» Александра взяла на себя обязанности его художника-оформителя и оставалась в этой роли до 1950-х годов, когда, с приходом нового редактора, ее заменил Добужинский.

Журнал «Новоселье» образовался в те же годы, что и «Новый Журнал», его главным редактором стала Софья Прегель³.

Одним из главных дел в жизни Александры и Бориса была благотворительность. В военные годы, находясь в Нью-Йорке, они оказывали существенную помощь русским эмигрантам, оставшимся во Франции во время оккупации. В архивах сохранились письма от многих друзей, включая семью Буниных, Гончарову и Ларионова и др., с благодарностью за постоянную заботу и поддержку посылками, а также денежными переводами.

В этот же период художница увлеклась новым для себя жанром. Она начала вручную мастерить маленькие книжки, в которые переписывала тексты и делала к ним иллюстрации любимых русских писателей и поэтов. Она дарила их мужу ко дням его рождения. К счастью, часть этих «книжек» сохранилась. Это несколько сказок Пушкина, стихи и поэма «Двенадцать» А. Блока и др. Оригинальные, остроумные рисунки лучше всего показывают, насколько глубоко Александра Николаевна была проникнута русской культурой и художественной традицией! Позднее она задумала проиллюстрировать Ветхий Завет и с этой целью решила изучить иврит, чтобы иметь возможность работать с первоисточником, а не с переводом. Результаты

этого замечательного труда в настоящее время хранятся в библиотеке Иерусалимского университета. Мне никогда не довелось увидеть эти иллюстрации, но, судя по сохранившимся в архивах отдельным рабочим фрагментам, видно, какие самобытные и красочные изображения вышли из-под руки художницы.

Война кончилась, и Прегели начали много путешествовать. От этих поездок сохранились акварели и карандашные зарисовки мест, где побывала Александра: море в Остенде, крыши Рима, озера Швейцарии, холмы Иудейской пустыни, парижские улицы... В послевоенном Париже успешно прошли еще две выставки художницы.

Париж она хорошо знала с детства и, навещая любимые места, делала много набросков и зарисовок. Эти замечательные, дошедшие до нас работы обращают на себя внимание особым в них настроением: серый холодный тон парижского неба и необычная, так не характерная для этого города пустыньность улиц. По-видимому, художнице, пережившей двойную эмиграцию, так и не удалось побороть ощущения, что она все-таки чужая даже в Париже.

Проходили годы хорошо налаженной и содержательной жизни. Александра продолжала писать, но всё реже ей хотелось выставлять свои картины. Много времени занимало участие в делах и занятиях мужа.

После кончины Бориса Юльевича в 1976 году Александра Николаевна прожила еще восемь лет. Оставшись одна, она, еще совсем не старая женщина, казалось, потеряла всякий интерес к жизни. Почти не осталось близких друзей, а новых она так и не приобрела. Те немногие приехавшие из Советского Союза эмигранты, с которыми ей пришлось столкнуться в Нью-Йорке, были совсем другими русскими, очень не похожими на привычные ей благородные образы российских интеллигентов.

За все долгие годы жизни в Америке она так и не ощутила себя частью окружающей ее художественной среды. Замечательная художница, она вдруг почувствовала себя никому не интересной. Мы можем только догадываться о глубине душевной растерянности и тоски в последний период ее жизни, вызванных сознанием своего творческого и личного одиночества.

В записях Александры Николаевны я нашла такие строчки: «Кто-то однажды привез или прислал отцу лакированный деревянный ящик с русской землей. Этот ящичек казался мне какой-то святыней, самой драгоценной вещью на свете и залогом будущей жизни с отцом в России, где всё должно быть необыкновенно хорошо и прекрасно...»

Александра Николаевна Прегель (Авксентьева) скончалась в Нью-Йорке 26 июня 1984 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

Автор выражает искреннюю благодарность своим друзьям за помощь в суровой, но справедливой критике, пока писалась эта статья: Яне Бусловой, Израиль, и Юлии Гельман, США.

1. Основную часть литературных архивов мы с мужем, Вячеславом (Славой), решили подарить архивному отделу библиотеки Иллинойского университета в городе Урбана. Выбор был не случайным: библиотека является самой крупной из всех штатных университетских библиотек в США и славится одной из самых значительных коллекций напечатанных книг, журналов, газет, справочных материалов по России и Советскому Союзу и странам, ранее принадлежавшим к коммунистическому блоку в Европе. Кроме того, в ней с давних времен существует «Славянская справочная служба». Задачей работников этой Службы является бесплатная помощь нужной информацией любому, кто интересуется этими странами. При передаче архивов мы высказали единственное пожелание: они должны быть доступны каждому, кому дорога и интересна русская культура. Политическую часть архивов мы передали в архивный отдел Центра Русской культуры при Университете в Амхерсте штата Массачусетс.

2. О взаимоотношениях Александры с Натальей Гончаровой и Михаилом Ларионовым был опубликован набор заметок под общим заголовком «Учитель и ученица» в журнале «Наше наследие», 2001, № 57.

3. Софья Юльевна Прегель начала издавать журнал «Новоселье» в 1942 году, в Нью-Йорке. Журнал просуществовал 8 лет; последние два выпуска увидели свет в Париже, куда Софья Прегель вернулась осенью 1948 года.

Ренэ Герра

Галина Кузнецова. Последняя любовь Ивана Бунина

Галина Николаевна Кузнецова – не просто представительница младшего поколения литераторов-эмигрантов во Франции. Она заметная среди них фигура. Одна из тех, кто обрел себя в писательстве, упорно пробивая на чужбине дорогу в русскую литературу. И эта дорога не была легкой и накатанной, как это может показаться со стороны.

Кузнецова родилась 10 декабря 1900 года в Киеве. В 1920 году эмигрировала в Константинополь, в 1921 году уехала в Прагу, а в 1924 году переехала в Париж. Принимала участие в литературных вечерах Союза молодых поэтов и писателей (1926–1927), в заседаниях литературного общества «Зеленая лампа», созданного по инициативе З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского на основе воскресных встреч (1928) в их доме, – так называемых «Воскресений». Также она выступила с чтением своих стихов на ежегодном вечере поэзии «Объединения русских писателей и поэтов» (18 декабря 1938). 4 апреля 1930 года она присутствовала на чествовании В. Ф. Ходасевича по случаю исполнившегося 25-летия его литературной деятельности. Чествование проходило под председательством И. А. Бунина.

С 1926 года Кузнецова публиковала стихи и рассказы в лучших литературных журналах Зарубежной России: «Благонамеренный» (Брюссель, 1926, № 1), «Годы» (Прага, 1926, № 1), «Воля России» (Прага, 1926, № 6/7), «Новый дом» (Париж, 1927, № 3), «Звено» (Париж, 1927, №4; 1928, № 1), «Современные записки» (Париж, 1927, № 33; 1928, № 36; 1929, № 38; 1937, №№ 63, 65), «Новый Журнал» (Нью-Йорк, 1946, № 18, 1951, № 27, 1965, № 80, 1970, №101), «Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1963, № 3, 1965, № 4), «Мосты» (Мюнхен, 1965, № 11, 1966, № 12), и в газетах «Возрождение», «Дни», «Последние новости» и др.

Первая книга Кузнецовой «Утро» (сборник рассказов 1927–1929) вышла в Париже (изд. «Современные записки», 1930). В своей благожелательной рецензии Г. В. Адамович писал: «Галина

Кузнецова пишет как будто ни о чем, но касается она многого. В ее повестях ничего не происходит, или почти ничего; случай в них не играет никакой роли. Она рассказывает не о том, что в жизни иногда бывает, а лишь о том, что в жизни всегда есть, – и своим, невиданным раньше, светом освещает она это ‘всегда – присутствующее’. Ее вещи не сразу останавливают внимание, но надолго запоминаются... Галина Кузнецова – беллетрист и рассказывает о невзгодах русских людей, застигнутых революцией. Но вместе с тем она и поэт, который говорит о человеке ‘вне времени и пространства’»¹. Поэт Лидия Червинская: «Рассказы, собранные в сборнике ‘Утро’, принадлежат к типу лирики в прозе. Ничего не ‘случается’, передаются настроения, моменты... Есть у Кузнецовой большая чуткость к ‘атмосфере’, живость и некоторая своеобразность в ощущении природы. Есть и мастерство в передаче. Ее описания не скучны и ее настроения передаются читателю»². Также написали рецензии критик и эссеист К. И. Зайцев для журнала «Россия и славянство» (Париж, 15.02.1930), критик, публицист П. М. Пильский для газеты «Сегодня» (Рига, 10.03.1930) и поэт Г. А. Раевский в газете «Возрождение» (Париж, 17.04.1930). В моем собрании хранится уникальный экземпляр этой книги с трогательной дарственной надписью: «Милой, дорогой Вере Николаевне [Буниной] от всей души. Галина».

Вторая книга, роман «Пролог», вышла в 1933 году, тоже в «Современных записках». О ней написали отзывы Г. Адамович («Последние новости», Париж, 8.05.1933), В. Ходасевич («Возрождение», Париж, 6.07.1933) и литературный критик и историк П. М. Бицилли: «Автор искусно обновил и осмыслил избранную им форму романа-воспоминаний»³.

Третья – «Оливковый сад» (сборник стихов 1923–1929) – в том же издательстве в 1937 году. Известный поэт и литературный критик, редактор отдела поэзии «Современных записок» М. О. Цетлин в своей рецензии пишет: «Галина Кузнецова удачно назвала свой первый сборник стихов... Природу она чувствует и видит по-своему. Большинство ее пейзажей – это пейзажи Прованса и юга Франции... Если совершенством можно назвать внутреннюю гармоничность, соответствие средств выражения и содержания – то в этом смысле стихи Галины Кузнецовой часто к нему приближаются»⁴. Также дал свой отзыв Пильский для газеты «Сегодня» (Рига, 17.12.1937).

4 января 1952 года Бунин написал главному редактору Издательства им. Чехова В. А. Александровой: «Галина Николаевна – редкость по своим литературным вкусам, по литературной образованности вообще и по своим собственным литературным талантам в прозе и в стихах (которые, кстати сказать, так высоко ценил такой

поэт, как покойный Вячеслав Ив. Иванов)». Стихи Кузнецовой включены в лучшие зарубежные антологии: «Якорь» (Берлин, 1936), «На Западе» (Нью-Йорк, 1953), «Муза диаспоры» (Франкфурт-на-Майне, 1960), «Содружество» (Вашингтон, 1966).

По словам Ирины Одоевцевой, летом 1926 года в Жуан-ле-Пен (Juan-les-Pins) Галина с мужем Д. М. Петровым жила в одном доме с известным пушкинистом Модестом Гофманом. Он и познакомил их на пляже с Буниным, и они часто купались вместе. По словам Галины, Бунин отлично плавал. В моем собрании хранится книга «Митина любовь» с дарственной надписью: «Галине Кузнецовой на память о Juan-les-Pins. Ив. Бунин 6.VIII.1926».

С 1927 по 1942 годы молодая поэтесса жила с перерывами у Буниных в Грассе. Галина покинула Бунина в зените его славы, после присуждения писателю Нобелевской премии. На обратном пути из Стокгольма в декабре 1933 года, Бунин вместе с Верой Николаевной и Галиной навестил в Дрездене своего друга, писателя и литературного критика Федора Степуна. Встреча Галины с оперной певицей Маргаритой Степун оказалась для всех роковой. В 1934 году Галина переехала к Марге в Германию. Летом 1939 года, перед самым началом войны, пара, в силу обстоятельств, вернулась в Грасс и жила у Буниных на вилле «Жаннет» (Jeannette) до апреля 1942 года. Летом того же года Кузнецова вернулась в Германию в город Геттинген, а в 1949-м уехала с Маргой в Нью-Йорк, где они были связующими звеньями с Издательством им. Чехова, когда готовились к печати книги Бунина «Жизнь Арсеньева» (1952), «Весной, в Иудее» (1953), «Митина любовь» (1953), «Петлистые уши» (1954), «О Чехове» (1955) и другие, а также во взаимоотношениях Бунина с австрийскими и немецкими издательствами. С 1955 года Кузнецова была сотрудницей русского издательского отдела ООН, с 1959 по 1963 год работала в европейском отделе ООН в Женеве.

С музой Бунина меня заочно познакомили Борис Константинович Зайцев, Ирина Владимировна Одоевцева и моя учительница и духовная мать, поэтесса Екатерина Леонидовна Таубер. С их рекомендательными письмами⁵, в июле 1970 года, я поехал на машине в Мюнхен, где остановился у талантливой писательницы из Риги Ирины Евгеньевны Сабуровой. Очень радушно меня приняли Маргарита Степун и Галина Кузнецова, которую я расспрашивал о русском довоенном литературном Париже и, конечно, о Бунине. Было еще несколько незабываемых встреч. И естественно, при всех наших беседах присутствовала от начала до конца Маргарита Августовна. Если бы она наложила на встречу вето или ввела ее в официальное русло, не возникли бы между нами доверительные отношения, и не

было бы той искренности, с которой общались со мной Галина Николаевна и Маргарита Августовна.

И еще хочу сказать о последней встрече с Галиной Николаевной – 13 февраля 1975 года, незадолго до ее ухода в лучший мир. Я был тогда поражен тем, как она в своем угасании стала похожа на Маргу, скончавшуюся в 1971 году, – произошло полное их отождествление, и это меня потрясло больше всего. Не говоря уже о том, что, когда они обе были живы, между ними существовало полное взаимопонимание, я бы сказал – единение душ.

Галина Николаевна завещала мне весь свой архив и библиотеку, в которой на одной из книг⁶ сохранилась надпись Бунина уже после их разрыва, где по его словам видно, что он хочет, чтобы она сохранила о нем добрую память. На одной из его фотографий есть надпись, сделанная в то же время: «Вот каким я был, не то, что сейчас».

Также в моих руках оказалась переписка Таубер с Кузнецовой. Удивительный сюжет, достойный внимания исследователей, – как много у них общего! Обоих вдохновляли юг Франции, Прованс, «бунинские» места – Грасс, Мужен; мистраль, запахи, краски, лаванда, оливковые деревья... Благодаря им, в русской поэзии XX века появились «Провансальские стихи» – не случайно Таубер так озаглавила свою первую подборку стихов для «Нового Журнала» (№ 15, 1947). У Кузнецовой – сборник «Оливковый сад», у Таубер – «Под сенью оливы» (у меня хранится экземпляр с ее дарственной надписью: «Галине Николаевне Кузнецовой, автору 'Оливкового сада' с дружеским приветом от автора»). Вот что написала Кузнецова в своем письме от 8 апреля 1948: «Милая Екатерина Леонидовна. Стихи Ваши я давно заметила в 'Новом Журнале' и в 'Соврем. Записках'. Вы – настоящий поэт, и Ваши некоторые стихотворения мне так близки, как будто они написаны мною или по крайней мере частично исходят из меня. Ваша книжечка 'Под сенью оливы' меня очень порадовала...»

Познакомились они уже после войны, и никто никому не подражал – просто две родственные души. Их сближала не только принадлежность к «незамеченному поколению», по меткому выражению моего друга В. С. Варшавского, но и крайняя скромность, сдержанность, общее понимание культуры, жизни и, конечно, преклонение перед Буниным. О многом говорит дарственная надпись Кузнецовой на книге «Грасский дневник»⁷: «Родственной душе – милой Екатерине Леонидовне сердечно. Август 1972 г. Мюнхен».

Как и Кузнецова, Таубер была поэтом и прозаиком, обе занимались и переводами. Кузнецова перевела «Волчицу»⁸ Франсуа Мориака (перевод вышел в 1938 году с предисловием Ив. Бунина), а

Таубер – «Записки сельского священника» Жоржа Бернаноса (перевод напечатан в «Гранях» №№ 39-40. Франкфурт-на-Майне, 1958).

С Буниным Таубер познакомилась в конце 1940-х годов в «Русском Доме» на вилле Ле Фурнель (Le Fournel), в Жуан-ле-Пен, через С. Е. Попова, родственника Веры Буниной. Попов был приятелем известного художника-мирискусника Д. С. Стеллецкого, который написал его портрет в городке Ла-Напуль под Каннами. У меня хранится книга Бунина «Избранные стихи» с дарственной надписью Екатерине Леонидовне от 27 июня 1947 года. Иван Алексеевич, человек не щедрый на похвалу и весьма строгий в оценках, лестно отозвался о ее поэзии, выделив стихотворение «Сквозная южная сосна». На своей книге стихов «Под сенью оливы», она мне написала: «Дорогой Ренэ, эти стихи, вернее, ‘Сквозная южная сосна’, очень хвалил Бунин. Я думаю, это лучшее стихотворение книги. Е. Таубер. ‘Дубенка’ 29.VIII.84».

Вот что ей писал Бунин 9 августа 1947 года: «Прочел Ваши стихи, надеюсь вскоре написать Вам много придилок, а пока скажу главное – Вы редкость среди большинства теперешних стихотворцев, есть нечто настоящее прекрасное, поэтическое в Вашей душе...» А в следующем письме от 7 сентября 1947 года: «...на счет тех новых стихов, что прислали Вы мне: могу сказать только общее – то, что читать Вас мне было опять очень приятно. Возвращаю их Вам с некоторыми моими пометками. Рад буду встретиться с Вами осенью, – надеюсь быть в ноябре в J. les Pins».

10 января 1948 года Бунин откликнулся на ее поздравления: «И мы оба поздравляем Вас, дорогая Екатерина Леонидовна. Рад буду видеть Вас, напишу Вам, как только немного поправлюсь, – приехал сюда опять совсем больной и до сих пор еще почти всё время в постели. Всего доброго! Ваш Ив. Бунин». 20 марта 1948 года Бунин ей снова пишет из «Русского дома» в Жуан-ле-Пен: «Милая Екатерина Леонидовна, еще в январе писал Вам, желая повидаться. Потом всё хворал (и ответа от Вас всё не было). Не придете ли к нам в среду 24 марта часам к 3? Если с Вами придет Серг. Евграф. (Попов. – Р.Г.), будем оч. рады. Книжку Вашу получил, спасибо! Ваш Ив. Б.».

На своей второй книге стихов Таубер написала: «Дорогому Ивану Алексеевичу Бунину в знак глубокого уважения от автора. 1948»⁹. Хочу также привести запись из дневника Веры Буниной от 24 марта 1948 года: «Была Екатерина Таубер. Подарила мне ‘Под сенью оливы’. Ян (Так В. Н. называла мужа. – Р. Г.) хвалит ее стихи»¹⁰. 21 июня 1950 года из Жуан-ле-Пен Бунина пишет Кузнецовой: «Я на днях много о ваших стихах говорила с Таубер. Она очень приятная и, действительно, любит литературу. Я давно так при-

ятно не проводила время»¹¹. Таубер переписывалась с Буниной, и 31 марта 1955 года в Париже подарила ей свою третью книгу стихов «Плечо с плечом» – «Дорогой Вере Николаевне Буниной с чувством горячей симпатии и глубокого уважения от автора».

В 1956 году Таубер получила посмертное издание «Митиной любви», выпущенное Издательством им. Чехова в Нью-Йорке сразу после смерти Бунина, в 1953 году, с надписью: «Дорогой Екатерине Леонидовне Таубер – увы, не от автора. В. Бунин. 26.XII.56.».

Вера Николаевна прекрасно понимала, какие отношения связывают ее мужа с Галиной Кузнецовой. Но она также знала и о том, что Бунин ее не оставит, так как не может обходиться без ее заботы и дружеской поддержки. Сам же писатель на вопрос о том, любит ли он свою жену, отвечал: «Любить Веру? Это всё равно, что любить свою руку или ногу». Поэтому Вера приняла в своем доме молодую соперницу и стала жить с ней рядом под одной крышей. Этот странный союз просуществовал 7 лет. В 1929 году Вера Бунин записала в дневнике великодушные, благородные и мудрые слова: «Одна в Ницце. Странное чувство. Город кажется мертвым (воскресенье). На набережную не выходила, боюсь встретить знакомых. Хочется один день провести в уединении... Идя на вокзал, я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет, раз любовь его имеет источник в Боге. Пусть любит Галину <...> – только бы от этой любви было ему сладостно на душе»¹². После кончины Бунина у Веры оставались добрые отношения с Галиной и Маргой, о чем свидетельствуют ее трогательные надписи на своей книге «Жизнь Бунина. 1870–1906»¹³: «Настоящее чудо: книга вышла ко дню его рождения! В ней много тяжелого, много страданий, печали, но всё же эти годы прекрасны – среди нашей прелестной поэтической природы, в наших городах, в общении со своим народом, в творческом напряжении, словом, дома! Дорогой Гале дружески и сердечно. Автор. Париж 23.10.1958» и «Дорогой Марге, мою ‘мозаичную’ книгу на строгий суд. Дружески и душевно Вера Бунин. Париж 23.10.1958».

Галина – последняя любовь Ивана Бунина, его «грасская Лаура» и ученица, увековечила себя последней книгой «Грасский дневник». Вот слова писателя Романа Гуля из его рецензии: «Г. Н. Кузнецова написала превосходную книгу, в которой поражают человеческая и авторская деликатность. Всякий, кто будет когда-нибудь писать о И. А. Бунине (т. е. ‘исследовать его жизнь и творчество’) не сможет обойти эту талантливую книгу, рассказывающую о самом большом отрезке жизни Бунина – о Бунине в эмиграции. А в эмиграции мы знали Галину Николаевну Кузнецову как автора талантливых стихов и рас-

сказов. 'Грасский дневник' только закрепляет это мнение о даровании этого писателя»¹⁴.

Я вправе гордиться тем, что знал и дружил со многими творческими людьми из близкого круга друзей Бунина, среди них: Б. К. Зайцев (писатель), Г. В. Адамович (поэт, литературный критик), В. В. Вейдле (поэт, литературный критик, искусствовед), Л. Ф. Зуров (писатель), Я. М. Седых (писатель, журналист), А. В. Бахрах (литературный критик, мемуарист), С. М. Лифарь (балетмейстер), В. А. Могилевский (журналист), Р. Б. Гуль (писатель, мемуарист), В. С. Яновский (писатель, мемуарист), Ю. К. Терапиано (поэт, литературный критик), И. В. Одоевцева (поэт, прозаик, мемуарист), Л. Д. Червинская (поэт), Н. Н. Берберова (поэт, прозаик, мемуарист), З. А. Шаховская (поэт, прозаик, мемуарист), Странник (архиеп. Иоанн Шаховской, поэт, писатель), С. Ю. Прегель (поэт, редактор), Т. Д. Муравьева-Логинова (живописец, график, литератор), И. Ю. Гуаданини (поэт, журналист), С. И. Шаршун (художник, писатель), Н. В. Кодрянская (детский писатель, мемуарист), Н. Н. Оболенский (поэт), А. Е. Величковский (поэт, прозаик), В. М. Зернов (врач). Сколько интересного и любопытного они мне рассказывали о Бунине! Некоторые из них написали воспоминания¹⁵. Все они хранили благодарную память о нем, прекрасно понимая, что им выпала редкая удача и великое счастье входить в окружение последнего русского классика.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Современные записки», № 42. – Париж, 1930.
2. «Числа». Кн. Вторая-Третья. – Париж, 1930.
3. «Современные записки», № 53. – Париж, 1933.
4. «Современные записки», № 65. – Париж, 1937.
5. «Дорогая Галина, записку эту передаст Вам мой знакомый (хорошо знакомый) Ренэ Юлианович Герра, французского происхождения, будущий профессор Русской Литературы. Он интересуется Буниным, будет писать о нем – не откажите рассказать ему о Грассе, о жизни там и т. п. Он хороший француз, пишу наспех, будьте здоровы, целую ручку. Ваш Бор. Зайцев. 24.VI.70.»
6. Бунин, И. А. Воспоминания / Париж: Изд. «Возрождение», 1950 // Инскрипт автора: «Из книг Г. Н. Кузнецовой. Ив. Бунин 29.IX.50. Париж».
7. Кузнецова, Галина. Грасский дневник / Вашингтон: «В. Камкин», 1967.
8. Мориак, Франсуа. Волчица (Genitrix) / Перевод Г. Н. Кузнецовой; предисловие Ив. А. Бунина // Париж: Изд-во «Русские записки», 1938.
9. Морозов, С. Н., Иванов, Ю. Н. Дарственные надписи на книгах из парижской библиотеки И. А. Бунина / «Российский литературоведческий журнал», № 4 / М., 1994. – С. 172.

10. Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под редакцией Милицы Грин. В трех томах // Франкфурт-на-Майне: «Посев», 1982. – Т. 3. – С. 188.
11. Бунин, И. А. Новые материалы. Выпуск III. «...Когда переписываются близкие люди» / Письма И.А. Бунина, В.Н. Буниной, Л.Ф. Зурова к Г.Н. Кузнецовой и М.А. Степун. 1934–1961 / М.: «Русский путь», 2014. – Сс. 104, 657.
12. Устами Буниных. Т. 2 / Франкфурт-на-Майне, 1981. – С.210 // Запись от 13 окт. 1929.
13. Муромцева-Бунина, В. Н. Жизнь Бунина 1870–1906 / Париж, 1958.
14. «Новый Журнал», № 92. – Нью-Йорк, 1968.
15. Зайцев, Б. Москва – Париж: «Русские записки», 1939 / Второе изд.: Москва-Мюнхен, 1960; Седых, А. Далекие, близкие / Нью-Йорк: Изд. «Новое русское слово», 1962; Муравьева-Логинова, Т. Д. Живое прошлое. Воспоминания об И. А. и В. Н. Буниных / М.: «Литературное наследство», 1973. – Т. 84. – Иван Бунин. Кн. 2. – Сс. 300-330; Кодрянская, Н. В. Встречи с Буниным / Там же. – Сс. 341-351; Прегель, С. Ю. Из воспоминаний о Бунине / Там же. – Сс. 352-357; Зернов, В. М. Воспоминания врача / Там же. – Сс. 358-362; Шаховская, З. Отражения / Париж: YMKA-Press, 1975; Бахрах, А. Бунин в халате / США, 1979; Письма Буниных к художнице Т. Логиновой-Муравьевой / Париж, YMKA-Press, 1982; Яновский, В. С. Поля Елисейские / Нью-Йорк, 1983; Одоевцева, И. На берегах Сены / Париж, 1983; Гуль, Р. Я унес Россию. – Т. II Россия во Франции / Нью-Йорк: «Мост», 1984; Терапиано, Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека / Paris – New York, 1987 // Второе изд. дополненное / СПб.: «Росток», 2014.

Ницца

Людмила Оболенская-Флам

О перемещенных и переместившихся

...Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил...
А. С. Пушкин

ДИПИЙЦЫ: Материалы и исследования / Ответственный редактор П. А. Трибунский / Москва: Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына. – 2021. 541 с.

Елена Кулен. ШЛЯЙСХАЙМ: Лагерь русских «перемещенных лиц» вблизи Мюнхена, 1946–1953 годы. Материалы к исследованию / Verlag: Neipubli GmbH / Berlin. – 2021. 759 с.

Передо мной две недавно вышедшие книги. Подхожу к ним не как историк, а на правах одного из «последних могикан», свидетеля той отдаленной эпохи, когда возникло понятие «Ди-Пи», по начальным буквам, обозначающим на английском статус перемещенных лиц – Displaced Persons.

Когда-то мы, перемещенные (или добровольно переместившиеся) лица были озабочены проблемой выживания, оформлением каких-то бумаг, налаживанием послевоенной жизни. А теперь нас «открыли», как некое экзотическое племя аборигенов, и стали изучать. Впрочем, феномен Ди-Пи действительно заслуживает того; он отражает сложную картину политических событий середины прошлого столетия. Посмотрим же, что про нас пишут.

Начну с «Дипийцев». Название книги настораживает: «дипийцами» называли мы сами себя, подсмеиваясь над нашим неблагозвучным статусом. Теперь же «дипийцы» входят в оборот, по аналогии с «австралийцами» или «бельгийцами». В книге заслуженный литератор Г. А. Хомяков назван «дипиец-писатель». Он бы поморщился. А я, выходит, – «дипийка»! Временный статус Ди-Пи не сделал нового дипийского человека, он всего лишь дал людям возможность выжить в голодное послевоенное время. При этом, когда отпала угроза

насильственной репатриации, в условиях, которые позволили литераторам писать без оглядки на цензуру, художникам игнорировать каноны соцреализма, общественным и политическим деятелям вести свою работу не боясь попасть в тюрьму. Но оставим термин «дипийцы» на усмотрение и вкус пишущих, есть у меня вопросы по существу.

В первую очередь необходимо внести ясность в понятие «первой» и «второй» эмиграции. До сих пор всё было просто: первой были люди, покинувшие Россию после Октябрьского переворота и поражения Белой Армии, а также их дети; второй – бывшие советские граждане, оставшиеся после войны за пределами СССР. Но в книге термин «вторая волна» обретает иной смысл. Возьмем два конкретных примера. В статье Б. Тромбли о деятельности ЦРУ в антикоммунистических организациях инициатор создания ЦОПЭ (Центральное объединение послевоенных эмигрантов) Алексей Мильруд назван эмигрантом второй волны. Но Мильруд вырос в независимой Латвии, в эмигрантской среде, был сыном редактора газеты «Сегодня», одной из лучших русскоязычных газет Зарубежья, в которой печатались не только местные силы, но и выдающиеся авторы общероссийской довоенной диаспоры¹. Другой пример: в примечании, которое относится к историку Д. В. Поспеловскому, сказано: «историк Церкви, сын эмигрантов второй волны» (Статья А. В. Мартынова «Долгое 'Ожидание' Владимира Варшавского»). Дмитрий Поспеловский родился в 1935 г. в с. Рясники Ровенской обл., в Польше. Он не мог быть «сыном эмигрантов второй волны»; его родители были эмигрантами, нашедшими приют в независимой Польше, где сохранилась часть дореволюционного имени деда², и Дмитрий родился еще до того, как они бежали уже из Польши в 1944 году. Быть может, авторы считают, что год (1940/41), прожитый под советской властью, делает таких людей, как Мильруд, Поспеловский и др., эмигрантами второй волны? Но даже Сталин не настаивал на их принадлежности к советскому гражданству, уступив западным союзникам в вопросе репатриации на родину лиц, не живших в СССР на 1939 год. А что делать с эмигрантами из Югославии, Болгарии, Чехословакии, ставшими Ди-Пи? Кто они, тоже вторая волна?

Обратимся к вступительной статье сборника «От редакции». Там говорится: «К концу Второй мировой войны за пределами СССР оказалось более 8 миллионов человек, по своей или чужой воле покинувших страну в годы войны. В ходе деятельности репатриационных органов подавляющее большинство советских граждан было возвращено на родину». «Деятельность» была двоякой: организация транспорта для желающих вернуться и насильственная репатриация, но об этом, как ни странно, ничего не сказано. Неужели авторы редакционной

статьи не знают таких книг, как «Жертвы Ялты» Николая Толстого-Милославского или «Последняя тайна» лорда Бетела? Принимая во внимание, что во исполнение ялтинских соглашений англичанами было выдано 56417 человек, а американцами 3425³, итого почти 60 тысяч, то как можно пройти мимо этого факта? А дальнейшая участь их, как и незавидная судьба, постигшая вернувшихся добровольно, – это особая тема, которая, насколько мне известно, еще ждет серьезного изучения.

Сколько же россиян осталось? В редакционной статье говорится: «0,5 до 0,7 миллиона отказались репатриироваться в СССР». Б. Пушкарев в книге «Две России XX века» уточняет: «Реальное число послевоенных эмигрантов из СССР (не считая балтийцев и западных украинцев), возможно, составляло 100-150 тыс. человек. К ним надо добавить около 30 тыс. довоенных белых эмигрантов, вторично эмигрировавших из стран Восточной Европы»⁴. То есть из Литвы, Латвии, Эстонии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Венгрии, Румынии... Все они по окончании войны подпали под категорию Ди-Пи, но это не значит, что они сделались эмигрантами «второй волны».

Далее в редакционной статье говорится непонятное: «Дипийцы оказались за пределами СССР в весьма непростое время. Они вошли в состав т. н. второй волны эмиграции как самая многочисленная группа». А не наоборот: вторая волна эмиграции вошла в состав Ди-Пи как самая многочисленная группа? За этим следует странное утверждение, что «политика западных государств, позволившая вообще появиться феномену дипийцев, после войны начала движение в сторону антисоветизма...» Что значит: «позволившая появиться феномену дипийцев»? Обратимся к истории.

К концу войны на территории Германии оказалось примерно 11 миллионов иностранцев: беженцы из Восточной Европы, военнопленные, узники концлагерей и тюрем, люди, насильственно вывезенные на работы как из восточных оккупированных областей, так и из стран Западной Европы. К ним можно добавить еще завербованных немцами рабочих из Италии и Греции. Кроме того, было известно, что на территории оккупированной Франции тоже находилось большое число подневольных иностранных рабочих и рядовых вспомогательных бригад. Учитывая такое гигантское скопление обездоленных людей, по инициативе президента Рузвельта, заранее, в 1943 году, была создана ЮНРРА – Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций (UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration), которая должна была заняться проблемой перемещенных лиц по мере освобождения стран от нацистской оккупации. Позже эту функцию переняла ИРО – Международная организация помощи беженцам – International Refugee Organization

(IRO). После победы над Германией ЮНПРА немедленно приступила к возвращению перемещенных лиц на родину, предварительно разместив и накормив их в пересыльных лагерях. Ди-Пи из Франции, Бельгии, Голландии возвращались к себе в ускоренном порядке; вернулось или было возвращено большинство советских граждан, но западные оккупационные власти не рассчитывали, что после всего этого у них на руках в Германии и Австрии останется к осени 1945 года без малого два миллиона беженцев от коммунизма⁵. Подавляющее большинство этих Ди-Пи составляли выходцы из Прибалтики, Венгрии, Польши, а также украинцы; по сравнению с ними русские были в незначительном меньшинстве. Поэтому и лагерей, устроенных для проживания нерусских, было в трех западных зонах во много раз больше, чем русских. Вот, в нескольких словах, история возникновения Ди-Пи задолго до «движения в сторону антисоветизма».

Хотелось бы уже перейти к рассмотрению отдельных материалов в сборнике, если бы не обобщающее замечание редакции о «взаимодействии дипийцев с представителями первой волны, многие из которых были настроены благосклонно к СССР и потому с подозрением и недоверием относились к дипийцам, памятуя об их сотрудничестве с нацистами и участии в РОА». Попробуем разобраться и в этом.

Вообще-то было бы вполне уместно проанализировать, как складывались отношения между выходцами из старой России и выходцами из СССР. То были люди из разных миров, разного воспитания, разного жизненного опыта. У читателя может сложиться впечатление, будто старые эмигранты недружелюбно отнеслись к своим собратьям из «новых». Кое-кто действительно смотрел на них свысока («не те манеры, язык советский...»), но когда пронеслась весть, что эти «новые» подвержены насильственной выдаче советским органам, эмигранты первой волны дружно пришли на помощь. Они укрывали их у себя, фабриковали подложные документы и натаскивали бывших советских перед прохождением комиссии по выявлению гражданства: показывали планы городов, в которых те якобы проживали, учили необходимым выражениям на иностранных языках и предупреждали: «Не говорите ‘самолет’ и ‘автомашина’, а ‘аэроплан’ и ‘автомобиль’». Именно старый адмирал К. В. Шевелев со други организовал в Мюнхене комитет, выдававший бумажки на английском языке о том, что предъявитель не был советским гражданином. Когда же оккупационные власти потребовали, чтобы им выдали список лиц, получивших эти бумаги, «старцы разыграли комедию, что их обокрали, и в выдаче отказали»⁶. Замечу попутно, коль речь зашла о взаимоотношении двух волн: среди молодого поколения очень быстро произошло полное и естественное слияние. Ни в послевоенных школах, ни в

рядах таких молодежных организаций, как скауты ОРЮР или РСХД, или в Объединении российских студентов (ОРС), насчитывавшем в разных германских вузах до 600 человек⁷, решительно никто не делал различия между потомками старых эмигрантов и рожденными в СССР. У старшего поколения процесс проходил медленно, но неуклонно, преимущественно на почве общих интересов – политических, общественных, церковных, культурных и даже бытовых. Но не эти отношения между волнами имеет в виду автор редакционной статьи, не со старыми эмигрантами в рядах Ди-Пи, которые, согласно редакционной статье, угодили во вторую волну. Так о ком же речь?

Напомню слова о «взаимодействии дипийцев с представителями первой волны, многие из которых были настроены благосклонно к СССР и потому с подозрением и недоверием относились к дипийцам, памятуя об их сотрудничестве с нацистами и участии в РОА». Значит речь идет не просто о представителях первой волны, а о каком-то *просоветском меньшинстве*. Его можно было найти во Франции среди так называемых совпатриотов, отчасти в ее колониях. Но в той же Франции совпатриотизм прельщал далеко не всех, и (осторожно с обобщениями!) было достаточное число русских, симпатизировавших Власову. Вообще же, совпатриотизм в историческом плане был явлением недолговечным. Я могу засвидетельствовать, что к моменту приезда первых партий Ди-Пи в Марокко в 1947 году бывшие совпатриоты, получив окольными путями предупреждение от уехавших ни в коем случае за ними не следовать, забыли про свои советские паспорта и отказались от ностальгической идеи возвращения на родину. Более того, старожилы стали оказывать всяческую помощь прибывшим из Европы Ди-Пи.

Где еще дипийцы могли встретить по отношению к себе «подозрение и недоверие»? В США – среди давно проживавших меньшевиков, которые отрицательно относились к власовскому движению?.. Но, во-первых, это была небольшая обособленная группа, нетипичная для большинства эмигрантов первой волны, а во-вторых, и они, как мы позже увидим, не обязательно встречали новую эмиграцию в штыки.

Необходимо отметить еще один факт. В окружении генерала Власова были не только представители второй волны, если под второй волной понимать выходцев из СССР; в одном из материалов книги приведены имена группы старых эмигрантов, приехавших в штаб Власова из Риги. Я лично знала всех их и могу заверить, что они не считали себя «второй волной». Кроме того, именно эмигранты первой волны, многие из Югославии и Чехословакии, были главными идеологами Комитета Освобождения Народов России (КОНР) и составителями так называемого Пражского (Власовского) манифеста

14 ноября 1944 года, в котором так формулировалась позиция КОНРа в отношении Германии: «Комитет Освобождения Народов России приветствует помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей родины»⁸. Пусть составители сборника причисляют их ко второй волне, но это дела не меняет; теперь они на том свете, их больше не спросишь – что не дает права менять их биографию.

Верно, что почти весь контингент РОА, Русской освободительной армии Власова, состоял из настоящей «второй волны» – советских военнопленных. Но в какой мере они «сотрудничали с немцами»? В книге отсутствует исторический контекст. По немецким данным, общее количество пленных красноармейцев с начала наступления на СССР в июне и до конца 1941 года составляло 3,7 миллиона человек⁹. Вне зависимости от того, сдавались ли они в плен добровольно или были взяты в бою, всех отправляли за колючую проволоку. Положение пленных было безнадежным: голод, болезни, вши, зверское обращение, побои и за малейшие проступки – повешение. Сталин, считавший всех попавших в плен изменниками родины, отказался вступить в Женевскую конвенцию по гуманному обращению с военнопленными. В отличие от пленных англичан, французов и др., советские не пользовались защитой Красного Креста. Оставленные на фашистский произвол, они мерли как мухи. Можно ли им бросить упрек в коллаборационизме, если вступление в РОА было не только делом борьбы с советской властью, но и вопросом выживания? По-разному расценивая роль власовского движения, надо признать, что оно спасло много жизней.

И в заключение о редакционной статье, не могу не отметить слишком вольное использование слова «коллаборационисты», будто все причастные к РОА с удовольствием работали на немцев и выполняли их кровавые дела. Да не только в редакционной статье, термин этот разбросан по сборнику. Так в примечании к письму писателя Хомякова, где говорится («...Рутыч тоже писал статью о Казани...»), об этом авторе сказано следующее: «Рутыч Николай Николаевич (наст. фам. Рутченко; 1916–2013) – историк, общественный деятель. Коллаборационист». Кто после этого захочет читать его автобиографическую книгу «Сквозь земные тревоги», вышедшую в издательстве «Русский путь» в 2012 году? А жаль. Книга интересная, и еще вопрос, можно ли ее автора так безоговорочно называть коллаборационистом.

Для того, чтобы понять настроение и сложную тактику действий в условиях нацистской Германии, необходимо ознакомиться с воспоминаниями современников, таких как А. Казанцев, С. Фрëлих, В. Штрик-Штрикфельд¹⁰. На самом деле мало кто из русских питал иллюзии относительно гитлеризма, да и сами нацисты отлично пони-

мали, что русские ведут за их спиной двойную игру. Недаром многие испытали немецкие тюрьмы и концлагеря. Это в первую очередь коснулось НТС (Национально-Трудовой Союз): в 1944 году была арестована вся верхушка организации, включая председателя В. М. Байдалакова. Арестованы были и рядовые члены. Им всем вменялось в вину антинемецкая пропаганда, связь с партизанами и неподконтрольность их организации¹¹. Часть арестованных была отправлена в лагеря, других содержали в тюрьмах. Когда Германия оказалась в тисках приближающихся фронтов, руководство НТС было выпущено, но примерно 150 членов организации погибли в концлагерях¹².

Таковы некоторые соображения, касающиеся общих положений, затронутых во вступительной статье «Дипийцев». В основном они касаются путаницы с обозначением «второй волны»: то это выходцы из СССР, то – они плюс эмигранты первой волны, вновь снявшиеся с насиженных мест и влившиеся в ряды Ди-Пи. Спрашивается, происходит это от непонимания или за этим стоит некий новый подход к историческим фактам?

* * *

Материалы, предлагаемые в сборнике, разнообразны как по тематике, так и по качеству. Раздел «Дипийцы как феномен» открывает статья Е. В. Кодина «Мерл Фейнсод и первые оценки российской эмиграции в Европе, 1949 г.». Статья посвящена социологическому опросу невозвращенцев, проведенному профессором Гарвардского университета Фейнсодом среди бывших советских граждан. Первая волна Фейнсода не интересовала; ему интересно было приоткрыть железный занавес и ознакомиться с советской действительностью. Результаты опроса стали широко доступны в академическом мире и в американских правительственных кругах. В частности, Фейнсод старался определить отношение различных сословий к советской власти. Учитывая, что все опрошенные были невозвращенцами, то есть теми, кто заведомо негативно относился к советскому правительству, Фейнсод хотел конкретизировать – чем именно было вызвано недовольство советской властью у военных, крестьянства, интеллигенции, рабочих. На это, как он установил, у каждой категории были свои причины. При этом он пришел к выводу, что общее, по разным причинам, недовольство не угрожало стабильности советской власти, опиравшейся на органы безопасности.

Далее в сборнике помещена статья американского исследователя Бенджамина Тромли о деятельности ЦРУ в антикоммунистических организациях российской эмиграции в 1950-х годах, с упором на НТС. Для англоязычного читателя в ней мало нового; на эту тему, с

использованием рассекреченных в США материалов, уже вышел ряд книг. Для русского читателя, думаю, там много интересного. В центре внимания автора статьи – договор 1951 года о «взаимодействии» ЦРУ с НТС. Договор, как он пишет, предусматривал поощрение побега советских военнослужащих из оккупированных зон Германии и Австрии; создание пропагандистской радиостанции, а главное – акцию проникновения членов НТС в СССР путем их выброски на парашютах из немаркированных самолетов. Эта акция получила название «Каркас». Но сотрудничество проходило негладко. Автор отмечает, что ЦРУ стремилось установить шпионскую сеть, а «деятели оперативного штаба НТС от такой трактовки отказались, заявив, что они не агенты, ведущие военную разведку для иностранной державы, а члены политической организации, задачей которой было ускорить день революции». В результате ЦРУ пришлось смириться, что лидеры НТС «согласились на сотрудничество с ЦРУ лишь на условиях, которые не конфликтовали с их представлением о национальной миссии на родине». Всего, после тщательной подготовки и инструктажа, было в разное время сброшено тринадцать человек. Тромли пишет, что все они были сразу схвачены. На самом деле, по сведениям НТС, двое продолжали оставаться на свободе от двух до семи лет, один при задержании раскусил ампулу с ядом, а сведений о тринадцатом получено не было. Четверо десантников были в мае 1952 года расстреляны¹³. После этого все дальнейшие забросы десантов были прекращены. Провал операции «Каркас» был широко использован советской стороной для дискредитации как НТС, так и ЦРУ. Тромли не вникает в причины провала, ограничиваясь предположением, что это, вероятно, было «вызвано проникновением советских агентов в ряды эмигрантской организации»; он даже не упоминает о возможной причастности к провалу английского агента Кима Филби, ведавшего связью между британской разведкой и ЦРУ.

Тромли почему-то считает НТС «правой» организацией. Правыми же были монархисты, в глазах которых, да и некоторых других, «НТС отождествлялся с большевистствующими и фашиствующими течениями»¹⁴. Эту, в сущности центристскую, организацию можно было бы считать «правой» только в том смысле, что она стояла на позиции неделимости российского государства, категорически выступая против его расчленения.

Удивило меня и другое: говоря о похищении в 1954 году доктора А. Р. Трушновича, который был руководителем операций НТС в Берлине, Тромли утверждает, будто «многие эмигранты, а также немцы, считали, что деятель НТС действительно перешел на советскую сторону по своей воле». Быть может, так думали немцы, но не

русские. Александр Рудольфович Трушнович был известен как исключительно принципиальный человек и непримиримый противник коммунистической власти. К тому же, в эмигрантских кругах свежа была память о похищении генералов Мюллера и Кутепова; ясно, что к Трушновичу был применен тот же метод. Впоследствии выяснилось, что Трушнович был при похищении убит. Слухи о его добровольном переходе на советскую сторону могли исходить только от советской же агентуры.

Почти одновременно с этим произошло сенсационное покушение на жизнь руководителя НТС Г. С. Околовича. Совершить убийство было поручено капитану МВД Николаю Хохлову. Однако, вместо того чтобы исполнить порученное дело, Хохлов, явившись на квартиру Околовича, во всем ему признался и перешел на сторону НТС¹⁵. Это событие широко освещалось в прессе, но Тромли о нем даже не упоминает.

Не упоминает Тромли и еще один факт, касающийся НТС той эпохи: раскол и выход из него ряда членов организации, обусловленный именно недовольством финансовой зависимости НТС от ЦРУ и проведением так называемых «закрытых операций».

Финансовая поддержка ЦРУ русских эмигрантских организаций шла на убыль. Прекратив сперва субсидировать ЦОПЭ, оно последовательно снижало субсидии НТС, чья деятельность, пишет Тромли в заключение, «была сосредоточена главным образом на политической деятельности, такой как издание антисоветских материалов, контакты с советскими гражданами за границей, а также вывоз из СССР писаний советских людей (самиздат)». «Таким образом, – заключает он, – по отношению к российской эмиграции ЦРУ училось на своих ошибках.»

Следует отметить, что статья Бенджамина Тромли содержит обильную, хотя и не полную, библиографию русских и английских источников, по которым заинтересованный читатель может получить дополнительные сведения.

Последняя статья раздела «Дипийцы как феномен» – «Русский институт в Гармише и его русские сотрудники» В. Г. Ехновой. Речь идет о Русском институте сухопутных войск США в живописном альпийском курорте Гармиш-Партенкирхен (позже в Обераммергау). В аннотации говорится, что на примере судеб преподавателей и сотрудников института «прослеживается история второй волны русской эмиграции в Германии». В данном случае подразумевается именно вторая, т. е. в прошлом советская, эмиграция, составлявшая подавляющее большинство людей, привлеченных к работе в институте. Чета Поздеевых, Евгений Евгениевич и Елена Петровна, была редким исключением: супруги жили до войны в Польше, там полу-

чили образование. Про Елену Петровну Поздееву автор пишет, что она «выросла в той же патриотической и антикоммунистической атмосфере заграничной русской диаспоры, как и Евгений Евгеньевич».

Статья Ехновой развеивает миф, созданный в 1970-х годах фильмом «Судьба резидента», об американской «школе по подготовке разведчиков». Институт не был засекреченной организацией. В близлежащем Мюнхене все знали о его существовании, общались с людьми, которые там преподавали. Ехнова цитирует воспоминания одного из них – историка А. Г. Авторханова: «Учебная программа школы включала в себя все предметы, которые можно определить термином ‘советология’. Русский институт Американской армии – самая обыкновенная, но уникальная в системе американского образования школа повышения квалификации военных и гражданских дипломатов по русским делам. Здесь изучают русский язык и литературу, историю России, историю организации советского государства, его политику и экономику, его физическую и экономическую географию, идеологию и структуру КПСС, то есть все те учебные дисциплины, которые изучаются в нормальной школе».

В одном из примечаний Ехнова приводит также слова бывшего сотрудника института Ю. М. Пяткова, работавшего под фамилией Марин. В 1973 году он возник в Москве. Когда Пяткова спросили, был ли Русский институт «школой для подготовки разведчиков», он ответил: «Следует сказать – нет. В учебной программе школы никогда не было специальных предметов по технике шпионажа, обучению вербовки или конспирации. Выпускники Русского института, американские офицеры и гражданские сотрудники ряда учреждений, использовали знания, приобретенные в Гармише, в их дальнейшей профессиональной деятельности дипломатов, военных, исследователей, сотрудников государственных учреждений».

Одним из таких выпускников школы был мой покойный второй муж, американский дипломат Элий Флам (1933–2016), направленный туда перед назначением на должность помощника пресс-атташе Американского посольства в Москве. Сохранилась его курсантская работа 1972 года, посвященная анализу современной поэзии в СССР, которую он иллюстрирует десятком стихотворений в его собственном переводе на английский: «Реквием» Ахматовой, «Гамлет» Пастернака, подборка стихов Окуджавы и Вознесенского. С подстрочным переводом и нюансами русского языка ему помогала Елена Петровна Поздеева. Муж вспоминал ее с большим уважением.

Ехновой удалось собрать много материалов, сохранившихся от бывших курсантов. Она пишет в заключение: «Бывшие студенты с благодарностью вспоминают время, проведенное в Гармише, некото-

рые до мельчайших подробностей сохранили в своей памяти имена преподавателей и их рассказы об их 'советской' жизни и о войне, оставшейся неизлечимой раной в сердцах заброшенных на чужбину эмигрантов. Русский институт был для американских студентов не только школой, где они изучали свои науки, но и местом встреч с русскими людьми, местом, где их преподаватели пытались передать им вместе со своими знаниями свои чувства, свое понимание и свою мечту о России.»

* * *

Раздел «Дорога на Запад» открывается статьей «Ставшая второй первая волна: отъезд из Латвии в 1944 году бывших российских эмигрантов». Снова эта «вторя волна»... От того, что бывшие российские эмигранты уехали на Запад, они не сделались «второй волной» в общепринятом понимании. Даже сами авторы, С. Н. Ковальчук и С. А. Цоя, не отождествляют их с недавними выходцами из СССР. И не проще было бы назвать статью «Отъезд из Латвии в 1944 году бывших российских эмигрантов»?

Меня, родившуюся в Латвии и выехавшую оттуда летом 1944 года, статья озадачила не только этим. Вот самое начало: «С осени 1939 года для жителей Латвии началось бурное пятилетие. Первого сентября началась Вторая мировая война, правда, далеко от границ. Вскоре стало возможно на территории Латвии размещение военных баз Красной Армии, а для более 60 тысяч балтийских немцев прозвучал строгий приказ презреть многовековую укорененность в Прибалтике, культурно-исторические традиции и возвратиться в Германию». Позвольте, не начало войны осенью 1939 года послужило первопричиной ввода советских войск и репатриации немцев, а подписанный 23 августа того года в Москве «Пакт о ненападении» и «Секретный протокол» о разделе сфер влияния между Германией и СССР. Вот что позволило Сталину разместить в Прибалтике военные базы, ввести свои войска, а затем присоединить Литву, Латвию и Эстонию к Советскому Союзу.

Странно, что проживающие в Латвии авторы пишут: «Встречали Красную Армию с цветами и ликованием». Возможно, так это было показано в советской кинохронике. Я же помню другое: заранее подготовленную местными коммунистами манифестацию трудящихся. Они шли навстречу советским танкам, поднимая вверх кулаки в знак солидарности с диктатурой пролетариата. Затаившемуся мирному населению Латвии эти поднятые кулаки не предвещали ничего хорошего.

Об акте присоединения авторы пишут обтекаемо: «То, что произошло 17 июня 1940 года, по терминологии одних историков, полу-

чило название 'инкорпорация Латвии', по терминологии других – 'оккупация независимой страны', иные ученые писали о восстановлении советской власти, поскольку на несколько месяцев в 1919 году советская власть была установлена». Интересно, помнят ли эти «иные ученые» о Мирном договоре 11 августа 1920 года, в котором Советская Россия навсегда отказывалась от каких-либо притязаний на Латвию? Под договором стояла подпись Ленина.

Ковальчук и Цоя пишут, что было дальше: «В 1940 году, после вхождения Латвийской Республики в состав Советского Союза, начались основательные преобразования во всех сферах жизнедеятельности Латвии». Слово «преобразования» обычно воспринимается как нечто положительное. Можно ли к «преобразованиям» отнести изъятие частной собственности, национализацию предприятий, закрытие старых газет и замену их прокоммунистическими; устранение с должностей дирекций школ, министерств и прочих учреждений, замена их активистами из коммунистов? Или – усиленную обработку детей и молодежи, вербовку в пионеры и комсомол? Помню, как нам ставили в пример доблестного Павлика Морозова, донесшего на своих родителей...

Авторы не скрывают, что «вскоре начал набирать обороты и каток репрессий», но на самом деле репрессии, по заранее подготовленным спискам, начались немедленно – аресты и расстрелы. С. Н. Ковальчук, однажды написавшая прекрасную статью о журнале «Закон и суд», который издавал в Риге мой дед Петр Николаевич Якоби, не может этого факта не знать: он был арестован в самый день присоединения, и не он один¹⁶. «Самой большой репрессивной акцией», признают авторы, «стала многотысячная высылка мирного населения в ночь с 13 на 14 июня 1941 года, на восток СССР было отправлено 15425 человек разных национальностей, представителей всех социальных слоев общества, из этого числа 3751 были детьми до 16 лет». «На восток» означало не куда-нибудь, а в Предуралье и Сибирь. Для того, чтобы представить себе весь ужас этой акции надо обратиться к книге «Баржа на Оби», указанной авторами в библиографии¹⁷. Тамара Никифорова была девочкой, когда ее с матерью, сестренкой и бабушкой отправили в нескончаемый каторжный путь на край света. В районе Нарыма им выделили угол у нищей вдовой женщины. Вскоре от голода умерла бабушка, а затем и мать. Как и многие другие сосланные дети, Тамара и ее сестра остались сиротами, попали в детдом. Едва выжили.

Людей в Латвии продолжали забирать и после 14 июня, но уже не в массовом порядке. Мать приготовила для меня чемодан с сухарями и зимней одеждой, наказав ни в коем случае с ним не расставаться. Через

неделю Гитлер повел свое наступление на восток, Красная Армия отступала, бежали коммунисты и чины НКВД. Им было уже не до нас. Забрать нас не успели, но ужас, испытанный от приближающихся шагов на лестнице, навсегда залег в моем подсознании.

В статье не говорится, сколько людей погибло, сколько смогли вернуться из ссылки. Я обратилась за разъяснением к Т. Д. Фейгмане, занимающейся в Риге историей русской эмиграции. Вот ее ответ:

Да, 14 июня 1941 года из Латвии было депортировано более 15 тыс. человек. Плюс с 17 июня по июль 1941 года подверглись аресту еще 7292 человека. Из числа депортированных 5420 человек были арестованы и отправлены в лагеря, остальные на поселение. 6081 человек был расстрелян или скончался, т. е. приблизительно 40% из числа депортированных (в лагерях и на поселении).

Только в лагерях скончался 3441 человек. Приблизительно 700 были расстреляны. (Эти цифры не включают арестованных вне акции 14 июня.)

В 1946-47 годах были освобождены по инициативе Министерства просвещения ЛатвССР 1320 детей-сирот (по др. сведениям – 1800); 150 были призваны в армию.

В 1948–1953 – освобождены из ссылки около 300 человек.

В 1954–1955 – пригл. 900. В 1956 – 2941. В 1957 – 1596. В 1958 – 583. В 1959–1960 – 95.

Еще в 1960-е годы оставались на поселении бывшие высшие должностные лица и руководители националистических организаций, а также члены их семей. В 1962 освобождены – 4, в 1963 – 3, в 1967 – 14. Т. о. процесс освобождения завершился только в 1967 году.

Однако нет сведений, сколько человек из числа бывших репрессированных вернулись в Латвию.

Только представляя себе размер советского террора можно понять, почему много русских покинуло Латвию при приближении Советской армии в 1944 году¹⁸. Неверно приписывать это симпатией к немцам. Как можно было испытывать к ним симпатию, зная об уничтожении евреев; авторы статьи приводят страшную цифру – 70 тысяч! Как можно было испытывать к ним симпатию, видя бесчеловечное обращение с шатающимися от голода советскими пленными, которых гнали на работы и добивали прикладами тех, кто падал. Нельзя было испытывать симпатию к режиму, уничтожившему целые белорусские деревни, поджигая хаты вместе с запертыми в них стариками. Об этом мы узнали от детей, которых удалось выволить из концентрационного лагеря Саласпилс, чьи матери были отправлены

на смерть в Трелинку¹⁹. К нацистскому режиму можно было испытывать только отвращение и ненависть. Но когда к Латвии начала приближаться Советская армия, люди оказались между молотом и наковальней. Перед ними был выбор из двух зол, и оба, как говорится, «были хуже». Решения – уезжать или оставаться – принимались нелегко. В пользу отъезда говорило то, что Германии войну не выиграть, и делалась ставка на шанс попасть к приближающимся с запада союзникам. В числе уехавших было семейство Гримм, которому авторы уделяют в своей публикации отдельную главу. Они сообщают интересные данные о деятельности Ивана Давыдовича Гримма при управлении Православным экзархатом в Риге, а также о роли его сына Константина в качестве офицера связи при штабе Власова в Берлине, куда он привлек целую группу рижан из первой волны эмигрантов.

Иного характера публикация члена Латвийского общества русской культуры Бориса Равдина «Переписка в один конец». Она касается деятельности советского Комитета «За возвращение на Родину», основанного в Восточном Берлине в 1955 году. Официальным органом его была одноименная газета, которую получали бывшие советские граждане, проживающие на Западе, чьи адреса комитету удалось обнаружить. Люди стали получать не только газету; приходили им и письма от родственников со слезными призывами вернуться домой. Равдин публикует пример такого эмоционального шантажа, обращенного к журналисту и литературному критику А. К. Каракатенко в Западной Германии. Ему писали (несомненно с подсказкой) его старший товарищ, жена, сестры и дочь. Письма бьют в одну и ту же точку: «Возвращайся скорее, родной, тебя ждет вдохновенный творческий труд», – зывала сестра Клава. В таком же духе писали и другие. Всего приведено восемь писем. Письмо № 5 содержит, за подписью другой сестры, буквально следующее: «...Светит солнце Кремля – / Забываются дней ненастья. / Снова Родина, наша Земля / Наполняет сердца наши счастьем. / Приезжай, торопись...». Но и стихи не помогли: адресат остался на Западе. Сколько людей поддавалось на такие увещевания в газете, по радио и в письмах Равдин не указывает. Если таковые были, то раз-два и обчелся.

* * *

Раздел «Меж волн» – о точках соприкосновения между представителями первой и второй волн эмиграции. Он открывается статьей Е.Р. Пономарева о влиянии И. А. Бунина на литературу второй эмиграции, вернее, на «крупнейших представителей» ее. Тут «волны» определены верно: Бунин – первая волна; упомянутые писатели – вторая, выходцы из СССР. Но как понимать слова: «...межволновые

эмигранты и эмигранты второй волны видят в Бунине живого классика, единственного русского лауреата Нобелевской премии по литературе, олицетворение ушедшей русской культуры...»? Какой же он единственный, если в 1958 году уже был награжден Пастернак?

Пономарев считает, что Бунин оказал влияние на поэта Ивана Елагина, прозаиков Евгения Гегарина, Леонида Ржевского и Владимира Самарина. Можно ли Самарина считать «крупнейшим» – вопрос спорный. Зато к ряду выдающихся относились Геннадий Хомяков, Николай Нароков и сын его, поэт Н. Н. Моршен (их настоящая фамилия – Марченко). К выдающимся следовало бы отнести и поэтов Д. И. Кленовского и В. Ф. Маркова. Про Маркова Валентина Синкевич (тоже выдающийся поэт второй эмиграции) писала в посмертно вышедшем сборнике воспоминаний: «...его приняла почти вся элита литературной критики первой эмиграции»²⁰. Возможно, на этих Бунин влияния не оказал.

Вслед за литературоведческим очерком Пономарева следует статья А. В. Антошина об интересе старых российских социал-демократов в Нью-Йорке к Ди-Пи из Советского Союза. Антошин справедливо отмечает, что «у многих Ди-Пи, узнавших на своем опыте, что такое советская модель социализма, вызывали отторжение любые варианты социалистической доктрины». Вместе с тем, орган эсдеков, выходивший в США «Социалистический Вестник», стоял на высоком журналистском уровне; отдельными номерами его, попадавшими в лагерь Ди-Пи, зачитывались и старые, и новые эмигранты.

В своем исследовании автор использовал материалы из коллекции видного меньшевика Б. И. Николаевского, хранящиеся в Гуверовском институте при Стэнфордском университете в Пало-Алто, Калифорния. Николаевский живо интересовался эмигрантами из Советского Союза. Приехав из Нью-Йорка в Мюнхен, он искал встреч с представителями второй волны. Антошин цитирует одно письмо Николаевского, в котором тот писал: «Ко мне относятся с полным доверием, хотя я ни перед кем не скрываю, что ко всей политике того периода (Деятельность А. А. Власова. – *А. Антошин*) отношусь с полным отрицанием. Стал поверенным многих секретов». А в другом письме к своему другу меньшевику Д. Ю. Далину признался: «Интересных и по-настоящему хороших людей среди новой эмиграции много». Именно Николаевский собрал огромный архив материалов, относящихся к эпохе Ди-Пи. Политического слияния между социал-демократами и бывшими советскими не состоялось. Но в личном порядке социал-демократы оказывали им всяческую помощь – вещами, продовольствием, литературой, советами и даже по переселению в Новый Свет. Несправедливо поэтому письмо из архива

Николаевского некоей новой эмигрантки И. Ефремовой со всякими претензиями: «Старые эмигранты-генералы говорят, что я – советский продукт. С-д круги не любят меня за то, что я идейно на стороне Власова, а они считают его фашистом... Меня тянет всякий раз, как я прихожу на станцию сабвея, броситься вниз потому, что я не слышу русской речи и никому не нужна ни моя машинка, ни я вообще, ни мой талантишко, который у меня все-таки есть». А ведь приехала эта женщина в Америку со своей пишущей машинкой благодаря Вере Александровой, чьи авторитетные статьи о современной русской литературе печатались в «Социалистическом Вестнике», «Новом русском слове» и в «Новом Журнале». Была она женой видного меньшевика С. М. Шварца. Ефремова жаловалась, что не понравилась она Александровой. Вполне возможно. Только вряд ли это было вызвано тем, что она «ругала Сталина»! Не очень-то меньшевики жаловали Сталина, и наоборот.

В плане взаимоотношений между «старыми» и «новыми» ценна статья П. Н. Базанова, посвященная дружбе руководителя Народно-социалистической партии, давнишнего эмигранта С. П. Мельгунова и выходца из СССР историка Н. И. Ульянова. Автор суммирует сложный жизненный путь Ульянова: «Ученик Платонова, профессор советских вузов, он прошел через незаконный арест, лагерь, неожиданное освобождение, немецкий плен, побег, угон на принудительные работы в Германию, Дахау, лагеря Ди-Пи, бегство от советских органов, почти каторжную работу в Марокко. Пока, наконец, историк не возвратился к преподавательской и научной деятельности в Йельском университете (США)». Ульянова и его жену я знала по Марокко, поэтому могу раскрыть необычный его псевдоним, которым он пользовался в своих статьях для парижской «Русской мысли» и «Возрождения» – Шварц-Омонский. Дело в том, что, как и мой отец, Ульянов приехал в Марокко по контракту с фабрикой «Шварц и Омон». Поселили нас в небольшом фабричном поселке, принадлежавшем этой фирме. Отсюда и псевдоним. Иногда Ульянов подписывал свои статьи псевдонимами Казабланкский или Бурназельский, по названию поселка в предместье Касабланки, где поселились приехавшие из Германии русские Ди-Пи. Впоследствии встречала я Ульянова и в Америке, но ближе знала по Касабланке, где он привлекал меня к участию в его литературных вечерах.

Мельгунов ценил Ульянова как историка и заказывал ему статьи по национальному вопросу и украинскому сепаратизму для своего журнала «Возрождение». (Думаю, Ульянова тоже можно было бы отнести к первым рядам литераторов второй волны как историка, эссеиста и даже романиста²¹.) А дружба их возникла во время лич-

ных встреч в Париже. Близкие отношения сложились у Ульянова по приезду в Америку и с профессором Йельского университета историком Г. В. Вернадским. Но с кем бы ни соприкасался Ульянов, он оставался внутренне независимым. Политические группировки его не интересовали; для него важна была «забота о приумножении духовных национальных ценностей как величайшего козыря за возрождение России» (цитата, приведенная Бажановым). Единственной организацией, в которую вошел Ульянов, был Союз борьбы за свободу России (СБСР). Бажанов приходит к следующему выводу: «Два совершенно разных по характеру историка могли состоять только в организации, подобной СБСР, т. к. Союз являлся объединением интеллектуалов из первой и второй волн, занимавших четкие непререженческие позиции, объединявших правых социалистов, республиканцев и конституционных монархистов». Под «непререженческой позицией» подразумевался отказ от определения будущего политического строя России. Постепенно деятельность СБСР сошла на нет, а научная и творческая деятельность Николая Ивановича Ульянова продолжалась до глубокой старости. Он скончался 7 марта 1985 года в Нью-Хейвене, шт. Коннектикут.

* * *

Два материала в книге «Дипийцы» (помещены они в разных разделах) относятся к редактору журнала «Грани» Н. Б. Тарасовой: переписка с писателем Л. Ф. Зуровым и письма к ней нового эмигранта Н. И. Ширяева.

Статья А. В. Громовой, «Л. Ф. Зуров и журнал 'Грани'» ценна тем, что дает представление о литературном творчестве самого Зурова, чьи книги выходили малым тиражом, а имя его чаще всего ассоциируется с Буниным, т. к. Зуров был его секретарем. Одновременно автор публикации знакомит читателя и с «Гранями»: «Журнал литературы, искусства и общественной мысли выходит с 1946 г. с периодичностью до четырех книжек в год. Начал издаваться в Германии, в лагере Менхегоф, под редакцией одного из руководителей НТС Е. Р. Романова (Островского)». Автор отмечает, что журнал выходил в издательстве «Посев», но официально он не был органом НТС. В 1952–1955 гг. редактором был писатель Л. Д. Ржевский, в 1955–1961 гг. – Романов. В 1956 г. в состав редакционной коллегии вошла Наталья Тарасова, вскоре став заместителем Романова, а с 1962 по 1982 гг. – главой редколлекции.

О Наталье Борисовне Тарасовой (1921–2006) Громова сообщает следующее: уроженка Киева, была она дочерью археолога профессора Б. К. Жука, выступавшего в защиту старинных памятников и свя-

тынь, предотвратившего гибель ряда церквей и уничтожения старинных икон Киево-Печерской лавры. Дочь его училась на биологическом факультете Киевского университета; покинув с родителями оккупированный Киев, продолжила образование в Австрии – в университетах Вены и Инсбрука. В 1946 году она вышла замуж за члена НТС Сергея Тарасова. Могу добавить, что Тарасов, сын русских эмигрантов из Праги, был активным членом НТС, а также и всеми любимым скаутским руководителем ОРИОР. Он рано скончался, и Наталья Борисовна вторым браком была замужем за членом НТС Михаилом Парфеновым. Из статьи Громовой я узнала, что в 1983 г. Тарасова ушла в православный Леснинский монастырь во Франции, приняв постриг с именем Александра.

Тарасова отдавала журналу много сил. Это было интересное, но и трудное время. Вначале там печатались по большей части произведения авторов из Ди-Пи. Но вскоре, как отмечает автор исследования, установились отношения с эмиграцией первой волны; сперва Ржевский, а потом Тарасова ездили в Париж, чтобы привлечь таких авторов как Зайцев, Ремизов, Тэффи; печатались в «Гранях» и воспоминания вдовы Бунина, «а уже с середины 1950-х гг., – пишет Громова, – журнал начал публиковать неподцензурных авторов, живших в Советском Союзе». Она приводит имена Бродского, Владимирова, Войновича, Галича, Гроссмана, Домбровского, Максимова, Некрасова, Окуджавы, Пастернака, Солженицына и др. Таким образом, «Грани» сделали фактически единственным журналом отражавшим всю широкую панораму литературы второй половины прошлого столетия по эту и ту сторону границ СССР. В этом огромная заслуга Тарасовой. Ей не только приходилось заниматься составлением журнала и корректурой, но и вести переписку с авторами, доставать материалы «оттуда» – да таким образом, чтобы не подвести самих писателей и лиц, передававших произведения. Ко всему этому прибавились материальные заботы. 5 января 1961 г. она делится с Зуровым: «Я сейчас всё свое время ухлопываю на трудные дела: вероятно, Вы уже слышали, что ‘Граням’ отказано в помощи от издательства ‘Посев’, которое само после брошенной во дворе издательства бомбы очень пострадало. ‘Граням’ предложено, если я заинтересована в выходе журнала, разыскивать средства. Знаете ли Вы, как я люблю этот журнал? Вряд ли Вам нужно это рассказывать. И вот я пишу и пишу бесконечные письма во все места и всем людям, где надеюсь на дружеский совет и дружескую помощь». «Грани» выжили. Они выходят по сей день, теперь в Москве. Правда, уже не под сенью издательства «Посев», а как самостоятельный альманах.

Второй эпистолярный материал, относящийся к Тарасовой,

дополняет картину ее преданности журналу. Автор этих писем – писатель второй волны Борис Николаевич Ширяев. Привожу его данные по предисловию к первой публикации его автобиографической книги о штрафном лагере на Соловках «Неугасимая лампада», вышедшей в Нью-Йорке²². Ширяев родился в 1889 году. Окончил Московский университет. Посвятил себя педагогической деятельности, прерванной Октябрьским переворотом. В 1922 был приговорен к смертной казни, но казнь заменена десятью годами концлагеря на Соловках. Позже срок заключения был сокращен. Война застала его в Ставрополе. Вскоре после оккупации Северного Кавказа немцами Ширяев оказался в лагере в Германии, а в начале 1945 года судьба забросила его в Италию. Там он обосновался с женой в городе Сан-Ремо.

Самого Ширяева я не знала. Зато в его книге «Неугасимая лампада» я встретила имя сосланной на Соловки сестры моей бабушки. Там, отбывая свои сроки на каторжной работе, судьба свела их, как это ни парадоксально, в соловецком театре, созданном узниками лагеря. Для них, как пишет Ширяев, соловецкая сцена «была не средством переключения на более легкую работу, но возможностью вернуть свою, порою неосознанную, потребность творчества»²³. Ширяев дает описание мужского коллектива актеров, самых различных по своему социальному происхождению и профессии, а о женском составе пишет: «Среди актрис профессиональных совсем не было, но и здесь наблюдалась такая же пестрота: кавалерственная дама, смолянка, вдова командира одного из гвардейских полков Гольдгоер²⁴ выступала вместе с портовой притондержательницей Кораблихой... На Соловках в ней обнаружился яркий талант комических старух²⁵. Мастерила она для театра и парики». Так, благодаря Ширяеву, я узнала об успехе моей двоюродной бабушки на соловецкой сцене.

Письма Ширяева Наталье Тарасовой представляет член Академии наук М. Г. Талалай, хорошо знающий творчество писателя, т. к. имел непосредственное отношение к публикации в России его «Неугасимой лампады» и выходу в издательстве «Алетейя» произведения Ширяева «Ди-Пи в Италии. Записки продавца кукол». Письма Ширяева относятся к 1955–1959 гг. «Первоначальное литературное сотрудничество на расстоянии перерастает в теплую дружбу, и обращение *Наталья Борисовна* сменяется на *Наташеньку*», – отмечает Талалай.

Переписка с Зуровым тоже была сердечной, но при сравнении обнаруживается интересный контраст: в первом случае речь шла о привлечении к «Граням» живших во Франции авторов первой волны, во втором – жесткая их критика. Уже в самом первом публикуемом

письме Ширияев дает редактору «Граней» такой совет: «Очистив журнал от ремизовщины, ползания у бунинских ног и прочей староэмигрантской завали, Вы сделаете очень большое дело и послужите современной русской литературе (подчеркнуто автором), рупором зарубежной ветви которой должны стать 'Грани'». Неприязнь Ширияева к «парижанам» сказывается и в других письмах. Талалай объясняет это тем, что «парижане» не соответствовали крайним монархическим взглядам, к которым пришел Ширияев. Ответных писем Тарасовой обнаружено не было, но ясно, что сетования Ширияева на содержании «Граней» не отразились.

Как ни странно, взгляды Ширияева и его сотрудничество с крайней монархической газетой Солоневича «Наша страна» в Аргентине (тот тоже прошел через Соловки) не помешали Ширияеву установить хорошие отношения не только с Тарасовой, но и с ее окружением во Франкфурте, где взгляды Солоневича высоко не котиrowались. Более того, Ширияев печатался не только в «Гранях», но также в «Посеве». Там, в частности, появились его статьи о прекрасном поэте второй волны Д. И. Кленовском и о только что вышедшем в Италии романе «Доктор Живаго». Значительная часть писем Ширияева касается его повести «Кудеяров дуб», которая была опубликована в двух номерах «Граней» (№ 36 и № 37), а затем вышла отдельной книгой.

Последние письма Ширияева пишутся под диктовку его женой, о чем свидетельствует ее приписка: «Целую и от души сочувствую, так как сама уже полтора года кружусь возле постели Бориса и гоняю во все заставки. Нина». Борис Николаевич Ширияев скончался в Сан-Ремо в 1959 году.

Тематически связаны с двумя предыдущими публикациями и письма писателя Владимира Варшавского к руководству издательства «Посев» в публикации А. В. Мартынова. Автор представляет ее следующим образом: «Статья посвящена взаимоотношениям первой волны эмиграции с издательством, созданным представителями второй волны. Показаны мировоззренческие различия между волнами русского зарубежья». Варшавский, надо сказать, к Ди-Пи не принадлежал; конец войны застал его во Франции, где он жил и раньше. Переписка его велась с главным редактором Е. Р. Романовым (вторая волна) и с редактором А. Н. Артемовой (первая волна)²⁶; особых «мировоззренческих различий» я в этой переписке не усмотрела. Она носит, в основном, деловой характер и касается планов публикации повести Варшавского «Ожидание». Предположение Мартынова, что неудача с публикацией в «Посеве» была вызвана критическим отношением Варшавского к НТС недоказуемо: все трое обращались друг к другу в самом доброжелательном духе; Романов даже сообщил

Варшавскому, что его повесть произвела на Артемову «большое впечатление своей искренностью и глубинной постановкой вопроса». Видимо, она вложила в нее уже немало труда, т. к. очень подробно объясняет автору внесенные ею поправки, особенно касающиеся пунктуации. Можно только поражаться тому, как эта женщина, выросшая в отрыве от России, сделалась высококвалифицированным русским редактором и корректором!

Судя по всему, подготовка публикации продвигалась, но наткнулась в 1971 г. на трудности финансового характера. «Посев» испытывал тогда серьезную денежную нехватку, а объем работы увеличился по мере поступления рукописей для «тамиздата». Приходилось экономить, где можно, даже на оплате сотрудников. По данным, полученным от представителя «Посева» в Москве Оксаны Кузнецовой, с 1945 по 1992 гг. в Германии (Менхегов, Лимбург, Франкфурт) «Посев» выпустил порядка 400 книг, из них примерно половина – «тамиздат»; а с момента перевода издательства в Москву в «Посеве» вышло 149 наименований.

Что касается повести Варшавского, то был план поделить расход между «Посевом» и автором, но это оказалось Варшавскому не по карману. Не нашлось для повести средств и у двух других издательств. В конце концов, книга увидела свет в парижском издательстве ИМКА-Пресс (YMCA). Теперь произведения Варшавского вышли на рынок в московском издательстве «Русский путь» при Доме Русского Зарубежья им. Александра Солженицына.

* * *

Более четверти книги занимает «Переписка Н. Е. Андреева и Г.А. Хомякова, 1952–1982 гг.». Я знала и того, и другого. К сожалению, приведено всего несколько писем Андреева, остальные обнаружены не были, о них можно судить только по ответным посланиям Хомякова.

Историк, литературный критик и писатель Андреев был яркой личностью, обладателем прекрасного «выпуклого» русского языка, большим эрудитом, к тому же с чувством юмора. Николай Ефремович Андреев (1908–1982) родился в России, вырос в независимой Эстонии, высшее образование получил в Чехословакии, где позже работал в Археологическом институте им. Н. П. Кондакова. Приход советских войск застал его в Праге. В мае 1945 он был арестован СМЕРШем и пробыл два года в заключении. Затем два года в Берлине, оттуда – в Гамбург, в британскую зону оккупации. Затем был приглашен на должность преподавателя в Кембридже, где впоследствии обрел профессуру и обзавелся семьей. Дочь его, историк Екатерина Николаевна

Андреева, участвовала вместе с П. А. Трибунским в подготовке текста и комментариев; она также является соавтором вступительной статьи к этой публикации.

Современник Андреева, Геннадий Андреевич Хомяков (1906–1984), родился в Царицыне, начал работать журналистом, но в 1927 году был арестован по обвинению в принадлежности к антисоветской организации и приговорен к заключению, которое отбывал в 1927–1935 гг. в разных лагерях. Далее авторы вступительной статьи сообщают, что мае 1942 года в составе частей Красной Армии Хомяков попал в плен и пробыл в лагере для военнопленных до мая 1945-го, т. е. до самой капитуляции. На какое-то время он поселился со своей немецкой супругой в деревне около Рендсбурга, а потом переехал в Гамбург, где вернулся к литературной деятельности, начав публиковаться в «Посеве» под псевдонимом... Андреев! Андреев настоящий и Андреев-Хомяков встретились в Гамбурге летом 1948 году. Эти два человека, первоначально из разных миров, легко нашли общий язык. Сблизило их и общение с НТС. Николай Ефремович формально в НТС не вступал, но участвовал в редакционных заседаниях «Посева», посещал собрания НТС. Часто наезжая из Кембриджа в Лондон, он встречался там с группой членов НТС, в которую входил мой муж Валериан Александрович Оболенский, издававший, одновременно с работой на БиБиСи, газету «Россиянин», в которой Андреев принимал активное участие²⁷.

Хомяков оказался вовлеченным в деятельность НТС в большей мере, нежели Андреев, став активным его членом. Переехав в 1951 году в Лимбург, близ Франкфурта, где тогда находился центр НТС, Хомяков вошел в редколлегию «Граней» и участвовал в работе радиостанции «Свободная Россия». Центральной темой переписки того периода было активное сотрудничество Андреева в «Посеве» и «Гранях», а также вопросы творчества обоих: «Эта ранняя часть переписки дышит энергией и энтузиазмом с обеих сторон», – сказано во вступительной статье.

Но вот в 1954 году, в период раскола НТС, Хомяков, как и ряд других лиц, порывает с организацией. Следующая серия писем относится ко времени работы Хомякова в русской редакции мюнхенского отделения «Голоса Америки», где мы оказались коллегами. А 19 сентября 1958 года Хомяков пишет Андрееву: «Дорогой Николай Ефремович, мы только что вернулись из большой поездки по Италии, устроили себе вроде отпуска по случаю увольнения из ‘Голоса Америки’». Необходимо уточнить: Хомяков не был уволен в индивидуальном порядке – были раскассированы все языковые редакции мюнхенского отделения «Голоса Америки», остались только студии и

костяк его персонала; крупный европейский радиоцентр был превращен в корпункт. Кстати, в отношении «Голоса Америки» в примечаниях допущены две ошибки: основан он был не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке, а впоследствии, наоборот, центр был переведен из Нью-Йорка в Вашингтон.

Хомяков получает приглашение войти в редколлегию альманаха «Мосты», которое задумало издавать ЦОПЭ. Воодушевленный этим проектом, Хомяков старается привлечь к нему Андреева, а также других видных авторов. Одновременно Хомяков начинает писать статьи для радиостанции «Освобождение» (позже «Свобода»), куда перешел бывший начальник русской службы мюнхенского «Голоса» Чарльз Львович Маламут, которого Хомяков упоминает в одном из писем. Вскоре Хомяков и сам туда поступит, не оставляя, однако, «Мостов». Судя по письмам Андрееву, вся тяжесть альманаха легла на его плечи. Письма интересны тем, что затрагивают многих авторов того времени, известных и мало известных. Отражены в переписке, естественно, и события, связанные с награждением Нобелевской премией Пастернака и травлей его в Советском Союзе. «История гнусная, но и 'показательная'; вся действительно чернь взыграла, распоясалась», – писал Андреев из Мюнхена 9 ноября 1958 года. А 30 ноября он сообщает Андрееву о планах издать брошюру отзывов о деле Пастернака: «Будет что-то под лозунгом: трагедия Пастернака – трагедия России».

Став работать на «Свободе», Хомяков оформил с женой их иммиграцию в США, кратко съездив в Америку. В промежутке всё больше крепла дружба с Андреевым – и не только эпистолярная; они дружили домами, о чем свидетельствуют фотографии их взаимных визитов. В 1967 году Хомяковы окончательно переезжают в Америку, и Геннадий Андреевич начинает работать в нью-йоркском отделении «Свободы», где директором программного отдела был в то время мой муж, принесший туда свой опыт работы на БиБиСи. Радиостанция «Свобода» упоминается в «Дипийцах» в разных контекстах. К сожалению, очерк Р. В. Полчанинова «С Хомяковыми и другими на радио 'Свобода'» не дает полного представления о составе сотрудников, к тому же есть ошибки: почему-то Полчанинов называет Юлиа Осиповича Козловского, чьей голос звучал в эфире, и его жену поляками; они не только считали себя русскими, но были основателями Русского театра в Нью-Йорке²⁸. Нет упоминания о Варшавском, о беседах на религиозные и культурные темы отца Александра Шмемана или участия в программах поэта Владимира Дукельского, которого в Америке знали как композитора Вернона Дюка (Vernon Duke), и ряда других деятелей, привлеченных к радиопередачам «Свободы» из широких кругов русской общественности, зарекомен-

довавших себя компетентными специалистами в разных областях науки, искусства и литературы.

Работая на «Свободе», Хомяков не оставляет и «Мосты»; ему удалось выпустить еще несколько номеров альманаха. В январе 1972 года Хомяков выходит на пенсию и переезжает с женой из Нью-Йорка в купленный ими дом у берега Атлантического океана в городе Бейвилл, шт. Нью-Джерси. Там Хомяковых в 1977 году посетят Андреевы. Хомяков пишет статьи для «Нового Журнала» и нью-йоркской газеты «Новое русское слово», в свободное время предаваясь любимому занятию – рыбной ловле. Скончался Геннадий Андреевич 4 февраля 1984 года, оставив после себя две автобиографические повести: «Трудные дороги» и «Соловецкие острова».

* * *

Заканчивается книга «Дипийцы» очерком профессора Феофана Ставру из Университета Миннесоты «Дань уважения Василию Ивановичу Алексееву (1906–2002)». Василий Иванович Алексеев – еще одно знакомое мне лицо: в нашей мюнхенской послевоенной гимназии он преподавал историю. Как пишет Ставру, Алексеев принадлежал ко второй волне русской эмиграции и был олицетворением «лучших представителей России за рубежом». Ставру сообщает, что Алексеев окончил в 1930 году Московский университет, вскоре был арестован и приговорен к пяти годам тюремного заключения. Могу дополнить эти сведения: университет он окончил по русской истории, обвинение ему было предъявлено в «создании контрреволюционной организации», а на самом деле – религиозно-философских кружков. Он отбыл три года лагерей. Далее – война, фронт, немецкий плен... По выходе из плена женитьба на Людмиле Васильевне, в первом браке Шаховской, эмигрантке первой волны из Праги. В 1951 году он с женой и пасынком уехал в США, осев в Миннеаполисе, где защитил докторскую диссертацию по положению Русской Православной Церкви на оккупированной немцами территории во время Второй мировой войны.

Ставру, считавший Алексеева своим учителем, указывает на две книги Алексеева: «Невидимая Россия» (Нью-Йорк, 1952), которая отражает убежденность Алексеева в том, что «навязанная советская культура ни в коем случае не является непобедимой или долговечной», и «Россия солдатская» (Нью-Йорк, 1954). История Православной Церкви на Руси и в СССР оставалась основной темой исследований Алексеева до конца жизни. Василий Иванович скончался 6 октября 2002 года. Его обширная библиотека и архив перекочевали к вдове пасынка, Сергея Шаховского, в Новую Мексику; оттуда – через наш

комитет «Книги для России» — сделались достоянием фондов Дома Русского Зарубежья.

* * *

Коснуться всех материалов в сборнике «Дикийцы» не представляется возможным, слишком велик объем книги. Думаю, обозреваемых материалов достаточно, чтобы показать, насколько представленные материалы различны по тематике и по качеству; многие информативны и содержательны, некоторые поверхностны, другие — спорные. А такие, как, например, переписка писателя Леонида Ржевского с писателем третьей волны Владимиром Максимовым, с моей точки зрения, имеют к основной теме лишь косвенное отношение. Зато к несомненным заслугам «Дикийцев» следует отнести огромную библиографию, представленную авторами отдельных статей. По ней читатели и будущие исследователи смогут извлечь дополнительные сведения, расширить свои познания по интересующим их темам и сделать собственные выводы.

* * *

Переходя ко второй книге на тему о Ди-Пи, следует сразу сказать, что вышедший в Германии «Шляйсхайм» исследователя Елены Кулен²⁹ охватывает весь период этого исторического феномена, с самого его возникновения и до того момента, когда Ди-Пи перестали существовать как категория лиц без постоянной страны проживания. Это произошло в 1953 году, после упразднения последних лагерей для перемещенных лиц и перевода тех, кто не уехал, на права постоянно проживающих в ФРГ иностранцев.

О том, как слово «Ди-Пи» вошло в обиход, Кулен пишет: «Этот англо-американский термин западных союзников был впервые введен в оборот Меморандумом союзников «Allied Post-War Requirements Bureau» от 6 января 1942 г.». И далее: «Начиная с 9 октября 1943 г., времени основания УНРРА, Международной организации по оказанию помощи беженцам и восстановлению, по декабрь 1946 г. термин ‘Ди-Пи’ использовался всеми четырьмя оккупационными военными администрациями в Германии, включая СССР. С декабря 1946 г. СССР перестала (Так в тексте. — Л. О.-Ф.) использовать этот термин, заменив его понятием ‘репатриант’».

ЮНРРА (УНРРА) приступила к исполнению своих обязанностей еще до капитуляции Германии, по мере продвижения фронтов, принимая на себя опеку над освобожденными иностранцами. Учитывая общую разруху, организация помощи была делом непростым. Когда же оккупированной оказалась вся Германия, то численность перемещен-

ных лиц, нуждавшихся в немедленной помощи, задействовала ресурсы этой организации до предела. Кулен приводит таблицы данных как о численности людей разной национальности, попавших под опеку ЮНРРА (УНРРА), так и о затратах на их содержание и по доставке домой.

Рисуя широкую картину положения перемещенных лиц в послевоенной Германии, останавливаясь на процессе добровольной и насильственной репатриации, Кулен далее анализирует специфическое положение русских Ди-Пи – старых эмигрантов и бывших советских граждан. В отличие от эмигрантов первой волны, эти «вторые» в течение двух с лишним послевоенных лет были под непосредственной угрозой насильственной депортации. Напоминает Кулен и про то, как СМЕРШ охотился за ними в индивидуальном порядке, вплоть до похищения людей на улице.

Была ли ЮНРРА причастна к проведению насильственной репатриации людей, на возвращении которых Сталин настоял при подписании Ялтинских соглашений? – Делалось это руками военных, но ЮНРРА тому не препятствовала, что не прошло незамеченным; по решению ООН, ЮНРРА должна была сдать свои полномочия к лету 1947 года. Вот что пишет Кулен: «Это объясняется, прежде всего, критикой этой организации со стороны американской общественности и Конгресса США из-за насильственных выдач перемещенных лиц разной национальности, большую часть которых составляли советские граждане». Кулен отмечает и шаткое положение Ди-Пи из стран Восточной Европы – Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии; они тоже отказались возвращаться туда, где устанавливался коммунистический режим, и «старались отстоять право на политическое убежище в Западной Германии». (Почему-то не упомянуты прибалты.)

На смену ЮНРРА пришла ИРО – Международная организация по делам беженцев, львиную долю финансирования которой вновь взяла на себя Соединенные Штаты. В ведение ИРО перешли все лагеря перемещенных лиц. Новая организация приступила к их консолидации, в результате чего Шляйсхайм сделался самым крупным лагерем для русских Ди-Пи, впитав в себя жителей других лагерей американской зоны: Менхегов, Фюссен, Кемптен, Регенсбург... – вместе с их духовенством, школами и молодежными организациями. Так, переходя от общей картины, Кулен наводит фокус на этот расположенный на окраине Мюнхена бывший военный аэродром, ставший целым беженским городом.

Для своего исследования Кулен использовала огромное количество материалов из американских, немецких и русских архивов.

Книга была бы сухой и не давала бы представления о настоящем положении Ди-Пи, если бы Кулен не дополнила ее воспоминаниями очевидцев. Она успела захватить свидетельства представителей быстро уходящего поколения. Таким образом, мы имеем перед собой не только статистику, но слышим голоса людей, сохранивших живую память о той отдаленной эпохе.

Одной из свидетельниц стала проживающая в штате Массачусетс вдова протоиерея Романа Лукьянова матушка Ирина Лукьянова. Ей довелось присутствовать при трагическом эпизоде насильственного увоза людей из лагеря Кемптен. Произошло это во время богослужения в лагерной церкви, куда ворвались американские солдаты. В ход были пущены дубинки и приклады, был разгромлен алтарь, священника потащили за бороду, женщин волокли за волосы... Некоторые пытались покончить с собой. Увезено было 80 человек. Остальных впоследствии перевели сперва в Фюссен, потом в Шляйсхайм. Подобные сцены происходили и в других местах.

Однако большинство собранных Кулен показаний относится к более спокойному времени, когда под давлением общественного мнения отпала угроза насильственной депортации. Следует учесть, что опрошенные принадлежали к младшему поколению, в пору Ди-Пи они были подростками или даже детьми. Поэтому их воспоминания окрашены в более розовые краски, нежели были бы у их, ныне покойных, родителей и дедов, озабоченных не только проблемами сегодняшнего дня, но и перспективами на будущее: всем было ясно, что проживание в лагерях, на полном обеспечении, явление временное; что в разоренной Германии для них места нет и надо выбирать иную страну проживания, куда попасть нелегко. Тем не менее, из этих воспоминаний и собранных исследователем фактов складывается рельефная картина устройства шляйсхаймского лагеря и жизни его обитателей.

Шляйсхайм состоял из двух лагерей – русского и украинского; каждый жил своей самостоятельной жизнью. В русском Шляйсхайме в пору его «расцвета» в 1948 году находилось 5343 человека. Кулен подробно (порой слишком подробно) описывает, как обустроивались доставленные туда люди. Размещали их в бараках бывшего аэродрома, где на семью приходилось по комнате; несемейные отделялись друг от друга одеялами. Кормили сытно, но однообразно, преобладал гороховый суп с бужениной. Недаром главная улица Шляйсхайма получила название Гороховой. Было налажено медицинское обслуживание, заработали школы, наладилась церковноприходская жизнь.

Сегодня в представлении некоторых слово «лагерь» может казаться чем-то изолированным, закрытым. Верно, что вначале доступ в лагерь был ограничен, особенно для немцев: Ди-Пи находи-

лись в лучшем положении, чем немецкое городское население, которое вынуждено было жить на скудные продовольственные карточки. В таком же положении оказались и этнические немцы, попавшие в Западную Германию из Восточной Европы. Лагерная администрация старалась предотвратить утечку продовольствия. Вначале оба входа в лагерь контролировались американскими солдатами, потом служащими лагерной полиции – русскими и украинцами, а затем был снят всякий контроль. Приезжавший из Мюнхена городской автобус имел свою конечную остановку в самом центре лагеря – приезжай кто хочет. Жители Шляйсхайма, в свою очередь, могли спокойно отлучаться; кое-кто регулярно ездил в город на работу, но легче было получить работу в самом лагере: на кухне, по снабжению, в охране, а со знанием английского – в администрации. Получали небольшой оклад и преподаватели школ.

Школьному делу Кулен отводит целую главу. Оно было поставлено в Шляйсхайме отлично. Администрации лагеря было предписано предоставить для школы помещение. В нем и разместилась начальная школа и гимназия им. Д. И. Менделеева. Кулен сообщает важную деталь: «Модель структуры школ была предписана американской оккупационной администрацией с января 1946 г. и приближена к системе народного просвещения Германии». Поэтому выпускники гимназии получали аттестат зрелости, признанный баварским Министерством образования, что открывало дорогу в высшие учебные заведения в самой Германии, аттестаты также признавались в других странах. А о высоких качествах преподавательского состава Шляйсхаймской гимназии можно судить по их приведенным в книге биографиям.

Отдельную главу Кулен отводит внешкольному воспитанию и юношеским организациям – скаутам (ОΡΙΟΡ), «соколам», Христианскому союзу молодежи (УМСА.) Для их летних лагерей на природе оккупационные власти предоставляли палатки, необходимое оборудование и специальный паек. Интересно отметить, что лагерная администрация совершенно не вмешивалась в программу этих организаций, предоставляя им полную свободу в проведении воспитательной работы и не спрашивая, почему, например, скауты поднимают на своих Шляйсхаймских слетах трехцветный русский флаг. Благодаря школе, лагерям и слетам, и еще потому, что ребята постоянно общались друг с другом внутри лагеря, эти «дикийские» годы остались в их памяти радостным воспоминанием. Дружба продолжалась и впоследствии, вне зависимости, куда забросила судьба (чаще всего, в США). Ностальгия по тем юношеским временам выражалась в проведении съездов бывших шляйсхаймцев, где возобновлялись старые знакомства, где друзья узнавали, кто кем стал, у кого какая семья.

Очагами общих интересов в Шляйсхайме служили «кружки» – религиозно-философский, литературный, а еще – молодежный театр, учрежденный бывшей актрисой Киевского театра Т. А. Левицкой. Об этом театре Кулен услышала в Нью-Йорке от дочери актрисы, художницы Вероники Гашуровой, участницы спектаклей, сохранившей программки и фотографии выступлений.

Не успели отгнать орудия войны, как среди русских групп Ди-Пи заработали ротаторы и затеплилась литературная жизнь: Менхегоф, Регенсбург, Дом милосердного самарянина в Мюнхене, а затем и Шляйсхайм, стали выпускать бедненькие книжонки, учебники, стихи; стали выходить газеты «Посев» и «Эхо» и еще юмористический журнал «Сатирикон», впоследствии переехавший из Менхегофа в Шляйсхайм. Из него мы узнаем о существовании там шуточно названной «Академии художеств им. Орехова и фотостудии ‘Размножение’» – то был жилищный барак, в котором одна комната отведена под уроки рисования художника Орехова, преподававшего детям и взрослым.

Одну из Шляйсхаймских улиц «Сатирикон» окрестил «Аллея любви, или бракоразводная»; там было управления ИРО, оформлявшее браки, а иногда и разводы. Фигурирует в «Сатириконе» и «Дворец изобилия ‘Барахло’», где выдавались подержанные вещи, присланные благотворительными обществами из США. Там же выдавали талоны на получение пальто, брюк, платьев, обуви. А «Проездом сухопайщиков» журнал обозначил пункт выдачи сухих пайков – их, как поясняет Кулен, распределяли раз в две недели. Сюда входили непременно сигареты (ходкая валюта), кофе, консервы, шоколад и пр. продукты.

Ди-Пи был народ изобретательный; постепенно там стали предлагать свои услуги портнихи, парикмахеры и прочие мастера своего дела, работавшие у себя в бараках. Заработали ресторан и закусочные. Кое-кто завел кур и развел огороды; появился и черный рынок, на который лагерная администрация смотрела сквозь пальцы.

Но «не хлебом единым» жили в Шляйсхайме взрослые: там оказалась довольно большая группа художников, которым Кулен посвятила целую главу. Часть из них позже переселилась в США, где они продолжали поддерживать связь друг с другом и участвовать в общих выставках. Не менее интересна глава о богатой шляйсхаймской библиотеке – уникальном собрании книг – и о его происхождении, восходящем к Дому Романовых. Поступали туда книги и из других источников. При наличии всеобщего книжного голода в послевоенной Германии, библиотека отвечала неутолимой жажде русского читателя. Библиотека со временем перешла к Толстовскому фонду. Она существует в Мюнхене по сей день и называется Толстовской.

Значительная часть книги отводится церковной жизни и православному духовенству, чей клир оказался весьма многочисленным. Ценные сведения и документы для этого раздела были предоставлены Елене Кулен недавно скончавшейся поэтессой Ираидой Легкой (Пушкаревой) – ее отец, Иоанн Легкий, был в Шляйсхайме священником (впоследствии архиерей). Интересующиеся послевоенной историей Православной Церкви найдут для себя в книге «Шляйсхайм» богатый материал.

Но Шляйсхайм был лишь «остановкой в пустыне». Процесс переселения в иные страны – отдельная большая тема, которой автор уделяет много внимания, объясняя, какие бюрократические препятствия приходилось преодолевать людям, стремящимся пустить корни в новой стране. Тут Кулен отдает должное огромной роли гуманитарного Толстовского фонда, его неутомимой основательнице Александре Львовне, дочери писателя, и ее энергичной помощнице Татьяне Алексеевне Шауфусс, открывшей представительство Фонда в Мюнхене. Толстовский фонд способствовал переселению многих русских в США; он находил необходимые гаранты, работодателей и спонсоров, а также, если нужно, предоставлял ссуду на оплату переезда. Кулен пишет: «Стоит остановиться на странах, в которые Толстовский фонд организовал въезд православных дипийцев <...> Для христианских беженцев предлагались следующие страны: США, Австралия, Канада, Англия, Франция, Аргентина, Бразилия, Бельгия, Венесуэла...» Всё так, но почему – «православные» и «христиане»? В каких анкетах содержался вопрос о вероисповедании? Возможно, только в тех, что исходили от Синода Православной Церкви. Толстовский же фонд, как ИРО и другие организации, оказывал помощь по переселению без различия вероисповедания. С другой стороны, можно было бы отметить, что, принимая у себя Ди-Пи, отдельные страны руководствовались не столько гуманитарными соображениями, сколько экономическими: Англии и Бельгии нужны были шахтеры, Канаде – лесорубы, Австралии – овчары, и т. п. Труднее всего приходилось гуманитариям, чьи знания бывали не слишком востребованны. И, конечно, легче было получить приглашение на въезд в страну молодым людям, готовым к физическому труду. Для многих, очень многих, первые годы на новом месте были несладкими. В тех же Соединенных Штатах приезжие трудились на апельсиновых плантациях, домработницами, уборщиками, заводскими рабочими на конвейере... Но это уже другая тема.

Следует еще упомянуть кладбище в соседнем Фельдмохинге, которое Кулен посетила в поиске могил умерших шляйсхаймцев. Она с прискорбием сообщает, что таких могил осталось всего несколько –

только те, за которые продолжают платить. Остальные исчезли, хотя списки имен почивших сохранились, и Кулен их обнаружила.

Книга «Шляйсхайм» представляет собой исключительную ценность по количеству собранного в ней и скрупулезно выверенного материала. Недостатки имеются, но они «косметические»: редакторский глаз мог бы облегчить язык, исправить некоторые термины (напр., не «нансенский паспорт», а «нансеновский»), убрать повторы. Книга в 759 страниц не имеет оглавления – это затрудняет поиск нужного места; желателен был бы и именной указатель. Воспроизведено много уникальных фотографий, но их качество оставляет желать лучшего. Книга издана автором в Берлине, малым тиражом, – тогда как проделанная работа заслуживает того, чтобы быть изданной именно в России. Труд Елены Кулен не должен пропасть даром; ему место в библиотеках, где всякий, кто будет писать о своеобразном периоде существования Ди-Пи – историк или беллетрист, – имел бы к книге доступ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. С приходом советской власти газета была немедленно закрыта, а Михаил Семенович Мильруд, с другими сотрудниками газеты, арестован и выслан; он погиб 24 ноября 1942 года в селе Долинская Карагандинской области, Казахстан. URL: <http://www.russkije.lv>
2. Александров, Е. А. Русские в Северной Америке: биографический словарь / Хэмден – Сан Франциско – СПб. – С. 411.
3. Пушкарев, Б. С. Две России XX века: 1917–1993 / Москва, «Посев». 2008. – С. 332.
4. Там же. – С. 327.
5. Wayman, Mark. DPs: Europe's Displaced Persons, 1945–1951 / Cornell University Press. 1998. – P. 37.
6. Миркович, Ф. «Наставникам, хранившим юность нашу...» – Педагогика и педагоги Русского Зарубежья / Москва: «Русский путь». 2017. – С. 7
7. Зарудский, Николай. «Отрада» / Сб. «Судьбы поколения 1920–1930-х годов в эмиграции: Очерки и воспоминания» / Ред.-сост. Л.С. Флам // Москва: «Русский путь». 2006. – Сс. 180–181.
8. Пушкарев, Б. С. Две России XX века: 1917–1993 / М.: «Посев», 2008. – С. 300.
9. Там же. – С. 254.
10. Казанцев, А. С. Третья Сила. 4-е изд., испр. / М.: «Посев». – 2011; Штрик-Штрикфельд, В. Против Сталина и Гитлера. 3-е изд / Москва. 1993; Фрёлх, С. Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным / Кёльн. 1990 // Русский перевод Д. Левицкого и Ю. Мейера / США: «Эрмитаж».
11. НТС – Мысль и дело. 1930–2000 / Москва: «Посев». 2000. – С. 26.
12. Там же. – С. 27.
13. Там же. – С. 40

14. *Рар, Лев, Оболенский, Валериан*. Ранние годы (1924-1948) / М.: «Посев». 2003. – С. 90.
15. *Хохлов, Н. Е.* Право на совесть / Франкфурт: «Посев». 1957.
16. П. Н. Якоби погиб при пересылке в августе 1941 года в Котласе.
17. *Никифорова, Т. С.* Баржа на Оби: Новеллы памяти / Рига. 2006.
18. Я не касаюсь исхода самих латышей, среди которых было немало настоящих коллаборационистов, среди русских – лишь единицы.
19. *Джолли, Таисия*. Страшное детство / Судьбы поколения... – Сс. 34-39.
20. *Синкевич, Валентина*. О незабываемых / Москва: «Русский путь». 2019. – С. 185.
21. *Ульянов, Н. И.* Атосса / Нью-Йорк: Изд-во им. А. П. Чехова. 1952.
22. *Ширяев, Борис*. Неугасимая лампада / Нью-Йорк: Изд-во им. А.П. Чехова. 1954. – С. 7.
23. Там же. – С. 70.
24. Правильно – Гольтгоер. Генерал-майор 4-го Стрелкового полка Константин Александрович Гольтгоер был в то время еще жив, находился в Финляндии. Вероятно, жена это скрывала.
25. *Ширяев, Борис*. Неугасимая лампада / Указ. издание. – С. 70.
26. Анастасия Николаевна Артемова, урожд. Редлих, была родом из Берлина.
27. На кончину моего мужа в 1977 году Николай Ефремович Андреев откликнулся глубоко тронувшим меня некрологом в газете «Новое русское слово» – «Россиянин: памяти редактора газеты В. А. Оболенского».
28. *Александров, Е. А.* Указанный биографический словарь. – Сс. 260-261.
29. Елена Кулен в России окончила историко-филологический факультете Университета Русского Севера им. Ломоносова, далее – 5 лет работы старшим научным сотрудником в краеведческом музее в Архангельске. С 1991 года она выехала на учебу в Берлинском университете, факультет славистики. С 1994 по 2016 годы работала в качестве референта по России и переводчицы в Европейской Академии в Берлине, в Сенате Берлина, с 2003–2016 гг. – в Правительстве Баварии. С 2016 года работает в различных исследовательских проектах в Баварском архиве, в музее по изучению нацистского прошлого.

П. Н. Базанов

Русские историки-эмигранты.

Н. Е. Андреев и Н. И. Ульянов

Два крупных историка Русского Зарубежья, профессора университетов Кембриджского и Йельского, Николай Ефремович Андреев (1908–1982) и Николай Иванович Ульянов (1904–1985) были почти ровесниками и в их судьбах можно найти много общего. Биографии ученых напоминают захватывающий приключенческий роман с погонями, арестами, заключением и благополучной научной карьерой. Оба были признанными специалистами по русской истории XVI–XVII вв., но известны и как литературные критики и публицисты; кроме того, они писали и прозу – Н. И. Ульянов вообще позиционировал себя писателем. Примечательно, что Н. Е. Андреев выступал рецензентом своего коллеги. К сожалению, Н. Е. Андреев и Н. И. Ульянов менее известны, чем многие их современники в Русском Зарубежье, и их жизнь и творчество требуют более подробного изучения¹.

Н. Е. Андреев – представитель первой волны русской эмиграции. Он родился в 1908 году в селе Ржевка, ныне – район Санкт-Петербурга, поэтому именно столица Российской империи часто неверно указывается местом его появления на свет. В конце 1919 года семья Андреевых бежала вместе с Северо-Западной армией в Эстонию. Николай Ефремович окончил Русскую городскую гимназию в Таллинне и поступил на философский факультет Карлова университета в Праге. Он работал в «Seminarium Kondakovianum» («Семинар имени Н. П. Кондакова», с 1931 года «Археологический институт имени Н. П. Кондакова»). После Второй мировой войны он снова вынужден был бежать – уже из советской оккупационной зоны в Германии. В 1948 году Н. Е. Андреев переехал в Великобританию, где работал в Кембриджском университете, в колледже Св. Марии Магдалины в Клэр Холл, и в 1973-м он получил заслуженное назначение *ad hominem* (личное) экстраординарного профессора славяноведения. Н. Е. Андреев был признанным специалистом по истории России XVI века. Еще в пражский период он стал интересоваться историей эпохи Ивана Грозного и историей псковской земли. В тру-

дах «Института Кондакова» выходят его самые известные довоенные научные работы: «Митрополит Макарий как деятель религиозного искусства», «Инок Зиновий Отенский об иконопочитании и иконописании», «Иван Грозный и иконопись XVI века»² и др.

Н. И. Ульянов родился, по одним источникам, в деревне Ганежа (Гдовский уезд Санкт-Петербургской губернии), по другим – в Санкт-Петербурге. Учился в петроградской городской школе, окончил ЛГУ, потом работал в советских вузах и в Институте истории АН СССР.

Жизнь Н. Е. Андреева и Н. И. Ульянова – многолетнее балансирование на уровне жизни и смерти. У Н. Е. Андреева – арест в послевоенной Праге и Дрезденская военная тюрьма; у Н. И. Ульянова – советские тюрьмы («Шпалерка» в Ленинграде) и лагеря Соловки и Норильск. Затем он бежал из лагеря для военнопленных, прошел по немецким тылам 700 километров в 1941-м, побывал в немецком трудовом лагере под Лугой, потом – Дахау, и уже из лагерей для Ди-Пи попал в Марокко, а оттуда в США.

В Русском Зарубежье Н. Е. Андреев и Н. И. Ульянов стали известными лекторами; они принимали живое участие в культурной и научной жизни послевоенной эмиграции. Выступления и доклады Н. Е. Андреева характеризовались академичностью и, в то же время, увлекательностью, темпераментностью и тем неповторимым огнем, с которым отстаивается правота научных убеждений³. Постоянно выступал Н. Е. Андреев и на конференциях «Посева» в Франкфуртена-Майне. Н. И. Ульянов не любил читать лекции на английском языке, зато поражал слушателей чистой русской речью, которая «лилась плавно и крепко врезалась в умы слушателей». «Ульянов всегда сам говорил, только изредка поглядывая на небольшого формата карточки, на которых были записаны цитаты и основные пункты полнотрачасовых лекций.»⁴

Историки регулярно публиковались в самых известных газетах и журналах русской эмиграции – «Новое русское слово», «Русская мысль», «Возрождение», «Новый Журнал», Н. Е. Андреев – еще в «Посеве», «Гранях». Особенно нужно выделить «Новый Журнал», в котором оба печатали статьи и рецензии. В этом издании вышло 50 работ Н. И. Ульянова, а о нем или с упоминанием его трудов – более 25 материалов. У Н. Е. Андреева публикаций меньше – 16, о нем – 6. О каждом из историков в НЖ напечатано по два некролога, осветивших деятельность ученых с разных сторон, – что свидетельствует о большом уважении редакции и тогдашнего главного редактора Р. Б. Гуля.

Роднило их и профессиональное одиночество эмигранта-ученого. Н. И. Ульянов хорошо про это написал Андрееву: «Здесь, в Америке – легион историков словесности, но русских историков нет (американ-

цы не в счет). Душа моя, однако, принадлежит той дисциплине, которую избрал в юности, и ее представителям в науке. Вот почему получить поздравление от настоящего русского историка было особенно приятно. В этом есть что-то родственное, согревающее»⁵. Неудивительно, что Н. И. Ульянов зазывал коллегу к себе в гости в Америку: «Мне действительно жаль было, что Вы не побывали у нас в Нью-Хэвене. Ейльский (sic) университет оказывает гостеприимство, главным образом, диссидентам и иже с ними. Но я не теряю надежды встретиться когда-нибудь с Вами – не здесь, так в Европе»⁶.

Заочное знакомство Н. Е. Андреева и Н. И. Ульянова состоялось в 1968 году через общего друга – историка-евразийца Г. В. Вернадского. Еще с 1920-х в пражский период своей жизни Н. Е. Андреев был в дружбе с семьей Вернадских – с Георгием Владимировичем, с его сестрой Ниной Владимировной и ее мужем Николаем Петровичем Толлем. Историк красочно описывал эти встречи: «Они пригласили меня как-то ужинать, и когда я пришел к ним, то был озадачен – у них по восточному обычаю не было мебели. Николай Петрович в это время увлекался Востоком, так что все сидели на каких-то неудобных подушках. <...> Позднее, когда <...> у них стало больше денег, они переехали на другую квартиру и там, слава Богу, вернулись к западному стандарту. Я даже шутя сказал, что вижу победу Запада над Востоком и приветствую ее, потому что сидеть в креслах или на диванах много удобнее. Николай Петрович был доволен моим замечанием, но сказал: ‘Чего можно ожидать от Вас, типичного западника!’»⁷. Переписка с Г. В. Вернадским продолжалась и после переезда последнего в США и прервалась только в годы Второй мировой войны. Когда Н. Е. Андреев оказался в Англии, переписка возобновилась.

В первом же письме Андрееву Н. И. Ульянов пояснил коллеге, что они с Г. В. Вернадским живут в одном доме по Оранж-стрит в городке Нью-Хейвен, он – на четвертом этаже, а Георгий Владимирович – на пятом⁸. Там же он упоминает общего знакомого – известного советского историка, академика АН СССР Льва Владимировича Черепнина (1905–1977), с которым учился в аспирантуре в конце 1920-х гг.: «Я всё еще не могу представить себе Черепнина толстым, как Вы описывали его в письмах Г. В. Вернадскому»⁹. (В свою очередь, академик упоминает Ульянова в своих мемуарах как очень способного аспиранта¹⁰). Н. И. Ульянов пишет Андрееву и о пересылке своей брошюры «Северный Тальма» – для передачи советским историкам¹¹. Дело в том, что Андреев, в отличие от большинства ученых-эмигрантов, был хорошо известен в СССР. Он состоял в переписке со многими советскими историками, на его

работы ссылались и их рецензировали известные советские исследователи истории допетровской эпохи В. Т. Пашуто, А. А. Зимин, Р.Г. Скрынников, Я. С. Лурье, Н. Н. Масленникова и др. Н. И. Ульянов также поддерживал контакты с советскими историками С. Н. Валком, А. Л. Шапиро, другом молодости В. В. Мавродиным. Однако, как репрессированный в 1930-е годы и как эмигрант, он боялся подвести своих знакомых и никогда не афишировал даже знакомство с ними.

Письмо очень интересно критической самооценкой исторических романов Ульянова. Он пишет: «Очень тронут Вашим вниманием к моим беллетристическим опытам, но ‘Атосса’ – произведение настолько слабое, что не заслуживает этого, а ‘Сириус’ не известно, когда будет закончен, вследствие необъятности замысла и недостатка времени»¹². О том же – и в следующем письме: «Из письма вижу, что других моих работ у Вас нет. По сему случаю, послал Вам неделю тому назад ‘полное собрание’ своих сочинений за исключением ‘Замолчанного Маркса’ и ‘Атоссы’. Первого у меня почти не осталось, а вторая – настолько плохое произведение, что я стараюсь, где можно, молчать о нем»¹³. Тем не менее, Н. Е. Андреев давал высокую оценку ульяновским художественным произведениям – в частности, в своей знаменитой статье «Об особенностях и основных этапах развития русской литературы за рубежом (Опыт постановки темы)» в статье «Русская литература в эмиграции»¹⁴, где первым выдвинул термин «русская эмигрантика» для обозначения всех источников и литературы о русской эмиграции вне зависимости от научной или практической области деятельности, при этом отметил возрастание удельного веса и значения эмигрантики в западном исследовательском мире.

Основное внимание в переписке двух друзей-историков сводится к обсуждению публикации в «Новом Журнале» рецензий Н. Е. Андреева на сборник Ульянова «Свиток» и на его роман «Сириус».

Рецензия на «Свиток» была опубликована в 1973 году: «Сказать о Николае Ивановиче Ульянове, что он талантливый прозаик, смелый публицист, знающий историк, самовитый историк, умелый эссеист – это еще почти ничего не сказать, ибо, хотя все эти определения правильно намечают разветвления качества его интересов, но сами по себе они еще не выявляют *характера* и *направленности* его творчества в целом. Между тем, Ульянов – автор непростой, с большим ‘грузом знаний’, с определенными идеями и с несомненным словесным даром, – счастливое соединенных данных, не столь частое, говоря по совести. Он – один из немногих представителей ‘второй эмиграции’, кто сделал действительные усилия выразить себя в слове, выразить и эмоционально, и интеллектуально»¹⁵; «Как мы видим,

‘Свиток’ – книга качественная, смело выдвигающая авторское понимание. Читать Ульянова всегда интересно, несогласие с ним обычно будит мысль, а согласие, безусловно, обогащает»¹⁶. Ульянов отвечал: «Очень рад, что ‘Свиток’ пришелся Вам по вкусу»¹⁷.

Центральным текстом в сборнике стал второй вариант статьи «Комплекс Филофея»¹⁸. Ульянов – последний ученик академика С.Ф. Платонова и, в общем-то, узкий специалист по русской истории XVI–XVII вв., – выступил в печати против концепции, выдвинутой Е. Юрьевским* и П. А. Берлиным на страницах «Социалистического вестника» о политической идентичности и тождественности «Третьего Рима» с Третьим Интернационалом, – давшим им право объявить Россию извечным носителем идеи мирового господства империализма. Основанием для такого предположения послужили письма монаха Елизаровского монастыря под Псковом Филофея, давшего знаменитую формулу: «...два Рима пали, третий Рим (Москва. – П. Б.) стоит, а четвертому не бывать». Эта чисто религиозная идея старца из псковского монастыря, надо заметить, не получила широко-го распространения в XVI веке; лишь позднее, в XIX–XX вв., формулу переосмыслили и старцу Филофею стали приписывать определение нарратива русского характера как фундамента русского империализма, затем определившего и коммунистическую экспансию.

По мнению Юрьевского и Берлина, из Московской Руси и пришла в СССР идея мировой революции как преломление известного стремления Москвы к мировому господству. В среде профессиональных историков, читавших публицистические произведения старца Филофея, доводы Н. И. Ульянова вызвали поддержку, а вот публицисты левых убеждений были неприятно удивлены его критикой. Первая же публикация «Комплекса Филофея» породила бурную дискуссию. В защиту оппоненты использовали традиционный прием – осуждение не сути вопроса, а личности историка. Как всегда, политика стала побеждать науку.

Нужно обязательно отметить, что англоязычный мир знакомился с русской историей XVI–XVII веков, в целом, в интерпретации Н.Е. Андреева. Он являлся автором статей в знаменитой энциклопедии «Британика»: «Иван Грозный», «Ермак Тимофеевич», «Курбский», «Земский Собор», «Строгановы», «Федор I», «Борис Годунов», «Федор II», «Смутное Время», «Василий IV Шуйский»; он написал две главы в *Cambridge Companion to Russian Studies* (пособие по изучению русской истории и культуры). У оппонентов Ульянова из

*Настоящая фамилия – Н. В. Вольский (1880–1964), более известен под другим псевдонимом – Н. Валентинов.

«Социалистического вестника» личность самого Н. Е. Андреева не вызывала никаких сомнений – они знали Андреевых еще с дореволюционных времен: дядя историка, Николай Николаевич Андреев, был видным меньшевиком. Сам Николай Ефремович с 1957 года состоял в переписке с Н. В. Вольским.

Еще до публикации своей статьи на английском языке «Filofey and His Epistle to Ivan Vasilyevich» («Филофей и его послание Ивану Васильевичу»¹⁹) Андреев изложил ее содержание по-русски; публикация изумила и озадачила Вольского. Из их переписки ясно, что Андреев говорит о тенденциозности авторов «Социалистического вестника», об отсутствии у них опыта работы над источниками и, как следствие, непрофессионального анализа исторических фактов, как и об ангажированности их доводов. Николай Ефремович убедительно доказывал, что Филофея более всего интересовала возможность конфискации церковных земель и что никакого «апефиоза» Москвы в его посланиях нет; что мессианская теория «Москва – Третий Рим» не имеет исторической базы и является публицистической подменой оригинальной идеи старца уже авторами XX века. В своей новой рецензии Н. Е. Андреев повторил основные аргументы и раскрыл переписку с Н. В. Вольским. Впрочем, тот продолжал писать критику на идею русского мессианизма и даже находил ее у русской эмиграции, подчеркивающей, как известно, свою уникальную культурную миссию²⁰.

С историей России XVI в. связана и примечательная фраза во втором письме Н. И. Ульянова: «С удовольствием прочел Вашу рецензию на Кинана в 'Новом Журнале'. Это хороший вклад в дело борьбы с псевдоисследованиями русофобского характера»²¹. Речь шла о статье «Мнимая тема» (О спекуляциях Э. Л. Кинана)²². Историк-славист Эдвард Льюис Кинан (1935–2015) был учеником знаменитого американского историка Ричарда Пайпса и украинского историка профессора О. И. Прицака, основателя и первого директора Гарвардского института украинистики. Н. Е. Андреев следил за творчеством Э. Кинана: тот защитил докторскую диссертацию на тему «Москва и Казань, 1445–1552: исследование о 'степной' политике» (научный руководитель – профессор О. Прицак), т. е. занимался тем же периодом. Э. Кинан был известен в славистских кругах как провокационный исследователь, ставивший под сомнение подлинность переписки между Иваном Грозным и Андреем Курбским и «Слова о полку Игореве», а также и статьи «Московитские политические традиции»²³. В 1971 году он опубликовал книгу «The Kurbskii-Groznyi Apocrypha: The Seventeenth-Century Genesis of the 'Correspondence' Attributed to Prince A. M. Kurbskii and Tsar Ivan IV», в которой утвер-

ждал, что письма Ивана Грозного и первого политического диссидента Андрея Курбского были подделкой князя С. И. Шаховского в 1620-е годы. Американский историк обнаружил, что в первом послании Курбского процитированы два редких источника: так называемый «Плач» монаха Исайи Каменчанина (Каменец-Подольского) и его же «Жалоба» – которые, как он утверждал, были написаны одновременно и уже после появления первого письма А. М. Курбского²⁴. (За эту работу Гарвардский университет присудил Э. Кинану престижную премию Т. Вильсона Первой степени.)

В «Мнимой теме»²⁵, имевшей примечательный подзаголовок «О спекуляциях Э. Л. Кинана», Андреев доказывал, что не князь Курбский заимствовал сюжеты из текста «Плача» Исайи, а наоборот, – тем самым разрушив краеугольный камень гипотезы Кинана.

Совпадали взгляды Андреева и Ульянова и на творчество философа П. Я. Чаадаева. Свою критическую позицию Н. И. Ульянов подробно обосновал в статьях «Мысли о П. Чаадаеве»²⁶ и в переработанном варианте «Басманный философ» в сборнике «Диптих»²⁷. В письме Андрееву Н. И. Ульянов заметил: «Чрезвычайно приятно было убедиться, что на Чаадаева Вы смотрите так же, как я. И даже рекомендуете студентам мою статью о нем. Считаю позором и преступлением старой русской интеллигенции, поднимавшей на щит этого духовного потомка кн. И. А. Хворостинина и вдохновителя всех антирусских памфлетов вплоть до Амальрика»²⁸. Данную цитату интересно сравнить с утверждением из «Басманного философа»: «Тысячелетний комплекс вражды латинства к православному миру не допускал компромисса. Едва ли не первым образцом, в этом роде, был кн. И. А. Хворостинин – современник и наперсник первого Лжедмитрия. В противоположность тем из людей XVII века, что понимали превосходство западного просвещения и хотели соответствующих реформ в России, он ни о каких реформах не думал, просто проникся безразличностью к стране и народу, швырял навоз в православные иконы, смеялся над обрядами и обычаями и жаловался, что на Москве ‘жить не с кем’. А человек он был больше наглый и высокомерный, чем просвещенный. С поразительной легкостью усвоил он ‘гордый взор иноплеменный’, которым после него стали смотреть на Россию все неопиты латинства. Когда начались католические симпатии его духовного потомка Чаадаева – трудно сказать»²⁹.

Убежденный западник-патриот, Н. И. Ульянов сомневался в фактическом антураже идей П. Я. Чаадаева. Над его знаниями по всеобщей истории Ульянов откровенно смеялся: «Откуда он, например, вычитал, будто ‘рабство’ в Европе (он разумел крепостное право) обязано своим исчезновением западной Церкви? Или с какой стати

приписываются ей все успехи цивилизации? Как будто вовсе не был затравлен Абельяр и не был сожжен Джордано Бруно, как будто Лютер не называл Коперника дураком, а Галилей не стоял перед трибуналом инквизиции!»³⁰. Ульянов показывал, что никакого революционного демократизма и прогрессизма во взглядах Чаадаева не было; все беды России сводились им к отсутствию католичества – да в самой реакционной форме «а ля Жозеф де Местр»: «Всё началось с несчастного момента, когда, ‘повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими (Западными. – Н. У.) народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания’. Если история наша жалка и ничтожна, если мы – последний из народов, если даже на лицах у нас – печать примитивизма и умственной незрелости, причина этому одна – наше религиозное отступничество. Аракчеев, Бенкендорф, крепостное право – все оттого, что мы не католики»³¹. – «Прельщенная ‘обличениями’, революционная и либеральная общественность не поняла также, что ‘мстил’ Чаадаев русской жизни не как человек европейского просвещения, а как католик. Ни наук, ни искусств, ни политических учений, ни декларации прав человека и гражданина, ничего, кроме католичества, для него не существовало на Западе. В многовековой вражде империи св. Петра с империями Павла и Андрея Первозванного – корень его высказываний о России»³².

Н. И. Ульянов считал П. Я. Чаадаева одним из основателей в отечественной общественной мысли традиции обобщения исторического процесса: «Любопытно, что в России предшественником такого исторического взгляда был человек клерикально-католических взглядов, хотя и православный по крещению, кумир нашей ‘прогрессивной интеллигенции’, знаменитый П. Я. Чаадаев. Исследовательское начало объявлено им ненужным, вредным, отвлекающим разум от ‘истинных *поучений*’. Истории в наши дни делать нечего, кроме как *размышлять*»³³; «История для Чаадаева, – писал Ульянов в «Соблазнах истории», – не загадка, не тайна, а нечто непознанное в своей сущности. Как для большевиков все непреложные законы открыты Марксом и неизбежно ведут к коммунизму, так и у Чаадаева человечество идет к Царству Божию, и задача историка сводится к созерцанию божественной воли, ‘властвующей в веках и ведущей человеческий род к конечным целям’»³⁴.

Последние письма Ульянова посвящены публикации рецензии Н. Е. Андреева на его исторический роман «Сириус» и позиции главного редактора «Нового Журнала» Р. Б. Гуля. Рецензия вышла в 1978 году³⁵. (В библиографическом описании перепутаны выходные данные – вместо Нью-Хейвена был поставлен Мюнхен). Предыстория

такова. В июне 1977 года Ульянов написал Андрееву: «Р. Б. Гуль пишет мне, что Вы выразили готовность написать рецензию в 'Новый Журнал' на мою книжку 'Сириус'. Сердечно благодарю. Но оказывается, что Вы еще не получили экземпляра этой книги, посланной Вам два месяца тому назад. Почта в Америке работает отвратительно. Спешу выслать Вам новый экземпляр»³⁶. Через три месяца Ульянов обрадованно благодарил Андреева и его дочь, будущего профессора Оксфорда: «Получил Вашу открытку из Корнуэлла, сообщающую о завершении Вашей работы над 'Сириусом'. Сердечно благодарю. Особенно трогательно было прочесть об участии в этой работе нового юного историка, которого хочется особенно поблагодарить. Надеюсь ни Вас, ни Екатерину Николаевну не утомила эта работа и не испортила Вам летнего отдыха. Каков бы ни был Ваш приговор, приму его, как должное, и грешить беллетристикой больше не буду»³⁷. В рецензии Н. Е. Андреев очень высоко оценил «Сириус»: «...произведение это, как обыкновенно для Н. И. Ульянова, остро по теме, талантливо в изобразительной силе, беспощадно в анализах, местами спорно в отборе материала и, конечно, откровенно стилизовано как художественное целое»³⁸.

Неожиданности начались позднее, когда Р. Б. Гулю не понравилось, что в рецензии давалась характеристика только исторической фабулы, без элементов литературной критики романа «Сириус». «То, что Вы пишете о судьбе Вашей рецензии, не является для меня неожиданным. Я уже предварен был, до некоторой степени, самим Р. Б. Гулем. В разговоре по телефону он с нотой удивления сказал: 'А вы знаете?... Николай Ефремович посвятил свой отзыв только исторической части романа, а обо всем другом — ни слова'. Я не успел сказать, что, как автор романа, был вполне удовлетворен и доволен, если бы о 'Сириусе' был дан отзыв настоящего историка, специалиста, подобного Вам. Но я уже знал немного Гуля и понял, что дело тут совсем не в том, что он жаловался, а просто вся Ваша рецензия целиком не подошла ему»³⁹. Далее Н. И. Ульянов рассуждает о своем отношении к Николаю II и поясняет, что его научно-объективная позиция в отношении последнего императора, как и поддержка его взглядов историком Н. Е. Андреевым, оказались не близки взглядам либерала Р. Б. Гуля на царя. «Кроме литературной оценки предлагаемого ему материала существует еще какой-то другой критерий. Взвешивалась, видимо, не только рецензия, но и автор, на сочинение которого она написана. Вы напрасно думаете, будто вивисекция, учиненная над Вашим отзывом, объясняется какой-то критикой Николая II в унисон с моим романом. Не очень-то болеет душой Роман Борисович за этого императора, да и не такой он человек, чтобы не понимать, что

представлял собой последний наш царь. Погубила Вашу рецензию моя персона. Будь автором 'Сириуса' не я, а кто-нибудь другой, у Вас не было бы никаких длительных разговоров с редактором»⁴⁰.

Здесь, пожалуй, следует более подробно остановиться еще и на взаимоотношениях Р. Б. Гуля, как редактора НЖ, и Н. И. Ульянова, как постоянного автора журнала, — на отношениях, что вполне иллюстрируют идеологические и эстетические «стычки» русской интеллектуальной творческой эмиграции во второй половине XX века.

Так, Ульянов не смог забыть истории с рецензией на книгу Натальи Владимировны Кодрянской (1901–1983), писательницы, ученицы и поклонницы А. М. Ремизова, — «Глобусный человечек» (Париж, 1954. — 68 с.)⁴¹: «Нечто подобное было со мной лет двадцать тому назад. Мне пришлось, не совсем по доброй воле, писать рецензию на книжку Кодрянской 'Глобусный человечек'. Вручая ее Гулю, я заметил раздражение, с которым он ее принял. Когда же вышел № 46 'Нового Журнала', я ахнул, и Кодрянская обиделась на меня смертельно. Рецензия была сокращенной на три четверти, и из нее удалено не только упоминание об авторе книжки, но и об ее содержании. Оставлены только общие рассуждения о сказочном жанре. Больше всего, однако, поразила меня выходка редактора. — Зачем вы брались за это дело?! Ведь она же — такая-сякая!.. Несметная богачка-миллионерша!.. И еще что-то в этом роде. Я тогда был еще новичок в Америке, и на меня это подействовало ошеломляюще»⁴².

Н. И. Ульянов сообщал писательнице Ольге Йорк⁴³ особенности «внутренней кухни» его работы с Гулем-редактором: «...к сожалению, я вряд ли смогу быть Вам полезен в смысле рецензии на роман. Дело в том, что у меня было несколько опытов таких рецензий в 'Новый Журнал', и все они кончились плачевно и привели к очень натянутым отношениям с Р. Б. Гулем. Он либо не печатал их, либо изменял до неузнаваемости. По этой причине я уже с давних пор не посылаю в Н.[овый] Ж.[урнал] никаких рецензий. Кроме того, у Р. Б. Гуля практика такова: он сам, по своему усмотрению, дает книгу на рецензию и очень не любит, когда рецензенты появляются 'со стороны'. Мой 'Исторический опыт России' и 'Северный Тальма' так и не были удостоены отзыва на страницах 'Нового Журнала'. Вам лучше было бы сговориться с человеком, ближе, чем я, стоящим к редакции 'Нового Журнала'. В частности, попробуйте обратиться к З. О. Юрьевой⁴⁴. Кроме того, у Вас еще время не потеряно. Полгода, на которые Вы жалуетесь, срок небольшой. Моя книжка 'Происхождение украинского сепаратизма' ждала больше года. Но я все-таки не теряю надежды. Не должны терять ее и Вы. Глубоко уверен, что рецензия на Ваш роман появится и, может быть, в скором времени»⁴⁵.

История с отзывом С. А. Зеньковского⁴⁶ на главный научный труд Н. И. Ульянова имела продолжение: «Профессор Зеньковский, рецензировавший мое ‘Происхождение украинского сепаратизма’, жаловался на придирчивость Р. Б. (Гуль. — П. Б.), требовавшего максимального сокращения положительных оценок и отзывов»⁴⁷. Обиделся Николай Иванович и когда его друг, Всеволод Михайлович Сечкарев, написал юбилейную статью «Н. Ульянов — эссеист и ученый»⁴⁸: «Проф. В. М. Сечкарев, написавший статью к моему 70-летию, тоже говорил мне о недовольстве Р. Б. обилием ‘похвал’. Я долго не придавал значения этим выходкам, считая их редакторскими причудами»⁴⁹.

Острота отношений проявилась особенно после публикации в «Новом Журнале» историософской статьи Н. И. Ульянова «Роковые войны России»⁵⁰. Признаем, это не лучшая работа Ульянова, очень многое в ней спорно, особенно ключевая идея, что все малорезультативные войны, в которых участвовала Россия с Анны Иоанновны до Первой мировой, и привели к революции 1917 года. Студент Ульянова, историк Н. Н. Рутченко-Рутыч, вспоминал, что с идеями этой статьи ученый выступал еще на лекциях в середине 1930-х гг.: «Критически анализируя внешнюю политику России в XVIII в., Н. И. Ульянов не боялся перейти и к порой резкому осуждению деятельности наследников Петра». Н. Н. Рутыч подчеркивал в своих мемуарах, что статья — «почти дословное повторение его оценки Белградского мира 1739 г. (при Анне Иоанновне), данной в лекции перед нами...»⁵¹. Большая часть последнего письма Н. И. Ульянова к Н. Е. Андрееву посвящена именно внутренней истории публикации этой статьи. «Лишь в самое последнее время раскрылись глаза на ‘причуды’. В 125 книжке ‘Нового Журнала’ появились моя статья ‘Роковые войны России’, где ставился вопрос об этих войнах, как об одной из причин гибели нашей родины. Приняв статью без единого слова, Р. Б. Гуль сделал к ней примечание: ‘Редакция не разделяет столь категорической точки зрения автора. Статья печатается в порядке дискуссии’. Прежде все свои несогласия он высказывал в подстрочных примечаниях, а тут впервые за всё существование ‘Нового Журнала’ объявил ‘дискуссию’. Я с интересом ждал выступления как его самого, так и, в особенности, специалистов-историков и всех культурных людей. Но получилось вот что. Никто в следующей 126 книжке Н.Ж. не выступил»⁵².

Следует заметить, что Ульянов очень пристрастен в этом своем недовольствии. Журнальные дискуссии нередко развертывались на страницах НЖ (скажем, между Карповичем и Кеннаном, или же острое обсуждение Г. Федотова), однако журнальная историко-культурологическая дискуссия имеет свои особенности, развивается мед-

ленно и носит фундаментальный характер, не говоря уже о том, что НЖ и тогда выходил всего лишь четырьмя книжками в год и между номерами пролегла фактически вечность в три месяца. Через два номера развернутый ответ на «Роковые войны России» напечатал представитель первой волны, штабс-капитан Григорий Иванович Майдачевский (1897 – после 1977), участник Первой мировой и Гражданской войн, член РОБС, в годы Второй мировой войны служивший в Русском Корпусе⁵³. Вот как характеризует его критику Н. И. Ульянов: «‘Роковые войны’, по его мнению – вздор. Россия погибла от одной только войны 1914-17 годов. От других не погибала. Значит и деба-тов тут быть не может. Он счел более важным обратить внимание на автора, т. е. на меня, очернившего всех русских монархов и обвинившего их в бездарности и легкомысленном ведении ненужных для России войн. Филиппики свои подтверждал цитатами из С. М. Соловьева и Е. В. Тарле. Сколько я ни старался, однако, чтобы отыскать ‘месторождения’ этих цитат, ни у Соловьева, ни у Тарле не нашел. Откуда они взяты – неизвестно. Зато в обвинениях меня в непатриотизме недостатка не было. Под конец открылся источник его эрудиции – советский историк Е. Разин, выпустивший в 1952 году книжку ‘Империалистические войны 19 века’. Она и поставлена была мне в пример как образец патриотического взгляда на русскую историю. Прочтя ‘мазню’ моего оппонента, я не знал – за себя ли обижаться или за ‘Новый Журнал’? <...> Прошло еще полгода. Никто в дискуссию не вступал. Позвонив Р. Б. (Гуль. – П. Б.), я спросил – будет ли продолжаться и предвидятся ли новые выступления? ‘Нет, не предвидятся.’ ‘Значит я могу дать ответ на сделанные воззрения?’ ‘А зачем?’ ‘Как зачем? Ведь это дискуссия! Отвечать оппонентам – мое законное право.’ ‘Нет, не надо.’ ‘Почему же не надо?’ ‘Не надо’... Никакого другого объяснения не было дано»⁵⁴. Здесь нужно отметить, что один из лучших советских военных историков, профессор Евгений Андреевич Разин (1898–1964) был автором капитального научного пятитомного труда «История военного искусства» (М.: Воен. изд-во, 1955–1961). За свои исторические взгляды он был неоднократно раскритикован на самом высшем советском уровне, а за справедливую критику действий Красной Армии в 1941–1942 годы после войны был арестован и несколько лет провел в заключении. Упомянутой Г. И. Майдачевским книги у Разина нет, речь могла идти об «Истории военного искусства с древнейших времен до наших дней» (М., 1947) или об «Истории военного искусства с древнейших времен до первой империалистической войны 1914–1918 гг. Ч. 2: Военное искусство средневекового феодального общества VI–XVIII века» (М., 1940), – возможно, что и цитаты из Соловьева и Тарле

оппонент Ульянова воспроизводил по памяти. Суть не в том. Ульянов, будучи страстным – и даже пристрастным – полемистом, не мог прекратить дискуссию: «Я все-таки послал ему свои возражения и получил их обратно. <...> Мне неизвестна причина этой неприязни (могу о ней только догадываться), но факт ее существования несомненен. Простите за столь неприязненное и непомерно длинное письмо и не исключайте меня из числа глубокоуважающих и искренне ценящих Вас людей»⁵⁵.

На самом деле Н. И. Ульянов сильно преувеличивал «обиды» от редакции «Нового Журнала». Два его главных редактора – М. М. Карпович и Р. Б. Гуль – по достоинству относились к нему как к человеку с большим кругозором. Именно Карпович поддержал в первые послевоенные годы Ульянова, «советского» эмигранта второй волны, – и творчески, открыв для него возможность печататься в журнале, и материально, выплачивая из собственного кармана стипендию на украинские исследования. «Новый Журнал» регулярно печатал работы Н. И. Ульянова, почти все его книги удостоились рецензирования в этом периодическом издании. Недовольство Р. Б. Гуля как опытного редактора легко объяснимо. Любая рецензия должна быть написана по сути анализируемого произведения, рассматривать основные проблемы, затронутые в книге, содержать критические замечания. Идеально, когда рецензия вызывает полемику, бурную дискуссию. «Новый Журнал» удачно справлялся с данными задачами и недаром претендовал на роль одного из лучших «толстых» журналов XX века.

Письма Ульянова к Андрееву, к другу и коллеге, эмоциональны, порой пристрастны в оценках людей и событий, но они полны искренности, доверия к собеседнику, и четко очерчивают круг тем и концепций, что зрели в головах двух историков. Письма русских эмигрантов являются важным историческим источником, раскрывающим особенности культуры Зарубежной России.

В конце жизни оба историка долго и тяжело болели, и даже их характеристики в некрологах были похожи. В 1982 году философ Р.Н. Редлих дал прекрасное определение: «Жизненный путь Н. Е. Андреева – это путь русского – сохранившего верность России – ученого-историка за рубежом»⁵⁶. Через три года историк старообрядчества С. А. Зеньковский написал об идее творчества Н. И. Ульянова: «...защита единства, чести и исторической целесообразности русского государства»⁵⁷.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Базанов, П. Н. Русский ученый-эмигрант Н. Е. Андреев в Англии /

- Культурное и научное наследие российской эмиграции в Великобритании (1917–1940-е гг.) / М., 2002. – Сс. 158-165; Профессор Н. Е. Андреев и его вклад в изучение русской истории и культуры / «Диалог со временем», № 68 / 2019. – Сс. 215-223; *Базанов, П.Н.* «Петропольский Тацит» в изгнании: Жизнь и творчество русского историка Николая Ульянова / СПб.: Владимир Даль, 2018. – 511 с.; К истории взаимоотношений Георгия Вернадского и Николая Ульянова / Вестник Санкт-Петербургского университета // «История». 2019. – Т. 64. Вып. 1. – Сс. 266-276; *Базанов, П. Н.* «Чувствую себя единственным истинным последователем Сергея Петровича». К вопросу о взаимоотношениях представителей первой и второй эмиграции: С. П. Мельгунов – Н.И. Ульянов / Дипийцы: исследования и материалы // Отв. ред. П.А. Трибунский/ М.: Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына. 2020. – Сс. 187-200.
2. *Андреев, Н.* Митрополит Макарий как деятель религиозного искусства / *Seminarium Kondakovianum* // Прага. 1935. Vol. 7. – Сс. 228-244; *Андреев, Н.* Инок Зиновий Отенский об иконопочитании и иконописании / *Seminarium Kondakovianum* // Прага. 1936. Vol. 8. – Сс. 259-278; *Андреев, Н.* Иван Грозный и иконопись XVI века / *Seminarium Kondakovianum* // Прага. 1938. Vol. 10. – Сс. 185-200.
3. *Вейдле, В.* Об исторических трудах Н. Е. Андреева / «Новый Журнал». 1971, № 105. – Сс. 282-286, 283.
4. *Крыжицкий, С. Н. И.* Ульянов / Нью-Хейвен: «Отклики». 1986. – С. 62.
5. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 10 апр. 1975 года // Личный архив Н. Е. Андреева // Великобритания: Оксфорд. Л. 1. Автор благодарит Е. Н. Андрееву за копии всех писем, без которых данной статьи не было бы.
6. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 31 марта 1978 года // Там же. Л. 1.
7. *Андреев, Н. Е.* То, что вспоминается: Из семейных воспоминаний Николая Ефремовича Андреева (1908–1982) / Таллинн: «Авенариус». 1996. Т. 1. – С. 296.
8. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 28 июля 1964 года // Указанный архив. Л. 1.
9. Там же. Л. 1.
10. *Черепнин, Л. В.* Моя жизнь. Воспоминания. Комментарии. Приложения. – Т. 1 / М.: Языки славянской культуры. 2015. – С. 113.
11. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 28 июля 1968 года // Указанный архив. Л. 1.
12. Там же. Л. 1.
13. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 23 марта 1973 года // Там же. Л. 1.
14. *Андреев, Н.* Об особенностях и основных этапах развития русской литературы за рубежом (Опыт постановки темы) / Русская литература в эмиграции // Питтсбург. 1972. – Сс. 15-38.
15. *Андреев, Н.* «Свиток» Н. И. Ульянова // «Новый Журнал». – 1973, № 113. – С. 233.

16. Там же. – С. 240.
17. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 23 марта 1973 года // Указанный архив. Л. 1.
18. *Ульянов, Н.* Комплекс Филофея / «Свиток» // Нью-Хейвен: Киннипиак. 1972. – Сс. 95-120.
19. *Andreyev, N.* Filofey and His Epistle to Ivan Vasilyevich / Slavonic and East European Review. 1959. Vol. 38. – Pp. 1-31.
20. Андреев, Н. «Свиток» Н. И. Ульянова // «Новый Журнал». – 1973, № 113. – Сс. 239-240.
21. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 23 марта 1973 года // Указанный архив. Л. 1.
22. *Андреев, Н.* Мнимая тема (О спекуляциях Э. Л. Кинана) // «Новый Журнал». – 1972, № 109. – Сс. 258-272.
23. *Keenan, E. L.* Russian Political Folkways / *Russian Review*. Vol. 45. No. 2 (Apr., 1986) – Pp. 115-181.
24. Против теории Э. Кинана выступили советские историки, в особенности профессор Р. Г. Скрынников (1931–2009), написавший ряд критических статей и рецензий и даже небольшую монографию «Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана» (1973). Ленинградский историк доказал, что «Жалоба» написана раньше «Плача» и оба произведения имеют общего предшественника, которого и цитирует А. М. Курбский. Полемика, инициированная американским историком, приобрела международный масштаб.
25. *Андреев, Н.* Мнимая тема (О спекуляциях Э. Л. Кинана) / «Новый Журнал». 1972, № 109. – Сс. 258-272.
26. *Ульянов, Н.* Мысли о П. Чаадаеве // Нью-Йорк: «Опыты». – 1957, № 8. – Сс. 50-72.
27. *Ульянов, Н.* «Басманный философ» (Мысли о Чаадаеве) // Нью-Йорк: «Диптих». 1967. – Сс. 162-188.
28. Амальрик Андрей Алексеевич (1938–1980) – советский публицист, диссидент, журналист, более всего известно его эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» (1969).
29. *Ульянов, Н.* Басманный философ (Мысли о Чаадаеве) // Указ. издание. – С. 180.
30. Там же. – С. 179.
31. Там же. – С. 180.
32. Там же. – С. 179.
33. *Ульянов, Н.* Соблазны истории... – С. 67.
34. Там же. – С. 68.
35. *Андреев, Н.* [Рецензия] / «Новый Журнал». – 1978, № 130. – Сс. 250-254.
36. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 1 июня 1977 года // Указанный архив. Л. 1.
37. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 14 сент. 1977 года // Там же. Л. 1.
38. Андреев, Н. [Рецензия] / «Новый Журнал». – 1978, № 130. – С. 250.

39. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 31 марта 1978 года // Там же. Л. 1.
40. Там же. – Л. 2.
41. *Ульянов, Н.* [Рецензия на кн.: *Кодрянская, Н.* Глобусный человек. – Париж, 1954. – 68 с.] // «Новый Журнал». – 1956, № 46. – Сс. 254-255.
42. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 31 марта 1978 года // Указанный архив. Л. 1.
43. Ольга Всеволодовна Юркевич (1898–1976), жена знаменитого изобретателя В. И. Юркевича, дочь известного писателя В. В. Крестовского.
44. Юрьева Зоя Осиповна (урожденная Микульская) (1922–2000), литературовед и переводчик, профессор Нью-Йоркского университета, сотрудник и член редколлегии «Нового Журнала», секретарь редакции при Р. Б. Гуле.
45. Columbia University Libraries, Rare Book and Manuscript Library, Bakhmeteff Archive of the Russian and East European History and Culture (BAR) Coll. V.I. & O.V. IURKEVICH Papers. Box. 1. Item: Ul'anov Nicolai Ivanovich n.p., 28 марта 1968. Л.1-1 об.
46. *Зеньковский, С. А.* [Рецензия] / «Новый Журнал». – 1967, № 88. – Сс. 283-286 // Рец. на кн.: Ульянов Н.И. Происхождение украинского сепаратизма. – Нью-Йорк, 1966. – 287 с.
47. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 31 марта 1978 года // Указанный архив. Л. 2.
48. *Сечкарев, В. Н.* Ульянов – эссеист и ученый: К семидесятилетию // «Новый Журнал». – 1975, № 119. – Сс. 261-266.
49. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 31 марта 1978 года // Указанный архив. Л. 2.
50. *Ульянов, Н.* Роковые войны России / «Новый Журнал». – 1976, № 125. – Сс. 228-270.
51. *Рутыч, Н. Н.* Средь земных тревог: Воспоминания / М., 2012. – С. 69.
52. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 31 марта 1978 года / Указанный архив. Л. 3.
53. *Майдачевский, Г.* Ответ Н. Ульянову // «Новый Журнал». – 1977, №127. – Сс. 284-288. – На ст.: *Ульянов, Н.* Роковые войны России // «Новый Журнал». – 1976, № 125. – Сс. 228-270.
54. Письмо Н. И. Ульянова Н. Е. Андрееву. 31 марта 1978 года Указанный архив. Л. 4.
55. Там же. – Л. 5.
56. *Редлих, Р. Н.* Е. Андреев / «Посев». 1982, № 4. – С. 63.
57. *Зеньковский, С.* Верный флагу. Памяти Н. И. Ульянова (1905–1985) // «Новый Журнал». – 1985, № 160. – С. 269.

Анастасия де Ля Фортель

О «безусловных рагу» из «условных зайцев»

*Несколько размышлений об эпистемологии
философско-эстетических полемик¹*

В 1912-м году в Париже знаменитый теоретик марксизма Георгий Плеханов читает доклад «Искусство и общественная жизнь», который вызывает бурную реакцию другого не менее известного представителя русской социал-демократии – Анатолия Луначарского. Этому полемическому противостоянию двух русских теоретиков марксизма, этому «незаслуженно забытому сегодня спору» уже в XXI веке была посвящена замечательная статья Игоря Виноградова (1930–2015) «Безусловное рагу из условного зайца. Актуальные парадоксы одного старого спора», вошедшая в его последнюю книгу «Духовные искания русской литературы»².

Напомню кратко, опираясь как на работы двух теоретиков, так и на статью Виноградова, в чем заключался смысл этой полемики. В своем парижском докладе, который лег затем в основу одноименной статьи, напечатанной «Современником», Плеханов, следуя знаменитому девизу Спинозы «Я стремлюсь, по известному выражению, не плакать, не смеяться, а понимать»³, сталкивает две основополагающие для XIX века концепции чистого и утилитарного искусства и показывает, что с научной точки зрения, вопрос, «какая же из этих теорий является правильной», неправилен в самой его постановке. Научно-правильное же отношение к предмету, по Плеханову, допускает лишь констатацию некой «фактической закономерности», когда каждая из этих теорий возникает в определенных и конкретных пространственно-временных условиях, которые и обуславливают генетически ее формирование и развитие. Лишь подобная методология и техника генетического выведения явлений надстроечного порядка «из условий общественного бытия»⁴, по Плеханову, является единственной правильной, и в этом утверждении узнается общий пафос известной плехановской полемики с просветительской эстетикой – когда генетический подход к искусству противопоставлялся им нормативному.

Защита подобной методологии вызвала бурную реакцию Луначарского как непосредственно после доклада, так и гораздо

позже, например, в статье 30-го года «Плеханов как литературный критик», опубликованной уже после смерти оппонента. В чем смысл несогласия этих двух важнейших русских теоретиков марксистской идеологии?

Расхожий ответ: Луначарский обвиняет Плеханова в излишнем объективизме, в недостаточной активности его генетической методологии, в умалении активно-оценочного момента марксистской критики⁵. Виноградов же, ставя своей целью «разобраться в истинном содержании этого спора», показывает, что в «ходе его была затронута проблема, имевшая поистине фундаментальную значимость для понимания реальных возможностей и принципиальных судеб марксистской идеологии вообще». Плеханов никогда не пренебрегал возможностью «вывести любой социально-генетический, объективный анализ современного искусства к прямым практически-политическим выводам, недвусмысленно выражавшим классово-партийную заинтересованность в таком развитии искусства, которое соответствовало интересам пролетариата»⁶. А Луначарского же, на самом деле, не устраивали не пассивность Плеханова, а те общие методологические принципы, на которых этот последний выстраивал свой подход. Луначарский не мог согласиться с тем, что Плеханов, который хотя и признавал необходимость классовой оценки в марксистской критике, тем не менее считал, что, с научной точки зрения, нет безусловных, объективных критериев «для сравнения между искусствами отдельных эпох». Тогда как по мнению Луначарского, главная задача его времени заключалась именно в устранении того, что он называл плехановской методологической неувязкой, то есть в установлении органической связи между генетической и «публицистически и эстетически оценивающей точкой зрения»⁷. Другими словами, главная задача, по Луначарскому, – доказать безусловное значение за всем тем, что изнутри марксистской парадигмы Плеханов считал исторически и классово обусловленным, а значит относительным, отказываясь провозглашать свой «эстетический вкус»⁸ нормативно-абсолютным.

Плеханов был последователен в этой своей позиции, которую утверждал уже в ходе полемики с идеологией просветительства, напоминая, что «всякая ценностная норма всегда имеет определенное основание» и что существование абсолютных этических или эстетических норм и критериев всегда предполагает существование «абсолютной, безусловной <...> исходной инстанции-основания»⁹, предписывающей эти нормы и принципы. Просветительскому абсолютизму, отталкивающемуся от идеи неизменности человеческой природы и закономерно стремящемуся «найти наилучшую, то есть наиболее

соответствующую человеческой природе систему»¹⁰, Плеханов (очевидный и привычный марксистский ход) противопоставляет представление о человеческой природе как о социально и исторически меняющейся инстанции, которая определяет соответствующим образом выражающие ее идеологические формы: критерии любых ценностных норм всегда только исторически-конкретны, то есть относительны. Что и позволяет Плеханову признавать факт «относительной исторической правомерности общественных отношений, вкусов и принципов даже тогда, когда они решительно заслуживают осуждения с точки зрения нынешних понятий»¹¹.

Именно подобная позиция Плеханова, который отрицает, вслед за Белинским и Тэном, абсолютизм любых ценностных – в том числе и художественных – критериев, делающий невозможным научную эстетику, и не устраивает Луначарского; плехановский оппонент не признает этого никогда прямо, но спорит на самом деле именно с такой позицией.

Теоретическое лукавство Луначарского, как замечательно показывает и доказывает Виноградов, заключается в том, что, с одной стороны, теоретик марксизма пытается обосновать с «чисто научной точки зрения правомерность доказательства большего достоинства одной эпохи по сравнению с другой»¹², видя (естественно, с оглядкой на Маркса) наличие объективного критерия для «соизмерения эпох по высоте их эстетических, социальных, этических и прочих институтов» в «развитии человеческого богатства» и «развитии человеческих производительных сил»¹³. С другой же стороны, в самих своих рассуждениях (утверждая, например, что античный мир давал большие возможности развития всем человеческим способностям, нежели Средневековье) Луначарский постоянно негласно подменяет «объективный исторически-экономический критерий» на точку зрения «идеологических норм, мировоззренческих абсолютов»¹⁴. То есть, в конечном итоге, для Луначарского то, что требуется доказать, становится исходным пунктом, отправной точкой его логических умозаключений. Как, собственно, и сам критерий высоты «развития производительных сил»¹⁵ оперирует у Луначарского внутри аналитического, в кантовском смысле, суждения, когда этот критерий утверждается *априори* – как, опять же, некий абсолютный смысл вне какого бы то ни было его ценностного обоснования и доказательства.

И, конечно же, в этом смысле Плеханов, как показывает Виноградов, оказался гораздо более логичным теоретиком марксизма, ни на йоту не отступив от того основополагающего принципа исторической конкретности и изменчивости, который лежит в основе марксистской «аксиологии исторической относительности»¹⁶.

Соппротивление же Луначарского, его стремление доказать любой ценой, что «наши освободительные идеи велики не только для нашего времени, но и по отношению ко всем временам прошлым» и что «эстетика социалистического общества, выражая собою эстетику свободного человека, <...> есть наиболее высокая эстетика»¹⁷, – Виноградов объясняет, в частности, спецификой историко-политического контекста. Именно в тот исторический период, когда оппонент Плеханова пытается лишить марксистскую идеологию ее аксиологической относительности, Андрей Вышинский проводит аналогичные операции с социалистической юриспруденцией – наступает время яростной борьбы «за чистоту и единство ‘рядов’, против всяческих уклонений и уклонистов»¹⁸ и поэтому требуется срочно попытаться приготовить «безусловное рагу» из «условного зайца».

Изнутри всё той же исторической и политически-идеологической перспективы обосновывает Виноградов и актуальность этого «давнего теоретического спора», когда пример противостояния Плеханова и Луначарского помогает обнаружить и теоретически-методологическую несостоятельность современных «марксистских апологетов права, общечеловеческой морали и безусловных ценностей»¹⁹.

Но теоретически-методологическая актуальность этого спора очевидна также и в контексте, о котором Виноградов не размышлял, – в контексте литературных теорий XX века, когда продолжают вестись дискуссии о возможности, а главное – необходимости выработки безусловных эстетических критериев для определения того, что есть классика, что есть хорошая и плохая литература; дискуссии о том, могут ли литературные оценки иметь объективное, рациональное основание и обладают ли эстетические ценности объективным, закономерным характером. В этой связи можно вспомнить, вслед за Антуаном Компаньоном, о книге Жерара Женетта «Эстетическое отношение», в которой немаловажное место занимают рассуждения Канта об определяющем основании эстетического суждения. Это последнее может быть только субъективным, но, не будучиотягчено никакой личной заинтересованностью, всегда отличается законными притязаниями на универсальность. Доводя рассуждения Канта до их логического завершения, Женетт разоблачает то, что он называет «эстетической иллюзией»: эстетическая оценка не обладает теоретической релевантностью, так как всегда является «объективированной личной оценкой»²⁰.

Но проанализированный Виноградовым давний спор двух теоретиков марксизма актуален, как нам представляется, и с точки зрения проявившихся в нем методологических неувязок, аналоги которых присутствуют на территории, например, современных теорий интерпретаций.

Дискуссии о правах текста и правах его интерпретаторов, о том, что есть акт интерпретации, каковы его механизмы и каковы его пределы, – занимают теоретическую мысль уже давно, обретая современное свое оформление уже в начале XIX века в шлейермахеровском понимании герменевтики, которая возникает там, где есть непонимание, и задачей которой является разработка универсальных принципов и методов самого процесса понимания.

Один из важнейших примеров подобных дискуссий – знаменитая полемика Умберто Эко, Ричарда Рорти и Джонатана Каллера начала 90-х годов о пределах интерпретации и о механизмах сверхинтерпретации²¹.

За десять лет до того последовательно отстаивавший права читателя в порождении текстуального смысла, в своих лекциях 90-х годов Эко определяет интерпретационные стратегии, которые пытаются найти в тексте всё, что угодно, – исключая то, что имел в виду автор, – как *эпистемологический фанатизм*. Всё еще отвергая попытки подчинить текст «единому, заранее существующему смыслу»²², Эко говорит, тем не менее, о неверности понимания пирсовского понятия «неограниченного семиозиса» как утверждения открытости текста к любой интерпретации. Полагать, что эта последняя неограничена, не означает, что у нее нет объекта, что она существует только ради самой себя и что любой интерпретационный акт «закончится успешно»²³. Для Эко не существует правил, чтобы определить верность и правильность интерпретации, но существуют критерии для установления сверхинтерпретации. Изнутри парадигмы понимания авторской интенции не как авторского замысла, а как интенции самого произведения (*intentio operis*), главным аргументом Эко против сверхинтерпретации становятся внутренние связность и когерентность самого текста, который и «осуществляет контроль» над собственным толкованием именно как *связно-последовательное целое*. Так – приведем знаменитый пример Эко: интерпретируя текст, в котором содержится информация о корзине с 30-ю фигами, мы можем начать рассуждать о фигуральном значении слова «фига» в английском языке, но не можем делать вид, что речь идет «о грушах или единорогах»²⁴.

В своем же провокационном ответе²⁵ Умберто Эко (которого он обвиняет в субстанциализме и эссенциализме) американский неопрагматик Ричард Рорти утверждает, что интерпретации не существует как таковой, а существует лишь использование, инструментализация текста, – когда любое произведение можно подогнать под любую избранную критиком аналитическую схему и когда толкование ставит своей целью не правильное описание объекта, а достижение какой-либо цели. «Все описания <...> оцениваются с точки зре-

ния их возможностей служить инструментами для различных видов использования»²⁶. Эпистемологическим обоснованием подобной концепции Рорти является идея о том, что тексты не имеют своей собственной природы и сущности, а составляют производное самого акта прочтения; связность текста не есть его имманентное качество, она формируется собственно актом интерпретации.

В позиции Рорти присутствуют как явные концептуальные нестыковки (например, рассуждение о том, что тексты, будучи лишены какой бы то ни было сущности, могут при этом оказывать сопротивление, блокировать читательские попытки подчинить их своим целям²⁷), так и не менее явные методологические неувязки. Эпистемологическая природа этих последних, которые встречаются и в текстах других сторонников того же антигерменевтического и антиформального теоретического подхода (например, статья Томаса Мондеме о Рорти и Барте²⁸), – та же, что и у методологических нестыковок, проявившихся в давней полемике между Луначарским и Плехановым.

Действительно, изнутри антиэссенциалистской парадигмы, которая подчиняет литературный текст идее использования и, тем самым, полностью релятивизирует процесс интерпретации, показывает ее относительность и не привязанность ни к каким критериям стабильности, ее каждый раз конкретную обусловленность, – полемика с другими, например, эссенциалистскими теориями должна вестись методами, не противоречащими изначальному концептуальному посылу абсолютной относительности. Другими словами, полемика эта должна вестись не с позиций правильности/неправильности эпистемологического подхода, а в отношении эффективности/актуальности того или иного использования текста. Тем не менее и Ричард Рорти, и Томас Мондеме, пытаются развенчать эссенциалистскую интерпретационную парадигму именно в самой ее сути, а не с точки зрения ее прагматической направленности, ставя, таким образом, перед собой цель продемонстрировать прежде всего ее изначально принципиальную эпистемологическую ошибочность. Более того, и американский философ, и французский исследователь выбирают путь риторики аналитических суждений, утверждающих *априори* то, что на самом деле требуется обосновать (например, отсутствие у текста каких-либо имманентных, объективно существующих, фундаментальных свойств), и представить как один из возможных, но отнюдь не абсолютных в своей безусловности взглядов на интерпретацию (так как сама концепция изначально отвергает идею абсолюта). Другими словами, там, где логика парадигмы требует обсуждения способа производства смысла и значения – и отказа от

абсолютных критериев (то есть подхода *а-ля* Плеханов), авторы действуют, как Луначарский, – утверждая объективность смыслов и ценностей, постулируя их природность. Очередной раз «безусловное рагу» пытаются приготовить, выбирая в качестве основного его ингредиента вполне «условного зайца».

Таким образом, удачная образная формула «безусловного рагу из условного зайца» из статьи Игоря Виноградова применима далеко за пределами материала, на основе которого она вырабатывалась. Но автор этой формулы предлагает также единственное правдоподобное, на наш взгляд, объяснение тому, что можно было бы обозначить как ее *потенциальную универсальность*. Объяснение это уже не историческое или идеологическое, а метафизическое.

Виноградов напоминает читателю, что Кант, обосновав невозможность научной метафизики, убедительно показал «неустранимость человеческой потребности постоянно трансцендировать в область метафизики, за пределы возможностей ‘чистого разума’». Этот «чистый разум», осуществляя познание лишь в логике «причинно-следственных отношений», всегда «неизбежно стремится к завершению любого причинно-следственного ряда»²⁹ неким последним, конечным, безусловным его основанием.

Поиск этого «безусловного основания» и становится в некоторых случаях настоящим камнем преткновения для выработки стройной, не подверженной никаким нестыковкам и неувязкам, литературной теории и методологии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вариант этой статьи был напечатан по-французски: *de La Fortelle, A., À la recherche d'un absolu perdu ou sur l'actualité d'un vieux débat théorético-méthodologique* // *Slavica Occitania*. № 49. 2019. – Pp. 307-315.
2. Виноградов, И. И. Безусловное рагу из условного зайца. Актуальные парадоксы одного старого спора // Виноградов, И. И. Духовные искания русской литературы // М.: «Русский путь», 2005. – Сс. 347-390.
3. Плеханов, Г. В. Искусство и общественная жизнь (1912–1913) // Плеханов, Г. В. Искусство и литература // М.: Гослитиздат, 1948. – С. 268.
4. Виноградов, И. И. Указ. соч. – С. 350.
5. Там же. – С. 353.
6. Там же. – Сс. 352, 356.
7. Луначарский, А. В. Г. В. Плеханов как литературный критик / Луначарский, А. В. Собрание сочинений в 8 т. Т. 8 // М.: Художественная литература, 1967. – С. 244.
8. Плеханов, Г. В. Искусство и общественная жизнь (1912–1913) / Указ. соч. – С. 297.

9. Виноградов, И. И. Указ. соч. – Сс. 362, 363.
10. Цит. по: Виноградов, И. И. Указ. соч. – С. 363.
11. Плеханов, Г. В. Еще о Толстом // Плеханов, Г. В. Искусство и литература / Указ. соч. – С. 717.
12. Виноградов, И. И. Указ. соч. – С. 375.
13. Луначарский, А. В. Указ. соч. – Сс. 245-247.
14. Виноградов, И. И. Указ. соч. – С. 375.
15. Там же.
16. Там же. – С. 379.
17. Луначарский, А. В. Указ. соч. – Сс. 257-258; 245-247.
18. Виноградов, И. И. Указ. соч. – С. 389.
19. Там же. – Сс. 385, 390.
20. Цит. по: Компаньон, А. Демон теории. Литература и здравый смысл / М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001. – С. 272.
21. Eco, U., Rorty, R., Culler, J., Brooke-Rose, C. Interprétation et surinterprétation. – Paris: PUF, 1996. См. об этом: de La Fortelle, A. (Sur)interprétation et malentendu: quelques réflexions à propos de l'épistémologie des études littéraires / Cahiers de l'ILSL. № 44. 2016. – Pp. 77-93.
22. Eco, U. Interprétation et histoire // Eco, U., Rorty, R., Culler, J., Brooke-Rose, C. Interprétation et surinterprétation / Указ. соч. – Р. 35.
23. Там же. – С. 22.
24. Там же. – С. 39.
25. Rorty, R. Le parcours du pragmatiste // Eco, U., Rorty, R., Culler, J., Brooke-Rose, C. Interprétation et surinterprétation / Указ. соч. – Сс. 81-101.
26. Там же. – С. 84.
27. Там же.
28. Mondémé, T. L'acte critique: autour de Rorty et de Barthes / Tracés, Revue de sciences humaines. № 13. 2007. URL: <https://traces.revues.org/313>
29. Виноградов, И. И. Указ. соч. – С. 383.

«Голову срезал палач и мне...»

К 100-летию расстрела Николая Гумилева (1886–1921)

Интервью Николая Брауна Владимиру Желтову

15 апреля исполнилось 135 лет со дня рождения великого русского поэта Николая Степановича Гумилева, а 26 августа – 100 лет со дня его расстрела. Он был обвинен ВЧК в соучастии в контрреволюционной Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева.

Конечно, живых свидетелей тех дней уже нет, и о событиях начала прошедшего века рассказать некому. Мы решили обратиться свои вопросы к Николаю Николаевичу Брауну – человеку, через всю жизнь которого прошло имя Николая Степановича Гумилева, кто близко знал его вдову и сына, кто имел возможность расспросить о Гумилеве Анну Ахматову. Анну Андреевну он хорошо знал, многократно встречался, запрещенный «Реквием» и ее стихи он записал на магнитофон, сумев сохранить и донести до наших дней. В 1960-е ему удалось собрать редкую фонотеку авторского чтения стихов, включая перезаписи с уцелевших восковых валиков 1920-х годов.

Николай Николаевич Браун – из семьи поэтов. Его отец Николай Леопольдович Браун посещал занятия «Цеха поэтов» Николая Гумилева, слушал и конспектировал его лекции. А сам Николай Николаевич впоследствии слушал и записывал лекции Льва Николаевича Гумилева, с которым дружил долгие годы, – оба были из «сидельцев»: свой, тоже 10-летний, срок по той же политической статье Браун получил в 1969 году, ему вменялась антикоммунистическая и религиозная агитация и пропаганда, «террористические замыслы», организация покушения на Брежнева и прочая, прочая...

С середины 1960-х Николай Николаевич был близко знаком и находился в переписке с Василием Витальевичем Шульгиным, был его секретарем, работал с ним над его новыми книгами. Шульгин и его супруга, бывшая пулеметчица Добровольческой армии во время Гражданской войны, Мария Дмитриевна Седельникова, стали для Брауна близкими людьми.

В семье Брауна-младшего сохранились все прижизненные поэтические издания Николая Гумилева. В 1960-е годы он распространял в «самиздате» зарубежные воспоминания о Гумилеве, которые сумел получить через «границу на замке». На обвинительном заседании в горсуде на Фонтанке он декламировал свои стихи, посвященные памяти расстрелянного поэта, – они тоже вменялись ему в вину.

Его биография фантастическим образом переплетена с ярчайшими именами и судьбами. И с людьми, причастными к судьбе Николая Гумилева. Вряд ли сегодня кто-то, обогащенный собственным политлагерным опытом, может со знанием дела рассказать о том времени, когда имя поэта, с клеймом «контрреволюционера» и «белогвардейца», в СССР было под запретом.

Владимир Желтов

– Николай Николаевич, однажды в нашем разговоре о петербургских поэтах Вы упомянули, что у Вашего отца имелись конспекты лекций Николая Гумилева. Что это за конспекты и где они?

– Тогда начинающий, но уже обративший на себя внимание поэт Николай Леопольдович Браун вел эти конспекты, посещая в 1919-20 годах занятия в «Цехе поэтов», которым руководил Гумилев. Как мастер в средневековой гильдии, Гумилев учил приходящих к нему подмастерьев разных степеней теории и практике стихосложения, давал задания – и всегда радовался чужим удачам. Ученики между собой именовали его Мэтром и осознавали, что звание поэта в «Цехе» нелегко заслужить.

В моем детстве отец сначала упоминал обо всем этом урывками, затем я постепенно расспросил его о самом Гумилеве, о том, как проходили занятия, какие задания приходилось выполнять ему лично. При общих заданиях, например, по темам, для коллективного стихотворения «Бульдог» две строфы Гумилев взял, как лучшие, из Брауна. Как-то Николаю Степановичу больше всех понравилась шарада, во время занятий придуманная Брауном.

Отец не был частым посетителем, он в это время учился и работал, был еще актером в театре. После ареста Гумилева конспекты, о наличии которых знали все близкие друзья, пришлось, как ни было жаль, уничтожить. В случае обыска они бы стали материалом для задержания и, быть может, тогда мы с вами не встретились бы! Тетради с конспектами были сожжены. В круглой печке светло-зеленой окраски в нашей квартире 128 в доме на Канале Грибоедова, 9, – печь эту я еще застал после войны, а пепел, возможно ценою в жизнь, был выброшен в мусорное ведро.

– Николай Николаевич, неужели ни у кого не уцелело никаких записей лекций Гумилева?

– У меня есть записи лекций Льва Гумилева, сына Николая Степановича. И я их сохранил. Я слушал Льва Николаевича с таким же вниманием, как, наверное, мой отец слушал Гумилева-старшего.

Теперь о наличии конспектов его лекций. В более полном объеме, чем у Николая Леопольдовича Брауна, гумилевские материалы име-

лись у писателя Павла Николаевича Лукницкого, тогда тоже очень молодого поэта. Поэтом он так и не стал – был плодовитым журналистом, автором документальной прозы и уникальных дневников, в том числе блокадных. Одновременно он был – с очень давних пор – сотрудником ОГПУ, чего, впрочем, никогда не скрывал.

Я познакомился с ним уже в 1960-е годы, в связи с моим интересом к запретной тогда теме жизни и смерти Гумилева. Лукницкий в те годы решил сделать всё возможное для издания произведений Николая Гумилева – шло время массовых реабилитаций расстрелянных в 1930-40-е годы, – и затратил много времени и сил на достижение поставленной цели. Трудность была в том, что жертв «красного террора», как и репрессированных в 1920-е, реабилитации не коснулись. А ведь чтобы издать, надо было предварительно добиться реабилитации автора.

Лукницкий бывал у нас дома, кое-что рассказывал доверительно, давно зная нашу семью, не причастную ни к компартии, ни к комсомолу, закаленную и умеющую молчать. От него я узнал, как выглядят листы «Дела Гумелева», – фамилия в материалах искажена; впервые увидел нарисованную Лукницким схему местности в Бернгардовке, где, как он предполагал, поэт был расстрелян. В это же время узнал, что записи Лукницкого, конспекты и другие материалы, связанные с Гумилевым, ему удалось в свое время, посоветовавшись со старшим по званию, спрятать в недрах ОГПУ, снабдив «охранной грамотой», в которой удостоверялось: эти тетради могут быть полезны с марксистской точки зрения для изучения дальнейшей борьбы с классовым врагом во имя победы «мирового пролетариата». Так или иначе, документы не сгорели в период «раздувания мирового пожара», не были брошены в топку «классовой борьбы», и искать их надо в этих самых недрах!

– *Встречали ли Вы сами какие-либо сохранившиеся следы существования «Цеха поэтов»?*

– Да. Я был очень хорошо знаком с поэтом Всеволодом Александровичем Рождественским, который жил в том же самом доме на Канале Грибоедова, 9, что и наша семья, но в квартире 100. Он когда-то был секретарем Гумилева, и я имел возможность расспросить его о занятиях в «Цехе» и личности мэтра. У него я увидел чудом сохранившийся набор записок, которые посылали мэтру во время занятий. К моим вопросам он отнесся с вниманием, но было заметно, как об одних фактах он рассказывал охотно, а других даже не хотел касаться. Поскольку я записал чтение им стихов на мой магнитофон «Днипро-11», и запись вышла удачной по композиции и качеству, он согласился, по моему настоянию, рассказать и о записках, посланных Николаю Степановичу его прилежными учениками и

сподвижниками, в частности, о зачислении в «Союз поэтов» и, одновременно, в «Цех» новых членов на основании представленных ими сочинений и отзывов приемной комиссии, в которой был и Николай Степанович Гумилев. Память о занятиях в «Цехе», о лекциях Мастера оживала столько лет спустя! Помню, Всеволод Александрович Рождественский заметно волновался, комментируя содержание листочков, которые чуть вздрагивали в его руках.

– *Уцелела ли эта запись после Вашего ареста и обысков у Вас?*

– Да, запись, сделанная в тот день, уцелела и хранится в моей фонотеке «Голоса двух веков». Она была возвращена, так же, как ряд других записей, после заявления моего отца о том, что эти голоса его друзей и современников принадлежат ему, по смыслу, в еще большей степени, и очень дороги ему, как голоса его юности и начала века. Тем более, что мало кто из них оставался в живых. У меня ведь были, в том числе, записи, скопированные с восковых валиков Сергея Игнатьевича Бернштейна, которого я посещал с моим магнитофоном в Москве.

– *Выступая как-то на вечере памяти Николая Гумилева в Доме ученых, Вы сказали: мне удалось записать на магнитофон воспоминания о нем Иды Наппельбаум. Были ли они в итоге опубликованы?*

– Да, были, но через двадцать с лишним лет! Ида Моисеевна Наппельбаум, участница занятий в «Цехе поэтов», жила довольно замкнуто. Когда я пришел к ней в начале 1960-х с вопросами о Гумилеве, мы уже были знакомы. Она отвечала с удовольствием и достаточно подробно. Оказалось, до меня о Гумилеве ее никто из знакомых не расспрашивал! Вероятно, считали неудобным спрашивать по той причине, что в 1951-м она была арестована и до 1954-го отбывала заключение в Озерлаге за имевшийся у нее портрет Гумилева работы художницы Шведе-Радловой – точнее, за прямоугольник от портрета на выцветших обоях, потому что сам портрет из-за опасения новых репрессий был уничтожен первым мужем Иды – Михаилом Фроманом, который возглавлял Союз писателей. По моему настоянию Ида Моисеевна написала воспоминания и о Николае Степановиче, и о «Цехе поэтов»; я их тщательно отредактировал, и она сама перепечатала их на машинке. После чего мною была сделана их магнитофонная запись.

Я, как известно, коллекционировал голоса поэтов. Для меня было важно, как сами авторы читают написанное ими! В этих воспоминаниях Ида Наппельбаум рассказывает, как она пошла с передачей в ЧК и – передачу не приняли. Она пошла вместо Анны Энгельгардт, второй жены Гумилева, – ее обычно называли Анной Второй (подразумевая, что Анной Первой была Ахматова), – поскольку была вероятность, что ее, как «жену контрреволюционера», могут арестовать.

Один из участников «Цеха» Николай Оцуп с волнением объяснил Иде Моисеевне причину: передачу Гумилеву не приняли потому, что 25 августа целая группа приговоренных была расстреляна... Эта запись и сейчас в моей фонотеке. Не будет лишним дополнить, что Оцуп волновался не напрасно: по тому же делу был расстрелян его родной брат Павел, а осенью 1922-го Оцуп эмигрировал.

– *Запись была сделана Вами до 15 апреля 1969 года?*

– Да, до дня моего ареста. Я был арестован КГБ в день рождения Николая Степановича Гумилева! А через 10 лет, после моего возвращения из политлагерей, я опять записал Иду Наппельбаум – чтение ею стихов, написанных в женском политлагере в Тайшет. Ида Моисеевна была долгожительницей, в 1990-е годы о многом успела рассказать; ушла из жизни, приняв крещение, с православным именем Ия.

– *У Вас есть стихотворение «Гумилевский портсигар», где в первых же строках приметы этого портсигара: «Николая Гумилева // Петербургский портсигар, // Так похож – ну право слово // На больших очках футляр...»*

– Он действительно похож. Хочу сказать, что стихотворение, о котором идет речь, – из моего цикла «Путем Гумилева», написанного в разные годы. Это короткое стихотворение было написано 12 марта 1971 года в спецполитлагере в Мордовии, в Барашево. Портсигар – единственная вещь, которая осталась от Николая Степановича Гумилева. Он присутствовал при многих наших встречах с Идой Наппельбаум, напоминая о занятиях в «Цехе поэтов». Его видел и мой отец. «Ритм стиха, что папирсой // Отбивал, как марш, поэт». Последний раз я видел портсигар в последний год жизни Иды Наппельбаум. Она любила его показывать. Она знала и меня, и моих родителей, и отношения у нас были доверительные. Для нее это была драгоценность.

– *Дальнейшая судьба этого портсигара?*

– Думаю, он и теперь находится у прямых наследников Иды Моисеевны Наппельбаум, проживающих в Германии.

– *А как он к ней попал, Ида Моисеевна не рассказывала?*

– При аресте Николай Степанович не взял с собой портсигар, он остался у «Второй Анны» и вскоре был ею подарен Иде. Его арест был достаточно неожиданным для всех – ну, может быть, кроме него самого.

– *Чтобы выкурить последнюю папиросу, Николай Гумилев достал ее не из этого портсигара?*

– Нет, это могла быть только комиссарская папироса.

– *На судебном заседании Вы декламировали свои стихи памяти Гумилева. Почему?*

— Сегодня это может показаться странным. Свои стихи, посвященные памяти Николая Гумилева, я читал в конце того же 1969-го, со скамьи Ленгорсуда. Не просто читал — декламировал. Меня слушали со вниманием и судья, и прокурор, и весь зал, заполненный чекистами в мундирах, — до последнего ряда. Процесс был закрытым, но одновременно «показательным». Можно подумать, что я лучшей эстрады не нашел, чем скамья Ленгорсуда. Дело в том, что судья, избличая меня именно как идеологического преступника, просила меня прочитать стихи. Я продекламировал семь стихотворений из числа изъятых при обысках по делу, в которых я агитировал против Советской власти, протестовал против ввода советских войск в ЧССР и призывал к борьбе за новую Великую Россию. Один из свидетелей, вызванных в суд, сказал: «Вы знаете, если бы он мне прочел эти стихи, я бы сразу прибежал к вам...» В отличие от этого свидетеля, Ида Моисеевна, у которой были изъяты мои стихи, отвечая на вопросы судьи Исаковой, назвала их «славой России», подтвердив записанное в протоколе ее допроса по моему делу. Дословно та же оценка этим стихам была дана в отважных показаниях инженера Александра Куцина, собирателя «самиздата»; с Наппельбаум он знаком не был. Изъятые при обысках, стихи инкриминировались мне в обвинительном заключении. В частности, о стихотворении «Памяти Николая Гумилева» там было сказано, что я прославлял Гумилева как царского офицера, участника «белогвардейского контрреволюционного заговора». Но у этого «участника заговора» в «Цехе поэтов» занимался Николай Леопольдович Браун, мой отец. Блок считал, что стихи — это результат божественного вдохновения свыше, Маяковский утверждал, что стихи можно «делать», а Гумилев — что созданию стихов можно научить.

Это стихотворение было написано мною 4 апреля. 15 апреля оно лежало у меня на столе в машинописном виде. Поэтому и фигурировало в зале суда как материал для обвинения. В первом ряду среди вызванных по делу свидетелей и чекистов в форме, пришедших на «закрытый процесс», находился прежний слушатель «Цеха поэтов» — Николай Леопольдович Браун. Отец с просветленным лицом, с заметным волнением слушал это мое посвящение Николаю Степановичу — стихотворение еще не было ему известно. Не берусь здесь более говорить о его чувствах.

— *Когда Вы открыли для себя не «врага Совдепа», а поэта Николая Гумилева?*

— В нашем доме были и есть книги Николая Степановича Гумилева, изданные еще при его жизни, с 1918-го по 1921-й год. Есть «Огненный столп» 1921-го, посвященный Анне Энгельгардт. «Костер», переизданный в Берлине в 1922 году. Есть его переводы,

его «Письма о русской поэзии», «Альманах Цеха поэтов», где опубликовано одно из последних стихотворений Николая Степановича «На далекой звезде Венере // Солнце пламенней и золотистей, // На Венере, ах на Венере // У деревьев синие листья...» Видимо, в нем он предвидел скорое возможное расставание с миром земным. На некоторых книгах написано рукой моей матери: «М. Комиссарова», на других – рукой отца: «Н. Браун». Это наши семейные реликвии. Здесь уместно сказать о том, что в 1920-е годы к писателям – членам местного Союза писателей – приходили сотрудники ОГПУ в штатском, звонили в дверь и произносили три слова: «Книги Гумилева сдать». Иначе – повод для вербовки или, потенциально, ареста, как пособника «классового врага». Стихи Гумилева в нашей семье не только читались – они цитировались. Значительное количество стихотворений Гумилева я знал наизусть. Мне это пригодилось, когда в политлагерях мы отмечали дни рождения поэтов, убитых советской властью. Гумилев был на первом месте.

Здесь надо отметить, что почитатели и при его жизни не могли обнаружить в его стихах ничего антисоветского, противобольшевистского, что порождало разочарование. А мне в аудиториях много раз задавали вопрос, в чем же причина? Почему у него отсутствует поэтическая публицистика? Я нашел только одно стихотворение о произошедшем в России в 1917 году, с предвидением будущих событий – о зловещей «Новой звезде», что зажглась в «Созвездье Змия». Стихотворение, о котором идет речь, – «Франция» – было впервые опубликовано в июле 1918 года в журнале «Новый Сатирикон», № 5. В нем такие строки о России: «Ты прости нам, смрадным и незрячим, / До конца униженным, прости! / Мы лежим на гноище и плачем, / Не желая Божьего пути! // В каждом, словно саблей исполина, / Надвое душа рассечена, / В каждом дьявольская половина / Радует, что она сильна. // Вот ты кличешь: 'Где сестра Россия, / Где она, любимая всегда?' / Посмотри наверх: в Созвездье Змия / Загорелась новая звезда». О том, что японские астрономы открыли новую звезду, которая появилась в этом созвездии, я узнал только в мордовском политлагере, в 1970 году.

Но ведь в России происходили события, не откликнуться на которые означало позицию художника «вне политики». В архиве Павла Николаевича Лукницкого сохранилось стихотворение, написанное редким размером – «пантумом». Вот его начало: «Какая смертная тоска / Нам приходиться и ждать напрасно? / А если я попал в Чека? / Вы знаете, что я не красный. / Нам приходиться и ждать напрасно, / Пожалуй, силы больше нет. / Вы знаете, что я не красный, / Но и не белый – я поэт!» И далее: «Путь к славе медленный, но верный: / Моя трибуна – Зодиак!». Павел Лукницкий уверял, что слышал от

людей, знавших Гумилева, его утверждение: поэт должен стоять «над политикой». В стихах Гумилев говорил о себе с легкой иронией: «Я вежлив с жизнью современною». Однако он ведь не проповедовал невозможного лживого «примирения» палачей и жертв, красных и белых! А между тем демонстративно вел себя, как всегда: бесстрашно высказывал нелицеприятные мнения, крестился на православные храмы. И однажды в аудитории, заполненной, в том числе, революционными матросами, на вопрос к нему: «Каковы Ваши политические убеждения?» – ответил: «По убеждению я монархист». Можно предположить также, что при такой демонстративной открытости он, верный присяге России, выполнял неизвестную нам особую «гумилевскую миссию» в глубоком тылу врага, захватившего власть в России, чтобы в нужный момент помочь выиграть решающую схватку.

В 1917 году 12 ноября издан Декрет № 31 об отмене всех сословий, чинов, всех российских законов, отмене частной собственности. В 1918-м, 5 сентября, Постановлением ВЦИК созданы «концентрационные лагеря» для «врагов народа». 12 июня 1918 года расстрелян Великий князь Михаил Романов, брат Царя, через месяц – Царь Николай Второй с Семей. В этом же году восстали Ярославль и Тамбовская губерния, в которой большевиками были применены ядовитые газы, оставшиеся на складах от Первой мировой войны. В марте 1921-го началось подавление восстания в Кронштадте. Ужасающий Красный террор, как многоголовый Дракон с огненными языками, поглотил и возвратившегося в Россию из-за границы, кронштадтца по рождению, Гумилева.

– *Как это понять: Вы в политлагерях отмечали дни рождения поэтов, убитых советской властью?!*

– Да, у меня даже есть стихотворение: «В клубе лагерном» об одном из таких дней рождения. Такое нарочно не придумаешь.

Мы отмечали день рождения Гумилева в лагерном клубе – в Кучино Чусовского района Пермской области, там теперь Музей истории политических репрессий – кстати, кажется, единственный в стране, расположенный на территории бывшего лагеря. Собрались узким кругом на сцене. Я начал читать стихотворение Гумилева «Наступление»: «Та страна, что могла быть раем...» И вдруг из репродукторов зазвучал Монолог Хлопуши из поэмы Сергея Есенина «Пугачев», в авторском исполнении. Увидев, что мы читаем стихи, кинемеханик-политзаключенный старшего поколения, Генрих Брунмайер, сидевший «за войну», поставил эту пластинку. По моей просьбе Николай Леопольдович привез и передал ее через лагерную «свиданку», на ней несколько записей голоса Сергея Есенина. Итак, я читаю стихи Гумилева: «Золотое сердце России / Мерно бьется в

груди моей» – а меня словно старается перекричать голос Есенина: «Проведите, проведите меня к нему!»...

Я читал в манере Николая Степановича, которую усвоил от Николая Леопольдовича. Дело в том, что у Николая Леопольдовича была феноменальная память и абсолютный слух. Он читал авторов – расстрелянных, оказавшихся в эмиграции, пропавших без вести – как читали они сами. Это была настоящая брауновская устная фонотека, БУФ. У меня есть такая строка в стихотворении «В Клубе лагерном...» об отце: «Повторяя на слух, от забвения спас...» Вот я и читал Гумилева так, как когда-то читал он. Судьба как будто свела двух крупнейших поэтов эпохи в уральском лагерном клубе – «На этом турнире невольном...» Почти одновременно с есенинским чтением я закончил гумилевское: «Проходя по дымному следу / Отступающего врага».

– Николай Николаевич, у Вас есть строка: «В мундир легенд одет». То, что он взял с собой в тюрьму Евангелие и «Илиаду» Гомера, что на стене тюремной камеры было записано последнее стихотворение Гумилева – это факт или легенда?

– В парижском издании воспоминаний Николая Оцуа говорится про Евангелие и Гомера. И не только у него. Например, в замечательных воспоминаниях Ирины Густавовны Гейнике (Одоевцева – ее литературный псевдоним) «На берегах Невы». Есть воспоминания и про стихотворение на стене камеры. По крайней мере, оно приписывается Гумилеву. Но, я уверен, что условия при допросах были такие, что тут не до стихов! Чекистам важно было выбить хоть какие-то признания, чтобы были основания для приговора. Кроме избиений, применялись пытки. Решения и приказы спускались сверху. И давайте не забудем, что Зиновьев был не только хозяином Петербурга, но еще и главой Коминтерна, с марта 1919-го по 1926-й! Коминтерн приказывал: любые проявления сопротивления советской власти подавлять беспощадно! Зиновьев был палач от Коминтерна. Отчасти этим тоже объясняются такие жестокие меры. Общее число расстрелянных в два приема называлось – 96. По новым, документально подтвержденным, данным – 104 человека. При первом расстреле, 25 августа, – 61. По делу проходило более тысячи, а было привлечено 833. Скульптор Сергей Ухтомский, профессора Петроградского университета Николай Лазаревский, Григорий Максимов и Михаил Тихвинский, геолог Виктор Козловский... У меня есть полный список. Владимир Николаевич Таганцев был расстрелян с женой и даже с 23-летней машинисткой, которая перепечатывала ему его научные труды. Посчитали, что она печатает и распространяет контрреволюционные прокламации.

– Ничто так не обросло легендами, как гибель Гумилева. Вы

встречались со многими людьми, которые могли что-то об этом знать. Какая из многочисленных версий Вам кажется наиболее достоверной?

— Для того, чтобы скрыть правду, истинные обстоятельства чьей-нибудь гибели или ликвидации, в ОГПУ-ЧК-КГБ сочинялся целый ряд версий, которые намеренно исключают одна другую. Самая известная из версий о гибели Гумилева та, где рассказывается, как он «шикарно умер». Записана Георгием Ивановым, передана ему как устное свидетельство чекистского поэта-футуриста Сергея Боброва. Он тоже ценил стихи Гумилева и многие знал наизусть. Бобров утверждал, что «слышал из первых рук»: Гумилев перед смертью «улыбался, докурив папиросу... Даже на ребят из Особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает». Эта версия очень напоминает рассказ о гибели Колчака. Но она была воспринята с каким-то облегчением, потому что образ Гумилева, кавалера двух Георгиев, остается не только привлекательным, но и является подтверждением избранного им пути, пути монархиста. Подчеркивается нестигаемость и духовная несломленность касты царских офицеров.

Одну из версий я знаю лично от Льва Николаевича Гумилева, с которым мы дружили. Его жена Наталья Викторовна присутствовала при общении супруга с человеком, который рассказывал, как, по данным ОГПУ, мог выглядеть расстрел Николая Степановича. Колонне приговоренных было приказано остановиться, перестроиться в шеренгу. Командир расстрельщиков подошел к молодому человеку, который стоял рядом с Николаем Степановичем, и попросил его сделать шаг вперед. Вероятно, для того, чтобы он был расстрелян на глазах у Гумилева. Но в последний момент Николай Степанович сделал два шага вперед и шаг в сторону. И заслонил молодого человека своим телом.

Как Вы понимаете, я не несу ответственности за то, что кто-то сочинял какие-то легенды. И в первом, и во втором случае это похоже на легенды «из ОГПУ». По одной из версий, приговоренных везли на место расстрела по железной дороге, по другой — на баржах...

— До Бернгардовки на баржах?!

— На Финский залив. Я слово «Бернгардовка» не произнес! Это Вы сказали. О Бернгардовке пока речи нет. У большевиков практиковались затопления на баржах. Так, например, они поступили со взятыми в плен юнкерами Владимирского военного училища на Петроградской стороне, после кровопролитного боя с красногвардейцами 12 ноября (нов. ст.) 1917 года, при начале «Великой бескровной». Баржи подгоняли тогда к Петропавловской крепости, куда на грузовиках доставлялись арестованные. А сейчас речь — о районе

Лисьего Носа. В стихах Иды Наппельбаум 21-го года говорится о казни на морском берегу...

– *Это не доказанный факт. Знаете, девичье романтическое представление...*

– Не будем забывать, что ее супруг – большевик Михаил Фроман – был хорошо знаком с Вольфом Эрлихом, с другими работниками ОГПУ и тоже мог кое о чем слышать. Так что в ее стихотворении не просто романтические представления. Она ведь пыталась выяснить, где и как погиб Гумилев.

Еще одна версия – распространенная среди ленинградских писателей в 1920-е годы. Привезли, построили у вырытой круглой ямы. И вдруг Гумилев начал кругами бегать вокруг этой ямы. Как какой-нибудь зверь в Африке. Стрелки даже растерялись, и огонь по нему открыли не сразу.

Была еще версия, что Гумилев с еще одним участником так называемого Таганцевского заговора, с каким-то матросом, был отделен от остальных и расстрелян в Бернгардовке. Здесь впору напомнить, что Гумилев был кронштадтцем по рождению. Вот мы и добрались до Бернгардовки. О ней мне говорила и Анна Андреевна Ахматова, крайне неохотно касаясь этой темы, потому что никаких подтверждений упомянутой версии не имелось, – ее могла бы подтвердить эксгумация, но в 1960-е годы об этом речи не шло. Спустя много лет Ирина Николаевна Пунина, дочь Николая Пунина, рассказала мне лично, как Анна Андреевна вместе с ней ездила еще и на то место «в район Пороховых», о котором, как о месте расстрела 21-го года, поведал по секрету после войны в 1945 году некий рабочий. Он пожелал остаться неизвестным. Эта версия, на мой взгляд, тоже недостаточно обоснована. Что это за человек, который лишь уверял, что слышал выстрелы, а затем видел разрыхленную свежую землю над ямами? Быть может, это была еще одна попытка отвести от действительного места захоронения? Да ведь и расстрелов было немало в разных местах. Можно было честно ошибиться, приняв один расстрел за совсем другой.

Павел Николаевич Лукницкий, о котором я рассказывал выше, мне показывал схему, которую он же показывал Анне Андреевне, – ту, где у мостика через реку Лубью растут три сосны. А дальше – еще одна, кривая. В ту местность приговоренных этапировали по узкоколейке. Было предположение, что это совершилось там. Когда в 1990-е возник вопрос о возможной эксгумации двух расстрелянных – один из них мог быть Гумилев, – речь шла об этом квадрате.

Итак, вкратце, отвечаю на еще не заданный Вами вопрос о «вине» Николая Гумилева. Вот официальная формулировка. Петроградская газета «Правда» 1 сентября 1921 сообщала о расстре-

ле 61 человека по «Делу Таганцева», произведенном 25 августа. (Это был первый расстрел, второй последовал 3 сентября.) «Гумилев Н. С. 33 л., (на самом деле 35, «не тот»!) б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии издательства 'Всемирной литературы', беспартийный, б. офицер. Содействовал составлению прокламаций. Обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов. Получал от организации деньги на технические надобности». А между тем Николай Степанович Гумилев человек был здравомыслящий. Он понимал, что в Советской России в коминтерновском Петрограде в этот момент бессмысленно поднимать какое-либо восстание... Напротив, продумывал варианты перехода государственной границы. Об этом – подробное свидетельство писателя Василия Ивановича Немировича-Данченко, проживавшего в Германии, помещенное в эмигрантской печати. «Я хотел уходить через Финляндию, он – через Латвию. Мы помирились на эстонской границе. Наш маршрут был на Гдов, Чудское озеро. В прибрежных селах он знал рыбаков, которые за переброс нас на ту сторону взяли бы недорого... Николай Степанович не раз говорил мне: 'На переворот в самой России – никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку... Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, – бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовиться к нему глупо. Всё это вода на их мельницу». И еще: «Эти каторжники крепко захватили власть. Они опираются на две армии: Красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры...» «И узнав о том, что он взят в Чека, – завершает эту часть рассказа Василий Немирович-Данченко, – я ничего не понял.»

– *День гибели Николая Гумилева отмечался в России в 1990-е?*

– Генеральное представительство Российского Имперского Союза-Ордена по Санкт-Петербургу и Москве, которым я имел честь руководить, с 1991-го проводило ежегодные панихиды 25 августа в Бенгардовке на берегу Лубы, неподалеку от станции. Нам помогала Военно-историческая ассоциация, ее активисты: совсем молодые люди приезжали в форме образца 1914 года, а мы, то есть наши соратники, приезжали со знаменем и штандартом. Первую панихиду провел отец Александр из Всеволожского храма, затем оттуда же к нам приезжал отец Игорь. Вскоре там был положен большой памятный камень, символизирующий место расстрела Николая Гумилева в здешних окрестностях, и еще несколько памятных камней другим поэтам – жертвам советского режима, могил у которых нет. Сделано

это было замечательными людьми – жителями Бернгардовки. Камни положила с помощью тракториста Тамара Левкович. Здесь же местным жителем Павлом Пекуром был установлен сварной стальной крест. Администрация Всеволожского района в эту пору от «гумилевской темы» сознательно устранилась. Но и не мешала. Зато в 2001-м, видимо, решив сделать для себя «брендом» память о Николае Гумилеве, связанную с его расстрелом, она умело и с размахом организовала праздник в местной школе, посвященный 115-летию поэта, пригласив его почитателей. Праздник запомнился надолго. Впрочем, через 10 лет, в 2011 году, администрация района даже на 90-летие со дня смерти Гумилева никак не отозвалась. Энергичными активистами ежегодных встреч в Бернгардовке всегда были и оставались Вера Паузер и Леонид Коровин, заслуги которых потребовали бы отдельного благодарного рассказа.

– Бернгардовка – лишь одно из предполагаемых мест захоронения. Почему панихиды и памятные камни – там?

– В Ковалевском лесу действительно производились расстрелы. Но у меня есть магнитофонные записи рассказов местных жителей, которые свидетельствуют о расстрелах на территории самой Бернгардовки. В Ковалевском лесу проводил раскопки «Мемориал» – в густом лесу, выросшем с 1921 года на берегу Лубьи, – были найдены отдельные кости и гильзы от патронов и установлен памятный знак, который «Мемориал» назвал «точкой Лукницкого». Но место это с «точкой» давно знакомого мне Павла Николаевича не совпадает. Каких-либо доказательств, что именно здесь был убит Гумилев, у нас нет, как нет и такой «точки». Остается многоточие. Но именно по инициативе «Мемориала» на кирпичной стене порохового погреба в Ковалевском лесу, который использовался ОГПУ как «накопитель» для доставляемых сюда на расстрел, в августе 2001 года была открыта памятная доска «Жертвам красного террора». Открытие происходило при участии бывших политзаключенных – моем, в частности. В своем выступлении, отдав должное работе, проделанной «Мемориалом», я отметил как надуманную, ни на чем не основанную, мемориальскую версию, названную «точкой Лукницкого». Мне памятен этот день.

А в Бернгардовке мы не раз бывали вместе с Кириллом Таганцевым, сыном расстрелянного, с которым я был хорошо знаком. По имени его отца, Владимира Таганцева, известного петербургского ученого, «Дело Петроградской боевой организации» чекисты стали преподносить общественности как «Таганцевский заговор». У меня хранится подаренная Кириллом Владимировичем газета «Вечерний Петербург» от 8 июля 1994 года с первой подробной публикацией о «Деле Таганцева», на трех страницах, с его дарственной надписью.

– *Какой версии придерживался Кирилл Владимирович?*

– Об обстоятельствах расстрела отца он не мог дополнить ничего. В любом случае, категорически не хотел вообще говорить об отце, поскольку знал о его роли в следствии, погубившей одновременно и его мать.

– *Чем занимался Кирилл Владимирович?*

– Он закончил физфак, кандидат наук, работал одно время в Гидротехническом институте. Когда его родители были расстреляны, ему было 4 года, он 1916 года рождения. Усыновлен был семьей его тети.

– *Значит, в Бернгардовке обозначено крестом и камнем символическое место гибели Гумилева?*

– Да, символическое.

– *По одной из версий, убитого Гумилева сожгли в крематории на Васильевском острове.*

– Была и такая. Но первый крематорий в Петрограде находился на 14 линии Васильевского острова в доме 95-97, он проработал недолго: с 14 декабря 1920-го по 21 февраля 1921-го. Газа не было, и дров для топки тоже. Так что эта версия является иллюзорной. На кого бы ни ссылались рассказчики.

– *В одном из наших телефонных разговоров Вы говорили о какой-то дальней исторической связи между четой Таганцевых и кем-то из Ваших предков...*

– Просматривается некая параллель, возникшая причудливым образом. Отец руководителя заговора Владимира Таганцева Николай Степанович Таганцев – Гумилев его полный тезка – был известным на всю Россию правоведом. Он разрабатывал многие законы и в своих разработках, в частности, высказывался за отмену смертной казни. Когда был приговорен к повешению Каракозов, от пули которого спас Государя Императора Александра Второго мой предок по материнской линии Осип Комиссаров – вот такая параллель, – и Петербург целый месяц праздновал спасение Царя, а великий русский поэт Некрасов посвятил Комиссарову стихи, Николай Таганцев ратовал за отмену смертной казни. Но его проект не был принят, потому что царевубийцы тогда объединились в несколько смертельно опасных групп. Кстати, Каракозов был соучеником Николая Таганцева по гимназии в Пензе, из этого города и происходят Таганцевы.

Николай Степанович Таганцев считал себя либералом. Его сын Владимир Николаевич, тоже профессор права, в Феврале еще верил в гуманные решения политических вопросов. Но после Октября, увидев большевистский неприкрытый террор, оба они – и отец, и сын – резко поменяли свои взгляды. После ареста сына в 1921 году Николай

Степанович обратился с письмом к председателю Совнаркома Ульянову-Ленину. Писал, что именно он принял участие в судьбе его старшего брата: ходатайствовал, чтобы приговор – повешение – не был приведен в исполнение. И что именно он вытребовал для Марии Александровны свидание с сыном Александром Ульяновым. В письме от 16 июня 1921 года Николай Таганцев просил о смягчении участи его сына Владимира, даже освобождении. А значит, косвенно, и о смягчении участи остальных участников «Таганцевского дела», которое стало именоваться «Делом Петроградской Боевой Организации» – ПБО. Ответа от Ленина он не получил. Да это было уже невозможно в связи с неизлечимой болезнью адресата. Но письмом Таганцева заинтересовался председатель ВЧК Феликс Дзержинский. Ведь оно было от известного юриста, который сочувствовал революции. Между прочим, на тогдашнем совещании в ВЧК Дзержинский сказал, что «ЧК не может отделять наказание поэтов-контрреволюционеров от прочих контрреволюционеров» и что «исключений здесь быть не должно». А в связи с письмом посчитал, что «Дело Таганцева» надо взять под личный контроль и послал в Петроград Якова Сауловича Агранова, который уже проявил себя, работая в разгромленном большевиками Кронштадте как следственный каратель. (Взятое ранее имя и фамилия: Янкель Соренсон, при его рождении в Могилевской губернии, по биографическим данным, – Янкель Шевелевич Шмаевич.) В 1925 году он будет посредством жестоких пыток фабриковать дело «Ордена русских фашистов», допрашивая друзей Есенина.

Когда Агранов поехал в тогдашний Петроград, из действий его противников очевидным было только частичное разрушение взрывом памятника Володарскому на бульваре Профсоюзов. На требуемый весомый масштаб следствия материал явно не тянул. И он решил прибегнуть к революционной тактике, при которой «цель оправдывает средства». Революционер-следователь Агранов в письменной форме заверил подследственного февралиста и либерала Владимира Николаевича Таганцева, что, если он без утайки расскажет о контрреволюционной организации, никого и пальцем не тронут: «Обязуюсь, что ни к кому из обвиняемых *не будет применена высшая мера наказания*». Гарантии Агранова подтвердил прибывший из Москвы заместитель Дзержинского, член Президиума ВЧК Менжинский. При этом Агранов не забыл перевести Таганцева на привилегированные условия содержания. Владимир Николаевич, поверив революционному пафосу Агранова, написал заявление, где честно пообещал: «...не утаю ни одного лица, причастного к нашей группе». И откровенно рассказал всё, что знал. В том числе и о Николае Степановиче Гумилеве, *с которым не был знаком*. После

того, как Владимир Таганцев узнал, что жестоко обманут, он сделал неудавшуюся попытку самоповешения на скрученном полотенце.

— *Когда же Таганцев был арестован?*

— Первые аресты «контрреволюционеров» по этому делу были проведены с 25 по 30 мая, в это же время и был арестован Таганцев с женой и, как следует из материалов дела, с беременной машинисткой. Гумилев был арестован 3 августа, месяц спустя, в «Доме искусств», где чекисты устроили засаду. Сначала был доставлен в камеру ЧК на Гороховую улицу. Через некоторое время переведен в тюрьму «Шпалерку», на Литейном проспекте. Его следователем был назначен Якобсон. Массовые аресты начались 8 августа, когда были арестованы сразу 250 петроградцев. Первый допрос Гумилева был 9 августа, последующие – 18 и 23 августа – ничего к сказанному ранее не добавили. «Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю следующее: никаких фамилий, могущих принести какую-нибудь пользу организации Таганцева путем установления между ними связей, я не знаю и потому назвать не могу» (Лист № 88. 23.08.1921).

Откуда же взялся следователь Якобсон, которого не было в списках Петроградского ЧеКа? Нетрудно догадаться, что эта фамилия состоит из имени Агранова «Якоб» и окончания его прежней фамилии «Сорен-сон».

К моменту первого допроса Гумилева «агент финской разведки» Герман и «подполковник царской армии» Шведов были убиты при попытке их ареста чекистами, первый – 30 мая, уложив меткой стрельбой более десятка пограничников, второй – 3 августа, нанеся свой урон оперативникам ОГПУ. Так что, кроме показаний Таганцева, у «Якобсона» в активе была только собственная возможность «классовой пролетарской мести» безоружному дворянину и кавалеру «двух Георгиев».

Позволю себе процитировать итоговый документ дела Гумилева, который был засекречен более 70 лет. Лексика следствия здесь сохранена. Лист № 102, машинописный текст: «Заключение по делу № 2534 гр. Гумилева Николая Станиславовича (зачеркнуто, надписано сверху чернилами: «Степановича»), обвиняемого в причастности к контрреволюционной организации Таганцева (Петроградской боевой организации) и связанных с ней организаций и групп. Следствием установлено, что дело гр. Гумилева Николая Станиславовича (зачеркнуто, надписано чернилами: «Степановича»)... возникло на основании показаний Таганцева, от 6.8.1921 г., в которых он признает следующее: 'Гражданин Гумилев утверждал курьеру финской контрразведки Герману, что он, Гумилев, связан с группой интеллигентов, которой

последний может распоряжаться и которая, в случае выступления, готова выйти на улицу для борьбы с большевиками, но желал бы иметь в распоряжении некоторую сумму для технических надобностей. Чтоб проверить надежность Гумилева, организация Таганцева командировала члена организации гр. Шведова для ведения окончательных переговоров с гр. Гумилевым. Последний взял на себя оказать активное содействие в борьбе с большевиками в составлении прокламаций контрреволюционного характера. На расходы Гумилеву было выдано 200 000 рублей советскими деньгами и лента для пишущей машинки».

Далее текст обвинительного заключения: «В своих показаниях гр. Гумилев подтверждает вышеуказанные против него обвинения и виновность в желании оказать содействие контрреволюционной организации Таганцева, выразив в подготовке кадра интеллигентов для борьбы с большевиками и в сочинении прокламаций контрреволюционного характера. Признает своим показанием гр. Гумилев подтверждает получку денег от организации в сумме 200 000 рублей для технических надобностей». В следующем абзаце – характеристика самого следствия: «В своем первом показании гр. Гумилев совершенно отрицал его причастность к контрреволюционной организации и на все заданные вопросы отвечал отрицательно».

Какие силовые методы и пытки были применены следствием к Николаю Гумилеву при последующих допросах, где он подтвердил перечисленные «обвинения», мы никогда не узнаем. На следственных фотографиях Гумилева четко видна рана на лбу, где содрана кожа, и синяк под правым глазом. На следственном фото Таганцева – круглая рана на лбу от прижигания папиросой.

Следующие два абзаца – итог следствия: «Виновность в контрреволюционной организации гр. Гумилева Н. Ст. на основании протокола Таганцева и его подтверждения вполне доказана. На основании вышеизложенного считаю необходимым применить по отношению к гр. Гумилеву Николаю Станиславовичу (Впоследствии исправлено чьей-то другой рукой на «Степановича». – *Н. Б.*) как явному врагу народа и рабоче-крестьянской революции высшую меру наказания – расстрел. Следователь Якобсон (подпись синим карандашом). Оперуполномоченный ВЧК (подпись отсутствует)». Других подписей вообще нет. По делу № 2534, кроме Таганцева, никто допрошен не был. Германа и Шведова, по-мужски достойно отдавших свою жизнь, уже не было в живых. Сумма в 200 тысяч рублей для «антибольшевистского переворота» в 1921 году равна была стоимости нескольких почтовых конвертов. Для вынесения приговора было достаточно личного мнения «Якобсона», одобренного Дзержинским из Москвы.

Как тут не вспомнить инструкцию для следователей одного из руководителей ВЧК тех лет, Мартина Лациса: «Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым делом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование... Вот эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть Красного террора».

Лист дела № 104 завершает машинопись: «Выписка из протокола заседания Президиума Петрогуб. Ч.К. от 24.08.21» – тот текст, что был напечатан в газете «Петроградская Правда» от 1 сентября, приведенный нами выше – и под текстом: «Верно», а справа приписка чьей-то рукой: «к... – расстрелу». Убийство, прикрытое анонимным «Заседанием Президиума Петрогуб ЧК»! Якоб Соренсон чувствовал жажду жертвенного сословного убийства тем сильнее, чем очевидней была недоказанность вины!

– *Есть ли в стихах Николая Гумилева, как это бывает у всех крупных поэтов, предвидение или предсказание своей смерти?*

– Конечно, есть. В год 100-летия преступного расстрела великого поэта приведу сначала последнее, наименее известное, стихотворение начала августа 1921 года. Это лирический диалог: «После стольких лет / Я пришел назад, / Но изгнанник я, / И за мной следят». Диалог заканчивается так: «Смерть в доме моем, / И в доме твоём. / Ничего, что смерть, / Если мы вдвоем». Места для жизни в нем как будто нет. Оно было опубликовано в первом издании «Посмертного сборника» Н. Гумилева в 1922 году в Петрограде.

А теперь известные примеры разных лет. «*И умру я не на постели / При нотариусе и враче...*». Вот, наверное, наиболее известный: «*Всё он занят отливаньем пули, / Что меня с землею разлучит*». Вот другой: «*И не узнаешь никогда ты, // Чтоб в сердце не вошла тревога, / В какой болотине проклятой / Моя окончится дорога*». Пример из «Заблудившегося трамвая»: «*В красной рубашке, с лицом как вымя, / Голову срезал палач и мне, // Она лежала, вместе с другими, / Здесь, в ящичке скользком, на самом дне*». И еще пример, в завершение: «*Не избежешь ты доли кровавой, / Что земным предназначила твердь, / Но молчи, несравненное право / Самому выбирать свою смерть*».

Нет сомнений, что иначе, как героически, Николай Гумилев свою смерть не принял! Ушел из жизни с честью, как верноподданный Российской Империи.

Санкт-Петербург, 2021

Мари Стравинская: «Изобретать себя заново»

Мари Стравинская – президент Фонда Игоря Стравинского в Женеве, правнучка композитора Игоря Стравинского и внука Юрия Мандельштама, поэта и литературного критика первой волны эмиграции. Мари изучала иностранные языки и коммерцию в Сорбонне, окончила Кембриджский университет, работала в Франко-Британской торгово-промышленной палате в Париже. Она принимает участие в различных коллоквиумах и конференциях по продвижению работ и сохранению памяти Игоря Стравинского, публикует журнальные статьи, а также является автором предисловий о своем прадедушке к книгам, изданным в Италии, Швейцарии, Франции, Нидерландах и России. Недавно она подготовила вместе с ведущими экспертами книгу, которая предлагает широкий взгляд на творчество и жизнь композитора. В 2018 году приняла участие в подготовке к печати трехтомника статей Юрия Мандельштама (Москва: «Юрайт»), а также опубликовала в «Новом Журнале» статьи о жизни и творчестве Юрия Мандельштама и художника Федора Стравинского. Живет в Швейцарии. Интервью дано итальянскому журналисту Мишелю Оливьери.

– Дорогая Мари, не могли бы Вы нарисовать нам портрет Вашего известного прадедушки?

– Он мой герой. И хотя я не знала его, присутствие его в моей жизни я ощущаю каждый день. Он до сих пор глава нашей семьи, и его необыкновенный шарм продолжает пронизывать нашу жизнь. Для меня Стравинский был, прежде всего, человеком глубоко человечным.

– Я читал, что Стравинский использовал особый инструмент на колесиках, своего собственного изобретения, для рисования параллельных линий нотного стана. Сохранился ли этот прибор до сих пор?

– Да, это называется «раструм» (Stravigor). Это очень практичный маленький инструмент, который он изобрел в 1911 году и всегда держал в кармане... К сожалению, у меня не было возможности его увидеть.

– Правда ли это или анекдот, что Стравинский обязательно перед каждым концертом съедал яйцо всмятку?

– Думаю, это вполне возможно. Я часто видела, как Федор, его старший сын, ел на завтрак яйца. Следует помнить, что яйцо – это важный символ у православных.

– *Есть ли у Вас какие-нибудь личные воспоминания о маэстро?*

– Только одно... день его смерти! Я была совсем маленькой девочкой, когда моя мама оставила меня на несколько дней у друзей, чтобы присутствовать на похоронах своего деда в Венеции. Всегда говорят, что первое воспоминание – самое эмоциональное. Так и это событие стало моим самым сильным первым воспоминанием.

– *Давайте поговорим о Фонде, который Вы создали и который возглавляете в Женеве. Каковы его основные цели?*

– Именно после целой серии семейных утрат я решила в 2008 году создать Фонд имени Игоря Стравинского. Целью Фонда является, прежде всего, обеспечение сохранности памяти Стравинского, но я также хотела, чтобы Фонд стал связующим звеном между общественностью и семьей Стравинских. Поэтому мы всегда рады ответить на любые вопросы и помочь.

– *Я читал, что Вы также помогаете грантами тем, кто занимается творчеством Стравинского?*

– Да, у нас есть финансовая и/или моральная система спонсорства – гранты, которые мы даем понравившимся нам проектам.

– *Из всех книг и сочинений, опубликованных о маэстро, какие Вам нравятся больше всего?*

– На этот вопрос очень сложно ответить, так как о нем и его музыке написано много прекрасных книг. Если мне надо выбрать только одну, то, пожалуй, я назову двухтомник Стивена Уолша: «Стравинский. Творческая весна» (*Stravinsky: A Creative Spring: Russia and France, 1882–1934*) и «Второе изгнание. Франция и Америка» (*Stravinsky: The Second Exile: France and America, 1934–1971*). Эти два объемистых тома являются результатом серьезной творческой работы автора. Они захватывающе и мастерски построены. Автор прослеживает не только жизнь композитора, но и эволюцию его творчества.

– *Стравинский сказал, что музыка – единственная область, в которой человек реализует настоящее. Вы согласны с этим утверждением?*

– Я думаю, что здесь нужно привести всю цитату: «Музыка – единственная область, в которой человек реализует настоящее. Несовершенство его природы таково, что он обречен испытывать на себе текучесть времени, воспринимая его в категориях прошедшего и будущего, и не будучи никогда в состоянии ощутить, как нечто реальное, а следовательно, и устойчивое, настоящее. Феномен музыки дан нам единственно для того, чтобы внести порядок во всё существую-

щее, включая сюда, прежде всего, отношения между человеком и временем. После завершения произведения этот порядок достигнут, и нам больше не о чем говорить. Было бы бесполезно искать или ожидать от него чего-то еще. Именно эта конструкция, этот достигнутый порядок порождает в нас уникальную эмоцию, не имеющую ничего общего с нашими обычными ощущениями и нашими реакциями на впечатления повседневной жизни. Невозможно лучше определить ощущение, производимое музыкой, чем сказать, что оно идентично тому, которое вызывается созерцанием взаимодействия архитектурных форм. Гёте это хорошо понимал, он говорил, что архитектура – это окаменевшая музыка».

– *Мне кажется, что создание такого Фонда является еще и хорошим способом сохранить память о Вашей семье, или я ошибаюсь?*

– Конечно, это было моим первым намерением. Я хочу, чтобы этот Фонд был связующим звеном для всех членов нашей семьи. Важно понимать, что даже гении – это нормальные люди, связанные семейной жизнью.

– *Вы когда-нибудь испытывали желание заниматься музыкой или пытаться сочинять?*

– В детстве я занималась музыкой, но только как любитель. Я играла на флейте, но у меня нет особой предрасположенности, тем более, что при такой фамилии, как моя, я испытывала огромное давление.

– *Были ли в Вашей семье в прошлом или в настоящем другие музыканты?*

– Семья Стравинских была семьей музыкантов. Во-первых, Федор Стравинский, отец Игоря, был известным басом Мариинского театра в Санкт-Петербурге; он был признанной «звездой» за свой вокальный и драматический талант. Мать Игоря – Анна – и его жена Екатерина тоже были прекрасными музыкантами. Екатерина очень помогала Игорю, она первая просматривала и переписывала его рукописи. Его сын – Святослав Игоревич Сулима-Стравинский – также был известным композитором и пианистом. Он играл со своим отцом в ранние годы, а затем сделал карьеру в Соединенных Штатах. Среди нашего поколения нет особых музыкантов.

– *Какая работа, по Вашему мнению, наиболее тесно связана с именем Стравинского?*

– Думаю, первое произведение, связанное с именем Стравинского, – «Весна священная». Это не простое произведение – этот шедевр, который, вероятно, остается одним из самых ярких символов музыки XX века.

– *Как мне известно, у Стравинского была тенденция к духовной устремленности. Правда ли это?*

– Больше чем тенденция. Он был глубоко духовным человеком, даже если в какой-то момент ему казалось, что он немного отходит от религии. Он не был практикующим верующим. Свой духовный опыт Стравинский широко использовал в своих религиозных произведениях. У меня дома есть несколько икон, принадлежавших ему.

– *Огромная популярность Стравинского связана с тремя балетами, написанными в его ранний период и созданными в сотрудничестве с «Русскими балетами» Дягилева. Можете ли Вы дать свое видение каждого из этих известных произведений? «Жар-птица»?*

– «Жар-птица» для меня связана с детским воспоминанием. У меня была богато иллюстрированная «дискотека», которая позволила мне познакомиться с этим произведением. В то время я уделяла больше внимания истории, а позже я наслаждалась этой музыкой, которая вызывала у меня острое чувство восхищения.

– *«Петрушка»?*

– Это восхитительная, нежная и в то же время очень сильная вещь, которая меня просто очаровывает. Я думаю, что Стравинский получал большое удовольствие, сочиняя музыку для этого балета, что и чувствуется. Мне очень нравится контраст между погружением в русский фольклор и восточным звучанием (фагот, кларнет), сочетание драматических и более легких моментов.

– *«Весна священная»?*

– Это очень впечатляющая работа, завораживающая своим ритмом. Мне очень нравится в этом произведении его шероховатая и дикая сторона, которую дает этот по-новому сконструированный ритм.

– *Ваш прадед написал произведения, которые, кажется, заново открыли музыкальный жанр балета во всем мире. Что Вы думаете по этому поводу?*

– Пьер Булез сказал, что «у Стравинского музыка стала дышать иначе». Он обратился к прошлому, чтобы заново изобрести музыку. Стравинский определенно представил новый язык своими тремя балетами, в которых появилась внезапная раскрепощенность, особенно в «Весне священной». Но Стравинский действительно композитор балетов, и его произведения ставили величайшие хореографы.

– *Стравинский написал множество музыкальных сочинений, от симфоний до инструментальных композиций, а также получил большую известность как пианист и дирижер. Каковы Ваши детские воспоминания о Стравинском, которые Вы почерпнули из разговоров взрослых? Какое влияние оказывает на Вас семейная популярность?*

– Как ни странно, мы не особо говорили в семье о Стравинском. Для меня это была какая-то священная тема, как недоступная икона, поставленная на возвышении. А в 1982 году, когда я была подростком

и жила в Париже, мои родители, бабушка и дедушка водили меня на все мероприятия, связанные со столетием со дня его рождения. Тогда я поняла, какой огромной популярностью пользовался мой прославленный прадед.

– *Стравинский написал автобиографию. Что Вас особенно поразило, когда Вы читали историю его жизни?*

– Эта книга имеет определенную историческую ценность, потому что она дает много информации о жизни Стравинского, а также об интеллектуальной и художественной жизни того времени. Любая мемуарная литература личного плана дает возможность постичь душу человека. Особенно тронуло меня, что в дополнение к тому, что он являлся прямым свидетелем происходивших событий, в этих воспоминаниях он предстает перед нами как человек, который ненавидит поверхностные самоуверенность и рассуждения о музыке. Мы знаем, что он был в высшей степени предан своей работе. Читая его автобиографию, понимаешь, каким он был честным человеком и глубоким мыслителем.

– *Можно сказать, что он был космополитом; на самом деле, Стравинский был одним из самых уважаемых композиторов XX века, как в западном мире, так и на своей родине. Как его помнят в России?*

– Стравинский действительно был космополитом, у него была «странствующая» карьера и три «национальности». Тем не менее, он был глубоко русским музыкантом. Стравинский оставил свою страну в 1914 году, до начала русской революции и прихода большевизма. На родину он решил не возвращаться. Стравинский критически относился к коммунистическому режиму, и, если я не ошибаюсь, его музыка была запрещена в СССР, а его творчество публично осуждено как декадентское (в 1948 году ЦК Коммунистической партии вообще запретил его музыку). После 48 лет отсутствия, в 1962 году, он был триумфально и с почетом встречен в Советском Союзе.

– *Есть ли у Вас связи с Оранienбаумом (ныне Ломоносов), городом, где родился Стравинский? Была ли у Вас возможность побывать в этих местах и в доме его рождения?*

– У меня сложились теплые отношения с несколькими людьми из России, в том числе со скульптором Александром Таратыновым, который создал монументальную бронзовую скульптуру Стравинского. Недавно он сообщил мне, что в родном городе Стравинского открылась Академия искусств, которая теперь носит его имя. Это большой многопрофильный комплекс, включающий в себя такие отделения, как музыкальное, балетное, театральное, отделение живописи и т. д. Год назад меня пригласили на открытие, но, увы, я не смогла поехать, так как сломала ногу.

– Отец Стравинского был известным басом Мариинского театра, но был ли Игорь вундеркиндом?

– Да, конечно! Он часто присутствовал на выступлениях отца в театре, что, безусловно, укрепило его творческую интуицию. Еще с раннего возраста он был увлечен чтением партитур, и, хотя его дома не поощряли, он любил импровизировать на фортепиано.

– Стравинский уехал из России в Париж, чтобы присутствовать на дебюте своих произведений в Ballets Russes. Как Вы чувствуете себя сегодня, слушая записи его произведений или побывав на концерте или балете, написанных им?

– Это всегда вызывает у меня сильные эмоции. Я не могу присутствовать на концертах Стравинского, не думая о том, какой прием получили эти произведения при первом исполнении. Я также всегда бываю впечатлена и тронута энтузиазмом сегодняшней аудитории. Когда мне говорят, что все эти люди пришли послушать моего прадеда, это вызывает у меня слезы.

– Позже, в Швейцарии, с двумя друзьями он дал жизнь передвижному театру, который мог переезжать из города в город. Так родилась сказка «История солдата». Что волнует Вас в этом произведении?

– Стравинский сказал, что «работа, которую предстоит сделать, по сути своей, представляет задачу, которую необходимо решить». Что мне нравится, так это его постоянная творческая инициатива, его способность всегда адаптироваться, несмотря на обстоятельства. Средства, урезанные во время войны, в конце концов, способствовали созданию нового театра, с небольшим рабочим персоналом. Я думаю, этот эпизод может послужить примером и для нас в непростое время, в котором мы живем. Изобретать себя заново, создавать снова и снова что-то новое, сохраняя при этом баланс, наша задача и сегодня.

– В свете текущих событий гастрольный проект сказки «История солдата» был заблокирован в Швейцарии из-за эпидемии испанского гриппа, которая коснулась и самого Стравинского. Как Вы и Фонд справляетесь с ситуацией, которая возникла в связи с эпидемией ковида?

– Я, конечно, глубоко опечалена этой невероятной ситуацией, которую мы не могли себе даже представить несколько месяцев назад и которая уносит столько жизней. Лично я стараюсь воспринимать всё спокойно и без паники. Я знаю, что многие не разделяют моего мнения, но я надеюсь, что это зло поможет нам перестроить, хоть и с большими трудностями, наше отношение к жизни. Мир, в котором мы живем, необъясним и интенсивен. Конечно же, я скучаю по своей «старой» жизни.

В настоящее время в Фонд поступает много заявок, и я восхищаюсь энергией и волей тех людей, которые стремятся реализовать свои проекты и свои мечты, несмотря на все препятствия сегодняшнего дня. К сожалению, мы временно не можем предоставлять финансовую спонсорскую помощь, поскольку у нас нет дохода.

– *Можно ли сказать, что русский фольклор вдохновлял Стравинского на создание своих произведений?*

– Можно с уверенностью сказать, что Стравинский был полностью погружен в русскую народную музыку. Русские народные песни и стихи вдохновляли его и способствовали развитию его видения, ритма, сценического аспекта балета, жеста, хореографии.

– *И как не упомянуть другой неоклассический балет, а именно чудесного «Аполлона Мусагета» («Аполлон») в хореографии Джорджа Баланчина, произведение, основанное только на фигурах классического танца. Классическая мифология с Аполлоном и музами. Как Вы относитесь к танцам и балету, и поддерживает ли Фонд подобные мероприятия?*

– Стравинский любил танец и сочинял музыку для балетов, обращая особое внимание на хореографию. Он говорил, что по красоте порядка и аристократической строгости форм не может быть ничего лучше классического балета. «Я вижу в классическом танце торжество вдумчивой композиции над расплывчатостью, правила над произволом, порядка над случайностью.» Его музыка, начиная с «Русских балетов», всегда вдохновляла величайших хореографов. Фонд, конечно, более чем заинтересован в мероприятиях, связанных с танцами и балетом.

– *По хореографии Брониславы Нижинской другого балета – «Поцелуй феи» – мы можем почувствовать всю страсть Стравинского к произведениям Чайковского, а именно его видение классического прошлого. Насколько фигура Вашего прадеда была фундаментальной и решающей для успеха «Русских балетов»?*

– С приездом Стравинского на второй сезон «Русских балетов», он внес в национальный балет энергию молодости, новый свет, сложные ритмы, экзотическое очарование и элемент некоего неистовства. Возможно, благодаря триумфу «Жар-птицы», русский балет получил грандиозную популярность.

– *С написанием балета «Орфей» 1947 года он возвращается к мифологической теме. Его жажда знаний и творческое вдохновение никогда не прекращались. Не так ли?*

– Это очень мелодичный неоклассический балет, который переносит нас в мир греческой мифологии. Он действительно всегда стремился к познанию нового и был очень любознателен. Этот сценарий

Стравинский разработал вместе со своим другом-хореографом Баланчиным.

— *Вы также являетесь внучкой поэта и литературного критика Юрия Мандельштама, который женился в 1935-м на Людмиле Стравинской, дочери маэстро. Как поэт он дебютировал в 1929-м в парижском сборнике «Союза молодых писателей и поэтов». Мандельштам остался в Париже во время Второй мировой войны, был арестован немцами и заключен в лагерь Дранси. После шестидцати месяцев скитаний по разным лагерям он погиб (в возрасте всего 35 лет) в концлагере Освенцим, в Польше. Вы были одним из составителей трехтомника его работ, вышедшего в Москве, в который вошли критические статьи писателя. Что еще осталось ненапечатанным из его работ? И какая главная мысль прослеживается в его работах?*

— Мой дед был замечательным поэтом и одним из ведущих литературных критиков русской диаспоры во Франции. После его безвременной кончины имя его было надолго забыто, и только теперь, благодаря историку русской зарубежной литературы Елене Дубровиной, оно вернулось в Россию и получило заслуженное признание. За свою жизнь Мандельштам опубликовал более 500 рецензий, 350 из них вошли в первые три тома, которые мы издали в Москве. Четвертый том готов к публикации и будет включать около 180 дополнительных статей. Следующий проект — издание книги его стихов. За свою короткую жизнь Юрий Мандельштам опубликовал три поэтических сборника и книгу литературных очерков. В 1950 году, после его смерти, была издана еще одна книга его стихов. Через все его работы проходит главная мысль о метафизической направленности литературы начала XX века.

— *В заключение: Игорь Стравинский всегда будет оставаться актуальным; его современность, его новаторство, экспериментирование, его разрыв с прошлым по-прежнему являются примером для молодых музыкантов и композиторов. В чем, по Вашему мнению, был секрет Стравинского?*

— Думаю, секрет кроется как в его подлинности, так и в его непосредственности. Он не пытался никому понравиться, а только прислушивался к своей интуиции и внутреннему голосу. Он не следовал никакой моде. Вот почему его работы остаются сегодня вневременными, вечными.

Женева

Перевод с английского — Елена Дубровина

Очарованный странник

Интервью Уильяма Брумфида Надежде Ажгихиной

Мы встретились впервые на конференции в Кембридже, где американский славист, профессор Уильям Брумфилд (Tulane University в Новом Орлеане) прочитал невероятный доклад о росписи «небес» в шатровых храмах архангельской Мезени и показал фотографии памятников – некоторые из них сохранились к тому времени только на его снимках. Уникальная коллекция фотографий русского деревянного зодчества была передана автором в Вашингтонский музей, и не пострадала во время новоорлеанского наводнения, затопившего университетский офис и разрушившего дом автора. Сейчас коллекция доступна в интернете всем желающим. Рассказывают, что Брумфилд провел целую неделю, лежа в сугробе у маленького храма, ожидая появления солнечного луча, отразившегося в куполе; что тридцать километров толкал вместе с шофером по грязи забарахливший «уазик». Уильям Брумфилд продолжает свое бесконечное путешествие по российской глубинке.

Н. Ажгихина

– Уильям, помните свою первую поездку в СССР?

– В 1970 году я еще студентом приехал в Советский Союз по программе обмена, провел там целое лето. Это очень много дало, особенно в плане литературном. У нас были прекрасные преподаватели – профессиональные, дружески настроенные, готовые помочь. Собираясь в путешествие, я купил мою первую камеру, маленькую «Конику», и две пленки «Kodak». Практически ничего не зная о том, как снимать, я полагал, что небольшое количество слайдовой пленки будет как раз то, что надо. Кто-то подсказал, что я смогу купить слайды на месте. Советские слайды через несколько месяцев испортились. А вот кадры из тех двух пленок, которые я привез с собой, публикую по сей день. Летний свет, сильная выдержка, ну и мое собственное умение видеть помогли создать снимки Москвы и Ленинграда, которые я, вернувшись, показал в моем Беркли. Они произвели сильное впечатление. Одним из немногих зрителей был Глеб Петрович Струве, сын известного политика, кадета Петра Струве. Глеб Петрович, профессор русской литературы, бесконечно ей преданный, был постоянным критиком советской системы. Его высокая оценка моих снимков оказалась совершенно неожиданной – тем более доро-

гого она стоила. Он сказал, что я вернул часть его культурной памяти. После этого я немедленно подал заявку в аспирантуру, по обмену, в Ленинградский государственный университет.

— *Как это было?*

— Мы жили на Васильевском острове – иностранные аспиранты: американцы, британцы, швейцарцы, французы. Каждую неделю ходили в театр, это было великолепно. Конечно, были трудности. Но, надо сказать, мы не слишком на них обращали внимание.

— *С советскими студентами общались?*

— Не так много. Мы все-таки жили отдельно, и язык не такой свободный. Больше общались с представителями старшего поколения, это было очень интересно. Потом я приезжал регулярно и за совершенно смешные деньги поехал в составе международной группы по СССР – Самарканд, Бухара, Баку. Потом были другие поездки по СССР, круизы по Волге – я везде старался снимать. А потом уже стало легче, и я расширил географию своих путешествий.

— *Как выбирали свои маршруты?*

— Моя работа на Русском Севере (исторически определенном как территория вокруг Белого моря) началась с поездки в Кижы летом 1988 года и растянулась на все 1990-е. Архангельская земля была особенно богата памятниками деревянной архитектуры светского и религиозного назначения – это и стало основным предметом моего интереса. Съемки были одновременно и трудными, и очень успешными, особенно в зимнее время. Дни непрерывной работы на сильном морозе часто заканчивались вечерами у печи, в которой потрескивали поленья, и не одним гостом за здоровье присутствующих... Я сталкивался с потрясающим гостеприимством и щедростью людей, самых разных. Одновременно с работой на Русском Севере в конце 1990-х я начал думать о других путешествиях. Двигателем моих последующих поездок на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток, вплоть до порта Владивосток, стал интернет-проект «Встреча границ», который задумал хранитель Библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон при поддержке Конгресса США и библиотек Российской Федерации. В основе проекта был поиск параллелей в освоении территорий в России и США. Русские в основном продвигались на восток, а американцы – на запад; и те и другие вступали в контакт с местным населением (временами довольно жестко); так же строили железные дороги и так же писали книги и слагали легенды о берегах Тихого океана. В 1988 году Биллингтон попросил меня как фотографа и специалиста по русской архитектуре разработать фотокомпонент, который мог бы проиллюстрировать и высветить развитие этого эпоса – как он отражался в архитектуре.

Мои отношения с Библиотекой Конгресса всегда складывались очень продуктивно. В 1985–1986 гг. я работал в качестве куратора первой передвижной выставки Сергея Прокудина-Горского, пионера в области цветной съемки. В 1903–1916 годах он объехал почти всю Российскую империю и сделал более двух тысяч снимков, стеклянные негативы увез в эмиграцию, потомки продали их Библиотеке Конгресса. Так что я в каком-то смысле повторял путь Прокудина-Горского. В 1999–2002 гг. я пять раз ездил из европейской части России через Урал на Дальний Восток. Каждая поездка невероятно обогащала мое знание России, и каждая требовала невероятного напряжения сил.

– *Вы родились и жили на американском Юге, в протестантской среде. Как возник интерес к России?*

– Когда мне было восемь лет, я играл в саду и стрелял в русских солдат. Все знали про «красную угрозу» и всё такое. Отец подошел и очень серьезно сказал: «Русские не враги. Я их видел. И мы никогда не будем с ними воевать». Он видел русских пленных после Брест-Литовского мира в 1918 году: это были простые крестьяне, призванные на фронт, они ни в чем не были виноваты, они страдали. Потом они вернулись домой, никто не знает, что с ними стало, – началась Гражданская война. Отец находился тогда в составе американского контингента. Я запомнил его слова.

Мама всегда любила русскую музыку. Когда в семье были трудности, она играла Чайковского. Достоевский стал моим любимым писателем. Сейчас я думаю, что мои путешествия и книги – своего рода продолжение отцовских слов.

– *Вы получили религиозное воспитание?*

– Я воспитывался в строгих протестантских правилах: чтение Библии и так далее. Но в церковь хожу редко. В православные храмы – хожу. Знаю, что я грешник. Но стараюсь делать то, что могу и должен.

– *В ваших последних газетных публикациях замечен интерес не только к старине, но и к новейшей истории, к связи времен и смыслов. В частности, к архитектуре ГУЛАГа – об этом несколько публикаций. Можно ли сказать, что советский период для Вас как исследователя становится более привлекательным?*

– В целом каждая среда – городская или сельская – обладает своим архитектурным своеобразием, в том числе деревни и постройки советского времени в Комсомольске-на-Амуре или Норильске. В моих работах по истории в архитектуре – особенно сталинского периода – неизменно затрагивается и тема тех или иных идеологических концепций.

Поскольку я всегда готов к путешествию, я нередко ехал в тот или иной регион за компанию, чтобы поддержать коллегу или друга.

И чем больше людей я узнавал, тем больше приглашений получал. Так съездил в Челябинскую область, Липецкую, Татарстан и, недавно, в Белгородскую область. Два года назад меня пригласил в Норильск тамошний музей. В других случаях я составляю довольно ясный план, как это было с проектом «Встреча границ». Я регулярно публикую снимки и эссе в проекте *Discovering Russia, Russia Beyond the Headlines*. О современности и истории, это важно.

– *К трудностям повседневной жизни в СССР, потом в России, привыкли быстро?*

– Я с самого начала не слишком их замечал. Был момент, когда мы боролись с клопами в общежитии в Ленинграде, содрали обои. Но справились быстро. Я научился перемещаться по русским дорогам. Огромные расстояния, невообразимые для европейца. Главным средством был «уазик». Полный привод. Две ручки переключения передач, два бака (слева и справа), упругая подвеска, высокий клиренс. Ремни безопасности? Не смешите меня! Максимальная скорость 100 километров в час, но вы вряд ли сможете разогнаться, петляя по изрытым глубокими колеями грунтовкам и разбитым ямами проселочным дорогам, для которых этот российский аналог джипа и был создан. Нигде в России нет такого количества подобных дорог, как в Архангельской области. Сочетание бедности и нерасторопности властей, в результате – наверное, худшие дороги в европейской России. Но опытный водитель «уазика» (в просторечии «санитарки») успешно ведет его в любую погоду, не останавливаясь! Я не очень знаю, как он это делает. Но я говорю с ним, и это успокаивает. Моя задача – держать фотоаппарат наготове, исследуя горизонт на предмет наличия луковичных куполов старых церквей. Во всех моих путешествиях «уазик» показал себя великолепно.

– *Вы много раз бывали на Мезени, на Кольском полуострове, в Карелии. Выпустили книги, в том числе настоящую энциклопедию русской архитектуры – «Пути к Белому морю» – на русском языке, что особенно важно для российского читателя. Чем влечет Север?*

– На Русский Север я готов возвращаться всегда. В заключительных строках книги «Потерянная Россия» я писал об очевидном сходстве в восприятии образа прошлого в России и на американском Юге. Я понял еще очень давно, когда только начал «заболевать» великой русской литературой в юности, что существует близость в трагическом восприятии мира русскими и жителями американского Юга. Описание уходящей старины равно близко обоим. В западном искусстве описание развалин занимает особое место, «романтические руины» побуждают к размышлениям о судьбе, о переменах в жизни людей. В мироощущении жителей послевоенного Юга, потерпевшие

го поражение в Гражданской войне, развалины усадьбы, скажем, всегда поднимали вопрос о судьбе конкретного человека в целом. «Призраки Миссисипи», таким образом, рифмуются с «Потерянной Россией». Впервые я был поражен сходством между Россией и американским Югом еще в Ленинграде в 1971 году. Красота этого города, несмотря на всю его обветшалость, пронзила меня и напомнила о Новом Орлеане, основанном через пятнадцать лет после Петербурга. Первоначальный образ обоих городов во многом обязан французскому военно-инженерному искусству. В тот год я также лучше понял, почему литература американского Юга так привлекает русских. Самые очевидные примеры – переводы Фолкнера, постановки Теннесси Уильямса, – их в России читали все. И я пытался на своем тогда далеко не совершенном русском описать своим русским собеседникам таинственный Новый Орлеан. Потом я понял, что Русский Север похож на американский Юг ощущением того, что, как пишет об этом Фолкнер, «прошлое не мертво. Оно даже не прошлое». На Севере я в разные годы видел десятки деревень, чья сохранный архитектура остается свидетельством живучести творческих и культурных традиций. К сожалению, многих из них уже нет. Сходство России и американского Юга – обостренное ощущение трагедии и память предков, павших в кровопролитных войнах. Я видел почти в каждом населенном пункте памятники погибшим. Так что, в определенном смысле, отправляясь на Русский Север, я возвращался домой, на американский Юг.

– *«Потерянная Россия» – это и разрушенные, перестроенные памятники. По Вашим оценкам, насколько утрачено архитектурное наследие?*

– Многое утрачено, но многое осталось. Россия – огромная страна, и в маленьких городах подчас сохранилось значительно больше памятников, чем в больших; в больших зачастую памятники реконструируют, при этом теряется связь с ландшафтом. В каких-то городах – в Красноярске, Иркутске и Тюмени – удалось многое сохранить; это зависит не только от средств, но и от понимания значения культурного наследия. В России даже в деревнях строили не просто церкви, а роскошные храмы с богатым интерьером и убранством; их строили, как правило, безымянные мастера. Очень важно сохранить и поддержать то, что уцелело в бурном XX веке. А уцелело, должен сказать, немало.

– *На Ваш взгляд, было больше утрачено в советское или уже в постсоветское время?*

– Сейчас, мне кажется, стало лучше. Конечно, многое утрачивается. Трагическая судьба русских усадеб. Нет хозяев. Усадьба

Гончаровых стала музеем – а соседние разрушаются. Государство не всё может поддержать. Иногда находятся музейные работники, подвижники настоящие. Но не всегда. Мне повезло еще в советское время познакомиться и подружиться с Алексеем Комечем, автором около сотни научных трудов по истории византийской и древнерусской архитектуры X–XV веков, по истории и теории реставрации памятников архитектуры. Я очень признателен российским музейным работникам, искусствоведам.

– *Сегодня Церковь стремится вернуть себе исторические памятники. Это благо или зло?*

– Церковь иногда помогает их сохранить. Знаю несколько таких примеров. Всё зависит от людей.

– *Каков Ваш личный рецепт профессионального успеха в фотографии?*

– В целом я предпочитаю прямой подход к структуре, который создает ясную перспективу и позволяет построить «самопрезентацию» объекта. Чем меньше специальных средств, тем лучше. Технические приемы – профессиональные линзы, темная комната, эффект темной комнаты, фотошоп – это мои секреты. Как бы то ни было, самое главное – это твои глаза, умение видеть, хотя техника тоже имеет значение. Важно выбрать детали. Иной раз я отступаю от строгости документального подхода и делаю лирические или драматические снимки, соответственно выстраивая кадр и экспозицию.

– *Только что вышла Ваша книга «Journeys Through the Russian Empire», «Путешествие сквозь Империю» (мне кажется, «сквозь» в данном случае лучше, чем «через», так как путешествие – вглубь истории и нашего понимания ее, а не только преодоление пространства). Она – результат масштабного многолетнего проекта, посвященного наследию Сергея Прокудина-Горского. Но не только. У меня несколько вопросов в этой связи. Как в Вашей жизни возник Прокудин-Горский? Что он для Вас значит сегодня? Как происходило освоение его наследия – ведь это громадный труд по оцифровке материала?*

– Мое изучение и «документация» русской архитектуры развивались по своей траектории. Я начал фотографировать в первый свой приезд в Россию, летом 1970-го, задолго до того, как я услышал о Прокудине-Горском. В 1985 году меня пригласили в Библиотеку Конгресса оценить коллекцию Прокудина-Горского, планировалась выставка его работ. Эта первая выставка, восемь цветных фотографий с негативов Прокудина-Горского, открылась в ноябре 1986 и вплоть до 1991-го путешествовала по тринадцати другим выставочным адресам. Выбор Библиотеки пал на меня, так как у меня уже

была докторская степень в славистике (Университет Беркли, 1993), то есть я обладал достаточными знаниями в русском языке и литературе, истории; сыграл свою роль и тот факт, что я довольно много ездил по Советскому Союзу, в том числе бывал в местах, запечатленных Прокудиным-Горским; я много снимал и выставлялся как фотограф, а в 1983 году вышла моя книга «Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры» (*Gold in Azure: One Thousand Years of Russian Architecture*). Исследуя альбомы мастера в отделе фотографий и графики, я понял, насколько часто наши приоритеты в области съемки перекрещивались. В некоторых случаях это объяснялось естественным интересом к истории русской архитектуры – это соборы во Владимире XII века, к примеру. Но другие пересечения наших путешествий были более глубинными – такие, как моя поездка в Узбекистан в мае 1992-го, когда я был аспирантом и учился по обмену в ЛГУ. Исследуя альбомы Прокудина-Горского, я понял, что это судьбоносный поворот. Повторял, как мантру: «Я это тоже видел!». Я снимал грандиозные монументы Самарканда и Бухары (сегодня серьезно реконструированные) – и видел их примерно так же, какими он их запечатлел за шесть десятилетий до меня!

Я занимаюсь коллекцией Прокудина-Горского вот уже больше 35 лет. В течение последних десяти лет я постепенно, шаг за шагом, написал аннотации ко всем работам Прокудина-Горского в цвете из коллекции Библиотеки Конгресса. И начиная с 2017-го, регулярно публиковал статьи под рубрикой «Открытие России» (*Discovering Russia*) на сайте *Russia Beyond*. Знакомство с коллекцией Прокудина-Горского не вызвало желания повторить его путешествия буквально или намерения воспроизвести его точку зрения. Логика снимка и особенности видения архитектурного объекта зависят от нашей перспективы. Но его мир меня увлекает.

Мой контракт с Библиотекой начался, я приступил к работе. Как бы то ни было, сопоставление наших снимков, разделенных шестью с лишним десятилетиями, а иной раз и сотней лет, говорило не только о сходстве, но больше о контрасте; о памятнике в его историческом контексте.

– *В прекрасном эссе, завершающем книгу, Вы говорите о философии памяти, о том, как фотография помогает постичь личную историю нас самих. Что сегодня важно понимать о философии памяти?*

– Когда мы говорим о памяти, мы обычно обращаемся к тому, что произошло в определенное время в определенном месте, и наши эмоции и наш интерес участвуют в воссоздании воспоминания. А фотография – как подлинный документ – позволяет нам скрепить

время и место. Образ стимулирует нашу память. Но фотография – многозначный объект, который зависит от нашего интеллектуального усилия и возможности уловить смыслы, в нем таящиеся. Она дает нам возможность перемещаться во времени, интерпретировать, концептуализировать, создавать свой нарратив и увлекаться им. И когда мы видим сопоставимые снимки одного и того же места, сделанные в разное время (как в моей последней книге), мы можем создать зону памяти, которая охватывает судьбы людей и народов. Фотографии могут стать уникальным способом познания мира, его ощущения, своеобразными рецепторами познания мира. Такими их делает наше восприятие, наша интерпретация.

– По Вашим наблюдениям, русские исследователи и обычные люди боятся своей истории? Не готовы ее понять? Предпринимают усилия для того, чтобы осмыслить? Похожи ли они в этом на американцев?

– Мне кажется, трудно делать обобщения о том, как нация в целом воспринимает и интерпретирует историю и память. Существует много возможностей для мифологизации разного рода. Это касается и американцев, и русских, и французов, и поляков, и всех остальных. Мы видим, как правда на каждом повороте сталкивается с этими возможностями между странами и внутри стран. Что меня тревожит, так это борьба внутри западной академии по поводу того, какие именно сферы исследования достойны изучения, «достойны истории», – в моем случае, это история русской архитектуры во всей своей полноте.

Я бы поставил вопрос по-другому: кто определяет, что именно мы изучаем в русской архитектуре – или изучаем ли мы ее вообще? Как я уже говорил, и повторяю вновь, западная академия определенно безразлична к исследованию русской архитектуры; небольшое исключение составляет разве что международное движение авангарда и конструктивизма. Маргинализированная, считающаяся незначительной в смысле канонического, русская архитектура редко привлекает внимание исследователей. В моем случае имела место постоянная борьба между двумя совершенно различными областями – славистикой и историей искусства. Меня пока поддерживала работа в области художественной фотографии как документального ресурса для изучения русской архитектуры, – как и то, что мои работы представлены в Национальной галерее искусств. Я – член Общества историков архитектуры (Society of Architectural Historians) с конца 1980-х; в 1989 году опубликовал одну из очень немногих по данной теме статей в академическом журнале общества. Меня пригласили возглавить в 1995 году первую и единственную поездку от Общества в Россию.

Это был фантастический опыт, но он не привел к устойчивому интересу Общества к русской архитектуре. Языковой барьер, культурные различия, бюрократические ограничения – всё это вместе не способствовало развитию серьезного интереса. Работая над первой книгой, «Золото в лазури», я научился многому – и прежде всего, как получить поддержку новаторского проекта в совершенно незнакомой многим области. Первыми меня оценили издатели – потому что мои фотографии хорошо продавались и помогали реализовать книги. За ними последовали Фонды и грантовые организации – они проявили интерес к новому проекту, в их приоритетах – поддерживать творческие инициативы. Появление первой книги с фотографиями и документацией показало, что я могу делать. Представители академии были последними, кто это понял, – отчасти потому, что я принадлежал сразу к двум направлениям. Историки искусства не вполне считали меня своим, могли усомниться в моих «полномочиях». Но разве «полномочия» историков искусства включают знание русского языка, культуры и исторического контекста? А ведь это очень важно для понимания русской архитектуры. С другой стороны, слависты часто не понимали мою работу в области истории архитектуры. Что общего она имеет со стандартами существующих университетских программ славистики? В то же время многие использовали мои работы, включая фотографии, и старались помочь. Ричард Вортман, профессор Чикагского университета, специалист по истории Российской империи, – в их числе. Я должен повторить коллегам славистам: я убежден, что кто-то из славистов должен полностью посвятить себя тем областям, что не вписываются в тесные рамки форматов, – включая историю архитектуры, работу «в поле», – для полной и подробной документации и сохранения образов памятников. Я как никто выступаю за сохранение стандартов. На самом деле, я отмечал, что временами слависты углубляются в историю искусства, углубляются в сферы, которые формально относятся не только к славистике, в том числе в сферу культурологической терминологии и методологии. Но историки искусства по большей части совершенно безразличны к русской историографии, иногда даже не хотят об этом слышать. И поскольку университеты не включают историю русского искусства в число приоритетов, трудно предполагать, что скоро появятся новые молодые исследователи.

– Вы учились у лучших представителей русской интеллектуальной эмиграции в США. Приходилось ли Вам сталкиваться с русскими эмигрантами в последующие годы? Что можно сказать о вкладе русских эмигрантов в культурную и интеллектуальную жизнь США?

– Я учился в Беркли у блестящих профессоров, представителей

первой волны русской эмиграции. Глеб Петрович Струве – он сыграл огромную роль в моей жизни. Не то чтобы мы часто общались, но встречи с ним имели для меня огромное значение. Николай Рязановский, профессор Беркли, тоже из первой волны эмиграции, автор фундаментального учебника по истории России, был человеком огромного диапазона. Я слушал все его курсы. Без них я не представляю, как бы сложилась моя жизнь. Мы общались с разными эмигрантами. Мы обменивались мнениями и идеями и даже пели вместе в университетском хоре. Воздух эмиграции, та среда для молодого слависта была как воздух. В целом среда эта была консервативная, антисоветская, большинство – республиканцы. Мне всё было очень интересно. В ходе работы над фотографиями Прокудина-Горского я понял, какой подвиг они, эмигранты первой волны, совершили, как стойко они держались.

– *Когда Вы впервые взяли в руки «Новый Журнал»? Какое впечатление он произвел? Что ожидали бы увидеть на его страницах сегодня?*

– Наверное, когда учился еще, до аспирантуры, Пол Дебрежени (Paul Debreczeny) – известный своими трудами о Пушкине и Гоголе – венгр, беженец после 1956 года, он потом преподавал в университете Северной Каролины и заведовал кафедрой, – он и его коллеги всегда читали «Новый Журнал». В Беркли все читали, были тесные связи с Николаем Моршиным – он печатал там свои стихи, в Гарварде у меня был коллега, который занимался Газдановым... Так что журнал для нас был не скажу что Библия, но для славистов нечто совершенно неизбежное и важное. Некий золотой стандарт. Стандарт честности и отношения к культуре. То, что он открылся в 1942 году и существует до сих пор, – это удивительно, и очень сложно, и говорит о глубоких интеллектуальных, культурных основах, о прочном фундаменте. Были и другие журналы, которые начинали выходить, но они больше не существуют. Этот же был просто маяком. Журнал избегал радикализма, там всегда присутствовала свободная мысль. Это всё в целом вдохновляет и обнадеживает. Мне интересно, что они публикуют.

– *Следующий вопрос. Одна или две русские культуры? Об этом долгие десятилетия спорили эксперты. Ваше мнение?*

– Почему только две? Может быть множество русских культур, но есть только одна Россия. Ахматова, Цветаева, Бродский – они отвечали на этот вопрос. Я часто думаю о Бродском. Его выгнали из страны, он не хотел в эмиграцию. Останься он – сыграл бы тогда огромную роль в создании нового поколения великих поэтов. Но, может быть, время великих поэтов прошло... Может быть, как раз «Новый Журнал» даст ответ.

– *Что бы Вы посоветовали исследователям русской культуры?*

– Прежде всего, бывать в России. И не только в Москве. Общаться с людьми. Не только с учеными, с коллегами, по мере возможности – с самыми обычными людьми. Может быть, это мои фантазии. Надо быть в России, «включиться» в Россию. Я понимаю, что не все западные исследователи согласятся с этим. Как сказал об этом Бродский, «Все мои стихи более или менее об одном – о Времени. О том, что время делает с Человеком». В этом взгляд Бродского на иерархию «язык – время – пространство». Время больше пространства, но язык – больше времени.

– *В конце прошлого века интерес американских СМИ к русской культуре был велик. Московские корреспонденты имели русские корни – как Сергей Шмеман, или имели степени в славистике – как Джон Кохан. Рецензия на Вашу первую книгу о русской архитектуре в «Нью-Йорк Таймс» в 1980-х заняла три полосы, включала цветные снимки – что было новацией в то время. Что сейчас пишут о русской культуре в американских СМИ?*

– Да, тогда мои снимки были в числе первых цветных фотографий в «Нью-Йорк Таймс». Сейчас другое время, к сожалению. Большинство СМИ пишут о том, что хочет читать и слышать публика. Отклики на мои последние книги значительно скромнее. Но я верю, что серьезный интерес американской аудитории к русской культуре вернется. Я убежден, что культура – главный инструмент в совершенствовании отношений между людьми, между политиками, в том числе.

– *Вы работаете на стыке жанров – эссе, фотография, исторический анализ. Что важнее всего для сохранения баланса?*

– Острота восприятия, ощущение времени и пространства, ускользающего мгновения и наследия столетий одновременно. Удивление от прикосновения к миру природы и миру культуры. Я не считаю себя фотографом или исследователем. Я – очарованный странник с фотоаппаратом. Верящий в то, что мир в итоге спасет красота.

Наталья Колодзей

Неординарный художник-самородок вне времени: Анатолий Зверев *К 90-летию Анатолия Зверева (1931–1986)*

На осенней выставке Анатолия Зверева в Harriman Institute, приуроченной к юбилею художника, 30-летию юбилею Kolodzei Art Foundation и 75-летию юбилею Harriman Institute, старейшего в США исследовательского и учебного центра по изучению России и стран Восточной и Центральной Европы (Columbia University), было представлено 21 произведение художника из коллекции Kolodzei Art Foundation – с 1950-х по 1980-е годы.

Анатолий Тимофеевич Зверев родился 3 ноября 1931 года в Москве. В этот юбилейный год мы вспоминаем его – легенду художественной жизни Москвы, уникальную личность в движении нон-конформизма. Анатолий Зверев был выдающейся фигурой во всем, что он делал; жизнь и творчество художника стали настоящей иллюстрацией мифа о бродяге – «гении, способном создать шедевр одним движением руки». В 1948–1950 годах Зверев посещал занятия в художественно-промышленном училище, потом поступил в Московское художественное училище памяти 1905 года, но через несколько месяцев был отчислен «за внешний вид». Шел 1951 год.

Зверев изучал искусство, посещая различные студии и музеи. Многое у Анатолия Зверева связано с парком «Сокольники». В этом районе он занимался в художественном кружке, который вел Владимир Акимович Рожков, в клубе имени И. В. Русакова, построенном Константином Мельниковым, одним из лидеров авангардного направления в советской архитектуре в 1923–1933 годах.

Несколько работ Зверева в собрании Kolodzei Art Foundation нарисованы на разорванных программках «Городка пионера и школьника» (от 26.V.55 года), где, помимо «литературного утреника» «Гражданин А. Гайдар» и беседы «О чести и достоинстве молодого советского человека», были и «Великие мастера итальянского возрождения. Микеланджело» (Государственный музей изобразительных искусств). В парк «Сокольники» Зверев устроился на работу

маляром, отучившись в ремесленном училище два года по этой специальности. В тот период в Сокольниках и в Измайлово Зверев писал этюды и много рисовал.

В 1954 году произошла встреча Зверева с известным коллекционером Георгием Дионисовичем Костаки (1913–1990). Костаки оказался одной из самых значительных фигур в биографии Зверева – именно он разглядел в молодом художнике талантливого рисовальщика. В 1957 году в Москве во время Шестого Международного фестиваля молодежи и студентов была организована знаменательная художественная выставка, представлявшая современные тенденции в изобразительном искусстве, где Анатолий Зверев получил первую премию. С 1959 по 1962 годы он участвовал во многих квартирных выставках и сотрудничал с коллекционерами Георгием Костаки, Александром Румневым, Игорем Маркевичем.

В середине 1950-х Зверев разработал свой собственный стиль, основанный на экспрессивной графике и быстрой импровизации. Иногда он рисовал, не глядя на бумагу, используя палец, окурочек или хлебный мякиш, вспоминая абстрактных экспрессионистов, которые превращали свои работы в художественные действия и события. Он редко рисовал чистые абстракции, стремясь создавать портреты, пейзажи и натюрморты, сохраняющие фигуративные элементы. Наталья Костаки вспоминает: «Толя неистово рисовал, не уставая, без надрыва, никто не просил его это делать, тем более не заставлял. Он не мог жить без этой страсти. Рисунок и Зверев – это целое. За день он мог нарисовать десятки листов, в основном гуаши, акварели, темпера, иногда масло. Невозможно понять, как за короткое время он успевал создать такое количество потрясающей красоты работ. Во второй половине 50-х годов Зверев написал огромное количество прекрасных работ: целый цикл пастельных и масляных пейзажей, карандашных рисунков, акварельных и гуашевых портретов и другие сюжеты. Как-то раз отец (Георгий Дионисович Костаки. – *Н. К.*) подал идею, чтобы Толя попробовал нарисовать что-нибудь в супрематическом стиле. Звереву понравилась эта идея, и он с энтузиазмом принялся за дело. В результате появился ряд работ, написанных гуашью и темперой, а также рисунки тушью».

Зверев редко выезжал за пределы Москвы, никогда не был за границей, но его работы радуют зрителей в разных уголках Европы и Америки. В 1965 году прошли первые персональные выставки Зверева в Париже и Швейцарии. В Музее современного искусства в Нью-Йорке (МоМА) находятся шесть работ на бумаге Анатолия Зверева. Их история интригующе интересна. В 1956 году в Москву приехал Альфред Барр, первый директор Музея; он пришел в гости к

Костаки, где и увидел работы Зверева. В 1956 году Музей включил гуашь «Яблоки» 1955 года (принадлежавшую ранее Костаки) в выставку, организованную Альфредом Барром, – «Новые европейские поступления». В 1957 году работа «Голова мальчика» была представлена на выставке новых рисунков из музейной коллекции (с припиской, что гуашь этого молодого художника выставлялась в 1956 году). Сам Костаки позже вспоминал: «Я был представлен Анатолию Звереву композитором Андреем Волконским в 1954 году, когда он принес мне массу рисунков и акварелей. Мой интерес к нему, начавшийся тогда, постепенно перешел в дружбу. Директор нью-йоркского Музея современного искусства Рене Д'Арнонкур и бывший директор музея Альфред Барр, которые были у меня в 57-м году, самым высоким образом оценили творческую деятельность Зверева, выделяя его особо из группы молодых художников послесталинского периода, чьи работы были выставлены у меня. Именно тогда они приобрели несколько его работ для музея».

В 1974-м, наряду с другими художниками неконформистами – Дмитрием Плавинским, Эрнстом Неизвестным, Владимиром Немухиным, Василием Ситниковым (дар Джимми Эрнста), Вильямом Бруи, Дмитрием Шашуриным (дар Е. Евтушенко), Автандилом Варази – «Автопортрет» Зверева (работа 1955 года) был показан на выставке «Современное советское искусство из коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке». Эта временная выставка – с 26 сентября по 20 октября 1974 года – в Нью-Йорке (подготовленная в сверхкраткий срок) была реакцией на так называемую «Бульдозерную выставку» 15 сентября 1974 года в Москве, разогнанную советскими властями, реакцией на усиление советской цензуры и рост репрессий. Пресс-релиз к выставке в Нью-Йорке гласил: «Хотя официальная враждебность и догмат социалистического реализма как 'утвержденного стиля' многое сделали для подавления современного искусства в Советском Союзе, оно не было уничтожено. <...> Забота музея о творчестве современных советских художников является естественным продолжением его интереса к русскому модернизму предыдущих поколений. Коллекция под руководством Альфреда Барра пополнилась произведениями таких пионеров русского модернизма, как Шагал, Кандинский, Малевич, Лисицкий, Ларионов, Родченко, Габо и Певзнер. Многие из них можно увидеть в галереях на втором этаже». Зверев не участвовал в «Бульдозерной выставке» в Москве, его первая и единственная персональная прижизненная выставка, организованная Владимиром Немухиным, прошла в 1984 году в Горкоме графиков на Малой Грузинской улице в Москве.

В 1991 году американский художник Чак Клоуз (1940–2021) включил работу Зверева в выставку «Выбор художника» (Artist's Choice: Chuck Close, Head-On / The Modern Portrait) в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Творческое наследие Анатолия Зверева насчитывает более 30 тысяч работ. Они создавались при разных обстоятельствах; художник рисовал на всем, что попадалось ему под руку, – старых афишах, плакатах, картонках, перфорированной бумаге, даже на старых фотографиях. На выставке в Harriman Institute в 2021 году были представлены два произведения, созданные на фотографиях из архива ИТАР ТАСС, где с обратной стороны стоит печать: «Авторское право принадлежит фотохронике ТАСС Москва», а поверх – рисунок Зверева.

Смешение стилей делает иногда затруднительным достоверную искусствоведческую экспертизу для отделения подлинных работ художника от подделок, присутствующих на рынке без подтверждения провенанса. Наследие Зверева многогранно – тысячи портретов, натюрморты и пейзажи, иллюстрации к мировой классике, от Апулея до Гоголя и Сервантеса, виртуозные графические циклы.

Моя мама, Татьяна Колодзей, познакомилась с Анатолием Зверевым в 1960-х годах в Москве. В нашей коллекции широко представлено творчество Зверева (более 70 работ) – живописными произведениями, рисунками, акварелями, гуашами и даже несколькими поэтическими листами. Татьяна Колодзей вспоминает, как создавался Зверевым ее портрет: «В 1969 году Толя пришел ко мне на Дорогомиловскую, где я жила в одной комнате коммунальной квартиры. Соседи недоверчиво на него посмотрели, так как на нем рубашка и серая фуфайка были надеты наизнанку. Это был Толин 'фирменный' стиль того времени. В то время не было материалов, Толя делал работы на мешковине без грунта, расстилая ее на полу. У меня была книга по технике живописи, которую он внимательно пролистал, особенно часть 'грунты'. Мы с ним обсудили несколько великих мастеров прошлого. Толя был сведущ в истории искусств, и мне было с ним интересно разговаривать. 'А хочешь, я напишу твой портрет?' – спросил Толя. Зная несколько случаев, когда он писал портреты и все краски оказывались на потолке, я пришла в замешательство. Почувствовав это, Толя сказал: 'Неси газеты и постели их на стол'. Вопрос стал, чем рисовать. У меня был только кусок серого выцветшего картона, но зато имелась баночка английской туши и настоящая японская кисть, что Толя очень оценил. Несколько виртуозных взмахов – и портрет был готов, мне он очень понравился. 'Ты знаешь, чтобы никто ничего не подумал, я напишу: 'В подарок за дельный совет. Ты мне очень помогла'. После портрета мы спустились пере-



Анатолий Зверев.
Портрет Татьяны Колодзей. 1969.
Картон, тушь, 69.3 x 49.5 см.
Коллекция Kolodzei Art Foundation, США.



Георгий Дионисович Костак и
Татьяна Колодзей в квартире у
Г.Д. и З.С. Костак, Москва.
Архив Kolodzei Art Foundation.



Анатолий Зверев. Автопортрет. 1950-е.
Бумага, синие чернила, 28.7 x 20 см.
Коллекция Kolodzei Art Foundation, США.



Анатолий Зверев.
Без названия, 1950-е.
Бумага, тушь, 20 x 28.5 см
Коллекция Kolodzei Art
Foundation, США.



Анатолий Зверев.
Портрет Владимира Немухина,
1983.
Холст, масло, 70 x 60 см.
Коллекция Kolodzei Art Foundation.



Анатолий Зверев.
Из серии: Апулей «Золотой
осел», 1983.
Бумага, акварель, стеклогграф,
смешанная техника, 41.6 x 50 см.
Коллекция Kolodzei Art
Foundation, США.

кусить в пельменную в нашем доме. Ловя косые взгляды посетителей, Толя спросил: ‘Тебе, наверно, стыдно со мною сидеть?’ Он был очень чувствительным и трепетным человеком... Второй мой портрет Толя сделал в мастерской Владимира Немухина маслом на холсте, в 1985 году, когда я привезла грунтованный холст и масляные краски».

Портреты Зверева всегда являются действием-перформансом. Наталья Костаки вспоминает: «Шли годы. Отец опекал Толю, как собственного сына. Много сделал для его популяризации. Ему заказывали портреты иностранцы, друзья, наши родственники. Отец покупал краски, холсты, кисти. Поскольку у Толи не было мастерской, то его шедевры рождались также и в квартире отца на проспекте Вернадского. Живописные Толины действия всегда привлекали многочисленного зрителя. Все, кто находился в квартире, участвовали в этом перформансе. Комнату, которую отводили под мастерскую, тщательно готовили. Паркетные полы застилали клеенкой, поверх укладывали газетные листы в несколько слоев, также была укрыта мебель и всё, что находилось в комнате. На пол поверх газет помещали большой лист ватмана. Кто-то приносил ведра и кастрюли с водой, открывались многочисленные банки с гуашью различных цветов, доставались круглые малярные и обычные кисти, щетина и мастихины... Начиналось действие... Толя окунал большую малярную кисть, иногда и несколько кистей пучком, сначала в воду, как следует смачивал их, потом набирал из банки гуашь чистого цвета, плюхал всю эту красоту на лист ватмана, предварительно смоченный водой, затем он тщательно промывал кисть – в ведре, в одной, второй, третьей кастрюле, – добиваясь абсолютной чистоты кисти. После этого шел второй цвет, который частично ложился на предыдущий, затем третий, четвертый и т. д. Создавалось такое впечатление, что взмахом его руки руководит кто-то извне. Казалось, брызги ложатся не просто хаотично, а кем-то специально направляются на лист в нужном порядке. Это было какое-то волшебство, магия, абсолютно непонятная непосвященному человеку. Только сам Зверев понимал, что происходит. Периодически вода в ведре и кастрюлях становилась серо-черной. Кто-то хватал посуду с водой и бежал в ванную комнату менять воду. В это время весь пол залит водой, на клеенке образовались лужицы, газеты – мокрые насквозь, но прерывать творца никто не собирается – еще не сделан заключительный аккорд. Закончив разбрызгивать гуашь, он берет в руки маленькие кисти и мастихин и несколькими движениями собирает этот хаос в единое целое – сначала появляются глаза, нос, рот, губы, наконец абрис лица, и на нас смотрит изображение человека, позирующего ему. Это была

фантастика. Ни один художник не мог так работать, как Зверев, ему не надо было часами выписывать детали, чтобы добиться сходства с людьми. Это сходство выявлялось в течение нескольких минут. Но вот портрет завершен. Мы собираем газеты, тряпками собираем и насухо вытираем пленку – и процесс повторяется. На смену одной модели приходит другая, третья и т. д. После этого действия все присутствующие, усталые от впечатлений и довольные, приглашались к столу хозяйкой дома, моей мамой Зиной, любимой женщиной отца, которую он боготворил и нежно называл ‘Золотко’».

Анатолий Зверев – неординарный художник-самородок, вне времени и направлений. При жизни оцененный лишь отдельными коллекционерами и друзьями-художниками, сегодня он занял важное место в истории искусства нонконформизма. В 2015 году был открыт частный Музей AZ (Анатолия Зверева), а в 2021-м музеем учреждена премия его имени – Zverev Art Prize.

Нью-Йорк

КНИГА И СУДЬБА

Марина Адамович

О пророке и пророчествах

*По поводу юбилейных публикаций
к 200-летию Ф. М. Достоевского*

Сегодня мы часто говорим о Достоевском как о пророке, сказавшем некие принципиальные повороты нашей цивилизации. Его предупреждения оказываются нам понятнее, чем читателю XIX столетия. Два последних века собственной кожей ощутили, что такое «чистая наука», не освященная нравственностью, – это и ужас концлагерей, и безумие Атома, вырвавшегося из рук человека, охваченного гигантоманией; наше время ведало цигалевщину, в лицо знало нечаевых, гнало пророков из отечества, распинало и отрекалось. Но ему оказались дороги и надежды Достоевского, близок и понятен его «утопизм», идея очищающего страдания. Именно свободу почитаем мы величайшей святынею, с верой в будущее человека живем и – выживаем...

Так почему писатель, не доживший даже до «календарного» начала XX века, не испытавший его рассвета и итога, оказывается нам подчас понятнее современных литераторов? И о чем говорят наши современники, обращаясь к имени Достоевского в год 200-летнего его юбилея?

Я намеренно обратилась именно к юбилейным текстам о Достоевском в нелитературных популярных изданиях – с читателем просвещенным, хотя и «неподготовленным». И, конечно же, – к текстам авторов известных, способных влиять на умы такого читателя. Для профессионала – литературоведа, культуролога, писателя – высказаться «по случаю» – это ведь тоже попытка формирования своей аудитории и имени. В таких речах интересен и выступающий, и слушающий. И, как в любом обращении интеллектуала к читателям, в таком «юбилейном поучении» выделяется то главное, что есть в его рефлексиях. Все эти интервью, монологи, эссе – квинтэссенция более зрелых размышлений, выраженная в форме тезисов, которыми опытный лектор удерживает внимание и – приобщает аудиторию. Нет, не так просты юбилейные речи! По ним можно понять, что представляет собой эта пара: сегодняшний массовый читатель и современный интеллектуал-просветитель. Скажем, «Пушкинская речь»

Достоевского – тоже вполне юбилейное высказывание – как она будоражила и провоцировала современников! И нет ничего удивительного, что «пророчества» писателя занимают главное место в юбилейных текстах известных достоевсковедов, да и просто ведущих умов сегодняшнего интеллектуального пространства. (Заковычиваю, ибо все известные «он предсказал», «он пророчествовал», «он предупреждал» и пр. пр. – не более, чем «фигуры речи». Текст живет по иным законам, не имеющим отношения к ведунству и визионерству.)

Интеллектуальное пространство вокруг Достоевского с самого начала делилось на два лагеря. Сегодня потрепанные знамена классических «западников» и «славянофилов/почвенников» уже не впечатляют (хотя, очевидно же, живы, живы курилки!); думается, что в постмодерне XXI века наследников правильнее делить на либералов-глобалистов и консерваторов-государственников. И уж точно, что сторонники обоих лагерей, придерживаясь академической выдержанности в книгах и научных докладах, в публичном широком пространстве пускаются в необозримые в своей неопределенности и безпредельности миры интерпретаций. Давайте же попробуем разобраться с юбиларом, опираясь на высказывания чествующих, но не отрываясь совсем от текста Достоевского, оставаясь на позиции историзма – т. е. именно в контексте времени Достоевского посмотрим на него как на прозаика, сумевшего точно описать и проанализировать свой век. Здесь придется хотя бы пунктирно определить основные абзацы гипертекста «Достоевский».

XIX век видится, прежде всего, эпохой всемирно-исторического кризиса религиозного сознания, проявившегося еще во времена Возрождения, но достигшего крайних пределов во второй половине позапрошлого столетия и вполне определившего своеобразие духовного развития века XX. Впервые столь определенно заявляет о себе новое массовое сознание, отвергающее традиционные формы духовной ориентации в мире. Неприятие Бога потребовало пересмотра сложившейся системы мировоззрения, общественных ориентиров и морали. Со всей очевидностью встала проблема создания новой ценностной иерархии – в противовес традиционной, «высоких идеалов». Система прежняя, лишенная Центра, распалась. Божественное Откровение, дарившее христианину Истину, было отвергнуто. Классическая философия, выстраивавшая конструкцию мироздания, сменяется философией экзистенциальной, сконцентрировавшейся на человеке; возникает типологически новое искусство.

«Открытое» сознание и определившиеся перед ним пути свободы становятся предметом исследования Достоевского. Погружаясь в самые глубины свободного волепроявления, писатель не только

видит там сущностные связи личности с бытием, но различает и разрушающее индивидуалистическое, «особнячковое», начало в человеке. Впервые создается роман нового «опыта о человеке». Но обращение к человеку для Достоевского – это и есть обращение к его свободе. Вот главная тема писателя.

Какова же она, свобода? По христианской традиции существенно единство свободной воли человека и Божественного предопределения. Блаженный Августин, христианский теолог и церковный деятель, развивая учение о «благодати и предопределении», говорил о двух свободах. Низшая свобода – свобода избрания Добра, на нее негативно влияет наследственная сила первородного греха. Человек свободен просить Бога о благодатной помощи в избрании Добра. Есть и свобода высшая – свобода в Добре. Евангельские слова «Познайте истину, и истина сделает вас свободными» относятся к свободе во Христе. Истина Откровения, по учению Церкви, и делает человека подлинно свободным.

Итак, Истина не может быть принята насильно. Смысл евангельского рассказа о трех искушениях Христа дьяволом, приняв которые Христос мог бы заставить людей поверить в него (предложение Иисусу камни обратить в хлеба, кинуться со стены храма и не разбиться, поклониться Сатане в обмен на власть над земными царствами), сводится к тому, что Спаситель утверждает свободную – от внешней власти, включая и свою, – любовь человека к нему.

Сложившееся в русле христианской традиции, отношение Достоевского к этой центральной для него проблеме свободы вобрало в себя все сомнения его века. «Свобода для него есть и антроподицея, и теодицея, в ней нужно искать и оправдание человека, и оправдание Бога», – писал Н. А. Бердяев. При этом оказалось важным, что человек, находящийся в начале пути свободы, вправе отдаться и Злу, и Добру. Свобода Зла саморазрушительна, она обращается в своеволие, и тогда личность становится рабом собственных желаний. Иными словами, свобода Зла перерождается в злую необходимость. Но если путь Зла абсолютно непригоден и человеку остается выбрать Добро, перед ним – «добрая необходимость», а это уже не Добро. Сама возможность этих «метаморфоз» крайне болезненна. Для Достоевского Истина приемлема только без принуждения. Но ведь свобода – это еще не сама Истина, скорее путь к ней, путь к совершенству, к богочеловеку, в котором соединятся человеческая и божественная свободы. Важно здесь и то, что путь свободы глубоко личностен.

Такую череду «личностей», по-разному решающих для себя проблему свободы, и создает писатель. Достоевского часто упрекали в «нереалистичности» представленных образов. Однако он был глубоко

убежден в том, что факты и явления российской действительности, как и черты характера человека, выглядящие при поверхностном и привычно упрощенном взгляде аномальными, фантастическими, на самом деле могут быть объяснены в своей «тайне» лишь как факты и явления «духовного» концентрированного бытия: «Порассказать только то, что мы все, русские, пережили в последние десять лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный реализм!» (Из письма к А. Н. Майкову от 11/23 декабря 1868 г.). Открытый гением Достоевского «человек подполья», «подпольный парадоксалист», исключительный своей индивидуальностью, – в сущности, «человек русского большинства» середины XIX столетия. По этому поводу писатель замечал: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды – не от кого, веры – не в кого! Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна».

«Достоевский с особой любовью живописал это стремление ‘слишком широкого’ человека испытать себя во всем, даже в подлости, обмане, воровстве»; «Вот говорят, что он пророк, – пишет Игорь Волгин, известный исследователь творчества писателя (портал NEWS.ru). – Да, действительно, у него были пророчества. И сбылись, к сожалению, не самые радостные из них. Но он пророк не столько даже социальных потрясений, сколько человеческого поведения. Потому что человек после Достоевского знает о себе гораздо больше, чем человек до Достоевского. Он открыл в человеке некоторые вещи, которые тот, возможно, хотел бы скрыть. Как говорил один его герой, ‘широк человек, хорошо б сузить’. Но человек стал еще шире, диапазон его желаний, вожделений – еще больше.»

Тайна. Именно так. В жанре юбилейного высказывания наличие тайны – крайне важно, но еще важнее – немедленное разоблачение тайны; аудитория ждет именно раскрытия ящичка Пандоры – и не скучного, литературоведческого, а занимательного. Такого читателя – нечитающего – нужно убедить, что тайна Достоевского для него – важнее тайны, скажем, российского вмешательства в выборы в США, – и вот уже возникает вопрос для «снобов»: «Что проигрывал Достоевский в рулетку?..» (Портал Snob.ru). «Сноб» – издание гламурно-элитное (маргинальное лишь в той степени, что элиты не бывает много), модное и денежное, – может себе позволить и о Достоевском поговорить, изрекая: «На уроках литературы не рассказывают о Федоре Михайловиче таких унижительных подробностей

его жизни, которые безжалостно, по отношению к столпу русской словесности, демонстрирует нам Кристина Боровикова...» – звучит анонс онлайн подборки с не менее эффектным заголовком: «Проигравшийся Достоевский во власти стереотипов, страдающий от красоты вместе со Стендалем. Топ-5 блогов и блогеров недели на ‘Снобе’» (У неизвестной девицы Боровиковой – около 3,5 тысяч просмотров за неделю; впрочем, про астрологов на портале посмотрело пять тысяч...). Хотя, вдуматься: зачем снобу – Достоевский, такой неэстетичный, дерганый, переполненный болью и неприятными вопросами? Разве что – тайна подполья... И вот там же в личном блоге интересного, оригинального мыслителя Михаила Эпштейна появляется перепост его интервью хорватскому журналу «Искусство слова» с заголовком «Достоевский – зловещий пророк. Лучше не встречаться с ним на исторических путях».

Трудно понять, что из разговора не вошло в окончательную редакцию (Эпштейн – человек крайне сложный по мысли), но то, что вошло, – удивило. «Полагаю, – неожиданно говорит Эпштейн, – что подпольный человек Достоевского реинкарнировался в целое государство, Россию 21 века. И нет таких границ – географических, политических, моральных – через которые страна не была бы готова переступить в своем экзистенциальном порыве ‘испытать себя’, даже бросившись в пропасть ‘вверх тормашками’, как описывает свой бесстыдный нрав Дмитрий Карамазов.»

Не буду останавливаться на сложном образе Дмитрия Карамазова. Замечу другое: «подпольный человек» не может «реинкарнироваться в государство» – ни в Российскую Федерацию, ни в США, ни в Берег Слоновой Кости. Просто государство – это всего лишь политико-социально-экономическая конструкция – не имеющая отношения к нарративу «подпольного человека» и, тем паче, к гипертексту «культура» (разве что этот текст государство умеет подавлять, реализовывая основную свою функцию регулятора и охранителя; может уничтожать создателей и носителей культуры. Увы, примеры нам известны повсеместно – и множатся они по всему миру до сих пор – и до тех пор будут множиться, пока существует государство классического типа). Агрессивность государства – не более, чем метафора; структура не может быть агрессивной или добродушной, это – прерогатива населения, т. е. опять же – человека. А в государстве живут разные люди. И пацифисты, и агрессоры, и власть предрежащие – и оппозиция. Живут, по государствам рассеянные, и «бобки», готовые «заголиться», и святые, а между ними – просто люди, «маленькие» и даже «подпольные», но живые и разные. А вот государственная структура, созданная обществом этих

многогранных людей, изначально несвободна; она отнюдь не способна «на всё» – всегда и везде лишь подавляя личную свободу, даже если механизм подавления называть общественной моралью или практикой политкорректности. Подавление может носить открыто репрессивный характер – как, скажем, новые аресты по политико-идеологическим мотивам в современной России, или – закрыто-репрессивный, «официальный рекомендательный» характер нормативных построений общественных отношений, как это имеет место быть в современных США; диктатура меньшинства против большинства не меняет своей сущности и остается диктатурой. Да, государственная структура может воплощать форматы антисистемы, но в антисистеме – гипертексте закрытого типа – работает иной, а именно – саморазрушительный, механизм... Впрочем, продолжим о «подпольном человеке».

Чем более герой Достоевского сознает свое униженное положение – положение «винтика», «ветошки», – тем более он хочет защитить свое человеческое достоинство, тем болезненнее ощущает отсутствие свободы, а потому неумеренно-гипертрофированно и ненормально растет его «амбиция». При этом утрачиваются и моральные представления, теряется нравственный стержень личности. Писателем «анатомируется» душевный мир человека, который не в силах противостоять давлению социальной среды, уходит в кошмарное нравственное «подполье». Весь мир представляется ему как страшная уничтожающая стихия, в которой нет ничего, кроме «разрозненности частных интересов» (В. Майков). «Человек подполья», «подпольный парадоксалист», истоки его характера и пути развития всё больше и больше увлекают писателя.

Достоевского волновала и идея социализма как интерпретации «рая на земле», заявленного возможного «братства» людей. Но вот летом 1862 года он посещает Францию – страну, откуда приходили в Россию построения Фурье, Сен-Симона, Консидерана, некогда горячо увлекавшие писателя. И что же он видит? Безраздельное торжество собственника-буржуа как приговор французским утопистам. «Западный человек, – пишет он в «Зимних заметках о летних впечатлениях», – толкует о братстве как о великой движущейся силе человечества и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности <...> Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не Я, должна хлопотать о праве своей равноценности и равновесности со всем остальным, а все-то это *остальное* должно бы было само прийти к этой требующей права личности, к этому отдельному Я, и само, без его просьбы должно бы было признать его равноценным и равноправным себе, то есть всему

остальному, что есть на свете». Вспоминая утопически-социалистическую систему Фурье, ее положение о «привлекательном труде», Достоевский в таком социализме видит зародыш безнравственного индивидуализма и эгоизма. Эгоизм же, будь он трижды разумен, не перестанет быть таковым, по мнению писателя. Подобное «разумное» общественное устройство – на «разумных» потребностях и поведении – превращает человека в простую функцию среды. Любой «хлебный», спекулятивно-материалистический подход к «тайне» человека вызывал резкий протест Достоевского. В Записной тетради 1864 года во фрагменте «Социализм и христианство» он заметит, что и христианство предполагает «крайнее развитие личности и собственной воли», но развитие не самодовлеющее, подобно фурьеристскому, а дарующее способность жертвовать собою ради ближнего. Идеальна та форма, то общественное устройство, которое не отнимет у человека «нравственного суверенитета», не заменит «зло по необходимости» «добром по необходимости». В Записных тетрадях 1875–1876 годов эта мысль выражена следующим образом: «Я хочу не такого общества научного, где бы я не мог делать зла, а такого именно, чтоб я мог делать всякое зло, но не хотел его делать сам».

Воплощение нарратива «парадоксалиста» – одно из главных художественных открытий Достоевского-писателя. Этот тип героя всегда притягивал внимание исследователей – создавших, в свою очередь, ряд необычайно интересных текстов. Но... но формат юбилейного текста – слоган. И вот читаем у известного достоевковеда Людмилы Сараскиной: «Предвидения автора ‘Дневника писателя’ о будущих взаимоотношениях России и дальнего Запада, России и славянского мира поистине ошеломительны. Он был зорким свидетелем: ‘Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? <...> Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им.’ <...> Россия не сегодня рассорилась с Европой; прежде Достоевского об этой вековой (вековечной?) ссоре высказался Пушкин: ‘Иль нам с Европой спорить вновь?’ <...> Спустя полвека Достоевский, как русский европеец, констатирует тот же прискорбный факт: ‘Теперь всякий в Европе... держит у себя за пазухой припасенный на нас камень и ждет только первого столкновения. Вот что мы выиграли в Европе, столь ей служа? Одну ее ненависть!’»... («Достоевский изгоняет бесов. Какие пророчества русского гения сбываются в XXI веке» / «Российская газета», 11 ноября 2021.)

Давайте разбираться. Не кажется ли мне – да и вся история о том свидетельствует, – что Россия, как часть многонациональной Российской Империи, исторически всегда была частью же общеевропейского пространства: в торговле, в войнах, в культуре. Во власти –

как часть европейской Royal Family. Национальные особенности... да у кого ж их нет! Истинный француз корсиканца никогда французом не назовет... А Пушкин! Не из него ли Достоевский вывел в знаменитой Речи свою идею «всемирной отзывчивости» – то есть *космополитизма* русской души?!.. Да, принятие православия отдалило русский мир от католического (с вариантами) большинства Европы – но оставило всё в том же едином, естественном для него, пространстве христианской цивилизации. Можно ли настолько игнорировать контекст, с которым – без сомнения – отлично знаком?.. Да, тогдашние переживания писателя искусительно-легко перенести «по аналогии» на сегодняшние проблемы Российской Федерации – слова-то совпадают. А смыслы? – Едва ли. Прежде всего, мы уже не живем в классическом обществе; общий технический прогресс, глобализация, компьютеризация и пр. пр. сформировали т.н. «коммуникативное общество» – неклассический гипертекст европейской цивилизации, в котором вся структура функционирует принципиально иначе. Уже в конце XX века мы стали свидетелями того, как терпят фиаско прежние традиционные цивилизационно-образующие форматы – и государство, прежде всего. Мы наблюдаем кризис управления, политических элит, экономических систем... И всё это весьма далеко от Достоевского и, думается, вообще не предугадывалось им.

Наивно полагать, что если в 1990-е РФ признало себя преемницей СССР, она стала и преемницей Российской империи; даже напротив: если придерживаться фактов, СССР разрушил гипертекст «Российская империя» – до основания, как и обещал. Объявлять себя наследником Бунина, Рахманинова, русского балета и русской аристократии – вышвырнутых из страны государством-диктатором или уничтоженных... Это «от лукавого». Империя – классическое религиозное государство классического общества, а социалистические республики и государства есть атеистическая идеократия эпохи модернизма. Век атеизма и проявляется неизбежно в виде «эффективных менеджеров» атеистического или иного социалистического пошиба. И только. В России второго десятилетия нынешнего века возник «эффект дежавю», о чем справедливо писала критик Наталья Иванова в статье «Другая жизнь в СССР».

А при чем же здесь Достоевский? – Да ни при чем. Об этом и речь. Разве не чувствуем мы в процитированных словах Достоевского боль от непонимания, что и Европа, и Россия болеют одной страшной болезнью: атеизмом, со всеми исходящими. Не случайно же Иван Карамазов говорит Алеше: Европа – это кладбище, на котором «лежат дорогие покойники»...

Рационализация сознания, приведшая к декартовскому автоном-

ному разуму (мыслю, следовательно, существую), считалась Достоевским кризисным состоянием личности, которая потеряла способность к целостному мирозерцанию. «Просвещение» толковалось им исключительно в духе христианской традиции: «Свет Христов просвещает всех» – эта святоотеческая фраза указывает на главное различие между светским просвещением и «просвещением» по Достоевскому. Так что вполне логичны слова Достоевского, сказанные им в статье «Об одном самом основном деле» в 1880 году: «Я утверждаю, что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его». Особенная одухотворенность русского народа, считал Достоевский, наделяла Россию мессианской ролью в движении человечества к Идеалу, в достижении братства. Своёобразие и обоснование этого религиозного удела – не прежней идеей богоизбранничества, превосходства, но идеей всемирной отзывчивости русского сознания, его способностью к жертвенному служению всем нациям. Достаточно подробно об этом говорится в «Дневнике писателя» за 1876–1877 годы. Но не забудем, что всё это сказано двести лет тому назад! И сегодня важно уточнить, что писатель даже и не предполагал распространить это свое утверждение на советского и постсоветского российского человека. Его парадоксалист оставался в парадигме религиозной проблематики; шаламовская «Сентенция!» даже и не прозревалась.

То же касается и известной «константинопольской» идеи Достоевского. Военно-политические события того времени на Балканах (национально-освободительная борьба славянских народов против турецкого владычества, реальная угроза распада Османской империи, Русско-турецкая война 1877–1878 гг., весьма популярная идея панславизма...) выдвинули Россию на авансцену. Для этого имелись реальные политические основания. Однако не военные и политические успехи страны привлекли тогда внимание писателя. В происходящем виделось ему подтверждение собственных догадок об особом предназначении его отчества как борца за Православие с «безбожными агарянами», за справедливое возвращение духовного Центра православия – Константинополя. Событиям тех лет придавался особый метафизический смысл, он же оправдывал в глазах Достоевского саму идею подобной войны. «Подъем нации ради великодушной идеи есть толчок вперед, а не озверение, – говорится в статье «Не всегда войны бич, иногда и спасение», – мы можем ошибаться в том, что считаем *великодушной идеей*; но если то, что мы почитаем святыней, – позорно и порочно, то мы не избежим кары от самой природы: позорное и порочное несет само в себе смерть и, рано ли, поздно ли, само собою казнит себя». (Вyd. мной. – М.А.) Для

величайшего гуманиста, верившего в возможность возвышения личности до идеала, такая вера в Провидение органична, давайте признаем за ним это право. Как и тот факт, что все его идеи формировались в обществе классического типа – религиозного, – тоже признаем.

Да, парадоксалисту, «подпольному человеку» свойственна жажда идеала. Он тоскует в мире, не принятом им. Тоска – чувство двойственное, творческое, живое. Оно куда сложнее, чем простая скука, порожденная лишь голым рациональным отрицанием действительности. В тоскующем человеке необыкновенно сильна тяга к высшему, идеальному, что всегда для мыслителя, погруженного в глубины «тайны» человеческой, было чрезвычайно важно. А не является ли тоска, – задается вопросом писатель, – признаком новой веры, новой духовностью? Итак, вера и безверие. Для Достоевского это «не два различных объяснения мира, а два разноприродных духовных мира, существующих бок о бок», – напишет об этом поэт и мыслитель Вячеслав Иванов.

Хотя в самом наипророческом сновидении Достоевский вряд ли мог увидеть, что социалистический эксперимент продлится над его страной и народом почти весь XX век, что нечаевы таки выстроят идеократическое государство, питаемое ГУЛАГом, и что остатки его народа войдут в XXI век побитыми, растерянными и растерявшими веру, предназначение и надежду. Может, «великодушная идея» действительно порочна? – Ведь и Константинополь не стал православным – а даже и напротив: вопреки всем всемирным договоренностям и обязательствам, назло всем ЮНЕСКО и христианским Церквям, собор Св. Софии не только не остался атеистическим музеем – в коем качестве его утвердило атеистическое сообщество XX века, но и под шумок сегодня превращен в мечеть. Так сказать, во имя великой идеи – только иной: идеи ислама. А и действительно, почему дискурс мусульманина должен учитывать дискурс христианина? Что за странная мечта атеиста?.. Политкорректная Европа и тут смолчала – будто и не ее культурные ценности были аннексированы.

«Когда говорят о Достоевском как о пророке, обычно забывают добавить, что он опасный, зловеющий пророк», – замечает Эпштейн. И в том он практически совпадает со своим надежным оппонентом Сараскиной, пишущей: «Кажется, будто специально для нас, сегодняшних, был написан сон Раскольникова, которому пригрезилось, как неслыханная и невиданная моровая язва, пришедшая из глубины Азии в Европу, поражает мозг и души людей, отнимает разум, обрекает человечество на гибель»... Ну, а назовите мне «не зловеющего» пророка? – от ветхозаветных старцев вообще мороз по коже идет; панславизм Достоевского (его «почвенничество, фундаментализм и

глобализм» по Эпштейну) – детские страшилки в сравнении с концом света и всадниками Апокалипсиса. Ветхий Завет просто переполнен «угрозами», описанными детально, со вкусом, – и неотвратно. Но если подойти к «источникам» с позиций историзма – то есть вспомнить дискурс эпохи Достоевского, да и просто тот факт, что все связи происходят в цивилизации религиозного типа, в традиционалистском обществе, в классических (выработанных религиозным сознанием) форматах государства и культуры – то станет и не страшно, и даже интересно: а как там у них было с т.н. «дискурсом»? А если, как советовал Н. С. Трубецкой, оценивать текст литературы в параметрах исключительно литературных, то и – захватывающе интересно. Да, давний текст известного мыслителя и исследователя, прочитанный в Вене еще в 1930-е годы, приходит на ум и в цитату: «...исследователи, занимающиеся идеологией Достоевского <...> стремятся изучать его мировоззрение на основании литературных произведений... В противоположность Толстому, Достоевский не тенденциозный писатель... У него мировоззрения всех действующих лиц совершенно равноправны... выводить идеологию Достоевского из его произведений невозможно... не следует читать между строк его произведений то, чего в них нет. Особенно ошибочно искать в них скрытое, символическое значение... К области *литературоведения* принадлежит только Достоевский-писатель, Достоевский-художник». (НЖ, № 48, 1957) Да, проблемы прочтения текста – всё те же.

Отсюда и своеобразное «обвинение» писателя в том, что «...Ни одна из его утопий, высказанных публицистически – в ‘Дневнике писателя’ и в Речи о Пушкине, – не сбылась», как не сбылась и надежда: «...Внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!» (Эпштейн). Или – сбылась утопия? – «Он и в самом деле знал за собой эту особенность – ‘своим идеализмом пророчить даже факты’<...> Политические скандалы, болезненный абсурд, хаос, жизнь в стиле беспредела – всё то, что принято называть ‘достоевщиной’, станет обыденностью. Крушение нравственных и духовных основ человека, снятие всех законов и правил, норм, границ, запретов, сдерживающих начал, разрушительное торжество антиморали, насилие, вырвавшееся на свободу, изгнание истины – все эти знаковые явления современности в совокупности своей сложатся в антропологическую катастрофу.» (Сараскина) Ну что гадать – всё это, по гамбургскому

счету, вообще не о нем. А о нас – о таких, какие мы есть во втором десятилетии XXI века. И пророком его называли мы. Нам и отвечать.

Достоевский же – как публицист – живет и мыслит категориями своего XIX кризисного столетия – анализирует, делает выводы и даже дает рецепты излечения от болезни реального общества позапрошлого века, активно переживающего процесс демократизации и модернизации. А в качестве прозаика – так и вообще живет внутри литературного гипертекста, воспроизводя те или иные характеры, порожденные его веком. Веком взрывоопасным, конфликтным – впрочем, как любой иной. И главной проблемой своего столетия Достоевский видит кризис религиозного сознания и потерю человеком имманентной свободы.

Нелегко человеку на пути Свободы. Трагична, полна сомнений дорога эта, дорога к самому себе, к Истине. Нелегко отречься от «закона личности» во имя «закона любви», братства. «Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, – невозможно; – записывает Достоевский 16 апреля 1863 года у гроба первой жены. – Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек <...> Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, – это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье <...> Это-то и есть рай Христов. Вся история, как человечества, так отчасти и каждого отдельно, есть только развитие, борьба, стремление к достижению этой цели». Отсюда следует для писателя, что «человек на земле существо развивающееся» в своем стремлении к братству во Христе.

Достоевский строит концепцию исторического развития человечества, исходя из отношений единичного человека и масс. С этой точки зрения он делит историю человечества на несколько этапов, качественно отличающихся один от другого. Первый – «когда человек живет массами (в первобытных патриархальных общинах, о которых остались предания)». В это время «человек живет непосредственно». «Затем наступает время переходное, то есть дальнейшее развитие, то есть цивилизация... В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого никому не миновать, это развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархальных, законов масс). Человек как личность всегда в этом состоянии своего общегенетического роста становится во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и всех». Это «распадение масс на личности», с точки зрения писателя,

«состояние болезненное». Человек «чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и всё сознает». Он утрачивает идеал. Человек «периода цивилизации» и есть «подпольный парадоксалист», потерявший нравственный идеал, хотя и жаждущий его.

О чем думал недавний каторжанин, рисуя своих осторожных товарищей, «сильных и даровитых», но исказивших и запятнавших свое человеческое естество преступлениями, о чем он думал, рисуя гибельное уединение «подпольного человека»? Наверное о том, что человеку, чтобы возвратиться к самому себе, «восстановиться», надо в суровой «выделке» нравственно переродиться. Тернистый путь, путь распада, «самоказни», страдания, который проходит личность в своем стремлении к обновлению, к идеалу, – главная тема Достоевского 60-70-х годов. От романа к роману исследует он разные ее грани: «...Его этика, психология, метафизика, антропология, социология и эсхатология так определяют и дополняют друг друга, что чем глубже мы проникаем в связь между ними, тем очевиднее становится, что для Достоевского литературное образотворчество – лишь средство многообразного развертывания синтетической идеи вселенной, идеи, которую писатель носил в себе как ‘всеобъемлющее видение’, как принцип своего ‘духовного возрастания’», – скажет Вячеслав Иванов. Достоевский исследует свободный путь нового сознания, полного величайших сомнений, испытывающего серьезные искушения. Исследует материал – человеческий и идеологический – с которым столкнулся лично. Иной раз он и вытаскивал из этого опыта некоторые фантазии, но в целом оставался предельно верным фактам и событиям.

И первый, кто идет этим мучительным путем «духовного возрастания», – Родион Раскольников. В отличие от героев ранних романов и повестей Достоевского, он действительно – личность, «доброкачественная», имеющая право на свою собственную, отдельную дорогу. Но какова эта дорога? Писателю, конечно, запомнилась атеистическая и богоборческая аргументация Белинского и петрашевцев: «Неверующий видит между людьми страдания, ненависть, нищету, притеснения, необразованность, непрерывную борьбу и несчастья, ищет средств помочь всем этим бедствиям и, не найдя его, восклицает: ‘Если такова судьба человечества, то нет провидения, нет высшего начала!’ И напрасно священники и философы будут ему говорить, что небеса провозглашают славу Божию! – Нет, – скажет он, – страдания человечества гораздо громче провозглашают злобу Божию». Раскольников – человек «периода цивилизации», времени всеобщего распада, из которого ему не видится никакого выхода, кроме индиви-

дуалистического бунта. И потому остается одно – отделиться, но отделиться так, чтобы стать выше мира, выше его обычаев, его морали, переступить вечные нравственные законы. На такое способны лишь люди необыкновенные, или, как уверен Раскольников, *собственно* люди – те, кто единственно и имеет право и достоин именовать-ся людьми. Стать выше и вне мира – это и значит стать человеком, обрести действительную свободу, выйти из смрадного и бессильного «подполья». Раскольников и выходит, чтобы проверить свою способность быть человекобогом. Не изменить мир, а изменить свое положение в мире, – вот его идея.

Вся история, глубоко убежден Раскольников, подтверждает его идею «двух разрядов»: Наполеонов и «тварей дрожащих». Чаще и чаще перед ним возникает образ Наполеона как человекобога, «преступившего» предел дозволенного ради власти над миром и человечеством. Но ведь личность, подавляемая «гигантоманией», обращает свою свободу в своеволие?.. И тогда возникает вопрос: всё ли дозволено? Тут испытываются границы человеческой природы. Нравственная проблема представлена в виде несложной задачи: дозволено ли человеку «высшей природы» – наполеоновской, которому уготовано исключительное место в Истории, – убить никому не нужное, злобное и низкое существо – старуху-процентщицу, чтобы очистить себе путь к служению на благо человечества? Без конца анализирует Раскольников свой жестокий эксперимент, свое «наполеоновское» деяние. И только в том, что не вынес – «не преступил», а остался «тварью дрожащею», – видит Раскольников свое преступление: «...не старуху убил – себя убил». Почему же себя? А потому, что не сумел превозмочь в себе Божье. А другие сверхчеловеки сумеют.

Кстати, не могу отказать себе, чтобы не пересказать мысль моего старшего друга, американского художника – старого эмигранта Сергея Голлербаха: как-то в разговоре он предложил продолжить «биографию» Раскольникова – вот отсидел Родион, вышел на волю и пустил он отнятое у процентщицы на благо: построил школы, храмы, раздал нищим приумноженный капитал... И стал он святым для людей. Так и скончался, почитаемым. И что же – ему простилась кровь старухи? – «Нет, – заметил Голлербах, – дело в другом: Добро – оно *никому не принадлежит*, оно – *объективно*; веет, где хочет, и, совершаемое руками преступными, – оно остается Добром»... Вот такая современная притча.

Но какова эволюция претендующих на человекобога? Заглядывающего за предел – и переселяющегося за предел? Так в Дневнике (февраль 1973) писателя появляется «Бобок» – фэнтези, говоря современным языком, на сюжет вакханалий покойников на

кладбище. Они ведь, покойнички, – вне человеческих законов общежития, вне морали, вне этики, им – всё дозволено. «Заголимся и обнажимся! <...> разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и – даже не щадя последних мгновений сознания!» Заголяться. Во всех смыслах. М. Бахтин определил рассказ как великолепную мениппею. Сам же писатель отсылал к Римской империи периода распада: «Всё уходит в тело, всё бросается в телесный разврат и, чтоб пополнить недостающие высшие впечатления, раздражает свои нервы, своё тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными».

Никакого парадокса в движение от Наполеона к бобку нет. Это, по большому счету, – один нарратив: заглянуть за предел, позволить себе всё – и, в парадигме вседозволенности, сегодня – наполеоном ходишь, завтра – заголяешься, так уж от сверхчеловека и до человекобога полшага. И не смерть всё списывает, а ты сам – и смерть списать право имеешь. Вот где уж страшно так страшно. Эпштейн отмечает (вспоминая добавленное Достоевским в русский язык новое слово – «стушеваться»), что на деле гораздо знаменательнее прибавление слова «бобок». Наш современник, богатый на ассоциации, может столько вложить в это слово, столько ввести в этот нарратив, что Достоевскому и не снилось! И не снилось. Но получило самые эффективные интерпретации у наших современников. «Антропологическая катастрофа» у Сараскиной присутствует в полном объеме сценария современного мирового «падения империи в лицах, и почерк политических убийств, и аристократы, пошедшие в демократию, и их inferнальные ‘подвиги’. Будущие итоги настоящих событий ему были ясны до подробностей. Он чувствовал ‘химию и физику’ грядущей революции, предвидел ее соблазны и последствия». В этом же ключе высказывается и ее потенциальный оппонент – правда, вдруг уходя от «цивилизационного бобка» к национальному, российский: «То, что производится сегодня российской властью – и есть тот самый бобок. Бобок-политика, бобок-дипломатия, бобок-пропаганда. Путь, пройденный Россией за три постсоветских десятилетия, можно очертить так: от совка – к бобку». (Эпштейн) То есть остальная власть в мировом, так сказать, масштабе, – она... от Бога? Или – от бобка все-таки? «Бобок – разочарованный совок, который вдруг осознал свое сиротство...»

Нет-нет-нет, господа, подождите. Никакого сиротства – толпы живых и деятельных заголяющихся бобков по всему мировому кладбищу. «Бобок разочарованный» – это оксюморон. Какие чары? Ведь уже заголились, всё увидели и всё показали. Абсолютное своеволие.

Когда есть лишь бобки, хочу – и радугу с неба сниму! Да и само небо. Вполне ветхозаветное пророчество.

Но вернемся к рассказу. Нет текстовых оснований расширять эту мениппею Достоевского ни на современную Россию, ни на Евросоюз и иже в нем, – просто Достоевский не о том писал, а о реальном кризисе религиозной цивилизации, идущей к атеизму; о кризисе, который ощущал, глядя на своего современника (об этом тексте как о пародии писателя на некоторых реальных своих оппонентов и гонителей тоже стоило бы поговорить, но в другой раз). И уж тем более – не о политике этот «Бобок», слишком узкое прочтение.

Хотя, понятно, что так и просится написать о Чубайсе, скажем, словами Достоевского: «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить», – как это делает Сараскина. Сразу анекдотичное «Чубайс во всем виноват» обретает вполне благородный контекст, и совсем уж политизированный выпад: «либералы-западники видят (Россию) третьестепенной, распавшейся (разорванной!) на 15-20 частей, где народ живет, не поднимая глаз, с унылым сознанием, что собственность богачей священна и что 'всяк сверчок знай свой шесток'» – такой укол обретает силу гневного обличения Запада. Хотя, если вдуматься, почему «западники» хотят разорвать Россию – вроде это как раз то место, где они и могут «грабить народ»? И почему «собственность богачей священна» именно в капиталистической России, а не, скажем, во Франции или даже в Индии? Да и какое это имеет отношение к разговору о юбиларе? О его творчестве, книгах, художественных открытиях, о его мировоззрении и даже об идеологии, в конце концов.

Наш банкет используется, видимо, для других целей. Слоганы его вызваны не литературой. И знаете, парадоксально, но у Чубайса, в качестве «героя анекдота», есть право говорить о своей ненависти к Достоевскому (цитирует бывшего министра в праведном возмущении Сараскина): «Я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку (К Достоевскому. – М. А.). Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски» – а знаете, почему у чубайсов есть это право на ненависть? – Потому как они – политики, и для них страдания человека – это всего лишь издержки рационально выстроенной экономической программы приватизации; в политике слова и копейки медной не стоят, там правит речевой поток, в котором главное – бурление и водопады, высота тона и жеста; слова же... слова важны для литературоведа, для культуролога, для ученого. Даже и за юбилейным столом. Но до обидного все «званные и

избранные» шумят в унисон чубайсам, забывая, что слова – значимы, что в запале брошенное неразумное слово кругами расходится по нынешним «самым читающим» нечитателям, которые уже давно от романов перешли к комиксам. А талантливый, блестящий Дмитрий Быков уже и частушки слепил – «Достоевское. Наслаждаться паденьем, подпольем, быть клопом, паразитом, блохой...» («Новая газета»). Конечно же, об этом опусе правильнее было бы и не писать вовсе. Быков просто «отметился», оно понятно. – Но и вольно-невольно соблазнил «неоглашенных» и «оглашенных» за один прием: поток брани и мата по поводу юбиляра не стихает в русскоязычной прессе и в интернете; употребленный Быковым художественный троп «ж-» – это просто детские анатомические радости литературоведа в сравнении с его подражателями.

Гораздо серьезнее у Быкова обвинение Достоевского в другой его (и не «юбилейной») заметке, опубликованной там же, – о спектакле К. Богомолова «Бесы». «Вот понимаете, зачем они просили, чтобы он разрешил им войти в свиней – и броситься с кручи? Для наглядности... ‘Бесы’ – роман именно о том, как стадо входит в свиней... Бесы путинской России с поразительной наглядностью демонстрируют то, чего хочет всякий истинный бес: его привлекает только масштабное самоуничтожение. И потому все внешне абсурдные действия, которые совершаются на наших глазах в последние 20 лет – с таким самоупоением, с полным забвением приличий, с разнообразными историко-культурными и геополитическими обоснованиями, – имеют одну цель: доказать свою самоубийственность... И все сущности, занятые идеологическим, организационным и финансовым обеспечением этого масштабного мероприятия, отлично знают, что делают, ничуть не стесняются и охотно потом напишут историю великого падения.» Быков едва ли не обвиняет писателя в том, как его «слово отозвалось». Хотя точнее было бы писать о бесах Богомолова – поставившего спектакль, как всегда, архиоригинально, в своем стиле, не используя в режиссерской интерпретации практически ничего из источника, из Достоевского, кроме персонажей-знаков; спектакль – гиперинтерпретация, собственный текст Богомолова, на чем он и сам публично настаивает в интервью. И уж тем более странно обвинять Достоевского в конспиралогии «путинской России» с ее «геополитическими обоснованиями» «великого падения».

Но завидно постоянство этой аллюзии: Достоевский – страшный пророк, навлекший все беды на нас сегодняшних, – у современных интерпретаторов разного уровня мышления и разного дискурса, работающих с русским текстом. Словно, не будь Достоевского-писателя – не случилось бы и XX века с его коллизиями и трагедиями. Так может,

вслед за низвержением Достоевского, стоит обвинить и Евтушенко, сказавшего: «Поэт в России больше, чем поэт»? Однако, если быть точным, сам-то поэт высказался несколько иначе: «Поэт в ней – образ *века своего* / и будущего призрачный прообраз. / Поэт подводит, не впадая в робость, / итог всему, *что было до него*». (Вид. мной. – М.А.) То есть в оригинальном тексте поэт – не ведун и не пророк, а отражение своего времени; форма, вобравшая все проекции прошлого, которое и определяет будущее... Писатель же не определяет и не пророчествует, а дает *образ существующего*.

Может, останемся с текстом в руках – и поговорим о Достоевском как о писателе, а не как о человекобоге... Широко известны слова Достоевского «Красота спасет мир». (Так широко, что опять сузить хочется, – во всяком случае, не слышать эту фразу с подиумов.) Для писателя Красота – категория, в первую очередь, религиозная, а не эстетическая. Это высший образ человека, воплощенный в Христе: Господь–Гармония–Совершенство–Красота. Правда, изначальная соотношенность красоты с человеком порождает двойственность ее – подобно тому, как неоднозначен и сам человек, и его пути свободы. Есть Красота в идеале Мадоннском, есть и в идеале Содомском, своеобразной «гармонии» с отрицательным знаком, гармонии антисистемы. В романе «Братья Карамазовы» недаром прозвучат слова: «тут дьявол с Богом борется и поле битвы – сердца людей». Бремя свободного выбора тяжело дается человеку. Абсолютный характер свобода человека принимает у Достоевского лишь в Христе, в конце пути, в слиянии с Целым, – как возвращение человека. Князь Мышкин, «положительно-прекрасный человек», достигший, по словам М. Е. Салтыкова-Щедрина, «полного нравственного и духовного равновесия», словно вобрал в себя «образ Христа», в его кротости и смирении (кстати, в подготовительных материалах к роману писатель сделает соответствующую помету: «Князь-Христос»). Веря, что лишь путем нравственного самоусовершенствования человек достигнет Идеала, Достоевский искал и находил «положительно-прекрасных людей» среди своих современников.

«...Нужно перетащить на себе», испытать все «за» и «против», чтобы отыскать подлинную дорогу свободы – дорогу, ведущую к Истине. Достоевский признавался в своей последней записной тетради: «Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла». «Идеал Христа, по его мнению, должен был преобразить мир, – пишет Волгин. – Он пытался внести религиозную этику в повседневную жизнь и даже политику: ‘Надо, чтоб и в политических организациях была признаваемая та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верую-

щего.'». («Через горнило сомнений» / Портал «Историк») Такой поворот проблемы естественен в контексте историко-философских воззрений писателя. Его почвенничество – новая попытка национального самосознания русского общества в XIX веке – представлялось весьма плодотворным. «Разрозненные с народом высшие классы не подновляются новыми силами, оттого чахнут, ничего не вырабатывают. Не имея твердой точки опоры, они не имеют впереди ясно поставленной и точно обозначенной цели», – писал Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков». Вот почему в сближении «культурного слоя» с народом, в обретении почвы виделось ему спасение России. Нация представлялась ему неким мистическим цельным организмом, а почвенничество носило характер познания, расшифровки матрицы. Согласитесь, с тех пор многое – и принципиально – изменилось. Нынешний «высший класс» стал просто классической песенной строкой: «вышли мы все из народа», – даже и снобизм их сродни тому, что у Власа (есть такой народный герой у Достоевского): вызов – так Самому, стрелять – так в икону, – и сколько же (прав Быков, прав!) в этом презрения к миру и людям! Почвенничество, как и многое в том веке, закончилось в 1917-м; «русский текст» Достоевского был уничтожен этим жестоким модернистским экспериментом в одночасье и навсегда. В этом смысле Достоевский – книга прочитанная и закрытая. Она – лишь для литературоведов-веганов, питающихся архивной пылью, а не кровью эпохи.

Приговор евклидову уму наш век вынес, загнав себя в угол цивилизационный, культурный, социальный, духовный. И Достоевский здесь ни при чем. Он, конечно, был среди первых, увидевших болезнь наступающей эпохи торжества рационализма. Но верующее сознание Достоевского подсказывало ему выход: открыть смысл жизни можно, лишь приняв саму жизнь за основу, полюбив «живую жизнь» – Бога – прежде логики, прежде себя! Это было его, личное, решение проблемы. Следовать ли этому рецепту – свободный выбор каждого. И мало кто ему последовал, надо сказать.

Свободы и не понимает, по мнению Достоевского, Иван Карамазов, обвиняя во зле Творца. Человеку нового сознания действительно грозит опасность превратить свободу в самоцель, а не в путь к Истине. Бунт Ивана и предложенное им будущее «царство гармонии» – государство Великого инквизитора – есть еще и критика традиции эпохи Просвещения XVIII века, воплотившейся в своем развитии в утопическом социализме. Признание за «чистым разумом» основополагающего, фундаментального значения губительно, по мнению писателя. Гуманизм Ивана, его «рационализированная» душа лишает героя способности полного, многостороннего познания бытия. Абсолютная

свобода переходит в абсолютный деспотизм, пытающийся обеспечить счастье человеку в принудительно рационализированном мире в принудительном порядке. Идея свободы оборачивается своей противоположностью. В этом видел Достоевский саморазоблачение «эвклидова» ума. Своеволие, свобода самоутверждения должны привести личность к отрицанию Бога, мира и человека.

«Идеальным» мироустройством, осуществляющим «формулу счастья», оказывается в поэме Ивана Карамазова «Великий инквизитор» мрачная социально-политическая система, основанная на освобождении человека от свободы. Идея фантастического государства Великого инквизитора развита логикой Карамазова до предела, «до идеала», который призван лишь разрушить как христианский идеал, так и гуманистический, да и сам разрушается изнутри внутренним «непосильным» противоречием. Разлагается целостность мира, целостность «живой жизни». Не соглашусь с Эпштейном, пишушим: «Атеизм строит царство насилия, откровенное в своей ненависти к Богу, но это еще *не царство лжи и подмены* (Выд. мной. – М. А.), которое будет воздвигнуто именно как вселенская церковь, пасущая народы святым именем Божиим – ‘во имя Твое, и солжем, что во имя Твое’». И атеизм, и «Великий инквизитор» (для Достоевского – Католическая Церковь) – «оба плохо», замечу я в стиле быковской частушки. Так как, шагая разными путями, оба приходят к отрицанию имманентной человеческой свободы. Но трудно обвинить в этом современную Вселенскую Церковь. В пристрастии к благам земным, к искушениям – да, пожалуй, ведь известно: где человек – там и грех, а уж в сутане он, в рясе или в цивильном – неважно. Но говорить в современном атеистическом мире об опасности церковной лжи... Да помилуйте! Христианская Церковь давно в опале, на обочине жизни, она – для маргиналов. Современная цивилизация от Заветов – Ветхого ли, Нового ли, – давно отказалась. Теперь не Заветы, а Правила – политкорректности, за несоблюдение которых карают, что за грех... Еще раз: карают за то, чего не признают, – за грех. Какой? – Грех отказа от навязываемого нарратива. И это весьма показательно. Отрицаемый традиционный текст подвергается гиперинтерпретации для создания нового нарратива – путем уничтожения оригинального, Авторского. Понятия классические наполняются новыми значениями с имитацией их прежней, узнаваемой, опробированной формы. Формально, внешне, преемственность с классическим текстом сохранена, по сути – он уничтожен. Но это уже – без Достоевского. Это – наш век.

«Культурой симулякра» назвал Михаил Эпштейн Россию: «Культура симулякра в России началась, пожалуй, раньше, чем в

других европейских странах, – именно потому, что Россия пришла позднее других на этот праздник модерности и стала усиленно ее имитировать». Прежде всего, «модерность» я бы не стала связывать с праздником – и даже с «именинами сердца», скорее – с хорошо организованной «партией и правительством» успешной первомайской колонной. Все не присоединившиеся – за 101-й км или дальше... И Петр Первый, вполне авторитарный правитель, в контексте своей эпохи ничем здесь не отличается от других. Тем не менее, признаем, что «заимствование» отличается от «копии», от «имитации» – именно тем, что предполагает и способно к развитию: «заимел» – и используешь как свое. Говорить о «симулякре» в отношении русской культуры, как и государственности, неправомерно. Эффектное высказывание – но не выдерживает критики, не соответствует реальной русской истории в ее самодостаточности, которую трудно интерпретировать как «симулякр» знака «Европа». Пожалуй, мы можем разрешить себе размышлять на тему «уж не пародия ли он» лишь по отношению к отдельным частным процессам, что происходят в последнее десятилетие в современной России, – в частности, процесса оформления симулякра «СССР» в бодрийаровском смысле – как «подлога реальности» знака «Советский Союз», скрывающего, что оригинала-то и нет. Но для выводов накоплено недостаточно материала, и куда завернет этот процесс, куда заведет страну «политика дежавю» мы просто не знаем. Не будем изображать из себя пророков. И тем паче, не будем использовать текст Достоевского в своих политических прогнозах. Мы очень далеко отошли от его текста в нашей реальной истории.

Да, можно было бы еще раз обвинить Достоевского в «негативном пророчестве». Ну, помилуйте, что ж это мы к человеку – как к Богу – претензий-то накопили! А может, мы просто хотим приручить его – нашими мифами, легендами, интерпретациями – приручить и «заклечь под арест» этого радателя Свободы? Свободы выбора – пусть, в том числе, и идеала Содомского... А ведь он доверял нам, потомкам. «Хотя, увы, в массовом сознании больше укореняются мифы о писателе, чем глубокие знания. Но это проблема всех гениев», – верно заметил И. Волгин.

Все эти довольно вольные трактовки нарратива Достоевского на самом деле есть повторение одной и той же попытки приписать этому гипертексту (как любому другому, чем и характеризуется эпоха постмодерна) гипероткрытый формат, абсолютную пригодность к любой интерпретации (повторяя старый спор о «сверхинтерпретационности», архивариативности художественного текста). Однако гипертекст, хотя и функционирует в метафизическом поле свободы, – был и остается естественной, имманентной *системой*. И, как любая

система, он самодостаточен, то есть не обладает свойством «сверхинтерпретационности», сверхоткрытости. Релятивизм критика преследует далеко не художественную цель – что мы и наблюдаем в приведенных примерах юбилейных выступлений. Текст подгоняется под нужную в конкретный данный момент внелитературную концепцию – и мы легко получаем «пророка-учителя» или «страшного пророка», «человеконенавистника» или «святого», игнорируя при этом ту объективную данность, которую несет в себе реальный, попавший в руки текст.

Австрийский исследователь Юрген Хабермас как-то заметил, что мир для интеллектуалов – «это политическая культура возражения, в которой коммуникативные свободы граждан возможно и принимать, и мобилизовывать». Таким образом, любой публичный текст, по сути, важен лишь как материал для выражения собственного нарратива интеллектуала. Однако Хабермас справедливо отмечает, что в коммуникативном обществе «публичная сфера стала менее формализованной, а существующие в ней социальные роли – менее дифференцированными», принципом структурирования стала «языковая игра» (Л. Витгенштейн), разоблачающая ложные претензии классического языкового сознания на универсальность. Роль «властителя умов» уходит в прошлое, сменяется ролью маргинала; «...электронная революция в средствах массовой коммуникации уничтожила сцену для элитарных выступлений тщеславных интеллектуалов. <...> Если он вмешивается со своими аргументами в некую дискуссию, то он должен обращаться к публике, которая состоит не из зрителей, а из потенциальных участников диалога, которые ответственно говорят и слушают друг друга. Идеальный тип такой дискуссии предполагает обмен доводами, а не искусное притягивание к себе зрительских взоров». Так что данный юбилейный банкет пошел, кажется, не по тому сценарию. «Обмена доводами» не получилось, а про самого юбиляра просто забыли.

При некотором более деликатном внимании к метанаррации легко обнаружить сопротивление материала. Суть здесь не в ложности той или иной появившейся интерпретации Достоевского-текста, но в волюнтаризме аналитика, отрицающего имманентные свойства данного нарратива и подменяющего оригинал собственным нарративом. Да, в творчестве Ф. М. Достоевского сложно отделить художника от мыслителя, воплотившего свои идеи о мироздании не в научных трактатах, а в литературных и публицистических произведениях. Тем паче, что мы всё еще принадлежим к русской культуре: пусть ее литературоцентризм и расточился, но еще виден, различим абрис центральной точки. Поистине, энциклопедический охват проблем в

творчестве писателя, глубокое переосмысление самых разных культурно-исторических традиций присущ его уму, в котором счастливо соединились рассудок и чувства, мысль и сердце. Как писатель-мыслитель Достоевский всё еще представляет огромный интерес для современного читателя и критика – двух маргиналов. Но вне «сочувственного внимания» к нарративу этого художника, без готовности судить его по законам, им самим для себя установленным, невозможно в принципе понять феномен писателя-философа, наладить внутренний контакт с его гипертекстом. Всё, чего мы добьемся на пути гиперинтерпретаций, – это растворим в их соляной кислоте собственный уникальный нарратив Достоевского и потеряем писателя. Не смертельно, конечно, но жалко. Безусловно, как любой иной текст, и этот также позволяет и сиюминутные аллюзии, и спекулятивные политические интерпретации, и мета-интерпретации. Но надо отдавать себе отчет, что это уже ситуация не диалога, а презентации некоего постороннего нарратива. Ситуация, которая грозит обернуться созданием симулякра. Достоевский – не для юбилея, во всех карнавальных смыслах празднества и убранства. Его объемная мысль, обостренное религиозное чувство требуют исповедника, а не банкета.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Достоевский, Ф. М.* Дневник писателя. 1876–1881. Записные книжки и рабочие тетради. 1860–1881 / ПСС в 30 тт. // Л.: Наука, 1972.
2. *Быков, Д.* Кто они. URL: <https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/22/87637-besy-kto-oni>; Достоевское. URL: <https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/07/dostoevskoe>
3. *Волгин, И.* URL: <https://news.ru/art/200-let-dostoevskomu-volgin-otvetil-naryat-aktualnyh-voprosov-o-pisatele>; «Чезе горнило сомнений» / «Историк». URL: <https://xn--h1aagokeh.xn--plai/posts/2021/11/10/cherez-gornilo-sommenij.html>
4. *Сараскина, Л.* Достоевский изгоняет бесов. Какие пророчества русского гения сбываются в XXI веке. URL: <https://rg.ru/2021/11/11/dostoevskij-izgoniaet-besov-kakie-prorochestva-russkogo-genii-a-sbyvaiutsia-v-xxi-veke.html>
5. *Эпштейн, М.* Достоевский — зловещий пророк. Лучше не встречаться с ним на исторических путях. URL: <https://snob.ru/profile/27356/blog/1002363>

ЭССЕ. ЗАМЕТКИ

Р. В. Полчанинов

«Нас десять, вы слышите — десять!»

История одной скаутской песни

Дело было в Германии, в Ди-Пи лагере Шляйсхайме в 1950 году. В бараке, где находились канцелярии русской лагерной администрации, я, как начальник YMCA, имел свою комнату — там в служебные часы принимал всех желавших со мной поговорить. Однажды ко мне пришел человек, сказавший, что он историк, интересующийся скаутским движением в СССР, и что он, зная не понаслышке о репрессиях в Советском Союзе, ни в какую подпольную скаутскую деятельность там не верит и считает, что всю эту подпольную скаутскую работу придумали сами же «доблестные чекисты», умевшие получить от арестованных любые признания; что скаутов арестовывали просто так, как тогда говорилось, — «был бы человек, а параграф найдется», — в качестве доказательства, что чека недаром получает деньги, что ведет нелегкую борьбу с «врагами народа», партии и правительства, раскрывает заговоры и подпольные организации...

В наши дни уже известны документы, подтверждающие, что подпольная работа скаутов действительно велась, — посмотреть можно, в том числе, блог «Домашний очаг»* и «Прелестная Россия»**, цитаты из которых я привожу в этой заметке.

В 1923 году под Москвой, у села Всехсвятское, прошел последний скаутский слет. Уже слыша о начавшихся гонениях, стойкие скауты шли в форме и со знаменами. Слет был разогнан милицией, а организаторы арестованы. «Советская власть боролась с подростками, как с настоящими врагами: никаких скидок на возраст: слежки, обыски, обвинения в участии в нелегальной организации. С ребят-скаутов срывали символику, 'прорабатывали' на собраниях. Дети и подростки, сочувствующие революции, избивали таких ребят и сдавали их в ОГПУ». Вскоре, в том же 1923-м, были запрещены все скаутские организации; их было много, но не было единого центра,

* URL: <https://www.goodhouse.ru/obshchestvo/people-stories/nas-mozhno-konechno-povesit-no-prezhde-nas-nuzhno-nayti-istoriya-russkih-skautov>

** URL: <https://cont.ws/@charmingrussia/1247528/full>

что затрудняло чекистам взять всех сразу под свой контроль. Руководители, не желавшие иметь неприятности с властью, сразу отошли от работы и прервали связи со старыми друзьями; кто-то пошел на работу в созданную новую организацию пионеров (май, 1922), но таких было мало. Большинство осталось верными своему ТО – «Торжественному обещанию»: исполнять свой долг перед Богом и родиной. Некоторые руководители встречались с ребятами не для скаутской работы, а просто для дружеских встреч, и не думали, что этим нарушают приказ о прекращении скаутской работы. Но были и другие, кто сознательно шел против коммунистов и насаждаемого большевиками безбожия. За такие «преступления» до 1926 года арестовывали только педагогов и руководителей движения, а потом взялись и за всех ребят, которым исполнилось лишь 18 лет. «Апрельской ночью 1926 года арестовали 24 московских скаутов, старшекласников и студентов младших курсов». Они были виноваты в том, что «им нравилась интересная и дружная скаутская жизнь», «они всем сердцем разделяли скаутские идеалы: честность, смелость, преданность Родине. За это одних скаутов отправили в лагерь, других в ссылку. В 1932 году их арестовали снова, в этот раз и тех, кому в 1926 году еще не было 18 лет. Лагерем и ссылкой в этот раз не обошлось, многих скаутов расстреляли». Скаутское подполье просуществовало до 1927 года. Самые стойкие ребята, не пожелавшие стать юками*, еще в 1919 году объединились в подпольное «Братство костра», которое состояло из пары десятков отрядов по всей стране.

До революции скаутское движение объединяло около 50 тысяч подростков, а в двадцатых годах осталось несколько сотен скаутов на всю Россию. В Москве это были отряды «Черный волк», «Эфиопы», Московская независимая команда скаутов и Хамовнический отряд герл-скаутов, в который входили только девочки, – девушка считалась «равным товарищем юноше». Отряды скаутов были в Нижнем Новгороде, Петербурге, Киеве, Архангельске, Одессе, Севастополе.

С 1923-го, когда скаутская работа в СССР была запрещена, и до 1927 года шли аресты руководителей и тех, с кем они имели связь. Говорят, что арестованных было много; около 1000 человек осуждено на ссылку в исправительно-трудовые лагеря, как у чекистов назывались концлагеря, а кое-кого и расстреляли. В архивах чека сохранился подпольный скаутский рукописный журнал «Серый ушан»** с карикатурами на пионеров и со словами песни, которая начиналась «Нас десять, вы слышите, десять...» Как не назвать это подпольной

* Всероссийская организация юных коммунистов (ЮКИ), 1918-19 гг.

** Порода летучих мышей

работой? Теперь эта песенная строка кочует из одной научной работы в другую, а не будь счастливого случая и Божией воли на то, никто, вероятно, о журнале и о песне не узнал бы.

Дело было так. Примерно в 1925 году была арестована девушка-скаут, лет шестнадцати, получившая пять лет ссылки. Она не была руководительницей, и ее в концлагерь не отправили. После отбытия срока ей разрешили приехать в Киев и даже поступить там в университет. Возможно, что она была единственной, кому после ссылки разрешили продолжить учиться. Многим студентам захотелось познакомиться с ней; она и не скрывала, что была сослана за скаутизм. Студенты в середине 1930-х годов если и слышали что-то об этом движении, толком не знали, в чем его цели и какова его деятельность.

Студент-химик Юрий Анатольевич Семенцов (1915–1992), узнав от одного из своих друзей-студентов про эту девушку, тоже решил с ней познакомиться. Встреча состоялась; они, немного отплыв на лодке по Днепру, остановились около какого-то безлюдного островка, где их никто не видел и не слышал. Она начала со слов из ТО, перечислила 12 скаутских законов и спела «Будь готов» – песню, которая в Советской России не считалась скаутским гимном. Девушка объяснила юноше, почему скаутизм для коммунистов неприемлем. Юра продолжил задавать вопросы, и девушка напела ему еще одну песню, которая начиналась словами:

Нас десять, вы слышите, десять,
А старшему нет двадцати.
Конечно, нас можно повесить,
Но раньше нас надо найти...

Вдохновленный разговором, Юра решил стать членом скаутского братства. Возможно, что в этой скаутской группе было не десять человек, а немного больше; возможно, что многие были арестованы, – по понятным причинам, никто на допросах слов этой песни следователям не напевал. И песня исчезла из памяти – как исчезли в концлагерях певшие ее.

Окончив в страшном 1937 году университет, Юра поступил в аспирантуру, преподавал химию в одном из институтов... Немецкая оккупация застала его в Киеве, откуда Юра с женой и родителями в 1943-м ушел на Запад. Получив приют в польском Ди-Пи лагере, он избежал насильственной выдачи в СССР. И всё это время он искал связь с русскими скаутами. В 1949 году, на одном из съездов YMCA, он подошел ко мне. От него я и узнал слова той песни. Кроме него, вероятно, никто уже не помнил ее. Но она послужила своеобразным

доказательством существования подпольного движения скаутов в СССР.

В 1951 году Юра прибыл с семьей в США. Он стал преподавателем химии в одном из американских колледжей, имел одиннадцать научных трудов. До самой смерти он принимал участие в русском скаутском движении в США, был членом нью-йоркской дружины ОРЮР в «Новом Павловске». Сегодня его уже нет среди нас. Вечная ему память.

Но история имела неожиданное продолжение. В журнале «Скаут-разведчик» (№ 9, апрель) еще в 1956 году была напечатана моя статья со словами песни «Нас десять...». Удивительно, но спустя почти сорок лет песня опять напомнила о себе. В 1994 году был опубликован фантастический роман одного из братьев Стругацких – Бориса Стругацкого, напечатанный под псевдонимом С. Витицкий, – «Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики». В этом «сольном» произведении писателя упоминается песня «Нас десять, вы слышите, десять!» Стругацкий писал, что слышал, как эту песню «пели в 50-х годах, слышал и запомнил. Смелая скаутская песня не умерла». Как не умерло и возродилось в России 1990-х Движение русских скаутов-разведчиков, которое продолжается и по сей день и в США, и в России.

Нью-Йорк

БИБЛИОГРАФИЯ

М. Л. Уральский, Г. Мондри. *Достоевский и евреи* / Предисл. С. Алоэ, Л. Сальман // СПб.: Алетейя, 2021. – 888 с.: ил.

Тема «Достоевский и евреи» была предметом широкой дискуссии еще при жизни писателя. В последние десятилетия XX в. вновь отмечался повышенный интерес к ней научного сообщества, во многом инициированный книгой Дэвида Гольдштейна, называвшейся так же, как и рецензируемая нами книга, *Достоевский и евреи* (*Dostoïevski et les Juifs*. – Paris, 1976; в английском переводе *Dostoyevsky and the Jews*. – Austin, 1981). В ней автором анализируются как художественные, так и публицистические тексты русского писателя, касающиеся еврейской тематики. Пафос книги выраженно обличительный: Достоевский безоговорочно обвиняется автором в антисемитизме. Поскольку книга Гольдштейна с документальной точки зрения является очень информативной, уже только по этой причине она вызывает у читателя особый интерес. Однако аналитические выводы автора, касающиеся личности Достоевского в свете его отношения к евреям, заслуживают упрека в тенденциозности. В своих обвинениях Гольдштейн часто предвзят, поскольку в оценке тех или иных высказываний Достоевского о евреях и еврействе игнорирует их исторический и биографический контекст. Он также уделяет слишком мало внимания всестороннему анализу мировоззренческих идей писателя и художественным аспектам его произведений. В результате всего этого многие исследователи творчества Достоевского после знакомства с книгой Гольдштейна не только не посчитали поднятую им тему исчерпанной, но и были мотивированы обратиться к исследованию этих аспектов лично, чтобы прояснить их с большей научной объективностью, а то и с новых позиций.

Безусловно, самой исчерпывающей из таких работ является впечатляющая по своему объему и охвату материала рецензируемая книга Марка Уральского и профессора Генриетты Мондри. Авторы подходят с различных творческих позиций к обоюдному сотрудничеству: Уральский – писатель-документалист, Мондри – ученый-славист. Однако они оба хорошо знакомы с проблематикой русско-еврейских культурных связей. Среди работ Мондри, релевантных этой теме, книги «Розанов и евреи» (СПб., 2000), «Образы телесности: представление еврея в русской культуре с 1880-х годов» (*Exemplary Bodies: Constructing the Jew in Russian Culture, Since the 1880s*. – Boston, 2009) и «Олицетворенные отличия: телесность и материальность еврея в русской литературе и культуре» (*Embodied Differences: The Jew's Body and Materiality in Russian Literature and Culture*. – Boston, 2021). Со своей стороны, Уральский начиная с 2018 года опубликовал четыре книги из разряда нон-фикшн о русских писателях-классиках – Лев Толстой, Чехов, Горький и Бунин – и евреях, а также биографическое исследование о Марке Алданове (Ландау) – видном русском писателе и

публицисте эмиграции еврейского происхождения: «Марк Алданов, писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции» (СПб, 2019). Во всех этих книгах Уральский с привлечением большого числа документальных источников описывает исторический контекст, в котором жили и работали писатели, анализирует их публицистические тексты, особенности мировоззрения, а также воспоминания современников, касающиеся их дружеских связей с евреями. Аналогичный подход применяет он и в рецензируемой нами книге, восемь из одиннадцати глав которой (т. е. примерно 700 страниц из 800 основного текста) написано им самим.

В свою очередь, Генриетта Мондри свое внимание концентрирует на еврейских персонажах и реминисценциях, аллюзиях и прямых отсылках к еврейской проблематике в романах Достоевского. Ее подход суть герменевтический анализ художественных текстов писателя, в котором она органично и ненавязчиво развивает известные концептуальные представления о *полифонии* (М. Бахтин) и *семантической многоуровневости* его беллетристики.

Предисловие в книге М. Уральского и Г. Мондри написано двумя известными итальянскими учеными-славистами, Стефано Алоэ и Лаурой Салмон. В дополнение к общему обзору материала книги и оценки ее значимости они привносят информацию, которая, несомненно, будет для большинства читателей совершенно новой – в частности, сведения о рецепции творчества Достоевского идеологами итальянского фашизма.

За основным текстом книги следуют обширная библиография (почти 40 страниц!) и большой именной указатель, включающий в себя даты жизни и короткие биографические сведения обо всех упомянутых в ней персоналиях.

Первые пять глав книги создают необходимый фон для детального обзора высказываний и идейных представлений Достоевского о евреях, который проводится далее, в последующих главах (с VI по VIII). В главах I–V основное внимание уделено личности Достоевского, его общественной репутации, той интеллектуальной среде, в которой формировалось его мировоззрение, а также положению евреев в Российской империи в годы правления императоров Николая I и Александра II «Освободителя».

Глава I «Парадоксы и антимонии Федора Достоевского» ставит своей целью ознакомить читателя с особенностями личности писателя. В ней, как свидетельствует заглавие, акцент делается на различного рода противоречиях и странностях, имевших место в его поступках и образе мыслей. Как основной «парадокс», Марк Уральский, при явном согласии на то своего соавтора Генриетты Мондри, классифицирует то обстоятельство, что, несмотря на страстные призывы Достоевского к братской любви и его преклонение пред личностью Христа, он был типичным *ксенофобом*. Это качество его личности, как свидетельствуют документы – в частности, эпистолярный писателя, – проявлялось не только в приватной сфере, но и на

общественно-публичной сцене. Не случайно Достоевский, единственный из всех русских писателей-классиков XIX века, имел у современников устойчивую репутацию антисемита и полонофоба.

Глава II посвящена детальному обзору восприятия Достоевского писателя его современниками и ближайшими потомками. В ней обращают на себя внимание страницы, касающиеся высказываний писателя-историко-софа Марка Алданова, автора емкого определения Достоевского как «черного бриллианта русской литературы». Точка зрения этого авторитетного в середине XX в. критика и мыслителя Русского Зарубежья заслуживает, по нашему мнению, самого пристального внимания.

В главе III освещается тема «Российские евреи в середине XIX столетия», причем делается это с особым акцентом на пореформенную эпоху и те изменения, что произошли тогда в еврейской среде. Отдельным предметом внимания в этой главе является также фактор роста антисемитизма, как в России, так и в Европе. Отмечается, что антиеврейские настроения формировались параллельно с усилением процесса эмансипации европейских евреев и включения их в общественную и экономическую жизнь своих стран.

В главе IV речь идет о формировании политических и социальных взглядов Достоевского, а также о его вкладе в общественно-политический дискурс пореформенной эпохи. После краткого описания роста славянофильского движения большая часть этой главы посвящена полемике вокруг знаменитой Пушкинской речи в 1880 году. Приводимые сведения о критических напаках либеральных демократов на ура-патриотические идеи, заявленные Достоевским, и о характере его высказываний в защиту своих взглядов, позволяют читателю уяснить мировоззренческое позиционирование писателя на поле идеологических баталий того времени.

Глава V начинается с анализа «почвенничества» – интеллектуального движения представителей русского национализма, с которым ассоциируется имя Достоевского. В глазах современников оно представляло собой некую разновидность славянофильства. Как будет показано в последующих главах, одним из важнейших аспектов понятия «почвенности» является фактор предпочтительного выделения русского народа и православия по отношению к другим народам и религиям. В конце этой главы особое внимание фокусируется на Германии и Австро-Венгрии, где в то же самое время шли однотипные по характеру процессы этнического обособления, самовозвеличивания и национального экспансионизма («пангерманизм»). Их экстремальное развитие в XX в. породило такое чудовищное явление, как идеология германского национал-социализма. Хотя, как неоднократно подчеркивают Уральский и Мондри, Достоевский лично не имеет ни малейшего отношения к случившемуся, особый интерес и почитание его имени со стороны нацистских вождей делает необходимым постановку специальной исследовательской темы «Достоевский и тоталитаризм».

В главе VI, которая начинается с анализа антисемитских постулатов лидеров славянофильского движения в общественном дискурсе о «еврейском вопросе» 1860-х годов, предметно раскрывается осевая линия книги. Здесь обсуждаются высказывания Достоевского о евреях в его личных текстах, в том числе письмах, где звучит не просто болезненная нота озлобленности на всех и вся, но и идея о евреях как врагах всего человечества.

В главе VII анализируются тексты Достоевского в «Дневнике писателя», отзывы на них читателей и последующие ответы Достоевского. Ситуация здесь более сложная, чем в предыдущей главе, поскольку здесь – в публичной сфере – сам Достоевский декларативно отвергает обвинения в свой адрес, касающиеся его ненависти к евреям. В этой части книги Уральский обсуждает три основные критические идеи: современники Достоевского однозначно воспринимали его произведения как нападки против евреев; личное знакомство Достоевского с евреями по жизни было минимальным; у Достоевского не было знаний об иудаизме, почерпнутых из авторитетных источников, и его мнения о еврейской религии в целом основывались на тенденциозно искаженной информации, предоставляемой различного рода антисемитскими изданиями.

В главе VIII исследуются высказывания Достоевского о евреях и иудаизме, критически осмысленные после его смерти русскими философами – Бердяевым, Шестовым, Мережковским, Штейнбергом и др., историками литературы – Аркадием Горнфельдом, Леонидом Гроссманом, Михаилом Бахтиным, а также современными российскими и западными учеными. Диапазон анализируемых мнений в этой главе широк, начиная с прямых осуждений Достоевского и кончая мнениями, в которых основное внимание предлагается обращать на историческое прочтение контекста, его антиномические противоречия и многоуровневость мышления писателя.

В этих последних трех главах методология Марка Уральского очень плодотворна, ибо представляет читателю огромный источник информации, содержащий практически весь корпус работ ведущих ученых и мыслителей по теме «Достоевский и евреи». Безусловно, как составитель и комментатор, Уральский играет определяющую роль в представлении материала и балансировке различных мнений. И хотя он всячески пытается избегать одностороннего подхода в окончательных формулировках, озвучивание им фактов преклонения нацистов и близких им по духу мыслителей перед гением Достоевского в совокупности с собственными юдофобскими высказываниями писателя, несомненно, формирует у читателя книги непривлекательный образ личности Федора Достоевского. Впрочем, и сам великий русский писатель отмечал в «Бесах», «что самые высокие художественные таланты могут быть ужаснейшими мерзавцами и что одно другому не мешает».

Хотя как рецензент я восхищен той огромной работой, что проделал Марк Уральский в своей части книги, — всем тем, что ему удалось найти, собрать, объединить и представить читателю в одном тщательно обдуманном и всесторонне сбалансированном исследовании, мне представляется важным отметить и присущие его тексту недостатки. Пять глав, где тема, обозначенная в заглавии книги, затронута лишь косвенно, занимают в ней более половины суммарного объема текста. Можно полагать, что специалисты, интересующиеся лишь материалом, относящимся к заявленной авторами теме, скорее всего, пролистают эти главы, которые, на мой взгляд, стоило бы сделать короче. С другой стороны, Уральский относит данную книгу к разряду научно-популярных изданий и этим оправдывает присущие ей в избытке пространные отступления.

Количество опечаток в тексте невелико, особенно учитывая размер исследования, но некоторые из них стоит отметить. На стр. 73 Уральский пишет: «...трагическая смерть отца имела место не в детстве писателя, а в зрелом возрасте, когда ему было 28 лет». Однако Достоевский родился в 1821 г., а его отец был убит в 1839 г., когда Федору было около восемнадцати лет. Далее. Закон, гарантирующий французским евреям официальное равенство в гражданских правах был принят в 1891-м, а не сразу же после Французской революции — в 1791-м (С. 283). Мёллер ванн ден Брук (Moeller van den Bruck) издал и написал вступление к переводам работ Достоевского на немецкий язык, но он не «перевел их» (С. 442). Хотя некоторые источники свидетельствуют, что он был переводчиком, в действительности перевод был сделан Элисабет Каеррик (Elisabeth Caerrick), писавшей под псевдонимом «Е. К. Rahsin». И последнее, — момент *pro domo sua*, касающийся сноски на с. 676. Дэвид Гольдштейн закончил колледж Дартмаут за несколько десятилетий до того, как я начал там преподавать, и после его смерти я был задействован в переписке, которая привела к передаче части его личной библиотеки в это учебное заведение. Однако я не знал его лично.

В части книги, написанной Генриеттой Мондри (главы IX–XI), исследование той роли, которую играют различные персонажи в беллетристике Достоевского, проведено всесторонне и исключительно тщательно. Даже в тех случаях, когда осведомленный читатель знаком с литературой на эту тему, многие из высказанных ею положений, несомненно, окажутся для него новыми. Так, обсуждая в последней главе один из самых болезненных у Достоевского в этическом плане, а потому постоянно анализируемых исследователями, эпизодов из романа «Братья Карамазовы», где Лиза Хохлакова спрашивает Алешу, правда ли, что евреи воруют детей на Пасху и убивают их (ради крови), на что Алеша просто отвечает: «Я не знаю», Мондри, хорошо осведомленная о полярных точках зрения на сей счет, комментирует этот эпизод в широком контексте всех факторов, определяв-

ших отношение Достоевского к кровавому навету, показывая одновременно, как «неопределенный и даже беспомощный ответ: ‘Не знаю’» соотносится с близкими темами в романе. По мнению Мондри, «Эта неопределенность находится в прямой оппозиции по отношению к реакции Алеши на историю о крестьянском мальчишке, на которого натравил стаю борзых русский генерал. Напомним, что в ответ на провокационный вопрос брата Ивана, надо ли расстрелять генерала в наказание, Алеша дал однозначный ответ: ‘Расстрелять!’ <...> Исторический экскурс в Кутаисское дело объясняет то, что Достоевский ввел тему кровавого навета в роман, писавшийся во время судебного процесса, но никак не помогает объяснить решение вложить в уста Алеши такой охранительный ответ: ‘Не знаю’».

Рассматривая еще один знаковый персонаж, Исаю Фомича Бумштейна из «Записок из Мертвого дома», Мондри, как и другие комментаторы, отмечает, что несмотря на все стереотипные черты, которыми он наделен, и с учетом комичности самой ситуации изображения этого образа, Исай Фомич нарисован как *симпатичная фигура*. Все ее замечания об Исае Фомиче отличаются тщательностью анализа отдельных аспектов представления Достоевским этого персонажа. В частности, Мондри, скрупулезно исследуя источники, послужившие Достоевскому базой для создания образа, и все стереотипы характеристики еврея, собранные воедино в Бумштейне – а их множество, – приходит к выводу, что Исай Фомич представлен как «карикатура на карикатурные изображения еврея» (Сс. 717, 727). Посредством образа Исаия Фомича, утверждает она, Достоевский выражает живой интерес к еврейской религии, хотя описания молитвы содержат, конечно же, фактические ошибки (возможно, из-за пробелов в памяти или отсутствия непосредственного знания еврейских ритуалов). Примечательно, что для подкрепления своего утверждения Мондри цитирует интересный и малоизвестный на Западе источник – раннюю и незавершенную статью знаменитого советского психолога Льва Выготского «Евреи и еврейский вопрос в произведениях Ф. М. Достоевского».

Особый интерес в части книги, написанной Генриеттой Мондри, представляет глава X, где она предлагает оригинальные интерпретации других персонажей в художественных произведениях Достоевского. Некоторые из этих образов в романах писателя появляются только временно – как, например, еврей-пожарник, ставший свидетелем самоубийства Свидригайлова в «Преступлении и наказании». Этот маргинальный персонаж давно вызывал интерес со стороны ученых, которые были заинтригованы и столь странной фигурой в шлеме Ахиллеса, и самим фактом того, что Достоевский выбрал еврея собеседником Свидригайлова в решающий момент его жизни. В своем анализе Мондри подчеркивает, что *фантомное* появление пожарника – это явление акцентировано в самом названии главы: «Фантомы и конспираторы: От Вечного Жида в

‘Преступления и наказаний’ до шута-революционера в ‘Бесах’» – выполняет двойную роль. С одной стороны, он, судя по его попытке отговорить Свидригайлова от самоубийства, выступает как «добрый ангел», с другой – несет функцию чего-то *потустороннего* в изображении атмосферы Петербурга, в которой призрачное символически сливается с реальностью. Мондри постулирует, что еврей-пожарник представляет две интересные Достоевского темы: одна – этническая: присутствие евреев как древнего народа в российском социуме; другая – религиозная, относящаяся к идее бессмертия души, которую разделяет как христианство, так и иудаизм. В последней части этой главы она рассматривает еще один персонаж – еврея, который был детально разработан Достоевским в «Бесах», – «жидок Лямшин (маленький почтамтский чиновник), мастер на фортепиано». Схожесть образов Бумштейна и Лямшина, состоящая в их комедийности, давно показана в научной литературе. Однако Мондри находит некоторые дополнительные параллели и, одновременно, исследует отличия между ними. Они касаются не только отсутствия внешних еврейских характеристик черт у Лямшина, который упомянут как еврей только дважды в начале романа и не наделен такими стереотипными характеристиками, как Исай Фомич Бумштейн. «Его образ, – по ее утверждению, – вписывается в общий гротескно-водевильный тон нарратива, где все персонажи, связанные с политической линией сюжета, так называемые ‘наши’, подаются, по меткому определению Мочульского, как ‘театр трагических и трагикомических масок’». Мондри предлагает весьма оригинальную трактовку образа Лямшина, в которой его постоянное шутовское актерство «выражается в сакральной тематике». Она показывает, что «Актерские представления Лямшина хрестоматийно соответствуют карнавалному поведению: здесь есть тема человека, меняющего облик на животного, что есть вызов традиции установленных церковью иерархий. В его репертуаре присутствует момент профанации акта появления человека на свет. Лямшин также профанирует Пятикнижие, поскольку во Второзаконии 22:5 строго оговаривается, что мужчины и женщины не должны обмениваться ролями и ‘переодеванием’. Лямшин также профанирует иудейские законы о чистых и нечистых животных в своем акте представления свиньей. Все эти темы свидетельствуют о том, что Достоевский придавал образу Лямшина большое значение. Заметим, что Лямшин святотатствует по отношению не только к христианским, но и иудейским религиозным ценностям и правилам. Этот момент исключительно важен для темы ‘Достоевский и еврейство’, поскольку он подает Лямшина как еврея, который профанирует традиции иудаизма». По мнению Мондри, более всего поражает в образе Лямшина то, что его поступки в конце романа можно рассматривать как *положительные*, ибо они не столько иллюстрируют его как «мелкого беса», труса и предателя, сколько свидетельствуют о моральном пробуждении, освобождении

«блудного сына» от бесовского наваждения. Несомненно, не все согласятся со сложной герменевтической аргументацией Мондри, но даже в этом случае ее выводы заставят исследователей по-новому взглянуть на Лямшина, ибо Мондри убедительна именно в том своем утверждении, что Лямшин персонаж *не безнадежно* отрицательный, а потому он отнюдь не «относится ко второму плану разных ‘мелких бесов’, среди которых есть и другие инородцы, в частности, немцы, а заслуживает более значительное внимание».

Последние главы книги, принадлежащие перу Генриетты Мондри, включают в себя продуманный и во многом провокативный анализ немногочисленных еврейских образов в беллетристике Достоевского. Достоевский создал только два значительных еврейских персонажа, и хотя, как показывает Мондри, изначально они представлены негативно, в их изображении есть амбивалентность. Так, например, повествователь в «Записках из Мертвого дома» декларирует свою симпатию по отношению к трагикомичному еврею Исаю Фомичу. Примечательно, что свои художественные произведения «патентованный юдофоб» Достоевский отнюдь не насыщает антисемитскими стереотипами – в отличие, например, от его английского современника Антони Троллопа, принадлежащего к числу «великих викторианских писателей». В таких его романах, как «Бриллианты Юстуса» (*The Eustace Diamonds*), «Премьер Министр» (*The Prime Minister*) и «Как мы живем сейчас» (*The Way We Live Now*), написанных в 1870-х годах, клишированные еврейские персонажи встречаются сплошь да рядом. Отметим также, что ни один из еврейских персонажей Достоевского не отвратителен так, как «веселый старый джентльмен» Феджин в романе Диккенса «Оливер Твист» (в одном из последних публичных чтений в 1869 году, за год до своей смерти, писатель «очистил» образ Феджина от всех стереотипных карикатурных черт).

Можно полагать, что если бы не публицистика и эпистолярный Достоевского, то изображение им еврейских персонажей навряд ли породило бы нечто большее, чем несколько сугубо научных статей, как это имеет место в случае Диккенса и Троллопа, – т. е. вряд ли было бы кем-то замечено как нечто «значимое».

Однако и статьи, и письма Достоевского существуют, и они, к сожалению, свидетельствуют о ксенофобии писателя, несмотря на его возражения, что он «вовсе не враг евреев и никогда им не был», или патетическое утверждение: «когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда», и отговорки: «слово ‘жид’, сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: ‘жид, жидовщина, жидовское царство’ и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с нею, но не обижаться словом» (sic!).

Мы, естественно, склонны относиться к выдающимся художникам как к «великим людям», но именно в этом качестве «идолов» они часто нас разочаровывают. Во второй половине XIX в., как и в последующем столетии, можно найти антисемитские высказывания у самых талантливых и, казалось бы, добродетельных представителей духовной элиты. Тем не менее, мы приходим на представления опер Вагнера, посещаем музеи для осмотра картин Дега и читаем романы Бальзака, Гоголя, Гюго, Диккенса, Тrolлопа, Достоевского, Джека Лондона и иже с ними. Мы признаем заблуждения гения, отрицаем презумпцию его непогрешимости и преклоняемся перед его талантом. В то же время, что особо примечательно в случае Достоевского, сам контраст между низостью помыслов личности и художественным даром гения является тем экзистенциальным парадоксом, который, безусловно, будет всегда поводом для рефлексии, анализа и публичного дискурса. Касается это и тематики рецензируемой нами книги Марка Уральского и Генриетты Мондри, которая на данный момент времени представляется нам всеисчерпывающим исследованием.

Bappu Shepp,
Professor Emeritus of Dartmouth College

Ольга Андреева-Карлайл. Остров на всю жизнь. Воспоминания детства. Олерон во время нацистской оккупации / пер. Л. Е. Шендеровой-Фок // Москва: Изд-во АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2021 – 281 с. +илл. Olga Andreyev Carlisle. Island in Time. A Memoir of Childhood. Daily Life During the Nazi Occupation. – 1980.

Нас познакомила Алла Александровна Андреева, вдова философа-мистика, писателя Даниила Андреева. Моя добрая соседка и самый близкий старший друг в далекие годы моей юности. В те давние, серые брежневские времена квартира Аллы Александровны была фокусом света и духовности. Это у нее я встретила Льва Николаевича Гумилева и подружилась с Николаем Николаевичем Брауном – такими же сидельцами, как и Алла Александровна; здесь я приобщилась к кругу религиозных диссидентов и узнала о Катакомбной Церкви... Из ее рук я читала оригиналы текстов Даниила Андреева и погружалась в мир его визионерства. Благодаря Алле Александровне практически полный корпус текстов философа-писателя был сохранен и, позднее, опубликован. Она выполнила свою миссию – и ушла в мир иной. Мне грустно и тепло ее вспоминать.

В тот день она позвонила и пригласила на «смотрины» американской племянницы, прилетевшей из Штатов. И тут же рассказала историю, как спасла семью старшего брата Даниила – Вадима Андреева. После войны много пережившая семья Андреевых – эмигрантов первой волны – поддавалась общему порыву «возвращения на родину». История возвращенцев –

как и насильственной репатриации в СССР – полна боли и крови; практически весь этот поток репатриантов погиб в лагерях ГУЛАга, обманутый очередной раз советской властью. Рок толкал к фатальному решению и Андреевых; унаследованные семейные социалистические умозрения, помноженные на эйфорию от реальной победы СССР в войне, оказались плодотворной почвой для утопической надежды на то, что коммунистическая диктатура обретет «человеческое лицо».

Словом, Андреевы написали Даниилу и Алле, в канун их ареста и 25-летнего срока (десять лет из него были реально отсижены): в апреле 1947-го Даниила арестовали по доносу его товарища за роман «Странники ночи», через два дня арестовали и его жену; они оба получили по 25 лет – невероятной «удачей» стало то, что именно в этот период на полгода смертная казнь была отменена, – «проскочили». Так о письме из Франции... Андреевы писали: хотим вернуться на возродившуюся родину... Алла Александровна рассказывала, как лихорадочно пыталась найти путь остановить безумцев: написать в Париж правду о сталинской России было невозможно – но формулировка придумалась. Было отправлено письмо, в котором говорилось, как будут они с Даниилом безмерно рады встретиться с семьей Вадима, но... но считают, что разумнее дожидаться, пока Оля не окончит университет. Дочь Вадима – Ольга – еще училась в школе. И Андреевы остались во Франции, правильно истолковав совет московских родственников. И остались в живых.

Этот эпизод приводится в книге, он логично завершает историю о военных годах, пережитых семьей, об оккупации Франции и – «российскую» тему мемуаров.

Ольга Андреева-Карлайл – журналист и переводчик, внучка писателя Леонида Андреева, дочь его старшего сына Вадима Андреева, эмигранта первой волны, человека неординарного. В свое время Вадим Андреев смог тайно вывезти рукопись романа Александра Солженицына «В круге первом», позднее его сын Александр так же вывез роман «Архипелаг ГУЛАГ» (спрятал микрофильм в ящике с переводческой аппаратурой). Позже Ольга Андреева-Карлайл вместе с мужем перевели «В круге первом» и организовали его публикацию на английском языке, они же перевели и «Сестра моя – жизнь» Бориса Пастернака, стихи Осипа Мандельштама...

Эта книга Ольги Карлайл – о ее жизни на острове Олерон во время нацистской оккупации. 1 сентября 1939 года девятилетняя Оля с матерью и маленьким братом приезжает отдохнуть на остров Олерон. В деревне Сен-Дени Андреевы проведут пять военных лет. Оригинальный текст мемуаров «Остров на всю жизнь» был написан Ольгой Карлайл по-английски и издан еще в 1980 году в США, куда Карлайлы переехали из Франции; в 2005 книгу перевели на французский, затем переиздали в 2015 – и вот лишь спустя сорок лет история Андреевой-Карлайл дошла и до рос-

сийского читателя. Хотя, признаемся, эти воспоминания о детстве, о военных годах, проведенных на оккупированном нацистами французском острове, – прежде всего «русский нарратив», это воспоминания глубоко русской девочки-эмигрантки из русской по менталитету и по культуре семьи.

«Мы были иностранцами, и в детстве я довольно часто ощущала себя в изоляции, – пишет Карлайл. – Общались только с русскими, говорили только по-русски... В конце тридцатых здесь (В Плесси-Робинзон, в предместье Парижа. – М. А.) обосновалась колония русских эмигрантов – интеллектуалов и художников, дополнивших пеструю мозаику из беженцев разных национальностей, в большинстве своем антифашистов. <...> События лета 1939 года (Подписание Пакта Молотова-Риббентропа. – М.А.) еще больше отдалили нас от живущих вокруг французов. Мои родители были потрясены, узнав, что Советский Союз подписал с немцами вероломный и повергший всех в немое изумление договор о ненападении. Уже в который раз Россия была опозорена». Но семья Черновых–Андреевых – не просто семья эмигрантов первой волны; каждый из членов этой фамилии – отдельная страница в истории революционной России. «Круг наших друзей состоял в основном из социалистов самых разных убеждений. Некоторые принадлежали к меньшевикам, они оставались марксистами», – пишет Карлайл. Ольга Колбасина-Чернова, бабушка автора мемуаров, несколько лет в детстве прожила на юге Франции – семья эмигрировала из Российской империи, избегая ареста; ее брат, Василий Иванович Сухомлин (1860–1938), народоволец, провел на каторге 15 лет (в 1937-м он будет репрессирован и умрет в тюрьме); бойкая «бабушка» в молодости прошла тюрьмы и революционное подполье; отчим матери Ольги Карлайл, эсер Виктор Чернов, был членом Временного правительства и вынужден был эмигрировать из-за гонений партии большевиков, начатом в 1918-м еще Лениным. Но и в эмиграции семья играла не последнюю роль – и во Франции, и, позднее, в США. «В те времена Чернушки (Черновы. – М. А.) жили в Кламаре, около Парижа, и по воскресеньям принимали многочисленных друзей: прозаиков Ремизова и Замятина, поэтов Поплавского, Божнева и Гингера, художников Ларионова, Гончарову, Экстер и Фалька... В тридцатые годы бабушка писала для антифашистских газет. Ей удалось сохранить и идеалистические представления, и дерзость мысли, и свойственную социалистам-революционерам неагрессивность. Она вступила во французскую социалистическую партию...», – вспоминает Карлайл. Известна и история «опекунства» Колбасиной-Черновой Марины Цветаевой, только что приехавшей в Париж, – надо признать благороднейшую роль «бабушки» и ту заботу, которой она окружила поэта и ее семью. Если бы не сложный, конфликтный характер Марины Ивановны, их дружба сохранилась бы и, как знать, судьба Цветаевой-Эфронов сложилась бы иначе. «Ольга Колбасина-Чернова, настоящий цветок культуры

толерантности и открытости, была абсолютно убеждена, что жизнь прекрасна, и ради того, чтобы она такой оставалась, и стоит жить.» Эта черта ее характера передалась внучке.

Но... жизнь эмигранта открыта всем ветрам и невзгодам, имена их легко превращаются в пыль истории, что оседает на высушенной земле забвения. Эту шаткость жизни апатрида вполне испытала на себе и семья Андреевых. Мало кто помнит (а Ольга Карлайл не упоминает об этом раннем эпизоде – слишком мала была), что даже далекий от жизни Франции Пакт Молотова-Риббентропа прямым образом повлиял на жизнь русских во Франции. С началом Второй мировой войны они – антисоветчики, подданные несуществующей Российской империи – парадоксальным образом превратились во врагов Французской республики – ведь между Германией и СССР лежал подписанный договор о дружбе и сотрудничестве... И многие русские эмигранты были арестованы с семьями и попали во французские лагеря как «враги народа» (аналогичными историями полон XX век, скажем, арест во время войны и депортация в лагеря всех американских японцев). Арестовывают и отца Ольги Карлайл – правда, уже с началом войны Германии против СССР: «Всех мужчин русского происхождения отвезли на континент, в Руайян, чтобы выяснить, нет ли у них возможных связей с СССР»... Словом, куда бы история ни повернула – на крутом повороте она сбивает эмигранта.

Может быть поэтому несколько военных лет, проведенных девятилетней девочкой Олей в патриархальной, средневековой французской провинции, не затронутой суетой XX века, контрастным фоном навсегда отложились в ее сознании. «Бескрайняя ширь, за ней, далеко – Северная Америка, а здесь всё так же искрится нетронутый песок, настолько спрессованный приливами, что шаги не оставляют на нем следов. На влажной глади песка – следы ручейков, текущих в море, и голубоватые отблески неба. Бледное зеркало неба над океаном, гряда белой пены нарастает на горизонте. Воздух пропитан гулом прибоя, глухим и размеренным. Глядя на океан, я на краткий миг готова поверить в обманчивую неподвижность прилива.» Пожалуй, это был первый для Ольги опыт жизни среди «настоящих» французов – в среде патриархальной, консервативной, крайне религиозной, в мире «темных уголков и тайных проходов»... «Дом Шарль», «Дом Массон» и «Дом Ардебер» – «будто вышли из рассказов Эдгара По»; «В Аквитании не было войны с XVII века»... И потому война поначалу тоже представляется «чем-то вроде бескрайнего, но спокойного моря. Как будто штиль застиг нас посреди коварного океана, который может поглотить в любую минуту». Детский мир вообще предельно подробен и вещественен, здесь правит «Бог детали»; здесь «мерзлые устрицы» так же важны, как предательство Клары, пошедшей на службу к немцам... В этом автор предельно честен и художественен. Воспоминания, написанные опытным про-

заиком, много испытавшей женщиной, рисуют чистый образ маленькой героини: наивной, отчаянной – подлинной. В этом – большое искусство рассказчика. «Ужасные поражения, носящие имя былых французских побед – Марна, Амьен, Верден, – вот чем была отмечена эта весна. Со своего наблюдательного поста на юкке я увидела полковника Мерля, коренного олеронца, – он переходил улицу, утирая слезы. Это было в тот день, когда объявили об эвакуации Дюнкерка. У полковника было суровое лицо старого вояки и решительная походка... видеть его плачущим было страшно.»

Война нарушает этот устойчивый средневековый уклад Олерона, но не разрушает его вытесанный за столетия мир: Олерон видел и помнит смерть и страдания и умеет им противостоять. Об этом рассказ русской эмигрантки – о непоколебимости и духовной красоте старой, подлинной Франции. Но это еще и рассказ о неизвестной странице русской истории – пусть и во Франции; об участии русских эмигрантов в Сопротивлении; об участии советских военнопленных и о трагедии «возвращенцев» послевоенных лет.

Важным для Олерона событием стала знаменитая речь генерала де Голля, которую он произнес 18 июня 1940 года в Лондоне. Эта речь стала началом сопротивления и – в конечном итоге – освобождения Франции. Самоотверженность поступка де Голля подчеркивается в рассказе крайне деликатно, даже с иронией: «Мадемуазель Шарль узнала, что этот *безвестный генерал* (Выд. мной. – М. А.), совсем недавно получивший это звание... собирается обратиться к французскому народу. Может быть, он скажет что-то, что поможет нам заглянуть в будущее?» – Не известный средневековой Франции, слишком молодой для ее памяти генерал берет на себя ответственность за страну и народ: «Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно потухнуть и не потухнет...» – и древний, вечный Олерон присоединяется к дерзкому его призыву; в нем он слышит знакомое бряцание своих рыцарских доспехов... Естественно, что и семья старых русских революционеров готова присоединиться к борьбе.

Из глубин детской памяти всплывают события... О них рассказывается остраненно – ведь ребенок не принимает в них личного участия, он – наблюдатель, который лишь чувствует напряжение момента, но не испытывает его кожей. Отсюда и несколько ностальгически-плавный ритм всего повествования – вопреки тому, о чем рассказывается, – и в том подлинность интонации. «Я помню, как мы слышали по радио о казни двадцати семи заложников в Шатобриане в ответ на убийство двух немецких офицеров»; «...среди этих беженцев был двенадцатилетний Андре Шварц-Барт и его семья, которых потом отправят в лагерь смерти. Андре удастся бежать и вступить в ряды Сопротивления. Позже он напишет роман ‘Последний из праведников’ и получит за него в 1959 году Гонкуровскую премию» – именно так: спокойно и ясно, по-олеронски, передает Карлайл

трагедию Андре Барта, известного французского писателя еврейского происхождения, автора знаменитого романа, – трагедию Холокоста. Девятилетняя девочка еще не знает, что ждет этих собранных на старой площади людей... она вообще не знает, что такое смерть, лишь по-школьному перечисляет детали дня; так же четко она уточняет неизвестный эпизод из жизни одного из ярчайших представителей интеллектуальной элиты русской эмиграции – философа Георгия Петровича Федотова (1886–1951): «Федотовы были знакомы с нашей семьей раньше. Георгий Петрович был видным теологом, я тогда не знала, что это такое, и представляла себе кого-то вроде священника»; «Как и Федотовы, все наши гости тоже были эмигрантами, бегущими от немцев. Они надеялись добраться до юга страны, до Марселя или Бордо, и сесть на пароход в Америку. У кого-то уже была виза, другие ее ждали... Приехав на Олерон, двигаться дальше они не могли. В этой части Франции никакой транспорт не ходил уже несколько недель.» И – вот она, проясненная четкая деталь, характеризующая Федотова: «Отец считал, что разрыв между Гитлером и Сталиным – только вопрос времени. Георгий Петрович был с ним не согласен. По его мнению, оба диктатора были воплощениями Антихриста и дьявольский союз они заключили надолго». Эту мысль мы сможем потом встретить и на страницах «Нового Журнала» в статьях Федотова.

Имена мелькают, и за каждым из них – страница русской и европейской истории: Клара «была протеже семьи Модильяни, влиятельного итальянского клана социалистов, с которым бабушка была знакома еще до революции 1917 года»; «Дом Сосинских стал главным центром сети ‘Арманьяк’ на острове. Расположенная неподалеку винокурня, где немецкие солдаты покупали коньяк, стала прекрасным прикрытием для частых визитов русских в немецкой форме или местных жителей, симпатизировавших Сопrotивлению.» Но особую память оставят встречи с русскими военнопленными. «Русские, с которыми я познакомилась на Олероне, впервые в жизни помогли мне понять, кто я. Я почувствовала какую-то внутреннюю силу, которая позволит мне пережить этот год, а затем и все последующие. Кажется, с раннего детства и вплоть до того момента я всеми силами пыталась продемонстрировать чужим, кто я есть, боясь остаться в их памяти какой-то неопределенной, странной девочкой без родины... Но русские с Олерона... считали меня своей, хотя я и говорила по-русски с легким акцентом.» Впервые безумные рассказы бабушки и фантомы ностальгирующего русского круга общения родителей обретают для девочки-подростка вполне реальные черты и портретное сходство. Миша Дудин, Лева, Иван Петрович – имена в книге были изменены автором в первом, американском, издании: Карлайл, бывавшая в Советском Союзе и активно связанная с писателями самиздата, прекрасно понимала, как это опасно – назвать подлинные имена прототипов ее книги. Плен, РОА, Сопrotивление, ГУЛаг –

таковы их реальные биографии, биографии советских военнопленных, оставленных по вине Сталина без помощи Красного Креста, – у них «не было другого выбора – или надеть немецкую форму, или умереть».

Французский историк Анри Гайо, изучавший Сопротивление, пишет: в конце 1943 года русских военнопленных было 80 человек – в Руайян, 50 – на острове Ре, и столько же – на Олероне. После высадки союзников в августе 1944 года их осталось всего 30 человек. В Сен-Дени Вадим Андреев знакомится с В. Антоненко, затем с В. Орловым с батареи «Медуза» около Шассирона и с Н. Головановым, И. Фатюковым и Е. Красноперовым с других батарей. В Сен-Пьере на мельнице Куавр В. Сосинский вступает в контакт с двумя бывшими лейтенантами Красной Армии Н. Васевым и Н. Серышевым и сержантом Педенко, солдатами вермахта на батарее Люш в Ла-Перрош. 24 ноября Н. Серышев взорвал склад оружия в Ла-Перрош; 28 ноября была взорвана батарея Шокр. Двоих русских солдат расстреляли 30 апреля 1945 года, двое утонули, пытаясь бежать с острова и вплавь добраться до материка, до союзников, и шестеро были замучены гестапо в Ла-Рошели (все эти данные указаны в книге в примечаниях).

Карлайл продолжает: «...русских на Олероне всё еще помнят. Рыбов, которого заточили в замок Алиеноры в Ле-Шато, не выдал своих товарищей, несмотря на избиения и даже, возможно, пытки. Лева и еще двое погибли во время освобождения Олерона, они похоронены на кладбище в Сен-Пьере, и каждый год в День всех святых на их могилах появляются цветы. Однако для наших русских за этим славным мгновением последовала катастрофа. Родина негостеприимно приняла их по возвращении. Почти все они были арестованы НКВД, их обвинили в подготовке покушения на Сталина из-за границы, якобы вместе с моим отцом, Вадимом Андреевым, которого считали главным заговорщиком и организатором». Публикаторы восстанавливают подлинные имена русских солдат: Миша Дудин – Владимир Орлов; Лева – Владимир Антоненко; Рыбов – Василий Гребенщиков, Иван Петрович – Иван Максимович Фатюков. После войны Фатюков вернулся в СССР, был арестован и вышел на свободу лишь после смерти Сталина. Реабилитации для него, для Владимира Орлова и других солдат РОА с Олерона добились много позднее Вадим Андреев и Владимир Сосинский. (Вообще, нужно отметить, что книга блестяще отредактирована и снабжена необходимым справочным аппаратом. Редакция Елены Шубиной выпустила мемуары Ольги Карлайл безупречно профессионально.)

И, наконец, последний сюжет этих мемуаров в стиле Bildungsroman – тоже важная страница в истории, с которой я и начала и которая вполне соотносится с тем, упомянутым, спором Вадима Андреева и Федотова – о возможной послевоенной трансформации советского режима. Идея трансформации была весьма популярна среди русской эмиграции первой волны в послевоенные годы. Не верилось, что страна, победившая нацистов, не

сбросит советскую диктатуру и не вернется в лоно свободы. Для семьи Андреевых–Черновых–Сосинских, семьи старых эсеров и меньшевиков, подготовивших роковой русский 1917-й, невозможно было поверить, что большевизм-сталинизм упрочился в их стране навсегда. Были в них еще силы для борьбы, жива была энергия, да и в социалистических идеях они отнюдь не разуверились... очевидно, идеализм не дал развиваться раскаянию... Как бы там ни было, Вадим Андреев «был глубоко убежден, что ‘большой террор’ больше не повторится. Страдания должны были очистить Россию. <...> отец продолжал считать, что настоящая жизнь – где-то там, в далекой России. Саша (Брат Ольги. – М. А.) ему верил. Как только кончится война, мы поедem туда, чтобы жить среди таких людей, как Лева или Иван Петрович. И мы будем счастливы там – ведь это страна *grands ouvriers*».

Идея труда и социалистического созидания склонила и бабушку – несомненная революционерка вернулась в Советский Союз в 1964 году, незадолго до смерти; она похоронена в Переделкино, в двух шагах от могилы Бориса Пастернака. Не уверена, что она увидела «небо в алмазах»... А может, просто хотела быть похороненной среди родных могил?..

Владимир Брониславович Сосинский (1900–1987), поработав после войны в ООН в Нью-Йорке, в 1960 году вместе с женой тоже уехал в СССР. А вот Оля Карлайл, много раз бывавшая в Советском Союзе и не раз вывозившая самиздат для публикации в Европе и США, восстановившая связи со всеми ветвями их огромного рода, преданно любящая всё русское и безумно страдающая от непонимания «советского», веселая, чуть взбалмошная, открытая людям Оля ни секунды не пожелала остаться на советской земле.

Да... жизнь семьи – как один добротный плотный роман. И как узнаваемо звучат строки этой книги: «[я] на Олероне соприкоснулась с вечностью. Вряд ли найдется человек, который хотел бы столкнуться с ней больше одного раза в жизни».

* * *

Андрей Sommer, протоиерей. Затопляевы – наши предки за Байкалом. – Нью-Йорк. – 2021.

Со священником Андреем Sommerом я познакомилась более тридцати лет назад. Мы вместе преподавали в старейшей русской приходской школе США в Наяке, городке, куда после Второй мировой войны съехалась первая эмиграция, в большинстве своем – из Китая и Австралии. Приход Покрова Пресвятой Богородицы с его настоятелем протоиереем Серафимом Слободским (1912–1971) организовал эту школу, работающую и по сей день. Тогда же о. Серафим написал учебник «Закон Божий», попавший в мои неловкие юные руки еще в советские годы. Дорога моей семьи, прокатив нас по Северной Америке, привела не просто в храм, а именно в этот храм – тем самым замкнув круг странствий географических

и духовных. Десять лет проработали мы бок о бок с о. Андреем, но и позже не потеряли связь, встречаясь в Синоде, на церковных праздниках, на отпеваниях общих друзей. Потому и книга эта, не скрою, мне интересна по-особенному, в ней много личного и болевого. Это книга – поиск своих корней русским эмигрантом, потомком первой волны; открытие истоков, заполнение ностальгической тоски реальным, вещественным содержанием в лицах, характерах и судьбах. А еще эта книга о России, которую мы потеряли. Не только белоэмигранты, беженцы от кровавого большевистского режима, – мы все, рожденные на российской земле или связанные с нею предками. Мы хорошо знаем истинное лицо России нынешней, мы даже помним советский ее обезображенный портрет, но мы лишь мечтаем увидеть и понять образ, исчезнувший в истории после 1917-го. И уж тем более мы, люди XXI века, ничего не знаем о том далеком Забайкалье, куда и сегодня-то редкая птица залетает.

Кратко коснувшись географии края, автор этого исследования описывает историю – появление первопроходцев-казаков, возникновение Нерчинского острога, жизнь декабристов. Подробнее он останавливается на развитии этой земли русскими переселенцами. Особое внимание уделяется купцу Михаилу Дмитриевичу Бутину, золотопромышленнику, меценату и филантропу. Торговый дом братьев Бутиных сыграл решающую роль в экономическом и культурном развитии края. Побывав в Неваде и Калифорнии времен «золотой лихорадки», Михаил Бутин вывез не золото, но драгоценность иного рода: технические знания, которые он и начал внедрять на своих промыслах. В Нерчинске он возвел и свой особняк, первую постройку из кирпича, в мавритано-готическом редком европейском стиле. Его Palazzo занимало целый городской квартал. Главной достопримечательностью дома стал музыкальный зал площадью 136 кв.м, стены которого украшали зеркала, вывезенные со Всемирной выставки в Париже в 1878 году. Безусловно, в этом присутствовала тоска миллионера-нумориша по прекрасному – но и самому Бутину, и городу эта его тяга к красоте пошла лишь на пользу. Палаццо стал культурным центром всего Нерчинского края. Сестра Бутова, будучи цветоводом-любителем, сумела развести на территории вокруг дома великолепные сады, оформив их в европейских лучших стилях. Это могло бы стать началом самодостаточного богатого мощного экономического и культурного Забайкалья, тем паче, что всю эту роскошь после смерти Бутов оставил городу, завещав сделать музей.

Можно представить себе силу разрушений, что принесла этим планам, Дому и всему краю Гражданская война и большевики. И только благодаря подвижнической деятельности директора музея Л. А. Пуляевского удалось сохранить основной фонд – в надежде на лучшие времена. Потребовался век, чтобы о Палаццо вспомнили – возможно, его и возродят в каком-то качестве. Но основная история этой книги – о другом, и она

останется наполненной горечью и болью. Это история религиозного формирования края и становления рода священников Затопляевых; история духовной борьбы Затопляевых за свою страну и край.

Иркутская епархия обрела самостоятельность в начале XVIII века, и Забайкалье вошло в ее состав как Забайкальская духовная миссия. Целый сонм имен составил ее летопись: епископ Иркутский и Нерчинский святитель Иннокентий (Кульчицкий), просветитель Иркутской земли; епископы Иннокентий (Нерунович) и Софроний (Кристаллевский), Вениамин (Багрянский) и Михаил (Бурдуков)... Во второй половине XIX в. было учреждено Селенгинское викариатство Иркутской епархии, первым епископом стал Вениамин (Благодрава), последним – Мелетий (Заборовский), который в 1920 году вместе с войском атамана Семенова навсегда покинул край.

Соммер подробно описывает возведение храмов в крае, сопровождая свой рассказ богатым архивным фотоматериалом. Отдельная глава посвящена Торгинскому Знаменскому храму и его чудотворной иконе Божией Матери. Именно в Торгинском Знаменском храме служили сыновья протоиерея Павла Затопляева. В 1929 году икона была помещена в музей, но в 1938 году она бесследно исчезла. Страшную статистику приводит автор: если в нач. XX века в Забайкальской епархии было 537 священнослужителей в 490 храмах и четырех монастырях, то к 1940-м годам не осталось ничего и никого. Мартиролог мог бы стать слишком длинным – но сохраним эти имена в сердце. В книге – множество современных фотографий разрушенных храмов и соборов, с отрубленными головами, бескрестовых, поросших травой – стоящих на фоне небывалой красоты забайкальских сопок и бескрайнего неба.

Книга о. Андрея – это своеобразное расследование: откуда есть пошел род Соммеров. Ведь еще двадцать лет назад ни у кого из семьи не было возможности не только порыться в архивах, но и просто поехать на свою землю. Книга уникальна еще и тем, что она описывает детально историю распространения православия в Забайкалье. И к этой истории предки о. Андрея – род священников Затопляевых – имели непосредственное отношение. Основываясь на архивных документах, Соммер восстанавливает летопись церковной жизни края, прослеживает судьбы нескольких поколений своего рода. Отдельная глава книги посвящена непосредственно священникам рода Затопляевых и их пастырской службе. Павел, Николай, Константин, а далее – Алексей, Василий, Григорий, Иваны и Иоанны, Петр и Родион, Степан и Яков – Китай, Австралия, США... Документы по истории семьи о. Андрей собирал по всему миру – в годы изгнания семья разбрелась по всем континентам. Материалы, представленные в книге, – уникальны, в их числе – и описание встречи протоиерея Павла Затопляева с цесаревичем Николаем в доме Бутиных.

Затопляевы продолжали священнический путь в Манчжурии, Китае –

и сегодня – в США. Они были и остаются миссионерами в этом сложном атеистическом мире, сумев сохранить себя и свою духовность в трагическом разломе современной истории. «Наши предки – это не только те люди, с которыми мы имеем физиологическое родство, но и те, с которыми мы имеем духовную связь, которые передали нам историческое и культурное наследие, – так завершает свою книгу протоиерей Андрей Соммер. – Каждый из нас имеет выбор – как строить свою жизнь, так как Бог дает нам свободную волю решить – выбирать добро или зло. И это определяет, кто мы такие и какими нас запомнит будущее поколение – если вообще запомнит.»

Марина Адамович

Русская эмиграция и движение Сопротивления в годы Второй мировой войны / Сост. М. Ю. Сорокина // М.: Дом Русского Зарубежья. 2021 – 232 с.

Тема участия русских эмигрантов во Второй мировой войне обжигает до сих пор. Дом Русского Зарубежья всегда разрабатывал эту тему. Еще шесть лет назад, в дни 70-летия празднования победы над фашистской Германией, там прошла большая конференция «Российская эмиграция в борьбе с фашизмом», по материалам которой был выпущен одноименный сборник. А 15 мая 2020 года, несмотря на свирепствовавшую пандемию, научному сотруднику ДРЗ, известному историку Марине Сорокиной удалось провести международный круглый стол «Русская эмиграция и движение Сопротивления в годы Второй мировой войны». Материалы этого форума и составили рецензируемую книгу.

На обложке – фрагмент вышивки матери Марии «Победа над злом», которую она вышивала в концлагере Равенсбрюк. Исследователь Наталья Ликвинцева представляет материалы о ней; монахиня Мария (Скобцова) канонизирована Константинопольским патриархатом как преподобномученица в 2004 году.

Судьбы героев этой книги потрясают. Так, исследовательница из Белградского университета Милана Живанович рассказывает о русских героях-антифашистах в Югославии уже в послевоенный период. Органы безопасности коммунистического диктатора Иосипа Броз Тито обрушили всю мощь репрессий на русских белоэмигрантов, не жалевших своих жизней в борьбе с нацистами. Так в тюрьме оказались замечательный филолог Илья Голенищев-Кутузов, создатель комиксов и любимец сотен читателей Юрий Лобачев, зоолог Кирилл Мартино.

Отметим, что путь осознания в Советском Союзе того, что русские эмигранты – участники Сопротивления – являются подлинными героями, был совсем не прост. Об этом рассказывает в своей статье Ксения Сак. Марина Сорокина рассказывает о талантливом поэте Алексее Дуракове – его имя было среди шести других русских эмигрантов, которые Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1965 года были удостоены советских орденов. Сам Дураков погиб, прикрывая отход партизанского отряда на горных тропах. Посмертно орден получила и легендарная Вики Оболенская, казненная гитлеровцами на гильотине. Интересные материалы о детстве этой героини Сопротивления предоставил профессор Венского университета Федор Поляков. Он публикует воспоминания лингвиста Александра Исаченко о встречах с Вики во время странствия их родителей по Балканам. И, к слову, оказывается, в СССР собирались снимать фильм об Оболенской, где главную роль должна была играть Марина Влади, тоже дочь русского эмигранта.

Вообще, истории участников Сопротивления обжигают. Для некоторых из них, как, к примеру, для Александра Агафонова (Глянцева), пребывание в фашистском концлагере продолжилось заключением в советском. Герман Блиндман, один из ведущих историков, оказывается, прошел плен, где организовывал ячейки Сопротивления.

Автор сборника Михаил Горинов-младший рисует полотно жизни Николая Роллера: участник войны в Испании на стороне республиканцев, Роллер во время оккупации организовал подпольное издание в Париже газеты «Русский патриот». Новые имена героев открывает и Алексей Вовк: Георгий Шеметилло, Алексей Шапошников и свящ. Валентин Бакст в «свободной» зоне Франции спасали советских военнопленных и еврейских детей. Необычайно интересна судьба агронома-ученого Алексея Угримова, высланного из Советской России на «философском пароходе» в 1922 году и за доблесть во время Второй мировой награжденного Военным Крестом. Потом, уже после 1945-го, он был выслан из Франции за симпатии к СССР. К сожалению, родина встретила его более чем неласково.

Сборник «Русская эмиграция и движение Сопротивления...» – безусловно, событие в российской исторической науке.

* * *

Ежегодник Дома Русского Зарубежья имени А. Солженицына. 2020 / М.: «Русский путь». 2020. – 592 стр.

Очередной выпуск «Ежегодника» открывается рассказом директора Дома Русского Зарубежья В. А. Москвина о том, как создавался этот удивительный центр по изучению истории и культуры русской эмиграции. Он вспоминает свою юность, первые столкновения с властью за право читать запрещенную литературу, рассказывает о первой выставке парижского издательства «YMCA-PRESS» в Государственной библиотеке иностранной литературы, когда запрещенные ранее издания предстали перед изумленной московской публикой; говорит, какую неоценимую помощь при создании Дома оказал незабвенный Н. А. Струве и как при мощной поддержке А. И. и Н. Д. Солженицыных возник Центр на Таганской площади.

В сборнике представлено более тридцати статей и публикаций, связанных с бездонной темой изучения «России вне России». Отдельный блок отдан теме участия русских эмигрантов в Сопротивлении. Здесь опубликованы статьи о выходах из России – участниках партизанских отрядов в Югославии. Судьба их сложилась по-разному: к примеру, инженер Федор Смирнов и офицер Федор Махов стали генералами Народной Армии Югославии; однако для большинства русских антифашистов в Югославии всё вышло совсем иначе – многие оказались в югославских тюрьмах, а участник антифашистского подполья во Франции Александр Агафонов после возвращения в СССР попал уже в советский лагерь. Там же, в «Ежегоднике», есть и статьи о погибших от нацистов княгине Вики Оболенской и монахине Марии (Скобцовой). Более благосклонной оказалась судьба к создателю антинацистского подполья в Нидерландах – историку Герману Блиндману.

Значительное количество страниц отдано архивным публикациям. Исследователь Наталья Ликвинцева, к примеру, подготовила отрывки из дневников известного церковного и общественного деятеля русского Парижа Петра Ковалевского. Они охватывают тревожные дни начала 1930 года, когда из Парижа чекистами был похищен генерал Кутепов.

Берлинская жизнь 1920-х годов необыкновенно талантливого художника и карикатуриста Олега Цингера представлена в статье Михаила Бемига.

Наверное, многих заинтересует большой материал об Оскаре Руниче, последнем экранном партнере Веры Холодной. О его жизни можно было бы снять захватывающий фильм. Эмигрант, киноактер, он был создателем Еврейского театра в Риге, затем эмигрировал в Южную Африку. И там, в Иоханнесбурге, создал сначала еврейский театр, а потом ставил спектакли и на языке африкаанс. Во время Второй мировой войны Рунич проводил благотворительные акции в пользу Советской армии.

Читатели с интересом встретят материалы, подготовленные неутомимым исследователем «второй волны» эмиграции Павлом Трибунским, связанные с историком и просветителем профессором Михаилом Карповичем, который возглавлял «Новый Журнал» в первое послевоенное десятилетие. В сборнике представлены письма Карповича из США в Прагу своему коллеге Александру Изюмову, в которых содержатся новые сведения о работе Русского Заграничного архива в Праге в 1920-х годах. А в статье «Последний проект Михаила Карповича» Трибунский анализирует блистательный курс ученого по интеллектуальной истории России, который Карпович читал студентам Гарварда в 1950-х годах.

К биографии театрального режиссера и актера Георгия Питоева, жившего и работавшего в Париже, можно прикоснуться, прочитав статью Светланы Дубровиной и публикацию Александра Фокина, где представлены статьи театрального критика Ильи Сургучева, посвященные постановкам Питоева.

Можно еще долго перечислять материалы «Ежегодника»: круглый стол, посвященный культовой работе Николая Бердяева «Новое средневековье»; «Энциклопедия классического евразийства», составленная Олегом и Ксенией Ермишиными, и многие другие научные и просветительные материалы. Но лучше просто взять в руки эту фундаментальную книгу и начать читать.

* * *

Эфрон Ариадна Сергеевна. Вторая жизнь Марины Цветаевой: письма к Анне Саакянц 1961–1975 годов / Сост. Лев Мнухин, подготовка текста и комм. Татьяны Горьковой / М.: АСТ, 2021 – 608 с. // Мемуары, дневники, письма.

«Были мы – помни об этом / В будущем – верно лихом! / Я – твоим первым поэтом, / Ты – моим лучшим стихом.» Так писала Марина Цветаева своей маленькой дочери Ариадне Эфрон в голодной ледяной Москве 1918 года. Впереди у них была эмиграция, возвращение в СССР, репрессии и смерть. Ариадне Сергеевне выпало 16 лет концлагерей и ссылок, Марину Ивановну ждала петля в татарском городе Елабуга.

Вернувшись, Ариадна Сергеевна, унаследовавшая от Цветаевой фантастическое чувство слова, зарабатывала на жизнь переводами. Но главным для нее стало сохранение наследия матери. Сквозь чугунные дамбы после сталинской цензуры пробивала она написанное Мариной Ивановной. Запрещались подготовленные сборники, отменялись уже набранные публикации, но Ариадну Сергеевну не могло остановить ничто.

Ее правой рукой стала молодой филолог Анна Александровна Саакянц, влюбленная в творчество Цветаевой и фактически посвятившая жизнь возрождению имени Поэта. Вместе с Ариадной Эфрон они работали над текстами, искали автографы Марины Ивановны по друзьям и знакомым, иногда вместе выезжали куда-то, когда Ариадне Сергеевне позволяло здоровье. И еще – писали друг другу письма. Ариадна Сергеевна отправляла их из любимой Тарусы, где проводила почти по полгода, а еще – из маленькой квартирki в писательском доме у метро «Аэропорт». Сегодня, когда значительная часть эпистолярного наследия Ариадны Сергеевны опубликована, многие понимают, прозаика какой силы мы оказались лишены. Свой талант мастера прозы она вложила в многостраничные письма. И вот только увидел свет сборник писем Ариадны Эфрон к Анне Саакянц, с 1961-го по 1975 годы, в большинстве своем до сего дня неопубликованные. Эта книга появилась благодаря исследователю наследия Цветаевой Льву Абрамовичу Мнухину и филологу Татьяне Горьковой.

«Мне важно сейчас продолжить ее дело, собрать ее рукописи, письма, вещи, вспомнить и записать о ней все, что помню, – а помню бесконечно много», – писала Ариадна Сергеевна о главном деле ее жизни. В письмах

речь идет, конечно, о бесчисленных проблемах, возникавших в связи с изданием произведений Цветаевой в 1960–70-х годах. Ариадна Эфрон очень ревниво относилась к этой своей работе; в посланиях часто даются нелицеприятные оценки коллегам по литературному цеху. И порою, словно зарницы, вспыхивает в ее строках неповторимый цветаевский стиль: «Вы видите, какая я стала великая молчальница – и на письма не отвечаю; не почему-либо, а лишь из-за растущего – ошибочного впрочем – осознания того, что мысли не передают чувств, а слова – мыслей; тем более – написанные слова; тем более – положенные в конверт и пущенные по воле почтовых волн». Иногда она вспоминает прошедшее, парижскую жизнь, и словно ярким сполохом высвечивается текст: «Вообще же – что за чудо Бунин; где только, на какой странице не распахни наугад – жизнь, живая жизнь, навсегда живая жизнь! До такой степени живая, что – оторвешься, глянешь на секунду машинально в окно, и сегодняшний день в начале лета во всем его цветении, отцветении, многолистье и многоптичье, во всей его, главное, сегодняшности (sic) кажется плоской картинкой с календаря... Какой талант, Господи Боже ты мой, каким вместилищем таланта был этот маленький, сухонький, недобрый человек с пронзительным взглядом».

Не пропустите эту книгу. Окунитесь во вторую жизнь, которую дала Цветаевой ее дочь.

Виктор Леонидов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Александра Петрова

1938–2021

19 ноября после долгой болезни скончался Александр Петров, известный сербский поэт, литературный критик, ученый, педагог.

Александр Петров родился в 1938 году в Сербии, в городе Нише, в семье русских эмигрантов первой волны. Его мать Ирина Ипполитовна – из рода Каратеевых, воспитанница Смольного института. Отец Николай Иванович – офицер, участник Гражданской войны. В 1961 году Александр окончил философский факультет Белградского университета, там же защитил кандидатскую диссертацию, а позднее – докторскую, в Загребском университете. Работал в Институте литературы и искусства в Белграде (1964–1990) и был учредителем и руководителем отделения «Истории сербской литературной периодики» на протяжении 17 лет. Был основателем и главным редактором научного журнала «Књижевна историја» (1968–1972), членом редколлегии «Књижевне новине» (1965–1967), главным редактором сербской секции «Американского Србобрана» (с 1993-го), старейшей сербской газеты эмиграции, США. Был председателем Союза писателей Сербии (1986–88). С 1993 по 2000 гг. Александр преподавал на кафедре славистики в Питтсбургском университете, сотрудничал с Центром международных исследований. Многочисленные сборники его поэзии переведены на все европейские языки. Он был лауреатом литературных и государственных премий в Сербии и за рубежом.

Признание заслуг Александра в сербской культуре несколько не оторвало его от «русского текста»; до конца жизни Александр оставался верен русской литературе и старой русской эмиграции. В 1977 году он выпустил «Антологию русской поэзии XVII–XX века». «Антология» стала событием для Сербии и для русских читателей диаспоры. Иосиф Бродский писал, что это лучшая антология свободной русской поэзии, которая когда-либо выходила в свет.

Особая часть его творческого наследия – стихи, написанные по-русски; Александр оставался верен родному языку его предков, роду и отечеству. Он не раз выступал с докладами по истории эмиграции на конференциях и литературных презентациях, организованных «Новым Журналом»; был постоянным автором НЖ и верным его другом.

Редакция выражает соболезнования семье – вдове Кринке Видакович-Петровой и сыну Андрею.

Rest in Peace, дорогой Саша!

«Новый Журнал»

ОБ АВТОРАХ

АЖГИХИНА Надежда (1960, Томск). Журналист, прозаик. Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет журналистики в 1982 г., канд. филологических наук. Работала в «Огоньке», «Независимой газете», Союзе журналистов России. Ведущая рубрик и авторских колонок в «Журналисте». Вице-президент Европейской федерации журналистов, соорганизатор ассоциации «Свободное слово», член ПЭН-Москва. Автор и редактор более двадцати книг и сборников о современной культуре, развитии СМИ, правах человека и гендерном равенстве.

АЙЗЕНБЕРГ Михаил (1948, Москва) Поэт, эссеист, литературный критик, архитектор-реставратор. Преподавал в Школе современного искусства при РГГУ. Руководил изданием поэтической книжной серии изд-ва «ОГИ», затем серией «Нового издательства». Автор десяти книг стихов и эссе о поэзии, в том числе «Другие и прежние вещи», «Контрольные отпечатки», «Переход на летнее время», «Посмотри на муравьев» (2020). Лауреат премии Андрея Белого (2003), Большой премии «Московский счет» (2017, 2018).

АМУРСКИЙ Виталий (1944, Москва). Поэт, эссеист, журналист. Окончил филологический ф-т МОПИ, позднее – Сорбонну. Публиковался в журналах «Континент», «Вестник РХД», «Мосты», «Грани» и др.; на французском – в ж. «Europe», «Magazine littéraire», «Lettre Internationale». Более двадцати лет работал в русской редакции Международного французского радио. Автор книг «Памяти Тишинки», «Тень маятника и другие тени», сборников поэзии «СловЛарь», «Трамвай 'А'», «Темного mea», «Серебро ночи», «Земными путями», «Слушая ветер» и др. С 1973 г. живет во Франции.

АМЧИСЛАВСКИЙ Александр (Москва). Поэт, искусствовед, художник-реставратор. Окончил пединститут, учился в Академии художеств им. Репина. Публиковался в журналах «Новый Свет» (Канада), «Дружба народов», «Знамя», «Нева» (Россия), «Крещатик» (Германия), и др. Лауреат премии Эрнеста Хемингуэя (Торонто) за сборник стихов «За тонким полотном» (2017); премии Дон Кихот (Барселона) за сборник стихов «Узлы мирские» (2019). С 1998 года живет в Канаде.

АНДРЕЕВА Анастасия (1973, Ленинград). Поэт, переводчик. Публиковалась в журналах «Крещатик» (Германия), «Новая Юность», «Волга», «Иностранная литература», «Сибирские огни» и др. До 2020 г. была членом редколлегии журнала «Эмигрантская лира». С 2004 года живет в Брюсселе.

АРУТЮНОВА Каринэ. Художник, прозаик, поэт. Автор книг «Пепел красной коровы», «Скажи: красный», «Нарекаци от Лилит», «Падает снег, летит

птица», «Цвет граната, вкус лимона» и др. Финалистка литературного конкурса «Малая проза» (2009, Израиль). Лауреат литературного конкурса памяти поэта Ури Цви Гринберга в номинации «Поэзия» (2009). Лауреат премии НСПУ им. Владимира Короленко (2017).

БАЗАНОВ Петр Николаевич (1969). Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры. Историк, специалист по истории русской зарубежной печати, истории второй волны эмиграции, деятельности политических организаций в Зарубежье. Автор многочисленных научных статей и книг о русской эмиграции, среди них: «‘Петропольский тацит’ в изгнании: жизнь и творчество русского историка Николая Ульянова», «Братство Русской Правды – самая загадочная организация Русского Зарубежья», «Дипийские книги, издательства и периодика русских эмигрантов (1945–1951 гг.)» и др.

БАРАШ Александр. Поэт, прозаик, эссеист. Окончил филологический факультет Московского пединститута. Стихи, переводы, проза и эссе публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «Воздух», «Иностранная литература», «Знамя», «Интерпоэзия», «Text Only» и др. Лауреат Премии Тель-Авивского фонда литературы и искусства (2002), журнала «Интерпоэзия» за лучший стихотворный перевод (2011). Автор пяти книг стихов, романов «Счастливое детство», «Свое время», книги переводов ивритской поэзии «Экология Иерусалима» (2011). С 1989 г. живет в Иерусалиме.

ГАНДЕЛЬСМАН Владимир Аркадьевич (1948, Ленинград). Поэт, эссеист, переводчик. Автор двух десятков книг стихов, среди них «Шум Земли», «Чередования», «Каменный остров», «Ода одуванчику», «Ладейный эндшпиль», «Читающий расписание», «Разум слов», «Глассические стопки», «В чуть видимом прочесть», «Видение. Избранное», «Велимирова книга» (2021) и др. Обладатель премии им. Осипа Мандельштама. Автор переводов современной американской поэзии. Лауреат премии «Anthologia», «Русской премии». В 2011 году за книгу «Ода одуванчику» удостоен премии «Московский счет». С 1990 г. живет в США.

ГЕЛЬБАХ Игорь (1943, Самарканд). Прозаик. Окончил физический факультет Тбилисского университета. Автор книг прозы «Признания глиняного человека», «Утеранный Блюм», «Показания Цаплина», «Очертания Грузии», «Музейна крыса» (2018), др.; две книги переведены на английский язык. Номинирован на «Русского Букера» в 1994, шорт-лист премии Андрея Белого (2004), лауреат премии им. Марка Алданова за лучшую повесть Русского Зарубежья (2012). Живет в Израиле.

ГЕРРА Ренэ. Доктор филол. наук Парижского университета, литературовед, издатель, собиратель и исследователь культурного наследия Зарубежной России. Основатель изд-ва «Альбатрос» (Франция); выпустил более 40 книг писателей первой и второй волн русской эмиграции. Автор, соавтор или составитель многочисленных книг о писателях и художниках-эмигрантах, в т. ч. «Русское искусство в изгнании в Париже 1920–1970»; «Русское искусство в изгнании во Франции»; «Они унесли с собой Россию...»; «Младшее поколение писателей Русского Зарубежья»; «Культурное наследие Зарубежной России» (2020) и др. Автор более 400 научных и публицистических статей по культуре русской эмиграции. Президент-основатель Общества по сохранению русского культурного наследия во Франции. Почетный член Российской академии художеств, лауреат Царскосельской художественной премии, Литературной премии им. Антона Дельвига и др.

ЖУК Вадим (1947, Ленинград). Поэт, актер, сценарист, режиссер. Окончил ЛГИТМиК. Работал актером в театрах Сибири, снимался в фильмах А. Сокурова, И. Масленникова, В. Хотиненко и др. Печатался в журналах «Знамя», «Арион», «Звезда», «Октябрь», «Новый мир» и др. Автор сборников поэзии «Стихи на даче», «Жаль-птица», «Ты», сборника драмы и драматических стилизаций «След в след», др. Лауреат литературных премий «Петрополь», «Царскосельская», фестиваля «Крок» за лучшую драматургию. Живет в Москве.

ЗАХАРОВ Сергей Валерьевич (1976, Беларусь). Прозаик. Окончил Гомельский ГУ по специальности «английский язык». Работал преподавателем английского языка, переводчиком, служил в пограничных войсках Республики Беларусь, был фермером, торговцем, грузчиком, радиотелеграфистом. Живет в Каталонии (Испания), занимается экскурсоводческой деятельностью. Лауреат Премии им. Марка Алданова.

ИВАНОВ Андрей (1971, Таллинн). Писатель. Окончил Таллиннский педагогический университет, филолог-русист; работал сварщиком, дворником и оператором телефонных линий, жил в переселенческих лагерях в Скандинавии. Автор романов «Путешествие Ханумана на Лолланд», «Бизар», «Исповедь лунатика», «Обитатели смиренного кладбища» и др. Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова за повесть «Зола», премии эстонского фонда «Капитал культуры», «Русской премии», премии НОС, финалист «Русского Букера». Романы переведены на эст., фин., нем., англ. и фр. языки. Член Союза писателей Эстонии. Живет в Таллинне.

КОЛОДЗЕЙ Наталья. Искусствовед, куратор. Специалист по русскому и восточноевропейскому искусству, исполнительный директор фонда Kolodzei Art

Foundation, совладелец (с Т. Колодзей) коллекции неонконформистского искусства, насчитывающей свыше 7000 произведений русского искусства XX–XXI. Куратор более 80 выставок в США, Европе и России. Автор и редактор многочисленных публикаций. Почетный член Российской академии художеств.

ЛЕОНИДОВ Виктор Владимирович (1959, Москва). Критик, исследователь истории Русского Зарубежья. Окончил Историко-архивный институт, кандидат исторических наук. Автор-составитель книг поэтов Русского Зарубежья и многочисленных статей по проблемам наследия русской эмиграции. Один из организаторов Архива-библиотеки Российского ФК.

ДЕ ЛЯ ФОРТЕЛЬ Анастасия. Профессор, заведующая кафедрой славянских языков Лозаннского университета. Специалист по франко-русским литературным связям (эпоха символизма) и по современной русской литературе. Автор монографий и книг *Les aventures du sujet poétique. Le symbolisme russe face à la poésie française: complicité ou opposition?*, «Пространство маргинальности в современной русской литературе», «Владимир Шаров. По ту сторону истории», педагогического пособия по изучению творчества Н. В. Гоголя, а также многочисленных статей, посвященных различным аспектам русской литературы XIX–XXI вв. Живет в Швейцарии.

МАРК Григорий (Ленинград). Поэт. Автор книг стихов «Гравёр», «Среди Вещей и Голосов», «Оглядываясь Вперед», «Глаголандия», двух книг прозы. Печатался в ж. «Арион», «Время и мы», «Грани», «Дружба Народов», «Звезда», «Знамя», «Континент», и др. Переводы публиковались в «Glas», «Modern Poetry In Translations» (UK), «Przekladnics» (Польша) и др. Живет в Бостоне.

МЕТЕЛЬСКИЙ Игорь (1987, Чарджоу). Поэт. Окончил факультет теоретической ядерной физики МИФИ, в 2017 г. – аспирантуру Физического института (ФИАН). Работает научным сотрудником в Центре фундаментальных и прикладных исследований (РОСАТОМ) и ФИАН. Живет в Подмоскowie.

НЕМИРОВСКИЙ Александр (Москва). Поэт, писатель, хай-трек антрепренер. Основоположник поэтического стиля «Джаз-поэзии». Автор семи книг стихов и прозы. Многочисленные публикации в США, Франции, Финляндии, Германии, России. Лауреат Канадской премии имени Э. Хемингуэя (2007). Член Петербургского СП. Основатель и редактор первого звукового литературного журнала «Западное Побережье». Живет в Калифорнии.

ОБОЛЕНСКАЯ-ФЛАМ Людмила Сергеевна (1931, Рига). Публицист, радио-журналист. Внучка литератора и правоведа Петра Якоби. В 1944 году вместе

с семьей оказалась в Германии. После войны окончила Русскую гимназию в Мюнхене, вступила в НТС. В 1970-х гг. работала на радиостанции «Голос Америки»; проработала на радио около 40 лет, пройдя путь от диктора до начальника отдела. С 1997 года два десятилетия возглавляла общественный комитет «Книги для России» (США). Автор книг «Вики, княгиня Вера Оболенская» (1996, 2005), «Правовед П. Н. Якоби и его семья: воспоминания». Публиковалась в русских изданиях эмиграции «Новый Журнал», «Русская Мысль», «Русская Жизнь», «Посев».

ПОЛЧАНИНОВ Ростислав Владимирович (1919, Новочеркасск). Журналист, историк, общественный деятель. С 1921 жил в Югославии, с 1942 – в Германии, с 1951 – в США. Был одним из организаторов русского скаутского движения в эмиграции. Автор книг «По русским улицам Парижа», «Заметки коллекционера», «О Югославии и русских в Югославии» и др.

СЛИВКИН Евгений (1955, Ленинград). Поэт, исследователь русской литературы XIX–XX вв. Окончил Литературный институт им. Горького; в США защитил докторскую диссертацию по русской литературе (Ph.D.), преподает на кафедре современных и классических литератур Вирджинского политехнического института. Публикуется в журналах «Новый мир», «Звезда», «Арион», «Интерпоэзия». Автор шести поэтических книг.

ШЕРР Барри (Barry Paul Scherr). Славист. Окончил бакалавриат Гарвардского университета и магистратуру Чикагского университета, там же защитил докторскую диссертацию. Преподавал в Дартмутском колледже, заведовал кафедрой русского языка и литературы, в 1989–1996 годах возглавлял отделение лингвистики и когнитивистики, в 2001–2009 годах – проректор. С 2009 года – председатель совета управляющих Университета Арктики. В 1987–1988 годах – президент Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL). Соорганизатор ряда крупных международных конференций, в том числе по русскому стиховедению. Автор книг и монографий по русской литературе, в их числе – по творчеству Анны Ахматовой и Льва Лосева.

ЭСКИНА Марина Викторовна (Ленинград). Поэт, переводчик. Окончила физический факультет ЛГУ. Автор четырех сборников стихов и книги детских стихов на английском. Дипломант Санкт-Петербургского конкурса Фонда И. А. Бродского (2014). Победитель конкурса «Эмигрантская лира» в трех номинациях (Льеж, 2017). Участник многих антологий и альманахов, в том числе: «Из не забывших меня. Иосифу Бродскому. In memoriam», «Царскосельская антология»; «70», к 70-летию Израиля (2018). Стихи переведены на английский язык. С 1990 года живет в Бостоне.

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION 2021

- 1.Publication title – The New Review
- 2.Publication No. – 596680
- 3.Filing date – [as published]
- 4.Issue frequency – Quarterly
- 5.Number of issues published annually – 4
- 6.Annual subscription price – \$ 80.00
- 7.Complete mailing address of known office of publication – 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001
- 8.Complete mailing address of headquarters or general business office of the publishers – 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001
- 9.Names and complete address of publisher, editor, managing editor:
Publisher – The New Review Inc., 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001
Editor/Managing Editor – Marina Adamovitch, 1216 Broadway Fl.2, New York, NY 10001
10. Owner – The New Review Inc., 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001
11. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1% or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities – None
12. Tax status (For completion by nonprofit organization authorized to mail at nonprofit rates). The purpose, function, nonprofit status of this organization and the exempt status for federal income tax purposes: Has not changed during preceding 12 months
- 13-14. Issue date for circulation data – September 2021
15. Extent and nature of circulation

	Average # copies each issue during preceding 12 months	#Copies of Single Issue Published Nearest o Filing Date
a/ Total number of copies	425	400
b/ Paid circulation (by mail and outside)		
(1) Mailed Outside County		
Paid Subscriptions Stated on PS Form 3541		
(incl. paid distribution above nominal rate, advertiser's proof copies, and exchange copies)	93	90
(2) Mailed In-County		
Paid Subscriptions Stated on PS Form 3541	12	16
(3) Paid Distribution Outside the Mails Including Sales Through Dealers and Carriers, Street Vendors, Counter Sales, and Other Paid Distribution Outside USPS	159	143
(4) Paid Distribution by Other Classes of Mail Through the USPS (e.g. First-Class Mail)	75	63
c/ Total Paid Distribution (Sum of 15b (1), (2), (3), (4))	339	312
d/ Free or Nominal Rate Distribution (by mail and outside)		
(1) Free or Nominal Rate Outside County		
Copies included on PS Form 3541	0	0
(2) Free or Nominal Rate In-County Copies included on PS Form 3541	0	0
(3) Free or Nominal Rate Copies Mailed at Other Classes (USPS /e.g. First-Class Mail)	29	23
(4) Free or Nominal Rate Distribution		

Outside the Mail (Carriers or other means)	17	16
e/ Total Free or Nominal Rate Distribution (Sum of 15d (1), (2), (3), (4))	46	39
f/ Total Distribution (Sum of 15c and 15e)	385	351
g/ Copies not Distributed	40	49
h/ Total (Sum of 15f and 15g)	425	400
i/ Percent Paid ((15c / 15f) times 100)	88.05%	88.89%
<u>Total circulation of electronic copies</u>		
a/ Paid Electronic Copies	40	42
b/Total Paid Print Copies (15C+Paid Electronic)	379	354
c/ Total Print Distribution (15F+Paid Electronic)	425	393
d/ Percent Paid (Print+Electronic Copies)	89%	90%

I Certify that 50% of all distributed copies (Electronic and Print) are paid above a nominal price. I certify that all information furnished on this form is true and complete.

Signature/Title of Editor, Publisher, Business Manager, Owner – Marina Adamovitch, Editor / Managing Editor

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2022

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – \$ 150.00, за границу – \$ 200.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – \$ 80.00, за границу – \$ 120.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – \$ 7.00, за границу – \$ 25.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – \$ 320.00
за границу – \$ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:
The New Review
1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
newreview@msn.com
